ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1962

1962

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЙСАКУ ЁНЭДА — Во имя живущих (Стихи) 4
УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС — Письмо президенту 8
ПЬЕР КУРТАД — Красная площадь (Роман. Продолжение) 10
ФАИЗ АХМАД ФАИЗ — Жизнью был каждый шаг (Стихи. Предисловие Миколы Бажана) 64
АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ — Картины (Рассказ) . . 68
БЛАГА ДИМИТРОВА — Вапцаров (Стихотворение) 79
ДИТЕР НОЛЛЬ — Приключения Вернера Хольта (Роман. Окончание) 80
НИКОЛАС ГИЛЬЕН — Четыре стихотворения 173

КРИТИКА

И. АНИСИМОВ — Средина века 178

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ДЖОН ГОЛСУОРСИ — Создание характера в литературе (Послесловие Д. Жантиевой) 189

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 198

7

ИЮЛЬ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

К Всемирному конгрессу за всеобщее разоружение и мир

ДЖЕССИКА СМИТ — Американцы должны сказать свое слово 205

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ГЕОРГИЙ МАНИАТИС — Записки легионера 214

СЕДРИК БЕЛФРЕЙДЖ — Джеймс Моррис путешествует (Памфлет) 224

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

БОРИС ПОЛЕВОЙ — Певец Кубы (К 60-летию со дня рождения Николаса Гильена) . 228

ЛИДИЯ СИМОНЯН — Сила таланта (К 50-летию со дня рождения Э. Штриттматтера) 229

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ИГНАЦЫ ВИЦ — Мастер фотомонтажа Мечислав Берман 232

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

А. Полищук — Мятежный голос. ◇ Н Вильмонт — Русский Рабле. ◇ Эзра Левонтин — Сатира Луиса Карлоса Лопеса. ◇ Р Фиш — Борющийся Стамбул . . 241

Издано за рубежом

Г Борин — Судьба маленькой Ванды. ◇ А. Мельников — Глазами друзей ◇ А. Романенко — Поэзия великой борьбы. ◇ В Балашов — Победа Артюра Адамова . 247

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 253

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(ХРОНИКА) 255

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 271

На обложке рисунок бельгийского художника ФРАНСА МАЗЕРЕЕЛЯ «Новая армия»

Рисунок РЕНАТО ГУТТУЗО

ЭЙСАКУ ЁНЭДА
(ЯПОНИЯ)

Перевод с японского
Анатолия Мамонова

Современные Офелии

Теченье реки *
Неизменно все то же,
Как в древности, так и ныне,
И лишь изменилась воды окраска —
В ней меньше оттенков синих.
С сорок пятого
Множество юных
И прекрасных безумных Офелий
Спят на дне непробудными снами,
Как под чарами дивные феи...
Так пустим же, люди, венок по теченью —
Ведь в августе том,
В такую ж погоду,
Несметное множество юных Офелий
Венки,
Обезумев,
Бросали в воду,
Как память о прошлом,
Во имя живущих
Венки дарили в пустыне
Теченью реки,
Что всегда неизменно,
Как в древности, так и ныне...
Бросали в прохладу речной струи
Раскаленные розы — тела свои

* Имеется в виду река Ота, на берегах которой расположен город Хиросима.

Река в огненном парике

Однажды,
Как солнце, вспыхнув от взрыва,
Метнулся огонь по реке.
Однажды
В крови рванулась к заливу
Река в огненном парике.
И слышались стоны, и плач у излуки
Истерзанных и бездомных людей.
В ужасе вскинув сожженные руки,
Люди молились ей:
«О река! Измени свой огненный цвет,
Сорви свой страшный парик!
О река! Протянулся кровавый след —
К тебе весь город приник!..»
Никогда,
Никогда не пылать ей снова,
Не высохнуть, не иссякнуть вовек.
Никогда,
Никогда в парике багровом
Не увидит ее человек.

Будь прекрасной, река, навеки!

Река не разбита.
Река не разрушена.

В зеркале вод
Отраженная синь плывет.
Безмятежно изо дня в день
Облака отдыхают в реке,
А на дне —
Обгоревшее дерево в желтом
песке.

И, быть может, каждую ночь
Мой ребенок
Видит во сне,
Как на дереве том, в глубине,
Подгоняемые теченьем,
Качаются мерно качели...

О звон колокольный,
Славящий жизни рожденье!
Прославь красоту этих вод,
Бессмертие этой реки,
Вечной в своем движенье!..

Река не сгорела
Река жива!

Флаги в реке

В моей голове
Струится река, несколько рек, словно дельта, ветвится.
В сердце моем
Струится река, несколько рек в сердце бескровном.
Поток неоглядный, безбрежный поток!
Голова, словно устье реки,
Словно устье реки, мое сердце...

Из волн исторгается зов
К облакам, проплывающим в небе,
И снова и снова —
К реке, убегающей в море...
В белых, воздетых ввысь облаках, как флагах,
Река предо мною струится,
В белых, воздетых ввысь облаках, как флагах...
О ребенок, сжимающий белые флаги в руке!
О ребенок, сжимающий белые флаги в реке!
В моей голове
Сверкает река, множество рек, словно дельта, сверкают.
В сердце моем
Клокочет река, множество рек в сердце клокочет.

■

Лунный прилив

Прилив на реке —
На берег пустой
Под тяжестью лунного света
Вползают черные воды.

Прилив на реке —
В осколках луны,
Разбросанных рябью по гривам,
Грохочут ползущие волны.

Прилив на реке —
В осколках луны
Силуэт отраженных развалин,
Чуть колеблемый контур безмолвный.

Прилив на реке —
Сижу средь руин,
Смотрю на бегущие волны,
На кромку из пенной пряжи...

Прилив на реке —
Как печален твой вид,
О сардинка, меж камешков мокрых,
О сардинка, спеченная заживо...

■

Снег над рекой

Снег не плывет...
Как узнать, что река течет,
Что река течет?
С туч осыпаются лепестки —
Даже тень их не дрогнет
На глади реки,

Даже тень...
Белоснежная темь.
Даже песен писать не могу —
Все в снегу...
Все в снегу!

Снег погружается в воду,
И в сердце мое
Погружается снег...
Ах, колокол, отзовись!
Бакен речной, качнись!

■

Феникс

Запыленное,
Рваное солнце заходит...
Воздух кровью заката окрашен.
В лучах багровых
Лишь ветер бродит,

В лучах багровых
Медленно машет
Бесперыми крыльями
Феникс!..
Тысячи перьев небо застят,
Тысячи перьев, вырванных с корнем,
И падают пеплом в разверстые пасти
Руин, сочащихся дымом черным.
Смерч бушует в воздухе пряном —

Перья бьют по щекам в ожогах,
Перья хлещут, как бич, по ранам...
Феникс! Твой остов — тень на
дорогах...

О Феникс!
Выплесни гнев,
Что в мертвых глазах дымится!
Выжги дотла
Пятна запекшейся крови!
Убаюкай, утешь
Обнаженный свой череп...
О птица!
Ты взлетишь,
Ты взлетишь в возрожденном
покрове!

Стихи на памятнике жертвам атомной бомбы *

Алым цветком на камне
Смерть распустилась ваша.
Жизнь воспевающим гимном
Серый гранит украшен:
Стихами — подарком мертвых
Нам, друзьям и знакомым,—
Седой монумент украшен
Перед разрушенным домом.
Рядом — руины замка
И уголь ограды древней,
Рядом — желтой листвою
Шумят и шумят деревья...
Надпись на сером граните —
Памятник нам, живущим,
Памятник всей Хиросиме,
К миру властно зовущий.
Шепчется дождь осенний,
Алый цветок колышет.
Тысячеустый шепот
В шуме его я слышу.
Шепот погибших братьев,
Шепот сестер сгоревших,
Чьей кровью вспоен и
вскормлен
Этот цветок воскресший.

Алый цветок на камне!
Символ неотразимый!
Ты в каждом сердце сегодня
Цветешь на земле Хиросимы!
Цветешь, пустырь заглушая,
В траве расцветаешь сорной —
На нашей дороге к миру
Сметешь ты колючки терна!

Мы все говорим: «Так будет!»
Клянемся мы все: «Так будет!»

---

* Автор имеет в виду строки, высеченные на гранитном надгробии памятника жертвам атомной бомбы в Хиросиме.

«Спите спокойно —
Ошибка
Не повторится вовек!»

УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

Я пишу Вам с берлинской границы, где солдаты нашей страны выкатили танки и нацелили пулеметы, угрожая всеобщему миру. За узким проходом и Огромной Преградой я — частица моей родины — окружен со всех сторон бомбами огромной мощности. Но я не страшусь.

На карту поставлено существование моих Соединенных Штатов не как геологического кратера, а как великой независимой нации. Естественно, это самый важный вопрос всей моей жизни, ведь у меня нет другой родины.

Меня беспокоит не мысль о том, что я могу быть испепелен вместе с моей женой Лилиан и нашим маленьким коттеджем в Южном Джерси: в свои 64 года я не ожидаю уже многого от жизни и не особенно дорожу ею. Меня тревожит, что и я несу ответственность за то, что так мало сделал, чтобы удержать мою страну, где процветала индейская цивилизация манхэттенских островитян, от превращения в песчаную пустыню.

Меня не утешает то, что запустеют и другие цветущие страны, и я не беспокоюсь о будущем человеческого рода — он выживет хотя бы вместе с племенами Тибета, Огненной Земли, Юкона...

Вероятно, вследствие моего буржуазного воспитания и не совсем изжитого национализма я более всего обеспокоен судьбой моей родины.

Человечество само сможет позаботиться о себе — это его дело, и оно хорошо подготовлено к этому, пережив падение Египта, Греции, Рима, Танской династии, империи Карла Великого.

Но мои несчастные Соединенные Штаты — такие хрупкие под своим двухсотлетним поверхностным глянцем, такие раздробленные даже теперь, с двадцатью миллионами наших афро-американцев, требующих: «Объединим Соединенные Штаты!»

Что станет с Эйби Линкольном и его вашингтонским памятником, если его убьют снова и на этот раз окончательно? Кто будет так же, как Уитмен, гордиться молодежью, павшей на поле сражения при Геттисберге? Что уцелеет от географии мира, и появится ли снова человеческая раса, подобная нашей?

Из разных стран мы прибыли, чтобы уничтожать индейцев и захватывать их плодородные земли, а затем умереть лишь из-за того, что наши соседи не так легко истребимы, как ирокезы?

Признаюсь в своей слабости — я думаю сейчас больше не о судьбе всего человечества, а о том, что станет с нами в Соединенных Штатах.

Почему другие люди могут строить социализм, соревнуясь, словно в спорте, так же жизнерадостно, как играют дети в Гарлеме, в Чикаго, на скалистых мысах у Золотых Ворот? Меня беспокоит главным образом не мысль о нашем физическом исчезновении — я не доживу, чтобы сообщить об этом,— а мысль о том, что исчезнем мы как дух зла.

Наше будущее представляется сейчас безнадежным; если только завтра не вспыхнет на горизонте спасительный рассвет — мы будем мертвы, более чем мертвы: дикие гуси станут пролетать в Арктику над Атлантическим побережьем, и никто не будет знать, что в Хобоконе и в Сент-Антуане жили знаменитые игроки в мяч, изобретатели, танцоры.

Мне жаль всех овсянок и белок, которым мы бросали вкусные крошки до того, как Таймс-сквер стал беззубым черепом.

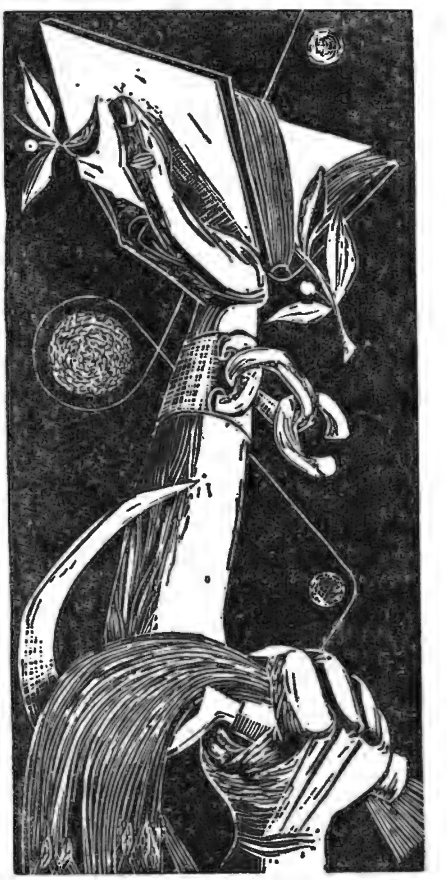
Я сожалею об идеалах, о которых мечтал Томас Джефферсон и за которые отдал свою жизнь Нат Тэрнер. Все влюбленные парочки в парках и на песчаных пляжах не спасут нас от полного забвения.

Мы пронесемся — не как луч света, а как моровая язва, чьей чумной крысиной заразы остерегается весь мир. Меня угнетает наше отсутствие на всех торжествах, фестивалях и веселых празднествах. Ибо подлинная смерть — смерть в полном одиночестве.

С границы Западного Берлина, где танки нацелились друг на друга, но еще не стреляют и где наша североамериканская мечта еще жива, я прошу, чтобы одно слово от всех нас открыло сегодня наше прекрасное завтра.

Перевод с английского
МИХ. ЗЕНКЕВИЧА

Октябрь 1961 года.



АНТОН РЕФРЕЖЬЕ *(США)*
Мир

ПЬЕР КУРТАД

Красная площадь

РОМАН

Перевод с французского О. ГРАЕВСКОЙ, Н. ЖАРКОВОЙ и Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

ЭПИЗОДЫ

Поля хорошо готовили антрекот. Приятелей посадили за столик в тихом уголке задней комнаты, которая, очевидно, служила столовой самому хозяину, так как на буфете в стиле Генриха II стояла фотография девочки, принаряженной по случаю первого причастия.

— Это моя дочь,— сказал хозяин.— Но сейчас, сами понимаете, вы бы ее не узнали. Дети так быстро растут!

Он добавил, что она уже была бы замужем, если бы не война. И без стеснения принялся излагать свою точку зрения на войну. Однако Прево не поощрял излияний хозяина, хотя тот и поспешил пояснить, что «это», то есть первое причастие, было уступкой, сделанной матери.

— Странно все-таки устроен человек,— заметил Симон.— Ну зачем он оправдывается? Просто удивительно, как мало на свете людей, которые до конца следуют своим убеждениям!

— Я бы не сказал, что это удачная мысль,— заметил Прево.

— А-а, готовишь контратаку! — воскликнул Симон.— Ты, конечно, весьма последователен в своих убеждениях!

— Безусловно,— сказал Прево. И предупреждающе вытянул руку.— Но если тебе неинтересно, давай поговорим о чем-нибудь другом.

— Почему же неинтересно? Я прекрасно понимаю твою точку зрения. Наоборот, было бы странно, если бы мы об этом не говорили.

Прево попросил подать им еще бутылку вина.

Симон с удовольствием посидел бы спокойно и покурил. У него болели ноги. Только не надо злиться. Предположим, обедал бы он со священником — ведь пришлось бы ему пересилить себя и вежливости ради исповедаться.

— Значит, ты хочешь услышать продолжение исповеди? На чем же я остановился?

— На пакте,— напомнил Прево.

— Да, на пакте. Но я сказал тебе, что не он сыграл главную роль. Я ведь рассказывал тебе о поездке в Россию. Вот это гораздо сложнее.

Продолжение. Начало в № 6.

— Но в том, что ты мне рассказывал, все было вполне логично. Меня, во всяком случае, ничто не шокировало. Ничуть. Ты что, принимаешь нас за младенцев?..

— Вовсе нет. Младенец это я. Представь, я теперь и сам не понимаю, как я мог задаваться подобными вопросами. Правда, я довольно быстро взялся за ум... как только я осознал, что Россия — это реальность, а не мечта... Но... но я долго походил на человека, который, внезапно очнувшись от сна, понимает, что он видел сон, хоть и очень нелепый. А в жизни бывают минуты, когда начинаешь жалеть, что сон не стал явью. Так мы с сожалением расстаемся с детством. И я не без сожаления расставался с моим представлением о революции, о Советском Союзе, каким он, очевидно, будет... в двухтысячном году... А я убежден, что эта страна будет такою, какой я представлял ее себе в мечтах. Собственно, не мечты мои были детской нелепостью, а то, что я верил, будто на свете существует волшебная палочка, по мановению которой...

Он машинально всматривался в красную клеенку, пытаясь оживить полузабытые образы, воспоминания, породившие споры, которые он вел с самим собой и от которых остались сейчас лишь отдельные слова. Он спрашивал себя, не подменил ли одну абстракцию другой, рассказывая Прево о запахах и красках Москвы.

Хозяин принес вторую бутылку вина и предложил им торт.

— Пользуйтесь, пока можно,— сказал он.— Это ведь не долго так будет. Мы хихикали над немцами, когда они сразу, с первых дней войны, ввели на хлеб карточки. А теперь посмотрим, как сами будем выкручиваться.

— Ты знаешь его?

— Нет,— ответил Прево,— но, по-моему, он неплохой малый.

— Это еще не известно, — протянул Симон. — Он говорит «немцы».

— А ты бы сказал «боши»?

— Ты прав: нет, конечно... Но мне не понравилось, как он произнес это слово... Все дело, видимо, в контексте. Этот тип, наверно, думает, что с ними можно столковаться. Он, наверно, считает, что они народ организованный.

Приятели закурили. Им стало жарко от вина.

— Так что же дальше? — спросил Прево.

— Да, что же дальше. Я был уверен,— продолжал он, довольный внезапно найденным сравнением,— что дороги во всем мире заасфальтированы, а поля обработаны, как рассадники Вильморена и Андриэ... Что дома, крытые соломой, существуют только в детских сказках и что автомобиль — наиболее распространенный вид транспорта...

— А у тебя есть автомобиль?

— У меня? Я, когда требовалось, брал такси. Скажем, когда ездил на вокзал. Автомобиль — это вроде «Петушка Забияки». Ни у тебя, ни у меня, ни у капитана нет возможности посещать этот ресторан, но он не отделим от нашего представления об этом городке... Не будь здесь этого самого «Петушка», мы бы сказали: «Ну и нищий же городишко...» В Москве было немного автомобилей. И я видел там очень старые дома и людей, одетых... ну... кто как может... Меня возили по заводам... и там опять-таки... Пойми меня хорошенько... Я никогда не видел ни одного завода во Франции... А завод есть завод. Это грязь, грохот, машинное масло. Повторяю: я никогда и нигде не видел ни одного завода. Ты представляешь себе, сколько людей никогда не были на заводе? И самое смешное, что волею судеб туда едут именно такие люди. Ты ведь тоже и носу не совал ни на один завод? Я имею в виду не какую-нибудь мастерскую или гараж, а настоящий завод...

— Ну, я хоть у заводских ворот бывал,— не без легкого раздражения заметил Прево.— Я уже говорил тебе, что ценю твою склонность к романтике, но, право, ты пересаливаешь. Ну что ты открыл там нового? Что тяжело всю жизнь провести у станка? А что ты можешь предложить вместо этого? Люди, которых ты видел у станков в Москве... разница... огромнейшая разница между ними и нами заключается в том, что их жизнь имеет смысл. Они — люди, а не навоз. На них никто не смотрит, как на навоз. Вот в чем разница...

Он произнес это убежденно, со страстностью, которой Симон до сих пор за ним не замечал и которая тронула его.

— Но ты же знаешь,— сказал Симон,— тут я полностью с тобой согласен. Не в этом дело... Я просто пытаюсь объяснить тебе, что творилось у меня в голове. Я не стараюсь оправдываться... Я думаю, что это для тебя не ново. Классический пример того, что происходит с мелким буржуа, не так ли? Я говорю это без всякой горечи. Мне кажется, для меня это пройденный этап.— Помолчав, он иронически-насмешливым тоном продолжал:— Позволь на основе личного опыта внести свою скромную лепту в анализ психологии мелкобуржуазного интеллигента. Мелкобуржуазный интеллигент не может жить в реальном мире. Он не терпит ни малейшего несоответствия между законом и фактом. Он удивляется и впадает в отчаяние, если люди и обстоятельства не подчиняются безоговорочно декретам. Стоит ему обнаружить, что дважды два не всегда и не сразу бывает четыре, он тотчас залезает в свою раковину. Он говорит, что умывает руки, и с этой минуты всецело отдается подготовке ученой диссертации и воспитанию своих детей, которые уж конечно будут жить в более совершенном мире, поскольку по мере распространения просвещения все человечество со временем будет состоять сплошь из бывших учеников Высшей Нормальной школы...

Прево пожал плечами и налил себе кот-дю-рон. Хозяин принес торт.

— Ты, наверно, считаешь, что сгустил краски, а на самом деле даешь абсолютно верный анализ. Так оно и есть... Но если ты столь хорошо во всем разбираешься, почему же ты не делаешь из этого выводов? Предпочитаешь быть этим мелким буржуа?

— Отведайте торта,— предложил хозяин.— И, конечно, кофе с рюмочкой кальвадоса?

— Отлично,— сказал Прево.

Он подождал, пока хозяин уйдет.

— Вот и все здесь так, в этой стране,— сказал он.— Идет война, а люди жрут яблочные торты. Пьют кофе и кальвадос. Правда, мы хорошо защищены: у нас есть вода, газ, электричество...

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать,— перебил его Симон.— Ты ведь тоже ешь торт, укрывшись за линией Мажино...

Прево промолчал. Хозяин вернулся, неся кофе и бутылку кальвадоса. Он до краев наполнил рюмки. Из соседнего большого зала долетал нарастающий гул молодых голосов. Единственным признаком того, что где-то идет война, были оконные стекла, замазанные синей краской, да обилие военных. По сравнению с тем, какой могла бы быть настоящая война — «война Барбюса», как любил говорить Симон,— то, что происходило в действительности, постепенно приобрело наименование «странной войны». Она не была, конечно, странной для тех, кто уже «понюхал пороху» на восточных границах, но когда тревога первых дней улеглась, люди стали говорить — одни громко, другие шепотом: «Как, только и всего!» И теперь все мечтали о том, что случится чудо, что эти нелепые дурацкие военные действия, тянувшиеся всю зиму, постепенно сойдут на нет, сами собою кончатся, и обе стороны молча придут к заключению, что нет смысла возобновлять Верденскую битву и, следовательно, не может быть и речи о войне. Все смеялись, вспоминая

первые дни воздушных тревог (потом стало известно — во всяком случае, так считали многие,— что это были лишь учебные тревоги), когда тысячи людей, с трудом переводя дух, задыхаясь под маской противогаза, устремлялись в подземные убежища. А теперь сумки от противогазов — поскольку ношение их обязательно,— служат для хранения сигарет или бутерброда на завтрак.

— Ну что я могу тебе сказать? — собираясь с мыслями, произнес Прево.— По-моему, ты живешь в мире случайных впечатлений, эпизодов. На чем ты строишь свои убеждения? На фильме, который ты однажды видел, на курице, привязанной за лапку на улице Москвы... Сегодня это яблочный торт... В плане литературном это, может быть, и интересно... а так... не хочу тебя обидеть, но... это... это весьма прискорбно. Даже не с точки зрения политической, а просто человеческой... Так вот, с точки зрения человеческой, мне это представляется... весьма прискорбным.

— Я, очевидно, плохо выражаю свои мысли...— сказал Симон.

Он посмотрел на старомодный буфет, который вдруг (ибо точно такой же буфет приобрели его родители после свадьбы) показался ему умилительным и одновременно ненавистным, как символ того мира, в котором он жил и пут которого так и не сумел с себя сбросить,— мира мелочного, замкнутого, где случайные впечатления, скверное расположение духа, всякие псевдопроблемы занимают излишне большое место.

— Я, очевидно, слишком плохо выражаю свои мысли. Но тут не только моя вина. Когда я говорю с тобой или с другими людьми вроде тебя, мне всегда кажется, что какие-то слова нельзя произносить... Но ты не прав, полагая, будто все, что я перечувствовал за эти годы, как бы это сказать... ни к чему. Ведь ты именно это хочешь сказать?

— Раз ты сам так говоришь... Да, ни к чему... Но какие же слова, по-твоему, нельзя произносить? Они находятся под запретом только в твоем воображении... Ты говоришь загадками. Мы могли бы вести этот разговор во всеуслышанье в присутствии младшего лейтенанта или Лануэта. Они бы ничего не поняли. Ты ждешь от меня ответа, но как же я могу расшифровать твои загадки, если ты не даешь к ним ключа?

— Я говорю загадками, потому что говорю о загадочном,— несколько назидательным тоном произнес Симон.

ПРОДОЛЖЕНИЕ «БРОНЕНОСЦА «ПОТЕМКИНА»

Симон был очень доволен своим афоризмом и ожидал увидеть на лице Рыжего понимающую улыбку, но вместо этого увидел озабоченность и беспокойство. Нет, должно быть, то, что с ним происходит, гораздо сложнее, чем он предполагал...

— Теперь рассказывай! Давай начистоту... Что же все-таки... Отчего все-таки твой «Потемкин» пошел ко дну?

— Ты знал Бернштейна? — внезапно спросил Симон.— Был такой парень, который состоял в Союзе Коммунистической Молодежи в тридцать пятом году. Казо его хорошо знал. Так вот, он вернулся в Россию. И я его там видел.

— Ну и что же? — заметил Прево.— Это говорит лишь о том, что человек может поехать в Россию и общаться там не только с переводчиками и пропагандистами вроде меня!

— Да, может... Во всяком случае... в какой-то мере. Да, я мог...

Но Симон не забыл, как удивилась переводчица, обслуживавшая их группу, когда он попросил ее написать русскими буквами на конверте фамилию и адрес Саши. Через три дня Саша пришел к нему в гостиницу. Он держал в руке фуражку из белого полотна. У него был

все тот же веселый, немножко иронический взгляд, как и в кафе «Будущее», когда полгода назад он объявил великую новость о своем отъезде.

Саша тотчас принялся расспрашивать о Париже, точно это был человек, который за время его отсутствия мог измениться. «Ну а Париж,— спрашивал он,— как там наш Париж?» Камилла и Симон отвечали рассеянно: им не терпелось узнать, что он думает о своей нынешней жизни, не терпелось узнать (но они, конечно, никогда не осмелились бы его об этом спросить), не жалеет ли он о сделанном выборе. Они предложили Саше позавтракать вместе в ресторане гостиницы на интуристские талоны. Он сказал: «Нет, нет, спасибо»,— и при этом на лице его промелькнуло то же выражение, какое, казалось Симону, он подметил на лице молоденькой переводчицы, когда попросил ее надписать конверт. Саша пригласил их к себе. «Вы хоть побываете дома у москвича. Такой экскурсии «Интурист» вам не устроит. Вы сядете на трамвай — это совсем несложно, приготовите две монеты по десять копеек, скажете: «Два по десять»,— и поедете до последней остановки, где я буду вас ждать».— «Переводчица нам все объяснит»,— поспешила заверить его Камилла. Саша сказал, что нет, с переводчицей об этом говорить не стоит, это ее не касается. Все это, конечно, тоже относится к области случайных впечатлений, эпизодов, но...

— Да, такое общение возможно,— продолжал Симон,— но не совсем обычно. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать. Не так-то это просто...

— Они, бесспорно, с некоторым недоверием относятся к иностранцам,— согласился Прево.— Поставь себя на их место... Вообрази... вообрази на минуту...— Он говорил убежденно, нажимая на каждое слово, подкрепляя его жестами.— Они окружены кольцом врагов. Вообще чудо, как эта страна выстояла. Поэтому у них есть основания держаться настороже.

— Да, конечно,— согласился Симон.— И все же...

Прево перебил его:

— Нет, нет, старина, никаких «все же». Я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать... Что они могут ошибиться? Вполне возможно. И что атмосфера в результате создается не всегда приятная?.. Вполне возможно. Но я тебя спрашиваю: что лучше, это — или риск? Ты что, считаешь, что враги революции сложили оружие? Нет, не сложили, а стали еще более оголтелыми!

— Послушай, об этом нельзя говорить абстрактно,— понижая голос, сказал Симон.— Я передаю тебе то, что я почувствовал... почувствовал как человек, а ты мне возражаешь абстракциями. Можешь не читать мне лекций о революционном насилии. Тут я с тобой согласен. Я хочу объяснить тебе мое душевное состояние... Ты просил, чтобы я рассказал тебе о своих ощущениях. Вот я и пытаюсь разобраться в этом сейчас, при тебе...

— Но ты же, в сущности, ничего мне не сказал...

— Возможно, потому, что не знаю, стоит ли об этом говорить. Возможно, это опять будет что-то вроде фильма... или курицы, привязанной за лапку к дереву... Правда, тут дело, конечно, не в курице... И не в фильме... Хотя, быть может, это и выглядит как случайное впечатление, эпизод... Но ведь при желании что угодно можно счесть случайностью. Можно, скажем, решить, что быть убитым на войне — тоже случайность.

Прево, видимо, смирился.

— Ну, хорошо, рассказывай твой эпизод!

— Не здесь,— сказал Симон.— Пойдем погуляем.

По улице, затянутой сеткой мелкого дождя, вдоль высоких черных каменных стен, усеянных поверху осколками от бутылок, уже шли к казарме группами военные.

— Фу ты черт,— заметил Прево,— какое мрачное зрелище! Кажется, что смотришь спектакль или фильм из жизни гарнизонного города в дождливый воскресный вечер.

Толстые шляпки гвоздей на башмаках скребли грязные плиты тротуара. Двое военных, сопровождавших девушек с зонтами, свернули в боковую улочку.

— Вот она жизнь,— заметил Симон,— любовь!..

— Блестящая армия,— подхватил Прево,— блестящие офицеры!

— Почему на этих стенах запрещают расклеивать афиши?— удивился Симон.— Все было бы веселее. Глупо запрещать то, что могло бы хоть как-то оживить эту мрачную улицу.

— Ты уделяешь слишком много внимания декорациям,— заметил Прево.

— Да. Я этого не скрываю. В конце концов вся жизнь проходит среди тех или иных декораций. Вот ты, например, хотел бы жить здесь? Ты бы выбрал для себя такую декорацию?

— Как сказать. Если бы пришлось жить здесь, то наверно бы выбрал. Если бы я жил здесь, я смотрел бы на все иными глазами. Ведь тысячи людей живут в горняцких поселках и не мечтают ни о чем ином...

— Возможно, потому, что они никогда не видели Средиземного моря. Они ведь не сами выбрали для себя горняцкий поселок.

— А, собственно, что человек может сам для себя выбрать? — заметил Прево.— Далеко не у всех есть эта возможность. У богатых она есть, да и то...

Они прошли мимо казармы Клебера. Двери были широко распахнуты, так как через несколько минут начнут возвращаться ее обитатели. Из окон падал тусклый свет, еле пробивавший сетку дождя, которая здесь казалась более плотной и мутной, чем в центре города. Приятели сделали еще несколько шагов в направлении перекрестка, где высился трагический силуэт распятия, за которым начинались поля.

— И ты считаешь, что можно одинаково смотреть на мир здесь и в Ницце?

— При одинаковом жалованье — да,— сказал Прево.

Но на этот раз голос его звучал весело. «И то хорошо»,— подумал Симон.

— А вот я этого не считаю,— сказал он.— Я понимаю, что проблемы и тут и там одни и те же. Ну, а надстройки, дорогой мой, куда прикажешь девать надстройки?

Засунув руки за ремень, они молча зашагали назад к казарме. Отсыревшие сигареты то и дело гасли.

— Очень многое,— сказал Симон,— зависит от того, где и при каких обстоятельствах ты размышляешь о той или иной проблеме. Учти, я вовсе не хочу сказать, что это может что-то прояснить, но на образ мыслей это влияет. Ведь абстрактной истины не существует...

— Это ты сам придумал?

— Нет,— ответил Симон,— это сказано у Ленина. Что, лихо я тебя купил?

— Ничуть,— возразил Прево,— потому что ты неточно цитируешь. Ленин этого не говорил. Он сказал, что истина всегда конкретна. А это не одно и то же...

— Так вот, то, что я говорил тебе... насчет России,— медленно, глухим голосом произнес Симон,— именно этим и объясняется. Мои концепции, мои представления об этой стране внезапно подверглись испытанию непосредственного восприятия, видения...

Они вошли в казарму, чинно козырнув невидимому сержанту, и сразу очутились в толпе военных. Все куда-то спешили, толкались, что-то насвистывали.

— Кстати, Саша жил у своего дяди в деревянном доме...

— А ты не знал, что в Москве есть деревянные дома? Ты не знал, что представлял собой этот город каких-нибудь двадцать лет назад?

— Знал, но ведь я уже говорил тебе, что ехал я в Столицу Будущего, а очутился в деревянном доме. И не просто в доме, а в избе, и притом в бедной избе... Кстати, в этой бедной избе была ванная...

— Вот видишь,— сказал Прево, обрадовавшись так, словно положил шар в лузу,— вот видишь...

«Ну, а теперь,— сказал тогда Саша, поймав удивленный взгляд Камиллы и Симона (а он, конечно, ожидал такого взгляда),— теперь пойдемте, я покажу вам мою ванную...» И действительно, в пристройке, служившей одновременно помещением для стирки, стояла жестяная ванна. Стекла в двойных простых рамах были наполовину выбиты и залеплены газетной бумагой. Лишь осколок зеркала оживлял этот склеп. Но, так или иначе, это была ванная комната — другими словами, воплощение счастья и справедливости, о котором мечтают миллионы парижан, вынужденных мыться над кухонной раковиной,— воплощение столь же чудесное, каким был для родителей Симона домик в Сен-Реми.

«Неплохая у нас ванная, правда? — заметил Саша.— Только, между нами говоря, здесь далеко еще не у всех есть ванные... До этого пока очередь не дошла...»

Они стояли на деревянном замшелом крыльце, выходившем в заросший травою садик. Рядом виднелись еще несколько таких же покосившихся домишек и ржавый купол заброшенной церкви, колокольня которой служила теперь приютом для голубей.

«Со временем все это придется сравнять с землей и выстроить новый город»,— сказал Саша.

«Но в этом есть своя прелесть»,— заметила Камилла.

«Да, это живописно,— согласился Саша,— но клопы — штука далеко не живописная, так же, как и грязь. Ничего, мы построим города... каких не бывало! Мой девиз: долой живописность! Долой святую Русь!»

Саша угощал гостей макаронами, которые он сам сварил.

«Неплохо, а? Макароны у нас только-только стали появляться...»

«Они какого-то странного цвета»,— заметил Симон.

Макароны были темные.

«Очевидно, я их переварил.— Он огорченно улыбнулся.— Не будь обывателем. И не говори, пожалуйста, что они такого цвета из-за муки. Посмотри, какой хлеб...»

Хлеб был удивительно белый.

«У вас на Западе такого нет!»

«Не сочиняй, пожалуйста»,— сказал Симон.

«Ты меня не понял,— сказал Саша, глядя в потолок, с которого местами облупилась штукатурка,— ты меня не понял. Я хочу сказать, что ваш хлеб обходится вам гораздо дешевле. Вы и представить себе не можете, чего стоил этот хлеб...»

Потом они еще поговорили о Париже. В какую-то минуту Саша поднялся и достал с этажерки, заваленной бумагами, пустой флакон из-под одеколона. Он осторожно, словно совершая некое таинство, вынул стеклянную пробку и глубоко вдохнул легкий аромат, очевидно еще сохранившийся в флаконе. «Ах, Париж, Париж!» — прошептал он. И тотчас, словно желая исправить впечатление от этого излишне романтического жеста, он уже совсем другим тоном, но все с той же улыбкой, что и в кафе «Будущее», добавил: «Ах, Париж, Париж! Вы, надеюсь, понимаете, что я хочу сказать! Услада Запада! Женщины! Шикарная жизнь! Я — парижанин, ваша светлость! Я — парижанин!..»

«А в Булонь-Бийянкуре,— заметил Симон,— наверно, и сейчас най-

дется: какой-нибудь тип, который дорого заплатил бы за то, чтобы хоть понюхать здешнего черного хлеба!»

Прево молча слушал его. Они ходили по двору, заложив за спину руки, зажав сигарету в зубах. Двор сейчас походил на потревоженный муравейник. То и дело раздавались приветствия. Дойдя до конца дорожки, ведущей к железной триумфальной арке, сооруженной в честь полка, которому был придан взвод курсантов, молодые люди нарочито громко прищелкивали каблуками и поворачивали обратно.

— Значит, это и есть твоя конкретная истина?— спросил Прево.

— Подожди,— сказал Симон.— Я еще не все тебе рассказал.

В последний день перед отъездом Симона и Камиллы Саша пришел к ним в гостиницу. Камилла еще не была готова. Симон с Сашей пошли прогуляться по набережной. Мимо проплыл маленький буксирчик.

«Когда достроят канал,— сказал Саша,— пароходы пойдут отсюда прямо в море. Но я не об этом хотел с тобой поговорить... Это,— каким-то странным тоном добавил он,— не имеет никакого отношения...»

«К чему?»

«К тому, что я хочу тебе сказать. Ты не удивился, что моего дяди не оказалось дома, когда ты приходил?»

«Ты же сказал мне, что он в отпуске».

«Ну так он не в отпуске. Он арестован».

«Как?!— вырвалось у Симона.— За что?»

«Не знаю,— сказал Саша. Лицо его стало непроницаемым.— Вот и все,— добавил он.— Я хотел, чтобы ты это знал. Но больше я тебе ничего не могу сказать. Я не знаю, в чем его вина. Я не знаю, что случилось. Конечно... в свое время он долго жил за границей. И для такого человека, как он... не так-то легко приспособиться к новым условиям... Флакон из-под одеколона — это его...»

«Но, может быть, он не виноват? Ты не пытался узнать?»

Саша передернул плечами.

«Однажды за ним пришли — и все. Никаких объяснений».

Он взял Симона под руку и крепко стиснул его локоть.

«Послушай, я не только это хотел тебе сказать. Это частный случай. Я убежден, что дядя ни в чем не виноват. Он старый революционер. Но сейчас не в нем дело. Я хочу тебе вот что сказать: ты, очевидно, услышишь немало таких историй... или даже что-нибудь похуже. Так вот, пойми меня хорошенько: это ничего не меняет. Усвой это как следует. Я скажу тебе сейчас одну удивительную вещь: если бы даже такое случилось со мной, это ничего бы не изменило в моих убеждениях, в наших убеждениях... И потом, вот что я тебе еще скажу: очевидно, где-то засели мерзавцы, но Сталин ни о чем понятия не имеет».

Он выпустил руку Симона, тот стоял и смотрел на зеленоватую воду реки.

«Должно быть, это неизбежно, это цена, которую нам приходится платить... ведь мы живем в крепости, окруженной врагами. Только, пожалуйста, не рассказывай всего этого своей жене... Я говорю это для тебя...— и он грустно улыбнулся,— чтобы помочь тебе стать сильным и выдержать».

— Что же ты ему на все это ответил?— спросил Прево.

— Какую-то глупость. Я сказал: «Спасибо».

— Это не глупость. И тем не менее все это... даже эта драма... принадлежит к разряду эпизодов.

— Ну, не думаю,— сказал Симон.— Нет, нет.

Прево не стал спорить. Они поднялись по широкой лестнице черного дерева, где пахло дезинфекцией.

Под сводами, возведенными неким королевским суперинтендантом, мечтавшим о величии, то тут, то там звучали песни. В общей спальне,

где у приятелей были рядом койки, половина курсантов уже легла: одни спали, другие читали при свете карманных фонариков, третьи, сидя на соломенных тюфяках, переговаривались вполголоса, сворачивая обмотки. С огромной балки на длинном проводе свисала единственная лампочка, излучавшая слабый свет.

«Ну кому все это нужно?! Боже, какой идиотизм!— думал Симон.— И все же когда-нибудь я, наверно, буду с удовольствием вспоминать казарму Клебера!»

Ему захотелось прервать тягостное молчание.

— Ты знаешь, я скоро буду жить на городской квартире,— объявил он, развязывая засалившиеся кожаные шнурки.— Женатым разрешают.

— Что ж, это вполне справедливо,— заметил Прево, старательно скатывая обмотки,— вполне справедливо. Но, вообще говоря, семья сейчас ни к чему. Я считаю, мне повезло, что у меня никого нет. По крайней мере, меня никто не ждет, и я никого не жду.

— Да,— прошептал Симон.— Да, конечно.

Он подумал, что именно эта назойливая, жестокая и в то же время нежная привязанность подруги удерживает его от того шага, который он обязан был бы сделать, продлевает состояние нерешительности, мешает покончить с мечтательным существованием, какое он ведет.

Прево, посвистывая, принялся разбирать постель, всегда так безукоризненно заправленную, что даже младший лейтенант с усмешечкой заметил однажды: «Что-то вы слишком стараетесь, Прево, слишком стараетесь!» Появилось несколько опоздавших: их встретили мычаньем, блеяньем, шуточками, отчего казарма сразу превратилась в дортуар коллежа, а ее обитатели помолодели на несколько лет. Тотчас послышалось уже приевшееся всем изречение Пишо:

— Если так и дальше будет продолжаться, то долго не протянется!

— Сами того не ведая, занимаются диалектикой,—заметил Прево,— как в свое время Журден не ведал, что говорил прозой.

— Мы даже воюем, сами того не ведая!— сказал Симон.— Такого еще никогда не бывало.— И он громко добавил:— Какая эпоха!

На что несколько голосов, согласно установившейся за это время традиции, дружно отозвались:

— Эпическая!

Приятели молча курили. Издали донесся сигнал «тушить огни»; какой-то искусник долго тянул последнюю ноту на трубе.

— Не помнишь, кто это сказал,— спросил Симон,— что в последней ноте сигнала «тушить огни» заключена вся нелепость военной жизни?

— Не помню,— ответил Прево. И, повернувшись к Симону, неожиданно тихим голосом добавил:— Но ты так и не объяснил... что же мешает тебе...— Он помедлил и добавил: — Может быть, процессы?..

— Что?— не расслышав, переспросил Симон.

— Ты же понимаешь, о чем я говорю...

— Да, но ты выбрал для этого неподходящий момент...

И он жестом указал на спящих.

— Скажи только одно: ты со всем был согласен или нет?..

В голосе его звучало беспокойство.

— Это явилось для меня, конечно, большим потрясением,— признался Симон.

— Но в конечном счете ты... ты со всем согласен?

— Да,— сказал Симон.

Прево положил руку ему на плечо.

— Знаешь, старина,— сказал он.— Мне это приятно слышать. Потому что человеку с еще не сложившимися взглядами... я имею в виду политические взгляды, конечно... это было трудно переварить.

— Да,— сказал Симон.

С поистине удивительной отчетливостью он вспомнил, не только как воспринял вести о раскрытии серии контрреволюционных заговоров, докатившиеся до них из Москвы сначала в 1936 году, потом в 1937, потом в 1938, но и то, при каких обстоятельствах он об этом узнал: он увидел перрон вокзала в Сен-Реми, где одуряюще пахло сиренью, а он стоял и с лихорадочной поспешностью читал советский еженедельник на французском языке «Журналь де Моску», который он только что купил в киоске, пытаясь проникнуть сквозь туман непонятных выражений, пугавших его своей резкостью, постичь всю глубину трагедии и найти нечто похожее в революционной истории Франции. Постепенно он не только убедил себя в виновности обвиняемых, но и в том, что на первый взгляд было гораздо сложнее: в психологической обоснованности совершенных ими измен. Ведь мог же Мирабо, произнесший знаменитую фразу «Мы держимся здесь силою штыков...», вступить затем в сговор со двором; мог же Дантон — тот самый Дантон, революционный гений которого признавал даже Ленин,— позволить себя подкупить; мог же Дюмурье, победитель под Вальми, перейти на сторону Австрии; почему же русская революция не могла быть предана людьми, которые сначала служили ей, но с течением времени, измученные борьбой с внутренним врагом, смалодушничали и стали искать поддержки за пределами страны?! Такое объяснение подкреплялось еще и тем, что большинство обвиняемых признало свою вину, хотя, казалось бы, ничто не принуждало их сознаться, а тем более — покаяться. Однако раны, нанесенные Симону этими трагедиями, еще не зажили до конца. Вот почему на вопрос Прево, с тревогой спрашивавшего, со всем ли он согласен, Симон, не кривя душой, мог ответить «да», но не больше. Он убеждал себя, что со временем память об этих событиях сотрется и он сможет принять революцию в целом, а много позже, уже при коммунистическом обществе, люди будут воспринимать это как эпизоды битвы, отошедшей в прошлое и вызывающей при чтении не больше волнения, чем, скажем, вызывает сегодня у верующего кровавая история первых лет христианства.

Симон окинул взглядом спящих вокруг людей. Большинство лежали, закрывшись с головой одеялом, и мирно похрапывали. На улице поднялся ветер, и к грязным стеклам липли блестящие капельки дождя.

— Как бы то ни было,— сказал он,— но вот мы заговорили с тобой, и все началось сначала. Ей-богу, я бы никогда не поверил, что так будет. Я еще слышу твою речь перед показом фильма,— он опустил название, как будто эти два слова «Броненосец «Потемкин» могли разбудить спящих и их ненависть (скорей всего это была бы ненависть) ко всему, что они символизируют.— Ты знал, что в зале сидел Андре Жид? Я видел его тогда так близко в первый и последний раз...

— Грязная сволочь,— буркнул Прево.

— Да,— согласился Симон.— Но в том, что произошло, мы сами виноваты: неужели не ясно было, что он собой представляет? Лихо мы тогда клюнули на эту благородную внешность римского императора!.. Как вспомню, что именно он произносил речь во время похорон Горького на Красной площади! Черт знает что...

— Он не единственный в своем роде,— заметил Прево.— Не стоит расстраиваться.

— А я и не расстраиваюсь,— сказал Симон.— Просто я лишний раз убеждаюсь в том, как надо относиться к подобным людям. Помнишь, какие Андре Жид слал телеграммы, какие делал заявления во время своего путешествия по России в тридцать шестом году? Какую бодрость вливали его слова! Он посетил-де не рай земной, а царство небесное... Как ты думаешь, он уже знал тогда, что́ потом напишет... я имею в виду ту книгу, которую он издал после возвращения? Возможно, еще не знал...

— Через двадцать лет,— сказал Прево,— никто и читать-то его не станет. Молодежь не будет даже знать его имени. Так что не все ли равно, жил он или не жил?.. Прошел по жизни, не оставив следа, вот и все...

Симон вспомнил, какие телеграммы посылал писатель, приехавший в СССР не только как человек, который интересуется политическим строем страны или сочувствует ему, но как его сторонник, советским организациям, принимавшим его, и даже самому Сталину, которого он всячески превозносил. Симон не забыл удивительной фотографии в «Журналь де Моску», где автор «Имморалиста» и «Узкой двери» улыбался среди цветов, преподнесенных пионерами. Андре Жид попросил, чтобы такая же фотография — фотография, на которой он выглядел бы молодым и веселым,— была помещена в русском издании собрания его сочинений... Как же могли эти правдивые губы — губы, которые, по его словам, не умеют лгать,— как могли они так солгать, а он сам, как он мог, едва вернувшись во Францию, оплевать все то, что во всеуслышание превозносил в СССР?! Этому нет оправдания. Со всею изощренностью опытного в таких вещах человека он, видите ли, изволил забавляться. Он упражнялся в изящной словесности.

— Когда он вернулся,— продолжал Прево,— ему, очевидно, объяснили, что он достаточно долго валял дурака и пора браться за ум... Можешь представить себе, какое давление было на него оказано...

— Нет,— сказал Симон,— я не могу этому поверить... Кто мог оказать на него давление?

— Полицейские,— сказал Прево.— Не какая-нибудь мелочь, конечно, а высшие полицейские чины...

— Ты в самом деле так думаешь?

— Для историка ты слишком наивен,— заметил Прево.— Ты считаешь, что можно интересоваться мальчиками... и даже создать по этому поводу целую теорию, и все это безнаказанно сойдет тебе с рук?

— Но в таком случае его уже давно призвали бы к порядку,— возразил Симон.— Скажем, когда он ездил в Конго...

— Его поездка в Конго, очевидно, никого не интересовала. Пока человек не посягает на самое сокровенное, никто не обращает на него внимания. Можешь сколько угодно выступать в защиту негров — всем на это плевать, лишь бы ты не требовал независимости колоний... Можешь, если угодно, быть социалистом... легкий социалистический душок — это даже неплохо... но быть коммунистом — это уже другой вопрос, об этом и помышлять не смей...

Прево говорил почти шепотом. Симону показалось, что он различил в последних словах упрек в свой адрес. «Неужели я боюсь?— подумал он.— Не воздерживаюсь ли я от вступления в партию из страха перед репрессиями? Из страха перед смертью, ибо в конечном счете ведь об этом идет речь?» Он молчал.

— Ладно, давай спать,— заявил Прево.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Прево завернулся в шинель и прикрыл глаза пилоткой, чтобы не мешал мерцающий свет в окне. По стеклам барабанил дождь. Из всех углов спальни неслся храп. Похрустывала солома, когда спящие поворачивались во сне.

— Ты спишь?— спросил Симон.

— Нет еще.

— Я хочу тебе сказать одну страшную глупость: когда вокруг нас... вот так, как сейчас, есть люди... я... я очень боюсь смерти... Это тоже романтика, да?

— Только круглые идиоты и люди, которым опостылела жизнь, не боятся смерти,— сказал Прево. Он иронически хмыкнул:— Какая глубина мысли, а?! Мальро, да и только!

— Мальро мне очень помог,— сказал Симон.— Хотя в его книгах действие разворачивается всегда где-то далеко... Ты понимаешь, что я хочу сказать: в его книгах люди умирают в горах Испании или в Китае. И всегда так красиво...

Кто-то крикнул:

— Да заткнитесь вы, черт возьми!

Симон натянул до подбородка шершавое отсыревшее одеяло, от которого пахло дезинфекцией. Тюфячок был такой тонкий, что у Симона заболели бока. Он вспомнил, что скоро у него будет городская квартира и Камилла приедет к нему. Он прошептал: «Любимая, моя нежно любимая!..» Потом ему привиделась война. Он — уже труп. Еще один крест среди миллионов крестов. Как быстро пролетела молодость! Он даже не успел осознать, что часть его жизни уже прошла.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
1940

НА БЕРЕГАХ ЛУАРЫ

Прево взял валявшуюся на земле лопату и принялся копать.

— Что, Рыжий,— спросил Симон,— все веришь в силу личного примера?

— А почему бы и нет?

По окончании специальной военной школы в середине мая 1940 года несколько человек — в том числе и они — были направлены на распределительные пункты Парижского района, где командование пыталось сколотить остатки подразделений, а также собрать отдельных солдат, отступавших к югу после того, как немцы прорвали фронт. Борд и Прево оказались вместе в маленьком городишке, где возле каждого дома был огород. Они с грехом пополам организовали на дорогах заставы, у которых дремали солдаты из разных частей, чье настроение можно было выразить одной фразой: «И какого черта мы тут торчим?» Симон подписывал какие-то бумаги и проводил утреннюю поверку. Время от времени он устраивал своему взводу пробежку вдоль огородов с ранними овощами, где так приятно пахло лошадиным навозом. Небо было голубое, совсем такое же, как прежде, вокруг пели птицы. Солдаты болтали, неторопливо бредя по дороге. Однако при входе в городок они подтягивались и шли, чеканя шаг, как положено по уставу. Однажды им навстречу попался капитан, и Симон услышал вполне заслуженное «Отлично, ребята!», о чем он имел неосторожность рассказать во время обеда. Ну и смеху же было! Обедали они в банкетном зале одного кабачка, куда парижане по воскресеньям приезжали танцевать, и кормили их, по мнению всех, отменно. Симон дважды в день встречался здесь с Прево. Пообедав, они выходили на шоссе выкурить сигарету и, как правило, продолжали разговор, который начали еще в казарме Клебера и который изматывающая, строгая дисциплина военной школы вынудила их прервать. До конца мая оба считали, что война развертывается так, как и предполагалось,— иными словами, по плану, сходному с тем, по которому протекала война 1914 года: немцы нарушают нейтралитет Бельгии, теснят застигнутых врасплох французов, вторгаются на север Франции, но третья битва на Марне останавливает противника. После этого начинается позиционная война и т. д. и т. п. При таком положении вещей их роль была ясна. Их держат в резерве для битвы на Марне. Неподготовленность к войне, которая ощущалась сейчас на каждом шагу, отнюдь не походила на то, что было зимой, когда шла «странная война»,— нет, это был беспорядок, царящий

обычно на фронте при перегруппировке сил, беспорядок, предшествующий внезапному маневру, который должен принести спасительную победу. Симон больше не ощущал беспокойства. Страх смерти неожиданно покинул его в ту минуту, когда, столкнувшись на лестнице с лейтенантом-инструктором, оглушительно крикнувшим: «Боши вошли в Голландию!», он узнал, что началась настоящая война. Так успокаивается человек, узнав, что несчастье, которого он давно ожидал, разразилось. Остается только закрыть глаза и ждать. И Симон готовился к третьей битве на Марне. Ничего другого не оставалось. Эта война, начавшаяся так нелепо, наконец становилась настоящей войной.

Они испытали первую бомбежку, кстати, предназначавшуюся не для них. Они в это время завтракали в кабачке, и оконные стекла добрых пять минут сотрясались от взрывов. Никто не поднялся из-за стола, лишь краешком глаза каждый наблюдал за соседом, желая посмотреть, не побледнел ли тот. К всеобщему удивлению, побледнел капитан. А ведь он был еще под Верденом! Должно быть, он испугался внезапно оживших воспоминаний. А потом люди от всего устают... Все побежали смотреть на опустошения, произведенные бомбежкой. На дороге валялась мертвая корова, вся в крови и навозе.

— Невинная жертва людского безумия,— заметил Прево.

— Первый мертвец, которого я вижу на этой войне,— заметил Симон.

В начале июня представления о ходе войны пришлось пересматривать. О битве на Марне не могло быть и речи. Тогда, значит, битва на Луаре? Это уже походило на семидесятый год. Приказ гласил: «Добирайтесь до Луары, как сумеете и на чем сумеете». Симон объяснил своим людям положение дел, но при виде их радости — еще бы, ведь они будут отступать на юг! — у него не хватило духу сказать, что им вменено в обязанность занять рубежи на Луаре. Он сказал только, что они отступают к Луаре.

Они на грузовиках обогнули с юга Париж и проехали в двух километрах от Сен-Реми. Камилла эвакуировалась из города с предприятиями Минтодоль, где она по-прежнему работала секретаршей. Только тут Симон ощутил горечь поражения. Париж опустел для него: любви его там уже не было. А пригород умирал, отходя в прошлое вместе с голубятнями, над которыми кружили растерянные голуби, и распахнутыми настежь кроличьими клетками. И Симон вдруг с болью осознал, что этот мирок — мирок Сен-Реми — уничтожен навсегда. Симон совсем не любил его, но вместе с ним отходила в прошлое и его юность.

Между Сеной и Луарой они растеряли по небрежности половину личного состава, вверенного их попечению. Сундучок Симона исчез вместе с пикапом, на который он его поставил. Но исчезновение этого металлического ящика, выкрашенного зеленой краской, по которой крупными белыми буквами было выведено «С. Б.», служило как бы символом того, что отошла в прошлое и «война по Аполлинеру», как называли ее Симон и Прево из-за одной аполлинеровской строчки, которую они назойливо твердили, словно припев: «Мой бог, как война красива!» От этой войны у Симона остался лишь провиантский мешок да револьвер в новенькой желтой кобуре. Он не раз забавлялся, играя револьвером, таким же ненужным, как шпага академика. Голубоватая сталь блестела. Оружие было отлично смазано. Как-то вечером Симон выпустил две пули в спокойную гладь лужи. По наивности он вообразил, что это произведет такой же эффект, как взрыв гранаты. Но лишь две-три лягушки выпрыгнули из воды и нырнули обратно.

На Луару Симон и его взвод выбрались в районе юго-восточнее Орлеана. Они шли, избегая шоссе, запруженные беженцами, над которыми кружили вражеские самолеты, оставляя после себя высокие стол-

бы черного дыма. Ничем не связанные, ловкие, не обремененные ни женами, ни детьми, сытые, солдаты легче переносили войну, чем гражданское население. Какой-то полковник, еще, видимо, сохранивший присутствие духа, приказал взводу Симона занять правый берег реки. Никто толком не знал, где они находятся.

— Окопайтесь,— сказал полковник.— Берите всех штатских, которые захотят остаться. Но никого не принуждайте силой...

Солдаты окапывались не торопясь, иные вовсе ничего не делали. Поэтому-то Прево и взялся за лопату, чтобы подать пример.

— Схожу-ка я в деревню,— сказал Симон.

Он стал спускаться в долину. Его подбитые гвоздями башмаки топтали ландыши во мху. Весенний воздух пьянил Симона. Раза два или три он повторял про себя: «Мой бог, как война красива!»

Прево остался один на один с каким-то парнем, который тупо смотрел на него. Прево и за лопату-то взялся, чтобы заразить его своим примером. Он не знал этого человека и решил испробовать на нем могущество своих новеньких нашивок.

— Ну кому это нужно? — буркнул вдруг парень.— Кому это, черт возьми, нужно?

— Чего ты там ворчишь? — обратился к нему Прево.— Все равно нам торчать здесь до утра. Ведь если какие-то мосты еще и уцелели, то они находятся под обстрелом. Значит, надо делать то, что положено!

— А для чего делать-то? — заметил парень.— Послушайте, господин лейтенант, неужели вы думаете, что мы их здесь остановим? Это же ерунда! Битва на Луаре, что ли?

Прево пожал плечами, продолжая копать. Но все-таки ему стало немного легче оттого, что парень назвал его «господин лейтенант». Таких почестей он не ожидал.

— Они ведь к самому Парижу подкатились, так, что ли? — продолжал парень.

— Париж,— сказал Прево,— это еще не вся Франция.

— А я парижанин,— отрезал солдат,— значит, если они в Париже, сами понимаете...

У него было красивое мрачное лицо, обрамленное круглой бородкой.

— Вы что, не слушаете радио?

— Слушаю,— сказал Прево, хотя на самом деле ничего не слышал,— но я плюю на такие вещи.

— Одни мы, вот что,— сказал солдат.

— Кто это мы?

— Французы,— пояснил солдат.— Старая история: англичане, как всегда, смылись, а русские стакнулись с бошами.

— Оставь русских в покое,— сказал Прево.

— А я их и не упрекаю,— заметил парень.— Они не такие дураки, как мы.

Прево промолчал. Он глубоко вобрал в легкие теплый воздух. Пахло свежей водой и садами. Вдали медленно текла река, огибая песчаные отмели, позолоченные заходящим солнцем.

— Почему ты не окапываешься? — спросил он, стараясь говорить возможно убедительнее.— Вечером, если начнется бомбежка, ты еще как обрадуешься этой дыре.

— Нехорошее здесь место.

— Что поделаешь: не мы его выбирали.

Парень внезапно повернулся и, не попрощавшись, зашагал вдоль орешника к деревне.

— Так,— промолвил Прево.

Он почувствовал, что вспотел, и опустился на землю; положив лопату между ног, он провел рукой по влажному лбу, на котором слой пыли, смешанной с потом, образовал подобие маски. «Бордель! Форменный бордель!» — прошептал он.

Когда Симон вошел в деревню, жителей там почти не оказалось — хозяйничали одни военные. Все эти люди, которые несколько часов назад брели куда-то, не зная зачем, сейчас, казалось, обрели цель: они устраивались на ночлег. Несколько грузовиков стояло на площади вокруг памятника погибшим.

— Неплохую вы тут создали мишень,— заметил Симон.

Никто не отозвался.

— Я ведь для вашего же блага говорю,— добавил он, нарочито усталым жестом взмахнув рукой.

— Не станем же мы торчать тут до бесконечности,— заметил кто-то.

— А как на войне бывает, сами знаем. Вдосталь нагляделись. Правда, мальчики?

— Еще бы,— буркнул один из шоферов.

Симону вдруг стало стыдно за свою еще совсем новую форму, на которой война оставила единственный след — круги под мышками. Какое, собственно, он имеет право учить этих людей, которые отступают от самой Бельгии? И ему страстно захотелось хоть раз побывать в огне. Миллионы людей, мирное гражданское население — женщины, дети, старики,— ощутили на себе дыхание смерти, а он... У него есть форма, каска, новенький револьвер — револьвер, которым он еще ни разу не пользовался, если не считать двух пуль, выпущенных в сонную гладь лужицы и потревоживших лишь буколических лягушек... Тут он вдруг заметил, что у входа в мэрию начал собираться народ, толпа росла, как она растет на улице, где только что произошел несчастный случай, объединяя людей, которые до этой минуты существовали каждый по себе. В толпе у многих были какие-то обновленные лица, будто в них вдохнули жизнь. Иные стояли понуро, с потухшим взором, еще более мрачные, чем те солдаты, что бродили по улицам или преследовали бездомных кур.

— Что случилось? — спросил Симон.— В чем дело?

— Говорят,— отозвался кто-то,— что русские объявили Германии войну. По радио передавали.

Сердце у Симона вдруг забилось медленнее, глуше.

— Вы в этом уверены? — спросил он.

Слова с трудом сходили у него с языка.

— Может, оно и неправда, но так по радио передавали.

— Кто-нибудь сам слышал?

— Конечно, слышал.

В голове у Симона стоял гул.

— Это все меняет,— заметил кто-то.

— Если это правда, значит, черт побери, снова придется тянуть лямку.

Тот же голос звучал и в душе Симона. Голос этот твердил: «Значит, война не кончится. Произведут перегруппировку сил, и ты не увидишь Камиллы»,— заглушая другой голос, шептавший, что теперь все будет в порядке. Симон не решался поверить услышанному.

— Все логично,— заметил кто-то.— Этого следовало ожидать.

Симон медленно пересек площадь, не слыша нарастающего гула голосов. Все новые люди бежали к мэрии.

У опушки орешника, уже окутанного мглой, Симону вдруг послышались звуки «Интернационала», но он тотчас понял, что «Интернационал» звучит у него в душе.

НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ

Симон твердил про себя: «Не может быть, не может быть. Это невероятно!» Потом неизъяснимое волнение овладело им, и он бросился бежать, чтобы первым сообщить новость Прево. На пригорке, где не было деревьев, еще царил день. Прево был один, он лежал на боку в траве и курил. Над золотой рекой носились стрижи. Симон крикнул:

— СССР вступил в войну!

Прево рывком вскочил, отшвырнул в сторону сигарету.

— Что ты болтаешь? Ты в этом уверен? — голос изменил ему.— Откуда... откуда тебе это известно?

— Я узнал в деревне, передавали по радио.

— Ты сам это слышал?

— Да,— не моргнув глазом ответил Симон.

В эту минуту ему действительно казалось, что он сам это слышал.

Прево надел каску, сжал руками лоб.

— Голова идет кругом,— сказал он.— Но признайся: я ведь никогда не сомневался, что так оно и будет. Помнишь, что я говорил тебе, когда мы служили во взводе? Помнишь? — Он обнял Симона за плечи.— Ах, старина, до чего же я рад! Значит, в тридцать девятом не могли они поступить иначе. Это было необходимо. Но то, что произошло сегодня, мне куда больше по душе! Ах, черт возьми, черт возьми! Пошли в деревню...

— А где твои молодцы?

— Пасутся где-то на природе... В общем, это понятно: сердце у них не лежало ко всей этой кутерьме. Но теперь ты увидишь, что будет! Ты увидишь, какая произойдет перемена! Увидишь! А до чего наши товарищи будут довольны! Но ты уверен, что это правда?

— Я же сказал тебе, что передавали по радио...

Они пошли вниз по тропинке, глубоко увязая в мелком песке. За одним из поворотов Луара предстала перед ними уже не золотой, а серебряной лентой. Рыбки, блеснув, выпрыгивали из воды.

— Хотелось бы мне жить в деревне,— заметил Симон.— Ходил бы на рыбалку, вечером возвращался бы домой в сопровождении пса.

Оба рассмеялись.

До слуха их донесся треск моторов — шли грузовики.

— Двинулись,— заметил Прево.

— Ты считаешь, что все уже изменилось?

— Конечно,— сказал Прево.— Если только известие не ложное... Ведь могли пустить утку, чтоб посмотреть, какая будет реакция. Выявят кого надо, а потом... Пожалуйте сюда, господа хорошие... Не говоря уже о том, какое это вызовет разочарование и как отрицательно скажется на отношении к СССР...

Внизу по дороге, уже окутанной сумраком, в какой-нибудь сотне метров от них двигалась колонна грузовиков, урчали моторы, скрежетали тормоза.

Приятелям показалось, что под брезентом они различают пушки. Они замедлили шаг, затем остановились. Симон подумал, уж не стремится ли он подсознательно отдалить наступление минуты, когда в деревне они узнают правду.

— Знаешь,— наконец сказал он,— я ведь, собственно, не сам слышал радио. Но ребята-то все-таки слышали...

— Значит, ты не слышал? — спросил Прево.

— Я и сам не знаю, слышал я или нет,— сказал Симон.— Ты же знаешь, как становятся известными такие новости...

— Запомни одно,— сказал Прево,— если сегодня это еще неправда, то рано или поздно это все равно произойдет...

До них долетели звуки взрывов — они следовали один за другим.

— Где Орлеан? — спросил Симон.

— Слева от нас,— ответил Прево.— А что?

— Далеко отсюда?

— Да километров двадцать, по-моему.

— Тогда был бы виден собор,— заметил Симон.

Он отломил ветку орешника и стал обдирать кору.

В небе загорелись звезды. Услышав звук самолетов, приятели подняли голову.

— Вот свиньи,— сказал Симон.— Развлекаются! Для них это действительно красивая война. А мы сидим как нищие: у нас ничего нет...

— Не говори так,— перебил его Прево.— Ну, что мы, собственно, знаем? О том, как все было на самом деле, станет известно лет через десять или двадцать, когда историки изучат вопрос. А сейчас мы можем только предполагать. Догадываться по слухам... Мы же ничего не знаем...— Он вздохнул.— Как видишь, я все-таки правильно поступал, решив окапываться... Пошли...

Спустившись на дорогу, они некоторое время шли вдоль колонны грузовиков. Никаких пушек на грузовиках не оказалось. Люди, сидевшие в машинах, перекликались друг с другом, но рев моторов заглушал их голоса. В воздухе висел густой запах бензина и пыли. Стояла светлая июньская ночь: под брезентовыми навесами видны были хмурые лица. Симон машинально похлопывал по ноге веточкой орешника.

— Наверно, это неправда,— заметил Прево.— Иначе они бы знали.

— А может, они и знают?

— Нет,— сказал Прево.— Они вели бы себя иначе. Все было бы иначе. А это — все то же, что мы уже видели...

У въезда в деревню дорога делала крутую петлю, возле которой образовалась пробка. Большим грузовикам приходилось маневрировать, чтобы дважды развернуться. Какой-то младший чин, размахивая карманным фонариком, что-то кричал, но слова его тонули в грохоте грузовиков, то включавших, то выключавших скорости. Симон и Прево прижались к стене какой-то фермы. Один из грузовиков неожиданно дал задний ход. Люди, сидевшие под брезентом, закричали, зачертыхались.

— Что такое? — воскликнул Симон.— Что такое? В чем дело?

Он увидел при свете фар изодранную в клочья афишу, оповещавшую о том, что летом здесь гастролировал цирк. Прошло несколько секунд, прежде чем он заметил среди группы жестикулирующих, толкающихся людей Прево, лежавшего на земле почти у самых его ног.

— Задело его,— сказал кто-то.— Эх, черт! Надо же было так задеть! Придется отнести его на ферму.

Симон услышал еще, как кто-то сказал:

— Жив пока. Внутреннее кровоизлияние. В таких случаях ничего не поймешь. Он еще дышит. Но протянет недолго. И чего он здесь торчал?

Симон настолько оторопел, что ничего не чувствовал. Он машинально пошел за солдатами, которые подняли Прево и понесли его на ферму. Он услышал, как кто-то сказал: «Вы мне испачкаете одеяло!» — «Ну так сними, бабушка, одеяло. Да поживее, черт подери!»

Крестьянская кровать оказалась чересчур высокой. Пришлось уложить Прево на три соломенных стула. В комнате горела лишь крохотная керосиновая лампа и было почти темно.

— Вот уже два дня, как нет тока,— сказала женщина.— Я никуда не пошла. Слишком я старая. А скотина вся разбежалась.

— Вот скупердяи,— заметил один из солдат,— только и думают о своей мошне!

— Боюсь, что ему ничем нельзя помочь,— сказал кто-то, обращаясь к Симону.

Только тут Симон увидел лицо Прево, перепачканное землей, смертельно бледное под шапкой рыжих волос, и понял, что произошло. Он нагнулся к раненому и в тревоге прошептал:

— Рыжий! Рыжий! — Симон ведь никогда не звал его по имени. И тихо добавил:— Но какой идиотизм! Какой идиотизм!

Он взял помертвевшую руку, свисавшую с импровизированного ложа, приподнял ее и осторожно сжал ладонями.

— Вам, может, чего-нибудь надо? — спросила старуха.— Только вот горячего у меня ничего нет.

Симону показалось, что грудь Прево слегка приподнялась. Он нагнулся к нему и, приблизив губы к самому его уху, перепачканному кровью, прошептал:

— Знаешь, Рыжий, а слух-то подтвердился! Насчет России — подтвердился!

Впоследствии он не раз убеждал себя, что в эту минуту на побелевших губах промелькнула легкая улыбка.

Старуха подошла к ходикам.

— Что вы делаете? — спросил Симон.

— Так уж положено.

И она остановила маятник. Человек, сказавший, что Прево уже ничем нельзя помочь, спросил Симона, знает ли он покойного.

— Да,— сказал Симон,— это мой товарищ.

Только тут Симон заметил, что у спрашивавшего фельдшерские нашивки.

— В таком случае, возьмите его документы.

— Хорошо,— сказал Симон, но не двинулся с места, потрясенный внезапностью случившегося; в его представлении это никак не вязалось с тем, что может произойти на войне.

— Вы здесь один? — спросил фельдшер.

— Фактически да,— сказал Симон.

— Хотите, я возьму вас с собой? Здесь нам больше нечего делать.

— Спасибо,— сказал Симон.

Он постоял еще немного, глядя на покойника. Он пытался собрать воедино все воспоминания о Прево, но, потрясенный новым для него зрелищем внезапной смерти, не мог сосредоточиться. Наконец образ Прево, стоящего на авансцене желтого зала в Бельвиле, возник в его памяти, и тут же возник другой образ — образ пены, поднятой винтом «Потемкина». Слезы застлали Симону глаза. И он поспешно вышел, забыв взять документы покойного.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ
1944

РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ

Когда подъезжали к Мелэну, стало совсем темно, зажглись синие лампочки, поезд замедлил ход, затем с лязгом и грохотом остановился. Где-то далеко впереди пыхтел паровоз. Под чьими-то поспешными шагами посыпались камешки насыпи. Зазвучали голоса, эхом раскатывавшиеся по ночному, безмолвному лесу. Пассажиры сразу разобрали немецкую речь. Разговоры прекратились, каждый думал о своем. Шаги замерли. Кто-то в купе прошептал:

— Это не за нами.

Сердце Симона глухо билось, дышать стало трудно. Он вспомнил, что в Лион-Перраше видел, как в вагон вошел человек с двумя новенькими чемоданами, в котором он признал одного из связных Бюзара. Хорошо все-таки, что существует такой Бюзар. Значит, в иных случаях безрассудство оправдывает себя. Бюзар занимается изготовлением и распределением фальшивых документов, словно речь идет об устройстве чужих любовных дел. И пока что все сходит ему с рук...

Шаги и голоса снова стали приближаться. Кто-то открыл дверь их вагона.

— Это за нами,— прошептал сосед Симона.

Шаги раздались в коридоре — застучали кованые сапоги. Симон подумал, что это, пожалуй, не так страшно. Раз идут военные, пусть даже эсэсовцы, значит, просто проверка документов. Едва ли они ищут кого-то. Да, но зачем, в таком случае, остановили поезд среди леса?

Луч электрического фонарика скользнул по купе, и в дверном проеме возник силуэт жандарма. На его широкой груди поблескивала медная бляха. От жандарма пахло хорошим табаком, это был запах довоенный, почти забытый.

— Всем оставаться на местах! — приказал он.

У него была ленточка за участие в русской кампании. Вдруг он щелкнул каблуками и посторонился. В дверях показался офицер. Высокая фуражка, серые перчатки. У него тоже была ленточка за участие в русской кампании.

— Попрошу документы,— сказал он.

Говорил он почти без акцента. Симон смотрел на него, как завороженный. За эти три года он видел сотни таких офицеров и всякий раз испытывал одно и то же ощущение. Иные пытались утверждать, что это пешки, что можно пройти мимо такого и не заметить, но это неправда. Просто люди хотят убедить себя, что присутствие немцев ничего не означает, что поражения вроде бы и не было. Но это неправда. Весь облик офицера, его манеры до смешного походили на то, каким, по мнению Симона, и должен быть немец-военный. Хотя офицер щеголял в современной форме, это был типичный всадник-рейтар средневековых религиозных войн. Из-за плеча такого всегда торчит холодный лысый череп смерти. Вот офицер берет чьи-то документы, первые попавшиеся. И почти все пассажиры выдавливают из себя улыбку. Настанет день, когда эта неуместная улыбка исчезнет со страниц истории. И будут показывать назидательные фильмы, где скромная француженка, выполняющая задание некой подпольной организации, гордо и дерзко протягивает документы немецкому офицеру, потрясенному ее красотой. Так надо. А тот фильм, который мог бы быть снят сейчас, 23 апреля 1944 года, в купе курьерского поезда Лион — Париж, ни для кого не будет интересен. Офицер вежлив. Возвращая документы, он говорит: «Мерси». И даже: «Весьма благодарен». Один раз он произнес эту фразу по-немецки. Но тут же повторил ее по-французски. Чемоданами он не интересуется. Он не велит жандарму стать на четвереньки и проверить, что лежит под сиденьями, хотя обязан был бы это сделать. Он не замечает, что у пассажира, сидящего справа от Симона, как раз такой профиль, на который в инструкциях по расовому вопросу рекомендуется обращать особое внимание. Его, наверно, давно уже перестали интересовать идеи, которые он нес в себе утром 22 июня 1941 года, когда переправлялся через Буг в каске, украшенной зеленью, намереваясь красиво повоевать жарким летом среди горящей ржи. Но все, что положено делать, чтобы его не отозвали из Мелэна, он делает. И делает весьма тщательно, так что его ни в чем нельзя упрекнуть. Сейчас он держит в руке, обтянутой перчаткой, документы печального человечка с вымученной улыбкой, который сидит справа от Симона.

— Прошу вас: год и место рождения?

Видно, он из бывалых. Он знает, что люди иногда забывают выучить наизусть данные фальшивых документов. Все купе смотрит на печального человечка.

— Пятнадцатое мая тысяча девятьсот пятого года, Руан,— отвечает человечек. Он произносит: «девьятьсот».

— Мерси,— говорит офицер, поворачивается и уходит.

Человечек закрывает глаза, с его лица сползает улыбка. «Надо было ему выбрать другую дату,— думает Симон,— ему трудно произносить «девятьсот». Да, но и «восемьсот» было бы, пожалуй, не лучше. Он бы и на этой цифре споткнулся. Так что — все едино». Жандарм берет под козырек и закрывает дверцу купе.

— Фу, какая ерунда, а мы-то волновались! — произносит кто-то.

Жизнь возвращается в свою колею.

— А мне после таких штук всегда есть хочется. Хотя, казалось бы, пора и привыкнуть...

— Думаете, мы теперь тронемся?.. Ведь они, наверно, кого-то ищут. А потом они проверяют пути: нет ли бомб... На этой линии однажды уже взорвали поезд. Пассажирский, конечно. Я лично считаю это возмутительным. Пусть дерутся между собой, а людей оставят в покое. Люди ничего не требуют, лишь бы их оставили в покое.

Симон пытается угадать, кто из пассажиров завладел разговором. Взгляд его падает на человека упитанного, с благодушной физиономией. Не слишком толстого. Просто упитанного и здорового. В петлице у него розетка ордена Почетного легиона и еще какой-то значок.

— Да, но на войне,— осторожно замечает Симон,— бывает, что собственная артиллерия стреляет по своим.

— Позвольте, мосье, какая же это война? Что такое война я знаю, но это же не война. Сплошной идиотизм. А вот, полюбуйтесь, и результат...— И он указал большим пальцем за окно, на черную ночь и лес, словно это остановка курьерского поезда Лион — Париж в лесу Фонтенбло и вызванное ею опоздание — единственный результат деятельности движения Сопротивления.— Вот полюбуйтесь...

Симон отводит взгляд и молчит. Все молчат.

— Нда,— произносит кто-то,— будем надеяться, что этому скоро придет конец.

— Теперь уже недолго осталось.

— Вот увидите, они непременно что-нибудь придумают. У них есть секретное оружие.

— Да, но в России...

— Ну что им стоит рискнуть! Черт побери! Будь я на их месте, двинул бы я миллион парней на узком участке фронта и... Первые двести тысяч сложили бы головы, а остальные прошли бы.

— Однако вы смело шагаете!

— На войне нельзя иначе.

— А вы сами-то знаете, что такое война?

— Да, но кого вы, собственно, имеете в виду? — спросил Симон.— Этот миллион парней, кто они?

— Ну... Вы прекрасно понимаете, кто.

— Хорошо, что вас никто не слышит,— заметил, обращаясь к новоявленному стратегу, кавалер ордена Почетного легиона.

— А мне плевать, слышат меня или нет,— заявил стратег.

— До поры до времени...

— До любой поры...

— Ну, браво, браво!

— Да, но вы говорите, что двести тысяч парней сложат головы, а остальные пройдут. Вы отдаете себе отчет в том, что вы предлагаете?

— Что ни говорите, а русские — храбрый народ. Они не дорожат жизнью, совсем как сенегальцы... Так что почему бы и не попробовать...

— А нас в сороковом году как раз и погубила любовь к жизни. Впрочем, это вполне естественное чувство, правда? Говорите что хотите, а у нас во Франции был рай земной.

— Да, но они не похожи на нас, у них другое отношение к жизни...

— И все же без них...— заметил Симон.

— Без них война бы кончилась два года назад,— заявил кавалер ордена Почетного легиона.— У нас уже был бы мир.

— Это вы так считаете!

— Да, а вы как считаете? Вы считаете, что было бы лучше, если бы война кончилась?

— А разве все так не считают?

— Но вы не только считаете, а даже говорите об этом. Как же, по-вашему, она должна кончиться?

— Кончится — вот и все.

— Пусть они сами между собой договариваются.

— Кто это они?

— Фрицы и деголлевцы.

— Именно этим они и занимаются, разве не так?

— Я только хочу сказать, что они нам осточертели. Во-первых, кому это нужно? Это все равно что колоть иголкой слона.

— Да, но у этого слона ноги отморожены.

— Некоторые считают, что они умнее всех!

— Что, уж и пошутить нельзя?

— Не во Франции мы, что ли?

— Можно подумать, что не во Франции!

— Вот в девятьсот четырнадцатом — восемнадцатом это была война!

— А сейчас что же, не война?

— Война, да еще какая!

— Не преувеличивайте: самая обыкновенная война!

— Вы уж слишком разболтались. Как бы это вам не повредило.

— Вы ведете себя, точно ученики на переменке,— заметил Симон,— классный наставник вышел, вы и расшумелись.

— И все же, когда взлетает на воздух поезд с французами, это довольно противно.

— Я, например, никогда не слушаю радио. Поживем — увидим.

— Никогда этому не будет конца. Одна война кончится, другая начнется... И так каждые двадцать лет.

Все они думают: «Ох и долго же тянется эта свистопляска!», хотя большинство сидят в надежном укрытии и носа из него не кажут. Только когда это укрытие — не дай бог — заденут, они вспоминают, что там, за его стенами, идет война, там дерутся люди, которым негде укрыться. Тогда они говорят: «Ох и долго же тянется эта свистопляска!» Они сейчас знают наизусть названия, которые с годами забудут: Орел, Великие Луки, Курск, Воронеж. Они запомнили их в тот вечер, когда, прильнув ухом к приемнику, слушали радио. Они забудут их, когда больше не нужно будет сидеть, прильнув ухом к приемнику, когда вернутся хорошие времена.

Разговор возобновляется — все тот же, однообразный, тревожный: «Ну, чего мы тут торчим?»—«Не понимаю, почему они обстреливают пассажирские поезда!»—«Американцы бросают свои ядрышки куда попало, а вот англичане, заметьте, те более корректны. Они метят в паровоз».— «Нет, это просто глупо стоять здесь».— «Вы представляете себе, как сверху должен быть виден огонь в паровозной топке!» — «Синие

лампочки тоже достаточно хорошо видны».— «А мы услышали бы, если б в Мелэне завыли сирены?» — «Еще бы, конечно!» — «А вот когда мою сноху убило во время налета, сирены завыли только через пять минут!» — «Во Франции всегда так, сплошная бестолковщина. Тут уж ничего не поделаешь».

«Если я умру за Францию,— думал Симон,— как умерли эти безымянные солдаты, что вылиты из бронзы на памятниках погибшим, значит, я умру и за этих людей. А в эту минуту, возможно, забирают связного Бюзара. И тащат куда-то. Бьют по лицу. Тычут в спину дулом автомата... Этот кавалер ордена Почетного легиона, судя по физиономии, очевидно, предпочел бы жить при Муссолини только потому, что в Италии поезда, говорят, приходят вовремя. Пройдут годы. На могиле связного Бюзара установят мраморную дощечку. Потом мрамор зарастет мхом. Офицер в серых перчатках приедет провести отпуск в Мелэн, он будет показывать своим детям Мелэн и Париж. Ах, Париж!.. У него выступят слезы на глазах, когда он увидит Париж, потому что с этим городом связаны воспоминания о лучших днях его жизни, когда каждая прожитая минута воспринималась как бесценный дар! Такова жизнь».

Поезд, лязгнув буферами, медленно тронулся с места. Симон встал, направился к двери. Ему хочется знать, что сталось со связным Бюзара.

— Куда вы: там не пройдешь!

— Я хочу немного размяться. А то здесь задохнуться можно.

Разговор в купе наполнил Симона чувством неизъяснимой горечи. «Вот она, Франция!» — невольно прошептал он. И тотчас упрекнул себя за это. В коридоре он наткнулся на худенького человечка в форме полицейского.

— Давненько не видал сардин в банке,— заметил полицейский.

Симон промолчал. Полицейскому, видно, было очень одиноко, и он, как умел, напрашивался на разговор.

— Мы здесь точно сардины в банке,— пояснил полицейский и рассмеялся, как бы поощряя Симона поддержать беседу.

Симон пожал плечами.

— Вы что, глухой, что ли?

— Я не понял, о чем это вы.

Симон стоял так близко от полицейского, что чувствовал запах бриллиантина, которым были намазаны его волосы, и запах шерсти, из которой сшита его новенькая синяя форма.

— Я говорю,— повторил полицейский,— что мы здесь точно сардины в банке. Вы что, не знаете, что такое сардины?

— Нынче редко приходится вспоминать о таких вещах.

— Ах, мосье, видимо, не доволен снабжением? Мосье сожалеет о добрых старых временах?

— Дело в том, что я не люблю сардины,— безразличным тоном сказал Симон.— Желудок не принимает.

Это был, конечно, удачный ответ, один из немногих возможных.

Но полицейский явно заинтересовался.

— Вот чудно: я ведь тоже не выношу сардин.

«Сродство душ»,— подумал Симон.

— Позвольте пройти. Природа предъявляет свои требования.

— Проходите,— неожиданно миролюбивым тоном сказал полицейский.

Симон взглянул на его лицо. При унылом свете, царившем в коридоре, он увидел белое пятно, обрамленное черными блестящими волосами, выложенными фестоном на лбу, лицо, напоминавшее рекламы времен чарльстона и открытых автомобилей, какие были в ходу после той войны. Словом, вышедшее из моды лицо. Коридор был забит пассажи-

рами, которые уже успели рассесться после проверки документов. Симон через кого-то перешагивал, извинялся. Его толкали. «А черт, и что только вам не сидится? Чего вы не видели? Мы ведь уже подъезжаем».— «Куда подъезжаем? Вокруг одни поля!» — «Какие поля! Это же пригород!» — «Ух, до чего надоели! Неужели не можете потерпеть? Это немцы на вас так подействовали?»

— Что вы сказали? — переспросил Симон.

Но он тотчас взял себя в руки и постарался забыть об оскорблении. Так надо. Что угодно, лишь бы избежать скандала.

Поезд снова остановился. Прильнув лицом к стеклу, Симон скорее угадал, чем разобрал при свете красного фонаря надпись на эмалевой дощечке: «Проход на вокзал по путям запрещен».

«Такая же дощечка висела в конце платформы на вокзале в Сен-Реми, но все, кто жил в той стороне, все равно шли по путям — рабочие с сумкой через плечо или стайка служащих, направлявшихся к каменным домикам с замысловатыми порталами, где оглушительно звенели в тишине позднего вечера звонки, будя злых собачонок, маленьких шавок, которых кормят всякой ерундой. Но к чему вспоминать об этом — тут нет ничего веселого, да и времена эти никогда не вернутся! Французские пригороды, населенные радикалами и радикал-социалистами, в июне сорокового года отошли в небытие. Хватит о них думать».

— Извините, пожалуйста.

— Не станете же вы беспокоить пожилую женщину?

— Нет, конечно, нет.

«Собственно, не все ли мне равно, забрали этого бюзаровского парня или нет? Бюзар и так об этом узнает, а ведь я все равно могу известить его только через сутки».

Пожилая женщина, которую нельзя беспокоить, сидит на чемодане и решительным голосом напоминает всем и каждому о том, что следует уважать ее возраст. Пробюс рассказывал в Тулузе, как на него работала одна семидесятипятилетняя старуха, которой поручили перевозить в чемодане взрывчатку. «Никто не заподозрит человека моего возраста,— говорила она.— А потом, лучше умереть вот так, чем у себя в кровати. Мне сейчас как будто снова двадцать лет. Вы понимаете, со смертью мужа жизнь потеряла для меня всякий смысл, а теперь я этот смысл нашла».

Разговоры возобновились. Шепотом. Уже несколько лет люди шепчут одни и те же слова. «Ну, чего они там копаются? Ведь мы теперь приедем после комендантского часа. И придется сидеть в зале ожидания до утра».— «Нет, в таких случаях они дают специальные «аусвайзы»*».— «Я, например, ни за что не пойду с их пропуском. Достаточно встретить обозленных патрульных или еще кого-нибудь...» — «Представляете, сколько мне придется топать с моими чемоданами: ведь я живу около Северного вокзала».— «Пахнет колбасой, причем не свиной и не из конины».— «Вы шутите!» — «Даже здесь слышно, что пахнет!» — «Дайте попробовать!» — «Их сила в организации, хотя, конечно...» — «Какая же это организация, когда я сам однажды слышал, как по радио объявляли: «Пассажиры с багажом выходят через боковую дверь. Пассажиры без багажа тоже выходят через боковую дверь». И вы называете это организацией? Я называю это идиотизмом».

Паровоз пыхтел, словно окончательно выбился из сил и дальше уже не сможет двигаться.

«Сколько времени мы тут стоим? По-видимому, бомбят подступы к Парижу. А когда они будут лететь обратно, увидят наш поезд. И сбросят на нас оставшиеся ядрышки. У них есть приказ не возвращаться с гру-

---

* Пропуска *(нем.)*.

зом. Поэтому на обратном пути они сбрасывают бомбы куда попало — лишь бы избавиться».— «Плевать им на все — ведь они не у себя дома. Вот англичане — те другое дело».— «Англичане плюют на нас. Насмотрелся я на них в Дюнкерке, так что вы уж лучше помалкивайте».— «Послушайте, красавица, сидите-ка там, где сидите: у нас тут в коридоре и без вас народу хватает!»

ЖЮСТИНА

— Но ведь я встала,— говорит красавица,— чтобы уступить место пожилой даме!

— Смотрите-ка! — тихо восклицает Симон.— Вот так встреча!

— Смотрите-ка! — повторяет она.

Им приходится разыгрывать удивление, потому что из всех возможных встреч эта, пожалуй, наименее неожиданная. Ведь Жюстина не меньше десяти ночей в месяц проводит в поездах. Симон познакомился с ней в Тулузе шесть или семь месяцев назад. Ему показалось тогда, что она в близких отношениях с Пробюсом. Это было на одном из тех обедов, которые они порой неосмотрительно устраивали, собираясь впятером или вшестером в задней комнате какого-нибудь ресторана. Но разве можно отказать себе в удовольствии тайком полакомиться рагу из гуся с бобами и выпить за дружбу, хотя и знаешь, что это безумие, что дверь, ведущая в заднюю комнату, может в любую минуту распахнуться, и тогда твоей жизни придет конец. Симон не запомнил лица молодой женщины, но у него в памяти остался ее образ. Так порой мы не в силах описать виденный портрет, знаем только, что при определенном освещении он на несколько минут вызвал в нас приятное, радостное чувство. А лицо Жюстины вызывало ощущение счастья.

— Я ездила к дочке.

— Я не знал, что у вас есть дочь...

— Ну как же. Она живет у бабушки. Да, собственно, что вы вообще знаете обо мне?

Симон смотрит на нее. При голубоватом свете лицо ее кажется театральной маской, а раз так, значит и разговаривать с ней можно, как с театральным персонажем. Под защитой этой маски она выступает на сцене, где они с Симоном играют каждый свою роль в декорациях, созданных войной. Появление немецкого патруля сразу вернуло словам и поступкам их истинную цену. Через двадцать минут поезд прибудет в Париж, и любая случайность при проверке документов может решить их судьбу. Поэтому надо чем-то заполнить оставшиеся минуты. Надо сыграть сцену, которая, возможно, окажется последней в этом спектакле. Фиолетовые губы Жюстины приоткрываются:

— Вы едете с юга?

— Нет, из Лиона.

«Вчера вечером, в Лионе, в который раз пришлось опять расставаться с Камиллой, смотреть на нее, стараясь навсегда запечатлеть ее образ,— теперь, после десяти лет совместной жизни, мне кажется, что я смотрю на нее так чуть ли не с самого детства. Поэтому глупо даже спрашивать, люблю ли я ее. Просто глупо. Камилла — моя жизнь. Она часть меня. Она неотделима от меня. Когда я расстаюсь с ней, она — моя тревога. А когда я уже расстался с ней, она — моя свобода».

— Не очень веселый город.

— Да,— соглашается Симон.— Зато красивый, как на гравюрах.

— Почему на гравюрах?

— Именно на гравюрах, а не на почтовых открытках. На гравюрах слегка порванных, чуть запачканных.— Симон понижает голос.— Это освещение очень смешно искажает лица.

— На кого же я, интересно, похожа?

— Ваше лицо похоже на маску. Вы... Я недостаточно хорошо помню вас по Тулузе...— Он улыбается.— Во всяком случае, сейчас это очень красивая маска...

Жюстина приподнимает брови и огорченно качает головой.

— Ай-ай-ай!.. Не прошло и минуты, как вы уже расточаете комплименты, да какие пошлые...

— Представьте себе, я ничуть не обиделся. До Парижа нам осталось двадцать минут. Поэтому я и решил сказать вам самое важное, самое бесспорное и то, что может доставить вам удовольствие...

— Не будьте фатом.

Тем не менее она улыбается. Лицо ее на одном уровне с лицом Симона. Они стоят, касаясь друг друга. Интересно, подумал Симон, какого цвета были бы эти серые лучистые глаза ночью, при свете свечей.

— Вот видите...

— Что вижу?

— Вы улыбнулись.

Она молчит. «Как все просто,— подумал Симон.— Что, собственно, нужно для того, чтобы подобные глупости имели успех? Нужна война, немецкий патруль, поезд, который в любую минуту может подвергнуться бомбежке, сознание, что тебя могут арестовать. И нужно, чтоб была Камилла. Если бы не было Камиллы, я не чувствовал бы себя так свободно. Я бы волновался. И действительно говорил бы пошлые комплименты. Но сейчас... сейчас я могу играть».

— О чем вы думаете?

«Вот это уже лучше. Она вступает в игру».

— О жизни,— отвечает Симон.— О вашей жизни и о моей.

— Какой счастливый случай свел нас вместе! Верно?

— Нет, это не случай. Это судьба.

Она приподнимает брови.

— Какая глубокая мысль! — Она больше не улыбается.— Не надо бросаться такими словами.

— А я и не бросаюсь. Ведь еще Наполеон сказал: «В наше время политика — это рок». Вы, может быть, считаете, что это не так? Тогда чего же вы хотите?

Жюстина отворачивается. Симон смотрит на ее профиль и находит его безупречным. Ему не стыдно восхищаться безупречной красотой. Вот если бы речь шла о любви — тогда другое дело. А пока он со спокойной совестью может восхищаться Жюстиной.

Она молчит. Поезд замедляет ход, скрипит, вздрагивает. Кто-то, подняв шторку на окне коридора, громко восклицает:

— Ну что это им дало! Должно быть, здесь отходит какая-то ветка!

Когда глаза привыкают к темноте, Симон видит за окном черную громаду паровоза, задравшего кверху колеса, похожего на животное с выпотрошенными внутренностями, застигнутое смертью на бегу.

У самого лица Симона — ухо и щека Жюстины. Он опускает глаза. Шепотом спрашивает:

— У вас все в порядке? А как поживают те, с кем мы ели рагу?

Она быстро поворачивает голову, и губы ее невольно касаются щеки Симона.

— Пробюс заболел,— еле слышно произносит она.

— Серьезно?

— Довольно серьезно.

— Врачи... французы?

— Нет.

— Давно?

— Да вот уже два месяца.

— В Тулузе скверный климат.

Он произносит это машинально, внезапно охваченный смутным страхом, боязнью ареста. Перед его мысленным взором с необычайной ясностью возникает лицо Пробюса, которого он едва знал, и вслед за тем возникает воспоминание об ужине в Тулузе, который кажется ему сейчас прощальным и каким-то особенно торжественным благодаря Жюстине и нежным взглядам Пробюса, обращенным к ней. Так или иначе, но ни о какой игре уже не может быть и речи.

— До чего же черная ночь,— замечает Жюстина.

— Не чернее всех прочих — обычная военная ночь... Извините меня, пожалуйста...

Жюстина искренне удивлена.

— За что же?

— Я прошу прощения... за эти пошлые комплименты... Я... я не знал.

Пассажиры засуетились, собирая и связывая свои немыслимые пожитки, поднялась толкотня, и Симона с Жюстиной бросило в объятия друг друга, как влюбленных в метро.

— Не будем говорить об этом,— сказала она.— Если вести такие разговоры, то жить не захочется. И потом это ни к чему. А главное, что вы, собственно, знаете?

Он молчит. В самом деле, что он, собственно, знает? Возможно, тогда, в Тулузе, Пробюс просто ухаживал за Жюстиной? Возможно, у нее есть кто-то другой?

— Да, вы правы. Это ни к чему.

Он пытается при голубоватом свете лампочки поймать взгляд запавших глаз Жюстины и вновь видит перед собой маску, которая только что так понравилась ему.

— Почему вы возмущаетесь, когда я говорю, что вы похожи на маску? Ведь здесь все в масках. Только что я столкнулся с полицейским... И у него на лице была маска... Только маска — глупая. При этом свете у каждого из нас проступает его подлинное лицо. Вы — шелковистый ночной зверек. Может быть, черная кошечка. Но я не осмеливался сказать вам об этом, потому что черные кошки приносят несчастье...

— Да, кроме тех, у которых на шее белое пятнышко... А у меня такое белое пятнышко есть...

— Правда?

— Конечно.

— Мне хотелось бы...

Она опускает в знак согласия ресницы, и губы их, почти соприкасавшиеся раньше, теперь при каждом толчке поезда обмениваются мимолетным поцелуем. Цель их путешествия уже не Париж, они уже не пассажиры поезда, который, возможно, мчится к бездне. Перед ними — жизнь, конечно, не вся жизнь, а лишь тот ее кусочек, который им отпущен: эта минута, этот вечер, может быть, эта ночь.

Продолжая игру, они уже целуются всерьез, надолго прильнув друг к другу.

— Мне нравятся твои губы,— говорит Симон.

— Вот об этом и надо сейчас говорить. Ты говоришь как раз то, что надо.

Он снова целует ее. Но он не может поднять руки, чтобы обнять ее. Они походят на влюбленных, которых часы пик застали в метро. Они просто незнакомые мужчина и женщина, они встретились, обменялись взглядом и, почувствовав взаимное влечение, не в силах ему противостоять, ослепленные, счастливые, устремились друг к другу.

Любовь, сказал Ленин, это куда сложнее, чем выпить стакан воды. И это правда. Но что-то в этом сравнении есть. Так после долгих блуж-

даний по пустыне, закрыв глаза, с наслаждением залпом выпиваешь большой стакан холодной родниковой воды. Наслаждение это рождено жаждой. Тем, что пришлось долго идти. Тем, что еще не скоро будет другой источник.

— Пообедаем вместе?

Она смотрит на него большими, серыми, неподвижными глазами.

— Если мы будем вместе обедать, значит, придется не расставаться до утра. Но в ресторан идти слишком поздно. У меня есть квартира...

— Ну, нет,— сказал Симон.— Видишь ли...

Она говорит ему прямо в ухо, потому что поезд отчаянно грохочет на стрелках, въезжая в предместье.

— ...На этой квартире никто еще не был. Я там только ночую. И я совсем одна.

Это весьма любопытная квартира, добавляет она. Там есть рояль и висят гобелены. Есть фотографии кинозвезд, коллекции репродукций, которые выходили приложением к «Птит иллюстрасьон» и среди которых есть портрет Сарры Бернар на деревянной ноге в костюме из «Орленка».

— Я люблю «Орленка»,— говорит Симон.— Это такая глупость! Просто потрясающе. А мы, маленькие людишки без чинов и орденов, шагаем и шагаем под барабанную дробь — там-там-тра-та-та-там.

Жюстина смеется.

— Вот из-за таких дурней, как ты,— шепчет она,— нам и вернули пепел Орленка, а из-за таких, как я,— переименовали театр Сарры Бернар.

Симон зажимает ей рот рукой.

— Да замолчи же, наконец.— Он обнимает ее за плечи и, прижавшись щекой к ее щеке, касаясь лбом холодного стекла, говорит: — Мы не можем выйти из вокзала вместе. Если комендантский час начинается в одиннадцать, мы можем встретиться возле уборной, что напротив Зоологического сада. Если же он начинается раньше, мы встретимся в зале ожидания.

Жюстина молчит.

— Вот и Париж,— говорит она.

— Да, вот и Париж,— шепотом вторит он ей.

«Больше стало синих лампочек. Пошли глухие стены, такие серые, такие облезлые, что и при дневном свете они так же сливаются друг с другом, как сейчас. Надо быть по-настоящему влюбленным в этот город, чтобы снисходительно смотреть на эти пригороды, до того жалкие, что война почти ничего не прибавила к их нищете. Она даже скрасила их, окутав той же атмосферой таинственности, что и сады Тюильри и остров Ситэ. Покров ночи, прорезанный огоньками синих лампочек, накрывает как богатые, так и бедные кварталы. Но это только так говорится. Расплачивается за все опять-таки Париж бедняков. Во время бомбежек погибают прежде всего те, кто живет подле сортировочных станций и заводов. Надо будет подсчитать потом по социальным категориям, сколько народу погибло от бомбежек...»

— О чем ты думаешь?

— О социальных проблемах.

Жюстина состроила детскую гримаску.

— А в мирное время... ты тоже занимаешься социологией?

— Нет, историей. Во всяком случае, хотел заниматься. А теперь...

Он берет в свои ладони руку Жюстины.

— Я люблю Париж,— говорит он.— Люблю его больше Франций. Ведь Франция это в конечном счете идея, абстракция. Ты понимаешь, что я хочу сказать? А вот Париж...

— Это потому, что ты провел здесь юность.

— Да, конечно. Но видишь ли, все, что было до войны... я никак не

могу связать это с настоящим... Только здесь, в Париже, я нахожу нити прошлого. Но не будем об этом говорить.

Жюстина пожимает руку, в которой лежит ее рука.

— Ты давно здесь не был?

— Да, со дня перемирия. Все это время я жил в Южной зоне.— И вдруг он добавляет: — Знаешь, давай выйдем из вокзала вместе.

Она прижимается губами к самому его уху:

— У тебя нет при себе ничего компрометирующего?.. У меня — нет.

— У меня тоже.

— Значит, мы свободны, как птицы.

— Как птицы.

Он пригибается к ее уху:

— Как тебя зовут по документам?

— Это тебе не обязательно знать. Больше того: ты даже не должен этого знать. Мы ведь не знакомы.— Она смеется.— Ты пристал ко мне в поезде. Ты ловелас. Немцам это нравится. Это им понятно. Лучшего объяснения для них не придумаешь. Они бы с удовольствием поменялись с тобой местами.

— А ты не отличаешься скромностью. И ты права. Я сейчас схожу за чемоданом и догоню тебя на перроне. Пристану к тебе. Буду назойлив. Буду отчаянно за тобой ухаживать. Меня интересуют только женщины — значит, политикой я не занимаюсь. Это вполне логично.

Она встряхивает головой.

— Ты мне нравишься: ты такой веселый...

— Вот тут ты ошибаешься. Глубоко ошибаешься. Если бы ты знала, до какой степени ты ошибаешься!

Он на секунду задерживает ее нежную руку в своей, потом выпускает ее пальцы и уходит, не обернувшись. Люди на его пути возмущаются. Все до предела взвинчены. От усталости и страха они стали гадкими, противными. Все ненавидят друг друга.

Купе постепенно опустело. Кавалер ордена Почетного легиона сидит в коридоре на чемодане. Он болтает с полицейским, уже надевшим берет. Он говорит:

— Что поделаешь, так уж у нас повелось во Франции. Всем на все наплевать.

— Извините,— говорит Симон.

— А-а, вот вы где! Попомните: кто слишком много болтает...

— Что-что? — переспрашивает Симон.

Полицейский поворачивает к нему бледное лицо, которое кажется еще меньше под огромным, лихо надвинутым на лоб беретом.

— Я знаю, мосье не любит сардины в масле. Что ж, пусть в таком случае делает как все. Пусть жрет брюкву...

— Именно это я и делаю,— сказал Симон.

— Что? — вмешался в разговор кавалер ордена Почетного легиона.— Вы что, издеваетесь над нами, что ли?

— Оставьте,— заметил полицейский.— Мы уже подъезжаем.

— Все они на один лад скроены,— вздохнул кавалер ордена Почетного легиона.— Бедная Франция!

Полицейский пожимает плечами. Сразу видно, что Франция — это его забота, но уж очень много у него с ней хлопот.

Кавалер ордена Почетного легиона бурчит себе под нос:

— Мерзавец! Нетрудно догадаться, где его дружки... В Лондоне или в Москве, конечно.

Он сказал это в расчете на поддержку, но, видимо, хватил через край. Вокруг тотчас воцаряются молчание и страх. Пройдут годы. И в один прекрасный день этот тип заявит: «Во время оккупации я не давал наступать себе на ноги!» Чем напичкана эта голова? Возможно, он просто

не любит людей. Люди ему осатанели: все они одним миром мазаны. Этого вполне достаточно. А возможно, он хочет отвлечь внимание от себя, так как везет полный чемодан масла.

Поезд останавливается под навесом. На перрон высыпают пассажиры, которых никто не встречает. Они расходятся, перешептываясь, охая. Симон слышит, как какой-то служащий говорит в ответ на чей-то вопрос:

— Нет, нет, никаких чрезвычайных постановлений. Комендантский час начинается в одиннадцать. Советую вам пошевеливаться. Они немного нервничают, но никаких чрезвычайных постановлений нет.

Громкоговоритель орет по-немецки о «разрешениях на въезд». Два жандарма в касках смотрят на стадо штатских. Один из них держит на поводке овчарку, лежащую у его ног. За жандармами, метрах в пятидесяти,— Жюстина. Она поставила чемодан, делая вид, будто устала, и ищет, кого бы попросить помочь. Симон прежде всего обращает внимание на то, чего он до сих пор не видел: ее бедра, ноги. Обидно, если что-то произойдет до наступления ночи.

— Разрешите помочь вам, мадемуазель?

— Нет, благодарю вас. Если бы у меня в чемодане было что-то компрометирующее, я бы с радостью приняла ваше предложение, а так...

— Сумасшедшая! Пошли!

— Почему сумасшедшая? Наоборот, это очень мудро. Я всегда в таких случаях выбираю человека незнакомого, причем тщательно выбираю. Скажем, какого-нибудь парня со значком коллаборационистской организации. Представляешь, какую этот парень корчит рожу, если что-то случается. «Да говорю же вам, что я тут ни при чем. Вы что, не видите, какой у меня значок? Да я раньше никогда в жизни не встречал эту девчонку...» и так далее и тому подобное.

Она смеется. Они подходят к выходу, и сердце у нее, наверно, тоже сжимается в тревоге перед этой минутой, которая решила участь стольких людей. Но внешне все спокойно. Люди выходят молча, в полной тишине: слышно шарканье ног, стук чемоданов, опускаемых на землю, чтобы достать билет.

— Что ты сказал?

— Ничего.

— Нет, ты что-то сказал.

— Уверяю тебя, что нет,— шепчет Симон.

ЛОВУШКА

Он только хотел было сказать: «Ты в самом деле свободна сегодня вечером? И ты уверена, что тебе хочется провести его так, как мы решили? Зачем только люди куда-то ездят? Раньше никогда столько не ездили. Ведь горе всюду одно — только в разных обличьях». Но слова застряли у него в горле. Он лишь выдавил из себя еле слышно: «Вот оно! Вот!», внезапно увидев, что от неизбежного не уйти.

Впереди, в нескольких метрах от них, стояли цепью солдаты в сапогах, держа палец на спусковом крючке автомата. Они в форме СС, с дурацким черепом на рукаве. В цепи оставлен узкий проход, там стоит человек в штатском. Штатский говорит: «Вы — в сторону». Снова слышится: «Вы — в сторону». И всякий раз после этого один из пассажиров отделяется от остальных и уходит куда-то между двумя шеренгами солдат с автоматами, которые стоят на чуть большем расстоянии друг от друга, чем в цепи. Остальные пассажиры направляются к дверям, над которыми значится: «Ausgang» — «Выход».

Симон слышит: «Вы — в сторону». И он сворачивает в проход между шеренгами солдат с автоматами. Он нисколько не удивлен. Ему даже

кажется, что он сам на это напросился, преждевременно, не дожидаясь решения эсэсовца, свернув, точно лунатик, в ловушку. Он как бы решил испытать судьбу.

Однако он успел заметить, что Жюстина вроде бы легонько кивнула ему, а может быть, даже улыбнулась. Но она уже перестала для него существовать. Камилла смотрит на него, и в ее нежном затуманенном взоре Симон видит свою прошлую жизнь, озаренную светом этой минуты. Шагая между двумя шеренгами вооруженных солдат, он идет под февральским дождем по парижской улице. Он поднимается по лестнице «Трех волхвов» в вечер премьеры «Потемкина». В Камилле воплощены мечты о будущем, которому не суждено стать настоящим. Он слышит безмолвный крик восставших матросов: «Братья!» Смотрит на расписание поездов, которое они однажды уже изучали с Камиллой, когда перед войной впервые отправились вместе на Средиземное море. Они всюду старались поспеть. В воздухе пахло летом, а на террасах ресторанчиков — анисовой водкой. Война застала их там в конце августа, отдых был уже испорчен, и вот настал день их невольной разлуки.

Симон на перроне разыгрывал полнейшее безразличие: «прощанье по-японски», как назвал он это про себя, ибо однажды видел в журнале фотографию японского офицера, прощавшегося с женой, которая, согнувшись в глубоком поклоне, стояла на ящике из-под мыла с надписью «Мыло люкс», выведенной черной краской...

У входа в зал ожидания, под резким слепящим светом, озарявшим бледные испуганные лица,— снова проверка. Симон не оказался в числе счастливцев, которым разрешили уйти. Он услышал:

— Пройдите сюда.

В помещении стояли длинные черные столы. Пахло дезинфекцией.

— Чемоданы на стол! Каждому стать у своих вещей!

Здесь тоже были эсэсовцы и люди в штатском. Они прогуливались по залу, ко всему безразличные, курили, болтали. Лица не выражали ни малейшего интереса к тому, что происходит. Еще нескольким пассажирам было велено забрать свои чемоданы и уходить. Осталось человек десять. Им приказали:

— Открыть чемоданы!— Затем:— Руки на голову!

Стол, на котором лежали пожитки пассажиров, заворачивал под прямым углом. Симон увидел напротив себя толстяка с розеткой Почетного легиона. Руки у него были коротенькие, и ему стоило большого труда скрестить их на голове. На лице у него было написано смятение. Когда к нему подошли сзади и быстрыми, точными движениями портного, снимающего мерку, принялись обыскивать, толстяк закрыл глаза. Губы его шевелились. А Симон, как только ему велели положить руки на голову, сразу успокоился, словно этот жест напомнил ему детство, школьный двор, где вот так же пахло дезинфекцией, но кроме того еще и мелом, и черным лаком новеньких пеналов. Симон подумал: «В конце концов, у меня все в порядке».

Сыщик в штатском рылся в его чемодане; по бокам стояли два эсэсовца с сигаретами в зубах. Он посмотрел на свет рубашку, затем с помощью градуированной линейки удостоверился в том, что у чемодана нет двойного дна.

— А это что?— спросил сыщик, протягивая Симону перевязанный веревкой пакет.

— Это... это книги.

— А может быть, листовки?— заметил один из эсэсовцев, швыряя в сторону сигарету.— Развяжите...

Симон внезапно вспомнил, что в последнюю минуту захватил для Бюзара «Борьбу с ангелом» Мальро. Эта книга недавно вышла в Швейцарии, и ее без труда можно было найти в бывшей Южной зоне. И как

только он не подумал, что такая книга, изданная в Швейцарии и подписанная этим именем, может в случае серьезного обыска навлечь на него подозрения? Развязывая бечевку и нерешительно ощупывая плотную бумагу дорогого издания, Симон внезапно понял, чем вызвана его неосмотрительность: такие вещи трудно объяснить, но нетрудно понять, ведь это плод длительной работы, происходившей в сознании без вашего ведома... А неосмотрительность его объяснялась тем, что, прочитав книгу, он не обнаружил в ней, как и сказал Бюзару, ничего особенного. Он вспомнил даже, что был немало удивлен, когда «Леттр франсез», выходившая в подполье, в том самом номере, где было опубликовано последнее письмо ее основателя, Жака Декура, расстрелянного нацистами, уделила столько места — целую страницу!— разбору «Орешников Альтенбурга», первого тома «Борьбы с ангелом». Сам он тщетно пытался найти здесь то, что нашел в свое время в «Условиях человеческого существования» — книге, которая, как и «Потемкин», неразрывно связана в его памяти с периодом, когда формировались его убеждения. Он тщетно пытался найти в «Борьбе с ангелом» то, что ему так необходимо сейчас, чтобы преодолевать полицейские кордоны, чтобы носить чемоданы, чтобы не тосковать от неизбежного для подпольщика одиночества. А обнаружил он в ней лишь длинные и порою скучные рассуждения о смерти. Но разве рассуждениями о смерти можно помочь человеку жить? Смерть, очевидно, не такое уж страшное дело, раз столько людей без дрожи смотрит сегодня ей в лицо. Тем же, кто ее боится,— а именно к их числу принадлежит и он сам,— надо помочь преодолеть этот страх, а не толкать их в паскалевский ад, который представляется в виде множества людей, закованных в цепи, где каждый знает, что если сосед исчез, то теперь очередь за ним.

Полицейский в штатском протянул руку с сигаретой. Симон подал ему книгу. Полицейский стал медленно переворачивать страницы.

— Издано в Швейцарии?..

— Да, но книга продается в Южной зоне.

— Странно.

— Я купил ее у букиниста.

Полицейский пожал плечами, но это ровно ничего не значило. Полицейские часто пожимают плечами, как бы говоря, что их не проведешь: уж они-то знают, что все вокруг лгут.

— О чем здесь говорится?

— Это философская книга.

— Политики нет?

— Нет.

— Но ведь Андре Мальро — коммунист.

— Ничего подобного.

— Откуда вам это известно? Вы что, знаете, кто коммунист, а кто нет?

— Нет, конечно.

— Тогда что же вы говорите?

— ...

— Можете опустить руки,— сказал полицейский.

Он пробежал глазами несколько страниц. Между его тяжелыми пальцами медленно ползли вверх кольца дыма.

— Это книга о Германии? Нет? Однако она об Эльзасе. А я сам как раз из Эльзаса.

— ...

Он сказал двум эсэсовцам в форме, которые со скучающим видом по-прежнему стояли рядом с ним, что больше в них не нуждается; пусть займутся другими задержанными.

— Книги я у вас отбираю,— предупредил он.— Провоз книг запрещен.

Он с усмешкой посмотрел на Симона. Или, быть может, это дым заставил его прищуриться.

— Между нами говоря, не понимаю, почему запрещают провозить книги. Вот вы, например, встречали когда-нибудь человека, который под влиянием книг переменил бы свои убеждения? Люди не потому отказываются от идей. Знаете, почему они это делают?

— ...

— Ну, так я вам скажу: полиция заставляет людей менять убеждения. Для этого она и нужна.

Громкий смех заставил его обернуться. Один из эсэсовцев извлек из чемодана кавалера ордена Почетного легиона батон колбасы. Он замахнулся ею, как дубинкой, словно собираясь прикончить толстяка, а тот, побледнев как мел, бормотал:

— Господин начальник, это же для личного потребления!

— Ай-ай-ай,— заметил штатский,— занимаетесь спекуляцией! И вам не стыдно?— Он ткнул сигаретой в розетку Почетного легиона.— Да человек, имеющий такую награду, должен бомбы возить или листовки! Понятно? Я велел привести сюда всех, у кого есть какие-либо знаки отличия. Но вовсе не затем, чтобы извлекать из ваших чемоданов колбасу. Постыдились бы!— Он сокрушенно вздохнул. Казалось, он был действительно огорчен.— Нехорошо это, мосье...

— Но, господин начальник...

— Вы будете задержаны за спекуляцию. Для человека с таким орденом это печально и весьма огорчительно.— И, повернувшись к Симону, он с легкой усмешкой добавил:— Посмотрите на этого господина: он не возит колбас. Этот господин возит запрещенные книги...

Счастливая улыбка появилась на побледневших губах толстяка. То была улыбка человека, очутившегося на дне пропасти и вдруг увидевшего проблеск дневного света.

— Ничего удивительного!..— поспешил заявить толстяк, чуть ли не до крика повысив голос.— Если бы вы только слышали, что он говорил в купе!..

— Что?— воскликнул штатский.— Что?!

И поспешно обернулся, точно сзади на него вдруг надвинулась опасность.

Симон сразу утратил способность соображать. Сердце забилось тяжело и глухо, как несколько минут назад, когда он подходил к цепи полицейских.

— Да, господин начальник, он говорил, что русские выиграют войну и что вам порядком достанется. Он сказал это при всех пассажирах, а как только прошел патруль, проверявший документы, сразу же помчался кого-то предупреждать...

Штатский бросил через плечо несколько слов по-немецки, которых Симон не понял. Один из эсэсовцев сорвался с места и чуть ли не бегом, как будто слова доносчика послужили сигналом тревоги, обогнул стол, на котором стояли чемоданы. Взгляды всех были прикованы к Симону, эсэсовец сделал знак положить руки на голову и следовать за ним.

Симон видел устремленные на него взгляды, видел зеленую дверь, на которой было написано что-то вроде «Вход запрещен», но все это было словно книга, которую не можешь прочесть, словно работа диковинной машины, игра, правил которой ты не знаешь. Его оставили одного в маленькой комнате, где тускло горела желтая лампочка, освещая целый лес почерневших деревянных полок,— очевидно, раньше здесь помещалась камера хранения. На полках лежали чемоданы и пакеты с этикетками. Эсэсовец закрыл за собой дверь. Симон стоял, держа руки на

голове. Внезапно он услышал собственный шепот: «Ну, теперь конец, теперь конец! Ах, какая глупость! Какая глупость!»

И тут, как это бывает после катастрофы, когда сначала вспоминаешь мелкие детали, которые, наверно, не остались бы в памяти, если бы не попались на глаза в минуту несчастья,— он вдруг увидел счастливую улыбку доносчика и, пробормотав сквозь стиснутые зубы: «Мерзавец! Мерзавец!», почувствовал неизъяснимую грусть при мысли, что существуют такие люди. Затем, инстинктивно готовясь к самозащите, Симон попытался вспомнить, произносил ли он в купе слово «русские» или «Россия». Ему казалось, что он говорил «они», или «те», или «другие», как теперь принято было говорить на людях, чтобы не слишком выдавать свои подлинные настроения. Но какие бы слова он ни употребил, доносчик в общем-то, конечно, не ошибся, и едва ли можно рассчитывать на то, что, попав под арест за спекуляцию на черном рынке, он откажется от своих слов. Обиднее всего, что его арестовали при таких банальных, чуть ли не комических обстоятельствах. Симон вспомнил, сколько людей вот так же случайно попадали в облаву и исчезали навсегда. Он понимал, что надо избавиться от мысли, будто с ним произошло нечто нелепое. Он опустил руки, словно внезапно осознал, что, сохраняя эту унизительную позу сейчас, когда его никто не видит, он как бы признает свое поражение и заранее приемлет все, что за ним последует. А опустив руки, Симон сразу стал самим собой. Он снова попытался вспомнить, что именно говорил в купе. Это ему не удалось, но, без конца повторяя фразу, которую приписал ему доносчик и каждое слово которой на всю жизнь теперь останется у него в памяти: «Он говорил, что русские выиграют войну и что вам порядком достанется...», Симон невольно задумался над смыслом этих слов; память подсказывала, какую огромную роль сыграла в его жизни Россия, и мало-помалу им овладела восторженная приподнятость, она заставила отступить чувство тревоги и одиночества, парализовавшее его. Слово «братья», которое беззвучно произносили матросы «Потемкина» на немом экране, невысокая пограничная арка в Негорелом, отделяющая страну его мечты, лицо Камиллы, сидящей напротив него в красном громыхающем трамвае, увешанном гроздьями людей в украинских рубашках, терпеливый голос Прево, продолжающего из небытия разговор с ним, прерванный на берегах Луары, слова Саши Бернштейна: «У вас на Западе такого хлеба нет»,— все это как бы делало Симона одним из борцов той армии, в которой он так несправедливо усомнился летом 1941 года, когда фраза «непобедимая Красная Армия» вызывала чувство огорчения и досады, той армии, которая, по последним сообщениям, освободила Одессу.

Открылась дверь. Симон тотчас снова положил руки на голову. Вошел полицейский в штатском, закрыл за собой дверь.

— Ну-с?..— произнес он и покачал головой, шурясь от дыма сигареты.— Ну-с? Хороши же твои соотечественнички, а? Вот проститутки! Или ты иного мнения?

— Не все же такие...

— А я тебе говорю, все! И потом, когда человек трусит, он всегда ведет себя так. А трусят сейчас все... Может, скажешь, что ты не трусишь? Вот сейчас мы увидим, трусишь ты или нет... Опусти руки. Теперь смотри...

Полицейский в штатском направился к стене напротив полок, достал из кармана ключ и открыл дверь. В комнату ворвался свежий ночной воздух. Симон увидел слабо освещенный двор, заставленный багажными тележками.

— Теперь можешь бежать. Беги. А знаешь, что ждет тебя за попытку к бегству?

— Знаю.

— И все же попытаешься бежать?

— Да.

— Значит, ты в самом деле не трус! Ладно, проваливай!

Симон пристально смотрел на пустынный двор. До него долетали звуки привокзальной жизни: где-то вдали грохотали, маневрируя, поезда, пыхтели паровозы... Все существо Симона пронизывала уверенность, что смертный час его настал. Симон сотни раз слышал, что полицейские, развлечения ради, насильно заставляют заключенных бежать, а потом стреляют по ним, как по движущейся мишени. Должно быть, где-то в глубине двора и его поджидают эсэсовцы, держа палец на спусковом крючке автомата. Симон снова подумал о нелепости случившегося и в изнеможении закрыл глаза. Затем медленно пошел вперед. Так надо. Он чувствовал, как по груди его стекает холодный пот и сердце останавливается, словно он вот-вот лишится чувств.

Тут до него донесся голос полицейского, который кричал, а может быть, и не кричал, может быть, просто говорил совсем рядом и очень тихо: «Да убирайся же отсюда, болван, убирайся поскорее!»

Когда Симон перешагнул через порог, жизнь вместе со всеми ее надеждами сразу вернулась к нему. Двор был пуст. Симон повернул влево и очутился на насыпи у вокзала. Какие-то люди пробегали мимо него в темноте. Он внезапно вспомнил, что чемодан не вернули. Но продолжал медленно брести, как если бы свобода еще не принадлежала ему.

НОЧЬ

Перед ним стояла Жюстина. Он увидел, что она очень бледная.

— Я чуть не умерла от беспокойства,— сказала Жюстина.

Он взял ее под руку.

— Пойдем отсюда. Я тебе обо всем расскажу, только поскорее пойдем отсюда.

Он совершенно обезумел от счастья.

— Я жду тебя уже целых десять минут.

— Всего только десять минут?

— Где твой чемодан?

— Его у меня отобрали.

Они вышли на площадь, где днем обычно стояли несколько извозчиков и велотакси, заменявшие автомобили, и Симон, глубоко вдохнув свежий воздух весенней лунной ночи, ощутил запах конского навоза — так, должно быть, пахло в свое время в Париже, в том Париже, что запечатлен на старинной фотографии, где его отец в канотье сидит в ресторане на авеню Мэн.

— Придется бежать,— заметила Жюстина.— В нашем распоряжении всего десять минут. У меня дома нет ни крошки, но выпить найдется.

Симон рассказал ей, что произошло.

— И все из-за какого-то Мальро! — воскликнула она.— Видно, немцы здорово нервничают!

У подножия лестницы они заметили элегантный силуэт одного из связных Бюзара. Он нес два новеньких чемодана из великолепной кожи, каких давно тут никто не видал. На голове у него красовалась шляпа от Эдена, в воздухе пахнуло тонким ароматом одеколона «Карвен А».

— Как подумаю, что приходится работать с этими сумасшедшими...— заметил Симон.— Хотя, конечно, я прекрасно отношусь к Бюзару. На душе становится легче от сознания, что он существует.

— Он ли, другой ли — все рискуют одинаково,— сказала Жюстина.— Все дело в везении, а Бюзару везет.

Вокруг них скользили тени: одни тащили пакеты, другие везли тележки, третьи подталкивали тачки или детские колясочки. «Племя тря-

пичников... В свое время они считали, что ловко устроились, поселившись в столице самой приятной для жизни страны. А сейчас мечтают о масле и сале»,— подумал Симон.

— Ты думал обо мне?— спросила Жюстина.

— Нет.

— Мне нравится, что ты откровенен. А о чем же ты думал, когда считал, что песенка твоя спета?

Он сказал, что, собственно, ни о чем не думал; вот только когда тот мерзавец упомянул о России, он подумал, чем была в его жизни Россия.

— Видишь, какая поучительная вышла история! Настоящая пропагандистская листовка, верно?

— А что же тут плохого?— спросила она.— Меня это нисколько не коробит. Я верю тому, что пишут в листовках. Я тебе уже говорила, что верю в силу политики.

Они молча перешли через мост. В свое время воздух здесь был отравлен бензином, а сейчас пахло пресной водой и цветущими каштанами. Когда они проходили мимо решетки Зоологического сада, Симон спросил:

— Как, по-твоему, есть там еще хищники?

— Не думаю. Видишь ли, чтобы прокормить сейчас льва... Ты представляешь себе, сколько всего надо! Последний раз я видела льва в тридцать девятом году, в Ажане, в маленьком цирке — это было в самом начале войны.

А как началась война, она, собственно, не помнит. С детством она распростилась внезапно, в 1942 году, когда забрали ее родителей. Они имели глупость вернуться в Париж. Она носила желтую звезду.

— Вот как?— сказал Симон.— Бедная моя кошечка!

Ему вдруг стало стыдно, что он не нашел других слов. Он взял ее чемодан. Они шли под руку по улицам, прилегающим к Зоологическому саду, которые и раньше производили впечатление глубокой провинции, а сейчас и вовсе словно вымерли.

— Отцу казалось, что его не тронут, потому что он пошел добровольцем в девятьсот четырнадцатом и у него был орден Почетного легиона, полученный за военные заслуги,— вполголоса продолжала Жюстина.— Ты представить себе не можешь, до чего были наивны евреи из Восточной Европы. Отец мой, бедняга, обожал Французскую республику. Он всю жизнь говорил только по-французски. Он еще ребенком пел «Марсельезу». Но не так, как ее поют у вас. В Салониках верили в каждое слово этого гимна. Свобода, дорогая свобода! Отец верил, что это так, и считал, что есть вещи, которые не могут произойти во Франции. Он верил, что дело Дрейфуса положило конец этой свистопляске. Он говорил, что только в такой стране, как Франция, участь одного несправедливо осужденного человека может волновать всех. Бедняга...

В голосе ее послышались слезы...

— Не надо об этом вспоминать,— сказал Симон.— Ведь все равно ничего не изменишь.

— Не так-то это просто. И потом на свете достаточно найдется людей, которые забудут. В том числе и среди евреев. Успокоятся. Что поделаешь, люди должны успокаиваться, иначе они не смогут жить...

— Все это верно, только люди подразделяются не так, как ты думаешь,— заметил Симон. И голос его невольно зазвучал сурово.— В действительности люди делятся на богатых и на бедных, между ними проходит главная демаркационная линия. Я не говорю: на «капиталистов» и всех прочих, потому что это звучит немножко как в листовках, правда? Хотя ты сказала, что тебе нравятся листовки. Еврей, не еврей — такое деление долго не продержится. Немец, не немец — такого тоже не будет. Все это пройдет. Вот в чем я глубоко убежден. А демаркационная линия между капиталистами и всеми прочими... это другое дело...

— Ты коммунист?

— Я... право, не знаю. Я не состою в партии... но... практически — да.

Жюстина сказала, что ей давно хочется вступить в партию и что когда-нибудь она это сделает.

— Надо быть логичным,— добавила она.— Всему миру известно, что только коммунисты — люди по-настоящему серьезные. Если думаешь, как они, то надо и поступать, как они.

— Честное слово, ты мыслишь, как политический деятель! — заметил Симон.

— Нет, просто меня это интересует. Почему ты всегда говоришь «немцы», а не «боши»?

— Да, я в самом деле так говорю. Но только потому, что не люблю слово «боши». Во времена моего детства оно было в нашем доме под запретом. Мой отец считал, что это ложный патриотизм. Каких только глупостей не писали, как только не склоняли это слово в четырнадцатом — восемнадцатом годах!.. Русские говорят: «Смерть немецким оккупантам!» Вот это мне по душе. Это правильно...

Оба замолчали. Симон взглянул на светящийся циферблат своих часов и ускорил шаг.

— Надо поторапливаться,— заметил он.

Деревянные подметки Жюстины гулко стучали по асфальту.

— Как ты можешь ходить в таких туфлях?

— Что поделаешь,— сказала она,— человек ко всему привыкает, а потом это довольно красиво. Во всяком случае, только в Париже люди могут в разгаре войны заниматься изобретением подобных безделок, правда? Но вот мы и пришли...

Симон различил в темноте силуэт дома, какие строили в начале века,— «богатого дома», как принято говорить. Жюстина постучала ключом по железной ставне, закрывавшей окно привратницы.

— К счастью, дверь открывается автоматически,— заметила Жюстина.

— А привратница — что она о тебе думает?

— Она славная. Я как-то раз дала ей яиц. Для нее — я работаю в провинции, а в Париж приезжаю примерно раз в месяц. Поэтому мои друзья, хозяева квартиры, живущие в Южной зоне, и дали мне ключ...

— Чему только сейчас не верят!

— Но привратница-то не верит этим басням! Просто она славная женщина.

Дверь автоматически открылась.

— Сейчас я узнаю, как твоя фамилия,— заметил Симон.

— Не шуми, пожалуйста.

Жюстина звонко произнесла какую-то фамилию, которую Симон тут же забыл. Они стали ощупью подниматься по лестнице, с которой давно были сняты ковры. На четвертом этаже они остановились передохнуть. Симон поставил чемодан, взял Жюстину за плечи и притянул к себе. От нее пахло сейчас иначе, чем в поезде. Свежий воздух ночи, пропитанный речными испарениями и ароматом каштанов в цвету, выветрил вагонные запахи.

— До чего же меня тянет к тебе! — сказал он.

— Ты с ума сошел! — воскликнула она.

Но он играл в одержимость.

— Занятно,— прошептал он. — Никто не знает, где мы.

Они как во сне поднялись еще на один этаж. Жюстина стала открывать дверь, а он зажег спичку и при свете ее посмотрел на молодую женщину. Сейчас у нее было совсем другое лицо. Оно не было похоже ни на то, какое он видел на обеде в Тулузе, ни на маску в коридоре поезда — нет, такое лицо, наверно, бывало у нее, когда она оставалась

одна и, стерев помаду, сидела у зажженного камина. И это очень все осложняло.

В прихожей на столике стояла свеча в фаянсовом подсвечнике. Симон зажег ее, и из позолоченной рамы, с фотографии, украшенной автографом, на него глянула надменная физиономия герцога де Гиза.

— Ого!

— Здесь все так. Вот увидишь... Это квартира монархистов...

— Как же ты ее раздобыла?

— Через агентство по найму квартир.

— Вот видишь, какое у нас национальное единство!

— Ты шутишь, а ведь это правда. В спальне у них висит распятие.

— Ты там спишь?

— Нет. Последний раз я спала на диване в гостиной. Меня пугает это распятие... Но я бы с удовольствием спала под ним. Совсем нагая.

— Какая нелепая мысль! — заметил Симон.

Ему не понравились ни сами слова, ни тон, каким они были произнесены.

— Иди сюда,— сказала Жюстина.— Не шуми и постарайся ничего не разбить.

Она сняла туфли на деревянной подметке.

Ковры были скатаны и лежали вдоль стен. Паркет трещал под ногами.

— Почему у тебя возникла такая странная мысль? — спросил Симон.— Я имею в виду распятие...

Она промолчала. В эту минуту она обследовала внутренность пыльного буфета в стиле эпохи Возрождения.

— Открой-ка,— сказала она, протягивая ему бутылку и пробочник.— К счастью, у меня есть сигареты...

Симон открыл бутылку белого вина и наполнил два хрустальных бокала, предназначаемых обычно для торжественных случаев.

— За нашу любовь! За успех!

Она рассмеялась и поцеловала его в губы. Пламя свечи отбрасывало ее колеблющуюся тень на изорванный гобелен.

Они закурили сигареты и, стерев салфеткой пыль, сели на массивный дубовый стол.

— Да, есть вещи, которые со временем трудно будет понять... — заметил Симон.— Каких только безрассудств не творили люди ради окурка! Я, например, подбирал окурки в сточных канавах. Но теперь и там их не найдешь. А у тебя есть что курить?

— И немало,— с гордостью сказала она.

— Ты выкуриваешь всю сигарету зараз?

— Даже если бы мне полагалась одна сигарета в месяц, я и то выкуривала бы ее всю сразу.

— Весьма любопытная черта,— рассмеялся он,— она сразу же характеризует человека.

— А если б у меня была всего одна пачка, я бы тоже выкуривала ее сразу, сигарету за сигаретой. И окурки оставляла бы обычные, довольно большие. Словом, курила бы так, точно нет войны.

Он сказал, что это ему по душе: хорошо, что она не принадлежит к числу тех, кто режет сигареты на кусочки и хранит окурки в коробочке, хотя, откровенно говоря, он сам частенько так поступал. Жюстина заметила, что если бы не принадлежала к числу тех, кто за один день выкуривает месячный табачный паек, она не была бы сейчас здесь, с ним, на этой тайной квартире, и что вообще...

— Да, вот до такого Стендаль, пожалуй, не додумался бы! — сказал он.

— Отчего же, — возразила она.— Если бы он был заядлым курильщиком и ему нечего было бы курить, то наверяка бы додумался!

— Через десять лет,— сказал Симон,— все это покажется совершенной нелепостью. Людям непонятно будет, в чем заключался героизм человека, отказавшегося от последней сигареты, чтобы спеть «Марсельезу»... А ты сама до войны могла бы увидеть в этом что-то героическое? Или, скажем, представить себе, что радость любви можно сравнить с радостью, какую доставляет пачка сигарет, выкуренных спокойно за один вечер?.. Ах нет, мы станем выдуманными героями... Героями безупречными...

— Откуда такая горечь?

— Нет, это не горечь. Я просто хочу сказать, что людям нужны поучительные истории. Я не виню их. Мне такие истории тоже нужны.

Они засиделись за беседой и выпили всю бутылку, куря сигарету за сигаретой. Голова у обоих кружилась. Она рассказывала ему о своем детстве, затем о различных происшествиях в их организации — в Тулузе, в Лионе, в Париже, в Марселе; все это больше походило на беззлобные сплетни, словно речь шла не о юношах и девушках, которые с риском для жизни перевозили бомбы и листовки, а о чиновниках, заботящихся лишь о том, как бы получить повышение или избавиться от неугодных им людей, о начальниках, злоупотребляющих своим положением. Симон рассеянно слушал Жюстину. Он смотрел на нее из-под полуопущенных век и при свете свечи видел женщину, лицом совсем непохожую на ту голубую маску, которая привлекла его внимание в коридоре поезда; теперь она отчасти утратила свою безупречную красоту, как он это назвал про себя, и стала более плотской, более земной. Уже сейчас видно было, где через десять или через двадцать лет — в зависимости от того, как сложится ее жизнь,— пролягут возле глаз морщинки. Жюстина забралась на стол с ногами и сидела, упершись подбородком в колени, так что видны были плиссировка и кружево нижней юбки. Неожиданно Симон сказал:

— Ну, хватит, мы уже решили все вопросы.

Он обнял ее и поцеловал. Дешевая свечка потрескивала, она то вспыхивала, то почти гасла. Жюстина высвободилась из его объятий, открыла дверь в спальню, стащила покрывало с кровати и вытянулась на ней, сложив крестом руки, закрыв глаза. Свеча через открытую дверь освещала желтое распятие и стеганое одеяло того же цвета в кружевном пододеяльнике. Над головой Жюстины громоздились вытканные птицы и мельницы.

Свеча стала догорать.

— Послушай, дорогой,— сказала Жюстина.— Я не знаю, где тут лежат свечи, поэтому давай скорее устраиваться на ночь.

Она подбежала к зеркальному шкафу. Когда она открыла дверцу, комнату заполнил запах лаванды. Симон смотрел, как Жюстина ходит по комнате, любовался ее быстрыми, точными движениями. Ее силуэт смешно скользил по фамильным портретам.

— Встань же, наконец, султан,— сказала она.

Симон помог ей расстелить простыни. Они, видимо, давно лежали без употребления: складки никак не расходились.

Жюстина задула свечу, от которой пахло церковным воском, и они долго лежали рядом, едва касаясь друг друга. Симон пытался вспомнить уличные шумы Парижа, заглушенные войной. На ночном столике часы их отстукивали минуты, которых оставалось не так уж много.

— Расскажи мне что-нибудь,— попросила она,— точно мы с тобой были знакомы когда-то и встретились через много лет.

— Если бы мы встретились с тобой через много лет, я, наверно, ничего бы тебе не стал рассказывать...

— А представь себе, что ты все же хочешь мне что-то рассказать...

— В таком случае надо сначала придумать нам какое-то прошлое.

— Придумай.

— Так вот, лет двадцать назад, во время оккупации, я ехал из Лиона в Париж и в поезде...

Он внезапно умолк. Она спросила, почему он не рассказывает дальше. Он молчал. Он не мог ей сказать, что, произнося эту фразу, понял, что только о Камилле и только с Камиллой мог бы так говорить. Жюстина была для него чем-то вне времени и пространства. У нее не было ни прошлого, ни будущего. Он мог без боли смотреть на ее виски, которых первыми коснется старость.

— Забудем о прошлом,— наигранным тоном сказал он.

Она рассмеялась и, склонившись над ним, покрыла его лицо поцелуями. Он сжал ее в объятиях. Наслаждение, какое он познал с ней, показалось ему ни с чем не сравнимым. А когда она, наконец, заснула и он отодвинулся к краю кровати, на прохладную простыню, он подумал: это ощущение счастья объясняется, видимо, тем, что он не увидит, как она будет стареть, не увидит, как она будет умирать... Словом, объясняется тем, что она не представляет для него проблемы. Впервые он проведет всю ночь с другой, не с Камиллой. Он вспомнил, чем была для них ночь в гостинице «Три волхва». Если бы он был тогда таким, как сейчас, Камилла не задержалась бы в его жизни и он лишь с нежностью вспоминал бы о ней. Он не жалел, что пустился с ней в плавание на корабле, вспенившем, словно броненосец «Потемкин», воду. Он в любую минуту мог вызвать перед своим мысленным взором образ прямой дороги, по которой он будет идти меж елей до самого конца жизни. Только сейчас эта картина стала казаться ему чересчур романтической. Он не без грусти взирал на нее, и грусть эта была рождена не воспоминаниями — скорее то была грусть от сознания понесенного поражения, а в чем оно заключалось, Симон и сам не знал. «Как бы то ни было,— подумал он,— а я люблю ее, в ней моя жизнь, и никогда между мной и любой другой женщиной не возникнет таких уз, которые причиняют мне порой боль, а порою душат меня. На стороне Камиллы всегда будет преимущество совместно прожитых лет — и каких лет!.. Невозместимых. Лет, наполненных мечтаниями! Но вот я здесь. Я познал наслаждение с Жюстиной, и я не чувствую укоров совести».

Он забылся тревожным сном. На заре их разбудило громкое чириканье воробьев на Винном рынке. Из сумрака проступали очертания портретов этой семьи католиков и монархистов. Первая мысль Симона была не о Жюстине, а об отобранном у него чемодане. Он остался буквально без всего. Даже бриться надо идти в парикмахерскую. А как он без талонов купит себе рубашку? Он посмотрел на Жюстину. Глаза ее были широко раскрыты, она лежала, заложив руки за голову. Ясное весеннее солнце придавало такую прелесть ее облику, что у Симона даже дух перехватило. Он чуть не сказал ей «Я люблю тебя», не в силах придумать в эту минуту очарования более подходящих слов, но вовремя спохватился и сказал лишь:

— Доброе утро! Ты прекрасна! — И игривым тоном добавил: — Ты прекрасна, моя Жюстина! Жюстина, ты прекрасна, как нарождающийся день!

Она даже не улыбнулась.

— Нет, это литературщина. Это дурной стиль.

Он согласился с ней, но заметил, что он тут не виноват — это книги испортили ему вкус. Произнося «как нарождающийся день», он вспомнил, что на сегодня у него назначено свидание с человеком, с которым

ему предстоит работать в Париже, и его словно прихлопнуло тяжелой свинцовой крышкой.

— Что ты обо мне думаешь? — Жюстина лежала все так же неподвижно, с застывшим лицом и смотрела в потолок.

— Странный вопрос! — заметил он.— Я много о тебе думаю, во всяком случае, многое выдумываю... Ведь у нас еще так мало общих воспоминаний!

— А ты считаешь, что воспоминания — это так уж важно?

— О, да,— сказал он.— Очень важно. Даже когда они ничего не стоят. Даже когда они мучительные. Без них не обойтись...

Жюстина молчала. Симон лежал, прислушиваясь к шумам города. Война изменила характер городских шумов, они стали сейчас такими, какими были лет двадцать или тридцать назад — голос Парижа звучал, как в дни детства Симона. Это был Париж, где существовали лошади и телеги.

— Какая-то я шалая,— с глубокой убежденностью прошептала Жюстина.

— К счастью.

— Да, так принято говорить. Раньше, до войны, тоже бывали шалые люди, но не такие, как я. А я становлюсь шалой, когда меня начинает мутить от этой жизни. Надоел мне этот вечный страх. Надоели поезда и то, что люди вдруг исчезают куда-то. Боже мой, когда же все это кончится?..

— Конец уже виден,— сказал он, потрясенный внезапностью происшедшей в ней перемены.— Быть может, когда-нибудь мы пожалеем об этих годах, о нашей нынешней жизни...

— Наверное. Почему бы и не пожалеть? Человек обо всем жалеет...

Симону вдруг стало радостно при мысли о том, что в одиннадцать часов ему надо встретиться в Пале-Ройяле с каким-то человеком и что он прогуляется по Парижу пешком. Он пойдет по набережным. Вновь увидит апсиду собора Парижской богоматери...

— Что ж,— сказал он,— мне пора.

— Да, конечно. Я знала, что настанет минута, когда я услышу эти слова.

Он обнял ее. Сказал, что они еще увидятся. Сказал, что жизнь длинна и что не надо быть дурочкой. В поезде она показалась ему искушенной женщиной, которая прекрасно знает, чего хочет, а сейчас она ведет себя, как девчонка, и напрасно, потому что это только осложнит им обоим жизнь. Он не видел ее лица. Она спряталась под одеяло. Потом легонько оттолкнула его, провела пальцами по его волосам и сказала:

— Ты слишком много говоришь. Давай позавтракаем вместе. Я знаю один хороший ресторан, совсем такой, как до войны...— Она рассмеялась.— Но, собственно, почему я так говорю? Ведь до войны я ни разу не была в ресторане... Впрочем, это не совсем верно. Была раза два с родителями. Официант еще спросил тогда: «А девочка что будет пить? Минеральную воду?» Но я не считаю, что это называется быть в ресторане...

Симон улыбнулся.

— Я, наверно, даже не взглянул бы на тебя, если б встретил на улице. Если бы я ехал на велосипеде, я бы крикнул: «Посторонись, девчушка!» Да, мальчикам и девочкам твоего возраста не повезло... Ведь до войны они даже не успели попробовать, что такое жизнь... А что ты дальше собираешься делать?

— Мосье, видимо, изволит шутить? О каком «дальше» идет речь? Когда это — «дальше»? После победы?

— Ты не веришь в нее?

— Почему же, верю. Но я убеждена в том, что, если это затянется надолго, я не увижу победы. Можно проскочить раз, десять раз, но не сто раз...

Симон сжал ладонями ее голову и притянул к себе.

— И все же ты ведь не очень боишься? Вчера на вокзале ты была просто великолепна. На твоем лице ничего нельзя было прочесть, ну ровно ничего.

— Да. Возможно. Я умею это делать. Но в глубине души мне страшно, все время страшно... Я только притворяюсь, но на самом деле не могу привыкнуть. Жюстина, которую ты встретил в поезде, вся деланная... Но то Жюстина. А ведь я не Жюстина. Меня зовут Лоранс. Но я люблю Жюстину. Хотя она причинила мне немало зла. И все же я не Жюстина... Знаешь, почему я выбрала это имя?

— Из-за «Жюстины» де Сада?

— Конечно. Но все-таки почему?

— Не знаю,— сказал он,— но позволь вернуть тебе комплимент, который ты мне недавно сделала: по-моему, это тоже литературщина... И даже излишняя.

Она поцеловала его в волосы.

— И ты прав. Это не только литературщина, но и дурной вкус. И все же я выбрала это имя из-за «Жюстины» де Сада. Я выбрала его потому, что в нем есть что-то театральное. Так мне легче, понимаешь... Получается, что не я все делаю, а Жюстина. Я же только смотрю на эту сумасшедшую и дрожу от страха...

— А кто захотел, чтобы я пришел сюда, ты или Жюстина? Когда я поцеловал тебя в поезде, ты или Жюстина сказала мне «да»?

— Жюстина. Но сейчас уже я хочу, чтобы ты был со мной и чтобы ты вернулся ко мне...

Он сказал, что она прелесть, но яркий, по-летнему яркий свет, заливавший комнату, проникая сквозь щели в металлических ставнях, властно звал его на улицу, и у него было только одно желание — поскорее увидеть Париж. Любопытство, которое ощущал в эту минуту Симон, было, пожалуй, еще более острым, чем то, какое он, наверно, испытывал бы, проснувшись в гостинице прославленного города, где он прежде ни разу не бывал.

Он сказал, что должен торопиться. Они встретятся в Люксембургском саду, как только он договорится обо всем с тем человеком, и пойдут вместе завтракать в известный ей ресторан. Симон хотел было открыть ставни, но Жюстина сказала, что не стоит. Окно выходит во внутренний двор, и соседи привыкли к тому, что ставни в этой квартире уже многие годы не открываются. В ванной на столике, накрытом кружевной салфеточкой, Симон обнаружил опасную бритву и, намылившись марсельским мылом, побрился. Жюстина с восхищением смотрела на него.

— Где ты этому выучился? Я и не подозревала, что еще есть люди, которые умеют это делать!

Он рассказал ей о Бейсаке. Однажды он нашел там опасную бритву своего деда и научился ею бриться. Жюстина заметила, что ей хотелось бы побывать в Бейсаке. Симон промолчал. Это уж слишком. Ей не место в Бейсаке. Она проводила его до двери. Он поцеловал ее под портретом герцога де Гиза и весело сказал: «До скорой встречи!», словно это уже вошло у них в обыкновение.

СВИДАНИЕ В ПАЛЕ-РОЙЯЛЕ

«Как-то выглядит Париж? — думал Симон.— Едва ли он изменился, если не считать, конечно, следов войны и оккупации... А вот я изменился...» И, спускаясь по лестнице, он подумал, что изменилось прежде

всего его отношение к смерти: он сроднился с ней. «Раньше, когда я гулял по Парижу, я понятия не имел о том, что такое время. Теперь я знаю, что время так и течет у меня между пальцев. Запас отведенного мне времени непрерывно истощается, и он не возместим. Настанет день — возможно, это произойдет сейчас, во время свидания в Пале-Ройяле,— когда у меня вдруг, одним махом, отнимут все время, что мне осталось». На улице его встретило такое веселое солнечное утро, что эти мрачные мысли тотчас рассеялись. «Я веселый меланхолик»,— подумал Симон. Он прикинул в уме, как лучше идти к Пале-Ройялю, но тотчас понял, что путь, подсказанный сердцем, отнюдь не тот, какой диктуется осторожностью. Париж стал городом-западней, городом стратегическим, где следует избегать определенных мостов, определенных площадей, ибо там скорее всего можно нарваться на патруль. Появилась карта Парижа, соответствующая не истории этого города, а истории, которая творилась сейчас. Эта карта была составлена одновременно вражеской полицией и подпольщиками, сообразно их представлениям об опасных кварталах. Выбор маршрутов и мест свиданий зависел от принадлежности к той или иной организации. Так, коммунист, направляясь от Винного рынка к Пале-Ройялю, избрал бы совсем иной маршрут, чем представитель правого крыла движения Сопротивления, привыкший к богатым кварталам и склонный назначать свидания на Елисейских полях. Симону ужасно хотелось пойти через Птичий рынок. Он мечтал посмотреть на ларьки, где его отец в свое время покупал то, без чего не обойтись обитателю предместья, вроде, например, розовых кустов, которые, если их неудачно подстричь, быстро превращаются в обычный шиповник. Туда несколько лет спустя он не без тайного умысла привел как-то в субботу Камиллу, чтобы она могла составить себе представление об укладе их жизни в Сен-Реми — простом, почти крестьянском. И, глядя, как она бродит по рынку, восхищаясь крошечными черепахами, любуясь аквариумами, где среди водорослей плавают эскадры рыбок величиной с булавочную головку, он думал о том, что настанет день, когда ребенку, у которого, как у нее, будут глаза с поволокой, он принесет с этого рынка канарейку в белой деревянной клетке. Но этот день, очевидно, никогда не наступит, а теперь Симон не может даже пройти мимо Птичьего рынка, так как рядом, на набережной, находится полицейское управление. Симон попытался утешиться мыслью, что сейчас, из-за войны, эти лавчонки, наверно, опустели. И он двинулся в путь по левому берегу Сены.

Он лишь мельком взглянул на лотки букинистов, к которым не заглядывал раньше из-за отсутствия времени и денег и возле которых сейчас с раздражением увидел солдат и офицеров оккупационной армии. Наверно, они воображают, что таким образом можно вобрать в себя все культурное наследие Запада! А может быть, они втайне восхищаются этим?

Вот и Лувр, вот Королевский мост, вот Триумфальная арка на площади Карусель; к тому же апрельский воздух так прозрачен, а тело Симона еще хранит память о наслаждении новой любви! Сколько таких минут выпадает человеку в жизни? Совсем немного. Но счастье недолго переполняло Симона. Раньше здесь было полно цветов, над газонами — натянутые сетки, защищавшие их от воробьев, а надписи на Триумфальной арке гласили, что она установлена в честь молниеносного завоевания Германии наполеоновскими войсками. Сейчас клумбы были перепаханы, надписи закрыты мешками с землей, а с балконов на улице Риволи свисали знамена со свастикой или с мальтийским крестом. Редкие прохожие шли по мостовой, так как вдоль тротуаров тянулись деревянные барьеры, за которыми, широко расставив ноги, стояли часовые в касках, держа палец на спусковом крючке автомата. Черные буквы по

белому полю предупреждали, что «по нарушителям будет немедленно открыт огонь». «И почему этот идиот,— подумал Симон,— назначил мне свидание в таком месте? Он просто сумасшедший! Интересно, на что я еще наткнусь?» Выйдя на площадь перед театром «Комеди франсез», он сверил свои часы с уличными и обнаружил, что его часы отстают на восемь минут. Это испортило ему все удовольствие, а ведь обычно вид этих фонарей с белыми шарами, несмотря на присутствие несчастного Мюссе, такого бесконечно больного в своем каменном кресле, настраивал его на легкомысленный лад: ему всегда представлялось бесшабашное веселье, шумные празднества, театральные кулисы. Тревога исподтишка вновь закралась к нему в душу. Мимо проехали молоденькие велосипедистки в легких юбочках, разлетавшихся на ветру, обнажая голые ноги; они наслаждались свежестью утра, пустынностью широкого авеню Оперы, и Симон подумал, что, пожалуй, самым трудным в жизни подпольщика является то, что она протекает среди мирных декораций, декораций счастья и любви, декораций, которые почти ничем не напоминают об опасности, и если бы не присутствие вражеских солдат, их складов и их знамен, можно было бы даже забыть, почему и зачем ты здесь.

Симон опасливо пересек площадь, вошел в Пале-Ройяль и, не заходя под аркады, сел на скамейку в саду. Напротив, по другую сторону решетки, разгуливал какой-то тип с пухлым портфелем под мышкой. К нему подошел другой такой же праздный прохожий. Они стали рядом, плечо к плечу, и принялись рассматривать какие-то бумаги. Ярость Симона против этого Вандекса — одно имя чего стоит! — который назначил ему свидание в такой мышеловке, с каждой минутой возрастала. Он посмотрел на часы и решил, что подождет ровно три минуты сверх назначенного времени и уйдет. «Во всяком случае,— подумал он,— это не коммунист. Никогда коммунист не назначил бы мне здесь свидания». К человеку с портфелем подошел другой прохожий, и повторилась та же сцена. Очевидно, тут что-то связанное с фальшивыми документами. Человек с портфелем выдавал документы вкрадчивыми жестами беспатентного торговца галстуками.

Симон поспешно встал, пересек сад и пошел по галерее Монпансье. Он пройдется туда и обратно и уйдет. В случае провала этого свидания у него для страховки назначена встреча на завтра в Шампионне, более удачном, с его точки зрения, месте. Из глубины галереи навстречу ему шел высокий человек. Симон хотел было обернуться, но побоялся, что это будет замечено. Он продолжал идти навстречу высокому человеку с тем же чувством, какое испытывал, когда шел по перрону вокзала,— с чувством, что он идет в ловушку,— как вдруг он узнал Казо. От удивления Симон даже перестал злиться.

— Вот это да! — воскликнул он.

Казо слегка помедлил, затем быстрыми шагами, улыбаясь, подошел к нему и, протянув руку, произнес фразу, по которой Симон должен был признать Вандекса:

— Не могли бы вы сказать мне, где находится отель «Божоле»?

Оба заговорили разом: «Это ты? Ты?» — «Ну и ну!» — «Вот это да!»

— А ты совсем не изменился,— заметил Симон.

— Да,— признался Казо,— настолько не изменился, что даже противно! Мою рожу эти господа отлично знали еще до войны.

И все же он изменился. Не столько во внешнем облике, хотя у него появились — в целях маскировки — черные усы и он стал носить более сильные очки из-за возросшей близорукости, сколько в чем-то другом; в нем произошло бесконечное множество каких-то изменений, незаметных для тех, кто жил подле него все эти годы, однако превративших его в совсем другого человека. Симону потребовалось несколько ми-

нут, прежде чем он привык к этому новому Казо 1944 года, который заменит в его памяти Казо прежних лет — того Казо, что ел колбасу из Верхней Гаронны и декламировал: «Так мускус, и бензой, и нард, и фимиам...»

— Пойдем-ка отсюда,— сказал Симон.— Мне здесь не нравится.

— Мне тоже,— признался Казо.— Я, кстати, здесь никогда не бываю. Ты, надеюсь, понимаешь, что не я выбрал это место для встречи. Свидание было назначено другим человеком, и я уже ничего не мог изменить — Он почти совсем утратил свой южный акцент.— Мы,— добавил он,— мы так не работаем...

— Кто это мы?

Он рассмеялся.

— Понимай как знаешь. Ты... ты плаваешь все в тех же водах?

— А по-твоему, то, что произошло, могло заставить меня измениться?

— Здорово все-таки получилось, дружище,— воскликнул Казо.— Ну и повезло же мне. Я как раз думал: кого-то теперь пришлют? Бойскаута? Как это вышло, что мы с тобой столько времени не виделись?

— Такова уж наша жизнь,— заметил Симон.

— Сейчас мы пойдем на квартиру, я покажу тебе, в чем будет состоять твоя работа, а потом поедим вместе...

Симон сказал, что он, к сожалению, занят.

— Уже деловой завтрак? Интригуешь? Подбираешь кандидатуры супрефектов?

— Нет,— сказал Симон,— супрефекторш...

— Однако ты времени зря не теряешь...

Они расспрашивали друг друга о жизни, о делах, выясняя, кто кем стал, и оба про себя подумали — хотя и промолчали,— что оба, собственно, не стали никем. Атмосфера предвоенных лет, а потом сама война лишили их юности. Если не считать короткого лета 1936 года, которое навсегда останется в их памяти, того лета, когда над заводами развевались красные и трехцветные флаги, на площадях были воздвигнуты трибуны, шли колонны демонстрантов, когда на этом празднике, огни которого почти сразу же погасли, они видели рядом Тореза и Блюма,— если не считать того короткого лета, оба жили все эти годы в тревожном предчувствии неизбежной катастрофы. Казо был тогда классным наставником и с головой ушел в профсоюзную деятельность. Симон признался, что главным образом читал газеты и много времени уделял личной жизни. Казо сказал, что помнит Камиллу. Сам он так и не женился. Он как раз собирался жениться, когда разразилась война. Симон впервые пытался рассказать кому-то другому, чем была его жизнь после «Потемкина», как он это называл. И ему стало страшно оттого, что уже так много прожито. Оба, как всегда в подобных случаях, произносили какие-то имена — ну, а этот? ну, а тот? — и неизменно убеждались, что с каждым из этих людей произошло именно то, чего следовало ожидать. «Вот видишь, я же говорил...» На несколько секунд ожили, наполнились красками жизни забытые лица. Казо рассказал, что он как-то встретил Лебра, их бывшего учителя из Сен-Реми.

— Да, Лебра «вполне благонадежен». Ничего иного от него и ждать нельзя было. Знаешь, что он мне сказал? Он сказал: «Я делаю максимум... максимум возможного, поймите меня...» Ну, а поскольку трудно сказать, что же возможно...

— Он, конечно, ведет дневник,— заметил Симон— И после Освобождения издаст его. Выступит в качестве свидетеля нашей эпохи...

Но оба были довольны, что Лебра оказался «вполне благонадежен».

— В конце концов,— заметил Симон,— ведь это он научил нас родному языку.

— Да, конечно, но это не может оправдать путаницы в его мыслях.

Симон промолчал. Он нередко с увлечением слушал в Сен-Реми мечтательные разглагольствования Лебра, в чьем воображении революция представала как некое расплывчатое сияние. Правда, Лебра признавал, что сияние это исходит с востока... как с востока восходит солнце...

— Лебра...— с грустью промолвил он.— Лебра... Вообще-то говоря... Нас тогда покоряли высокие слова. Меня, во всяком случае. Мы учились тогда понимать высокие слова. Потом пришлось переучиваться, а теперь... Ах, до чего же это трудно...

— Не так уж трудно, когда у тебя есть ключ.

— Какой ключ?

— Марксизм,— сказал Казо.

Глубокая убежденность, прозвучавшая в его голосе, тронула Симона. При других обстоятельствах эта убежденность вызвала бы у Симона раздражение, но в то утро, в оккупированном Париже, Казо имел право так говорить.

Они подошли к дому из грубо обтесанного камня, на фронтоне которого по всем этажам вились фестоны из роз и каких-то загадочных лепных украшений. Дощечка над входом гласила, что это пышное здание является собственностью одной из страховых компаний.

— При такой вывеске мы можем быть спокойны,— пошутил Симон.— А как насчет привратниц?

— Не в курсе дела, но вполне приемлемы. А потом у нас неплохая ширма: бюро по изучению состояния рынка, которое существует и поныне или, во всяком случае, существовало еще совсем недавно. Владелец его уехал в Южную зону. Кроме того, на третьем этаже живет зубной врач. Это тоже может служить алиби...

Квартира была того же типа, что и у Жюстины: при входе стояли средневековые латы, очевидно для того, чтобы создать у клиента ощущение безопасности; они играли здесь ту же роль, что и приставка «де», которую часто прибавляют к своим фамилиям агенты страховых компаний.

— Удивительная вещь,— заметил Симон,— почти у всех тайных квартир на редкость обжитой вид.

Оба позубоскалили на этот счет. Казо заметил, что здесь нет ничего удивительного.

— Это не случайно. Люди, которые помогают нам, предоставляя свои квартиры, обладают крупными средствами и, естественно, занимают роскошные апартаменты. Но будучи богатыми и к тому же патриотами, они, как правило, придерживаются определенных традиций. Вот почему ты без труда заранее можешь себе представить, как обставлены их квартиры...

Интересно, счастливы ли были те, кто здесь жил. Симон утверждал, что нет. А Казо с ним не соглашался.

— Такие люди живут, не ведая душевного разлада. А это главное. Они считают, что их образ жизни — наилучший. А вот мы — мы не знаем, как мы живем. Завязывая галстук, я всякий раз говорю себе, что мой отец не знал даже, с какой стороны приступить к такому делу. Ему это не было нужно. Два-три раза в год, отправляясь на похороны, он надевал черный галстук с готовым узлом.

Симон удивился откровенности Казо. Он не мог припомнить, чтобы Казо смотрел хоть на что-нибудь не с политической, а с иной точки зрения. У Симона даже мелькнула мысль, что они могут стать друзьями. Он помог Казо разложить папки на столе в стиле ампир, стоявшем перед камином. В одной папке находилась почта из Лондона. Симон просмотрел листы тончайшей бумаги, на которых телеграфным стилем были изложены трагические истории человеческих жизней. Он представил

себе, как эту почту готовили там, в Англии: машинистка, офицеры разведки, чашки с чаем, запах трубочного табака.

— В прошлом месяце в Париже мы им дали жару,— заметил Казо.— Ты слыхал про дело на улице Архивов?

Симон сказал, что в Южной зоне об этом не было разговоров. А в Париже об этом кричали заголовки всех газет. В грузовик вермахта среди бела дня была брошена граната. Оцепили весь квартал. «Пари-суар» поместила фотографию одного из арестованных патриотов. Она хранится здесь, в папке.

— Не узнаешь? А ведь ты его знал...

Черно-белая фотография, рассеченное лицо, изуродованное, распухшее, как у человека, скончавшегося неделю назад.

— Нет,— сказал Симон.

— Это Гранж. Неужели не помнишь Гранжа, одного из руководителей Союза Молодежи? Поля Гранжа? Но уж фамилию его ты, во всяком случае, должен знать! Он воевал в Испании. В свое время был довольно известен...

— Да, да, конечно,— сказал Симон.— Постой-ка...

Однажды утром, в воскресенье, через двор вокзала Аустерлиц шли люди с пением «Интернационала». Усталые, лихорадочно возбужденные. Симону показалось тогда, что, проходя мимо, они с укоризной смотрели на случайных очевидцев этого шествия. Или, может быть, он увидел в их взглядах укор, потому что сам укорял себя в душе?

— Гранж?.. Гранж.

И Симон внезапно вспомнил Поля по той же нелепой ассоциации, которая привлекла его внимание к фамилии Поля в тот вечер, когда показывали «Потемкина» и Казо крикнул: «Эй, Гранж!» Он запомнил эту фамилию, потому что и Борд и Гранж на разных наречиях означают одно и то же — «гумно».

— Ну, конечно,— воскликнул он,— конечно, я его помню! Ну да — Гранж! Поль Гранж, а подружку его звали Полеттой, Поль и Полетта... Ты познакомил нас после показа «Потемкина».

Казо заметил, что он этого не помнит. Однако сам вечер, несмотря на то, что он много раз видел «Потемкина», Казо отлично помнил.

— Ты, конечно, не забыл этот вечер, потому что там был Андре Жид.

— Боюсь, что да,— признался Казо.— Ну и мерзавец же... Как подумаю, что́ он тогда для нас значил!

— Вы просто немножко поторопились... Позволь тебе сказать, что было просто наивно думать, будто Андре Жид может быть верен какой-либо идее больше двух-трех лет.

Казо пожал плечами.

— Не он единственный...

— Собственно, мы одного тогда не поняли,— продолжал Симон,— не знаю, почему я сказал «вы», ведь я тоже на эту удочку попался... Так вот, мы не поняли того, что Андре Жид принадлежал прошлому. Прежде чем пускать этого человека на наши трибуны, надо было почитать его книги. Как подумаю, что именно он произносил надгробную речь на похоронах Горького... на Красной площади... фантастика, да и только!

Под снимком, помещенным в «Пари-суар», было несколько строк текста. Он не был напечатан на машинке, а написан от руки явно измененным почерком. Всего две-три протокольно сухие фразы.

— Известно, что с ним стало?..

— Нет,— сказал Казо.— Но ты же понимаешь: арестован с оружием в руках... Посмотри, во что его превратили. Я бы сам его не узнал. Мне просто сказали, что это он...

Они вместе просмотрели дневную почту. Казо вскрывал конверты, склеенные с помощью липкой бумаги. Он объяснил Симону, что значат некоторые служебные сокращения, которые надо ставить на вторых экземплярах перед их отправкой дальше. Симон рассеянно слушал. Занавеси на окнах были наполовину задернуты. Он думал только о губах Жюстины, о ее руках, о ее прохладных коленях.

— Тебе скучно?

— Нет, нет, продолжай...

— Ты считаешь, что все это ненужная канцелярщина? Но должен же кто-то этим заниматься...

Завыли сирены. Приятели подошли к окну и, раздвинув занавеси, увидели очень высоко в небе бомбардировщики, походившие на блестящие точки. Им показалось, что взрывы раздались где-то очень близко. Задрожали стекла.

— Ни к чему все это,— заметил Казо.— Как подумаю, что ведь и наши могли бы вот так же воевать, будь у них все необходимое... Впрочем, о том, что произошло, услышим завтра!..

Завтра в газетах появятся фотографии убитых. Фотографии погибших железнодорожников, безвестных людей, живших в маленьких домиках разбомбленного пригорода. Кардинал приедет благословить их останки.

Новая волна взрывов, более сильная, с оглушительным треском прокатилась по городу. Небо над Парижем превратилось в грохочущий купол. И почти тотчас раздался звук осыпающегося щебня.

— Русские так не бомбят,— заметил Казо.— Они делают это лишь в случае крайней необходимости.

— А может быть, это как раз и есть такой случай...

— Возможно...

Казо закрыл папку с надписью: «Корреспонденция за день».

— Ты обнаружишь здесь, конечно, немало глупостей... нет нужды говорить тебе об этом. В движении Сопротивления с этой весны появился такой народец!.. Уже формируются министерства и префектуры. Планы, контрпланы, сплошная мышиная возня! Готовится поход за искоренение нищенства после пяти часов вечера... Если они считают, что этот винегрет так уж необходим, пусть изготовляют его сами... А ты поступай, как находишь нужным...— Он поморгал близорукими глазами за толстыми стеклами очков.— ...как тебе подсказывает политическое чутье.

Казо положил папку на стол в стиле ампир и снял очки. Закрыв глаза, он протер стекла клетчатым платком.

— Значит, ты все же не вступил в партию?

— Нет. Но сердцем...

Казо сделал гримасу, покачал головой, надел очки, сунул платок в карман, вытащил сигарету, разрезал ее и протянул половину Симону.

— Тебе смешно?

— Почему?

— Потому что я сказал: сердцем? Ты не веришь?

— Почему же, верю! Конечно верю. Но ведь не могу же я сказать, что между членом партии и не членом партии нет никакой разницы! Что бы ты подумал обо мне, если бы я сказал тебе такое? Ты ведь и сам так не считаешь?.. Конечно, это не одно и то же.

Симон согласился, что это не одно и то же. Он рассказал Казо о своих беседах с Прево зимой тридцать девятого года. Казо без особого волнения выслушал известие о смерти Прево. А ведь он его хорошо знал.

— Что поделаешь?!.. Ты знаешь, как он погиб?

Симон сказал, что Прево погиб у него на глазах, но не сказал как. Ему казалось теперь, что такая смерть — под грузовиком — не может считаться достойной на войне, которая ведется сейчас. А может быть, в

глубине души Симон боялся принизить в глазах Казо собственный боевой опыт...

— Словом, Прево так и не удалось тебя убедить... Не помог ни Прево, ни все то, что случилось потом! Что ж...— Казо приподнял плечи и посмотрел на потолок, словно Симон вдруг перестал его интересовать.— Что ж, должно быть, ты еще не созрел для такого шага! Но как же убедить тебя?!

Симон пояснил, что он вовсе не считает свое поведение правильным. Нет. Он отнюдь не собирается оправдывать себя, просто ему хочется быть честным перед самим собой. Он боится, что не сумеет дать того, чего потребует от него партия.

— Я предпочитаю,— в заключение сказал он,— быть хорошим сочувствующим, чем посредственным коммунистом.

— Старая песня,— заметил Казо серьезным, несколько назидательным тоном, каким он обычно утверждал, что марксизм — это ключ к познанию, только на этот раз Симон слушал его с раздражением.— Хочешь, я скажу, чего тебе недостает?.. Тебе недостает классового сознания...

Симон возмутился.

— Надеюсь, ты не станешь рассказывать мне о галстуке твоего отца и о твоем крестьянском происхождении? Прошу тебя, не надо... мы с тобой оба интеллигенты, и притом одной закваски... Во всяком случае, обещаю тебе подумать.

А может быть, Казо и прав? Может быть, ему и в самом деле еще не удалось избавиться от того, что он сам называл «мирком Сен-Реми»— мирком, где ничего не происходило, где мысли застаивались, где восторг мог в одну минуту смениться разочарованием, где все в конце концов сводилось к чтению газет и обсуждению прочитанного. Быть может, для того, чтобы по-настоящему все понять, надо годами стоять у станка на заводе, без всякой надежды оттуда вырваться? Чтобы единственной надеждой, единственным выходом из положения была победа твоего класса?

— Ты считаешь меня обывателем?

— В этом вопросе — да.

— В таком случае, что же делать?

— Ты сам прекрасно знаешь.— И Казо ткнул пальцем в сердце Симона.— Но ты романтик... Ты так и застрял на эпохе «Потемкина». На девятьсот пятом годе... «Броненосец «Потемкин», конечно, фильм хороший, но это все-таки только фильм...

— Мы еще поговорим об этом,— сказал Симон. И, понизив голос, добавил: — Но мне, мне нужен «Потемкин»...

Он не сказал Казо, что для него «Потемкин» — не просто корабль, для него — это пламя, пламя, которое, очевидно, до последней минуты пылало в сердце такого вот Поля Гранжа и которое нельзя подменить классовым сознанием.

Казо сжигал конверты в камине стиля эпохи Возрождения.

— Не забывай всякий раз хорошенько переворошить пепел,— бесстрастно заметил он.

— Хорошо, шеф,— сказал Симон.

«В сущности,— подумал он,— мы ведь никогда не были друзьями. Я восторгался им, но друзьями мы не были. Он всегда прав, только кому нужна такая правота? Никому. Работать с ним будет не очень-то весело».

Он извинился, сказав, что ему пора идти. Он вернется к вечеру. Казо заявил, что его тогда уже не будет. И дал Симону ключ.

— Встретимся здесь завтра утром. Ты идешь перекусить со своей супрефекторшей?

— Да, с супрефекторшей,— процедил сквозь зубы Симон.

— Привет,— сказал Казо. Он помолчал и, указав на собственное сердце, добавил: — Вообще-то не слишком полагайся на него...

Симон еле заметно передернул плечами. «Работать с ним будет не очень-то весело!»

ИГРА В ПРАВДУ

Жюстина ждала у решетки Люксембургского сада, где выстроились знаменитые грушевые деревья и опытные ульи. Симону прежде всего бросилось в глаза ее короткое платье в крупных желтых и красных цветах, которое он нашел немного кричащим. Не понравилась ему и прическа — рыжеватые волосы Жюстины лежали по плечам, а спереди были приподняты в виде пышного кока,— но такова была мода. В больших глазах Жюстины отражалось солнце, однако она не моргала.

— Какая ты красивая!

Она радостно улыбнулась. Так приятно ждать, когда знаешь, что предстоит не деловое свидание.

— Ну что ж,— сказал Симон,— давай хоть поцелуемся для виду. Держись непринужденно! — Он обнял ее и закрыл глаза. Она была вся пропитана солнечным теплом.— Какая погода! — воскликнул он.— Вот увидишь, они скоро высадятся!.. Ты хочешь есть? Я, например, предпочитаю погулять... А что если мы зайдем к тебе? Поесть мы успеем и после войны... А вот любовь...

На лице ее вдруг снова появилась маска, как тогда, в поезде. Симон впервые видел ее такой при дневном свете.

— Ты сердишься?

— Нет, не сержусь. Я просто хочу есть.

— У тебя словно два разных лица. Сейчас у тебя было такое лицо, как в поезде, когда мы встретились...

— У меня оно всегда такое, когда я на людях...

Они пошли к бульвару Монпарнас.

За проволочной сеткой «зольдатенхайма» сидели военные и тупо тянули пенистое пиво. Какой-то немец-летчик улыбнулся Жюстине.

— Что ты думаешь, когда видишь вот такую улыбку?

— Как правило — ничего. О чем тут можно думать? Но если бы какая-то мысль у меня и возникла, то прежде всего это была бы мысль о моем отце и моей матери, которых они убили.

— А как по-твоему, у француженки может быть роман с немецким солдатом?

— Нет.

— Ни при каких обстоятельствах?

— Нет...— Она помедлила.— Если, конечно, эта женщина не считает, что любовь важнее всего...

— А ты этого не считаешь?

— Нет... А ты?

— Тоже.

Она рассмеялась, и маска с ее лица исчезла.

— Мне нравится, что мы думаем одинаково о самом важном.

Он взял ее под руку и прижал к себе.

— Давай продолжим игру в вопросы и ответы, хочешь? — спросил он.— Но условимся, что отвечать можно только «да» или «нет». Согласна?..

— Это старая штука. Ты предлагаешь сыграть в правду?

— Нет. Игра в правду — это детская игра. Моя — более усовершенствованная: тут можно и солгать...

— В таком случае, начинай.

— Значит, ты не считаешь, что любовь важнее всего?

— Нет.

— В таком случае ты считаешь важным в жизни то, чем ты сейчас занимаешься?

— Да.

— Если бы немцы выиграли войну, у тебя было бы желание жить?

— Нет,— сказала она.— А у тебя?

— И у меня нет.

— Но ты все-таки будешь жить?

— А ты?

— Это нарушение правила,— сказала она.— Видишь, ненадолго хватило у нас терпения вести игру...

— На такой вопрос невозможно ответить,— сказал он.— Если бы немцы выиграли войну, это было бы не навсегда.

— Ты уверен, что не навсегда?

— Да.

— Ты считаешь, что справедливость обязательно торжествует?

— О, нет,— сказал он,— нет... Но я считаю, что история идет в определенном направлении, а они пытаются повернуть ее вспять...

— А вот русские... Ты всегда верил, что они выиграют войну?

— Да.

— Не может быть. Вначале этому нельзя было поверить. И никто в это не верил...

— Вот тут ты ошибаешься,— сказал он.— Ты была тогда совсем девчонкой. Ты ничего не знала. Я видел одного парня в июле сорок первого года... Он не только не сомневался в том, что русские в конечном счете победят, но всякий раз, когда немцы наступали, потирал руки. И говорил: «Вот здорово! Сами лезут в западню! Вот здорово!»

— И ты этому верил?

— И да, и нет. Давай прекратим игру. Как ни удивительно, но я верил. Не разумом. Я верил... сам не знаю, чем верил...

— Ты верил сердцем?

Симон вспомнил, что сказал по этому поводу Казо, и запротестовал:

— Нет, нет. Это было что-то другое. Ты представить себе не можешь, чем была для нас Красная Армия. Что она собой олицетворяла... Чтобы Красную Армию кто-то мог победить... Люди, думавшие, как я, видевшие мир таким, каким видел его я, в свои двадцать лет, или каким я его себе представлял, не могли в это поверить... Это была нелепость. Я говорил себе: «Этого не может быть. Что-то должно случиться, что-то совершенно неожиданное...» Не мог я поверить, что история вдруг повернет вспять. Такого не бывает... Во всяком случае, не в таком масштабе. Отдельные мелкие случаи движения вспять, конечно, возможны, но не в таком масштабе и не навсегда. Вот во что я верил и во что верю сейчас. В это я верю...

— Но это же чистейший идеализм! — без тени улыбки заметила она.

Он рассмеялся.

— Сразу видно, что ты совсем недавно занималась философией! Ты славная...

Он хотел было поймать губами ее ухо, но она резко отстранилась.

— Я этого не люблю. Не люблю, когда мальчишки считают девушек идиотками. Ты разочаровываешь меня.

Он попросил у нее прощения.

— И все же,— заметил он,— идеализм это нечто совсем другое. Ты все перепутала.

Они сели на скамейку и стали наблюдать за прохожими на бульваре. Перед витриной со скверной живописью собралась небольшая толпа, в том числе и немецкие солдаты, которые мечтательно глазели на цветы и на обнаженных женщин, возлежащих на мехах.

— Противно все-таки,— заметил, понизив голос, Симон.— Посмотри на них: они нисколько нас не боятся. Мы ничего не сделали для того, чтобы они нас боялись. Знаешь, о чем сейчас думают эти парни? Они думают о том, что после войны вернутся сюда пить пиво и любоваться женщинами. Мы не сумели превратить их жизнь в ад... Я, конечно, говорю о нас, французах...

Он рассказал Жюстине о Поле Гранже.

— Если бы в Париже нашлась тысяча парней вроде него, все было бы иначе. Но, видимо, это невозможно. Слишком трудно набрать столько героев в такой стране, как наша... Люди стали что-то уж очень цепляться за жизнь...

Жюстина заметила, что она, например, не очень цепляется за жизнь.

— Но ведь у тебя есть ребенок,— сказал он,— если, конечно, это правда...

— Что значит: «если это правда»? Разве можно такое выдумать!

Этот серьезный, интимный тон не показался ему неуместным. У него было такое ощущение, словно со времени их встречи в лионском поезде прошли тысячи часов и бесчисленное множество ночей.

— Как быстро мы шагаем,— заметил он.

— Когда я ждала тебя у вокзала,— произнесла она,— и думала, что тебя задержали, мне вдруг стало так страшно за тебя, я решила даже, что я тебя люблю. А возможно, любовь и в самом деле может длиться всего лишь несколько минут. А все остальное — лишь воспоминания об этих минутах.

Он промолчал. Эта фраза неожиданно вызвала к жизни образ Камиллы, возникший перед ним, как упрек. Он не желал слышать таких слов ни от кого, кроме Камиллы. Но ведь он их уже услышал...

— Возможно,— сказал он.— Возможно. Но ведь у нас с тобой пока еще нет никаких воспоминаний...

— Ты так думаешь? А может быть, у нас их уже много. Гораздо больше, чем было бы в обычной жизни...

Он сказал, что да. Возможно.

Возможно, и в самом деле никогда уже не будет таких чудесных часов, как те, что они вырвали сейчас у судьбы. Возможно, до самой смерти не будет. Сколько всяких «возможно»!

Они отправились на поиски ресторана. Хозяйка, к сожалению, не помнила мосье Шарля из Лиона, на которого сослалась Жюстина... Она за все потребовала талоны, даже хлебные. Симон сидел напротив Жюстины, и руки их встретились над тарелкой, где остывало что-то серое и безнадежно унылое. «О чем ты думаешь?» — спрашивали они друг друга.— «А ты?»

— О том же, о чем и ты,— сказала она.

— Бывают минуты, когда все осатаневает,— заметил Симон.

Он добавил, что ему не очень нравится человек, с которым предстоит работать, хотя он знает его давно.

— Что это за человек?

— Самый обычный. Что я могу о нем сказать? Очень честный. В свое время я восхищался им... У него есть все, чего не хватает мне, но он... как бы это сказать?.. он слишком увлекается абстракциями, слишком все систематизирует...

Ему вспомнилась квартира с тяжелыми занавесями на окнах. Он будет сидеть там и прислушиваться к звуку шагов. А в один прекрасный

день вслед за звуком шагов неизбежно раздастся стук в дверь. И настанет его черед...

— Пойдем погуляем,— неожиданно предложил он.

Они так и не притронулись к кофе из жареного ячменя с сахарином.

Жюстина извинилась. Им просто не повезло. Знакомые ребята говорили ей, что в этом бистро им подавали все, что угодно.

— На вечер,— сказала она,— я придумаю что-нибудь другое.

Он встрепенулся.

— А ведь в самом деле! У нас впереди еще вечер!

Они медленно прошли через Люксембургский сад. Перед наглухо закрытыми бункерами расхаживали солдаты в серо-зеленой форме, в касках, с автоматами через плечо.

— Они уничтожат Париж,— сказала Жюстина.— Вот увидишь. Когда они почувствуют, что дело худо, они все взорвут.

— Нет,— возразил Симон.— Не посмеют. Слишком сложно уничтожить Париж. Это будет дурно пахнуть, как говорят у нас на юге. А они постараются обернуть все себе на пользу. Когда-нибудь их даже похвалят за благородное поведение. И их генералы в отставке станут членами-корреспондентами академии изящной словесности...

Жюстина закрыла глаза и, раздув ноздри, глубоко вдохнула воздух.

— Какая весна! Даже запаха бензина не чувствуется. Пахнет землей...

— С чем связан для тебя Люксембургский сад?

— Ни с чем,— сказала она.— Я была совсем маленькая, когда меня увезли из Парижа, а потом мы ведь жили не здесь. Я — дитя богатых кварталов. На этот счет двух мнений быть не может. В тех садах, куда меня водили гулять, детей сопровождали няни-англичанки, а по аллеям ездили коляски на очень высоких колесах с резиновыми шинами. Там был киоск, который назывался «Для детей нашего парка». Речь идет, конечно, о парке Монсо.

— А я не гулял в садах, я бегал по тротуарам. И мама смотрела за мной из окна. Тогда шла война. Война четырнадцатого года. Отец мой был на фронте. А потом мы переехали в пригород...

— А когда ты учился, где ты гулял?

— Я учился в закрытой школе.

Он рассказал, что представляла собою школа в Сен-Реми. А потом он рано женился и начал работать классным наставником. А потом началась война.

— Не очень увлекательная история...

Она улыбнулась.

— Какое это имеет значение?

— Как это прикажешь понять?

— Я просто хочу сказать, что все это уже отошло в прошлое.

— На данный момент — да, возможно. Но я рано или поздно вновь окажусь в тисках этого прошлого.

Жюстина заметила, что она по-настоящему не знает Парижа. Симон признался, что он тоже по-настоящему не знает его. В свое время он любил бродить по городу наугад, особенно, добавил он, по окраинным кварталам.

— Я шел, шел. И все надеялся, что вот сейчас что-нибудь случится. Скажем, встречу прекрасную женщину, удивительную умницу, и она вдруг решит, что раз в жизни можно совершить глупость — просто так, для разнообразия. Я смотрю на нее, она смотрит на меня... И вот, словно Тристан и Изольда, мы уже пьем любовный напиток...

— Так, по-твоему, бывает?

— Нет, конечно, но люди моего склада всегда чего-то ищут. Только это ни к чему не приводит. Так бедные охотники охотятся на коммунальных землях. И никогда ничего не убивают. Но ведь не в этом дело: главное — побродить, помечтать.

Она сказала, что им владеет дух отрицания и что он, видимо, не любит поэзии. Он заверил ее, что любит, но просто не умеет об этом говорить. А кроме того, у него очень плохая память. Те немногие стихи, какие он знает, выучены еще в детстве. Да и стихи это такие, о которых сейчас смешно даже говорить. Вроде, например: «Бледная вечерняя звезда шлет мне привет издалека...» Или: «Один из консулов убит, другой бежит к Линтерне...»

Симон вдруг обнаружил, что они находятся почти рядом с его тайной квартирой. Они брели по Парижу, куда глаза глядят. «Я с ума сошел,— подумал он.— Мы оба сошли с ума. Если я уже не вижу улиц и не замечаю людей, когда иду с нею, значит я погиб, значит скоро я начну говорить ей глупости. Мы причиним себе бездну мук и будем оба несчастны. Надо кончать».

— Нам пора расстаться,— сказал он.— Какой удивительный случай свел нас вчера в поезде! Я на всю жизнь запомню тебя при этом голубом освещении.

— Но разве вечером мы не обедаем вместе? — робко спросила она.

Он не ответил. На углу улицы, где находилась тайная квартира, он заметил за поворотом черный автомобиль-фургон, стоявший порожняком. Его присутствие делало улицу особенно пустынной, и особенно необычной казалась тишина, в которой отчетливо раздавался стук деревянных подметок Жюстины по асфальту.

— Пойдем обратно,— сказал он.

— Почему? Тебя встревожил этот фургон? Ты считаешь, что он стоит здесь неспроста? Тут что-то есть?

Он помедлил.

— Тут моя тайная квартира.

— А-а!.. Хочешь, я пойду посмотрю?

— Ты с ума сошла.

— Почему? При мне нет ничего предосудительного. Меня там никто не ждет. Я ведь могу ошибиться домом... этажом.

— Они прекрасно знают эту песенку. Ты с ума сошла.

— Мне хочется что-то сделать.

— Для меня?

— Для кого-нибудь. Хочется что-то сделать — безразлично для кого. Разреши, я схожу. Женщина вызывает меньше подозрений. В доме нет ничего такого, куда я могла бы зайти?.. Врача или чего-нибудь в этом роде...

— Есть зубной врач. Но это глупо.

— Ты говоришь так потому, что не хочешь давать мне адрес?

Он отрывисто произнес:

— Ну хорошо, иди. Дом номер семнадцать, пятый этаж.

Он подумал, что если за квартирой установлена слежка, то и вся улица находится под наблюдением,— значит, завтра утром Казо может попасть в западню. Явка в Шампионне аннулирована. Никакого способа предупредить Казо нет.

Глаза у Жюстины были такие же лучистые, как и ночью, при свете свечи. Она сказала, что документы у нее в полном порядке, и велела ждать ее в метро, но не более десяти минут.

Он отпустил ее без единого слова, без единого жеста, боясь выказать свою тревогу и дать волю голосу совести, который начинал звучать в его душе, хотя Симон и убеждал себя, что Жюстина права, что нужно же кому-то пойти посмотреть, в чем дело, чтобы предупредить Казо.

Хотя он и убеждал себя, что она сделала бы это для кого угодно, что он сам поступил бы точно так же. Жюстина исчезла за углом. А что если она не вернется? Никогда? Пока он шел к метро, а потом ждал ее под плакатом, на котором была нарисована буква «V», увенчанная лавровым венком в знак скорой победы рейха, у него было такое ощущение, точно он отделен от остальных прохожих неровной стеклянной перегородкой. За стеклом двигались какие-то тени. Они принадлежали к совсем другой эпохе. Границы времени как бы раздвинулись. Жюстина стала для него давней любовью. Меньше чем за сутки она прошла с ним через все этапы жизни. Он видел ее подлинное лицо при самых разных обстоятельствах, и по мере того как истекали последние секунды десятой минуты, она становилась для него средоточием Вселенной.

Пора уходить. Он начал медленно спускаться по лестнице, ведущей в метро. Он пытался убедить себя, что ей, наверно, для большего правдоподобия пришлось зайти к зубному врачу. Твердил, что документы у нее в полном порядке и если даже полицейские устроили в квартире засаду, у них нет никаких оснований ее задерживать, но он знал также, что им и не требуется для этого никаких оснований. Навстречу ему из метро выходила женщина с двумя детьми. Он посмотрел на них с умилением и подумал о том, какими станут они лет через пятнадцать — совсем другими, чем мы. О нашей жизни они будут знать лишь по рассказам, по речам, посвященным тем или иным событиям, по отголоскам, которые будут постепенно затихать, пока в один прекрасный день все это не отойдет в область истории, не станет главой из учебника. И появится «интересный труд по истории французского движения Сопротивления», который мы сами с любопытством прочтем, чтобы узнать, чем мы были и чем стали. До того как направиться к билетной кассе, Симон в последний раз обернулся,— в голове у него стоял шум, дышать было больно... Она жива! Она бегом спускалась с лестницы. Он принял ее, запыхавшуюся, в объятья. Лоб у нее был влажный. Она смеялась. Он сказал:

— Боже, как ты меня напугала!

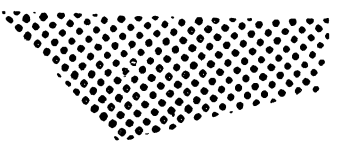
Она ответила, что, право, нечего было пугаться... Ничего подозрительного она не заметила, но все же для порядка решила зайти к зубному врачу.

— Нам всюду что-то мерещится. А в данном случае и вовсе не было оснований для страхов. Ведь тогда стояли бы две машины, а не одна, и за рулем сидел бы шофер. А какой номер был у машины? Ты даже не обратил на это внимания? Мы просто сумасшедшие!

В метро он крепко прижал ее к себе и закрыл глаза. Они многое хотели друг другу сказать, но не могли, потому что вокруг были люди, которые смотрели на них и слушали. Почему они смотрят на них? Да потому, что все в ту или иную пору своей жизни мечтали о таком счастье. Но счастье им либо не улыбнулось, либо они не захотели платить за него. Симон шепнул на ухо Жюстине:

— Ты совсем сумасшедшая. Ты страшно осложнила мне жизнь. Ты сама не понимаешь, что ты наделала!

(Окончание следует)



ФАИЗ АХМАД ФАИЗ
Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»

ИЗНЮ БЫЛ КАЖДЫЙ ШАГ

ПОЭЗИЯ ВОСХОДА СОЛНЦА

Сквозь всю поэзию этого много пережившего, передумавшего, переболевшего человека проходит одна тема — тема ожидания. Взыскующая, страстная, упорная, неумолчная тема того, как поэт в самом глубоком мраке ночи и тюрьмы ждет рассвета. Ждет, стремясь, требуя, борясь, не сомневаясь в неминуемом его приходе, хотя в бесконечном чередовании ночей лучи рассвета до сих пор не доходили ни до поэта, ни до его родины. И все-таки никогда отчаяние не пресекало этого непреодолимого ожидания.

Нет, наши сердца не знают отчаянья и сомненья.
Пусть тягостна ночь заключенья, она не пугает нас!

Это — тот драгоценнейший свет оптимизма, который, просвеченный сквозь линзы страданий, испытаний, мужества и надежды, не так-то часто озаряет строки поэзии, наделяя их немеркнущим и чистым излучением. Не так много в мировой литературе книг, озаренных именно таким оптимизмом, ничего общего не имеющим со своей жалкой бодрческой имитацией. Большая сила духа и большая вера в народ нужны для создания стихов, не подвластных временным поражениям, преходящим упадкам и ошибкам, неизменно устремленных к великому истинному рассвету свободы, который должен — в этом поэт не сомневается — прийти и для поэта, и для его родины.

В небывалых процессах освобождения угнетенных колониализмом народов иногда возникают явления, которые можно было бы назвать мнимыми рассветами. Их бледные лучи играют лишь на фасадах государственных зданий, не освещая глубины народной жизни, где вековыми пластами по-прежнему лежит упорная темень:

Ветерок красоты налетел и исчез без следа.
Даже тусклый фонарь не успел при дороге мигнуть.
И глубокая темень черна, как ночная вода.
Для ума и для сердца к свободе далек еще путь.
Смело к цели, друзья! И низринется ночь навсегда.

Поэт ясно видит обманчивость и зыбкость подобных рассветов, в лучах которых купается только небольшая кучка правителей, сменивших имена и национальные цвета,

но не сменивших своей старой сущности. И поэт говорит, опираясь на ясное понимание действительности, в которой находится его родина:

Мысль моя о тебе, о любимая родина-мать,
Где никто не осмелится голову кверху поднять,
Где, коль хочешь молитву во имя твое принести,
Низко-низко склонись и пониже глаза опусти...
Много честных людей твое имя с любовью твердят,
Но от этого злее и злее тираны твои.
Кто жесток и бесчестен, стал нашим неправым судьей,
Где ж защиту и правду искать от такого судьи?

Горечью и гневом насыщено сердце поэта, большое и мужественное сердце. В его боевых призывных стихах ритмы четки, как ритмы сражающегося оружия, но стихи этого же поэта могут быть так глубоко нежны, так хрупки, так изысканно грациозны, как тонкое древнее искусство народных мастеров-ювелиров его родины. Поэт, всем своим существом устремленный вперед, в будущее, в то же время уверенно и властно опирается на драгоценное наследие литературы и искусства как своего народа, так и других народов — прежде всего народов Востока. В поэзии родного ему Икбала и Галиба черпает поэт и творческий опыт, и нужное слово, но и в многоречии поэзии других народов Индии и Пакистана, как и в персидской речи Хафиза, Саади, Хайяма, ищет он те поэтические ценности, которыми затем сам, как полноправный наследник, будет по-новому и по-небывалому распоряжаться, обогащая ими свою поэзию, чтобы она еще лучше служила современным целям и стремлениям родного народа.

Не оторвать поэта от народа, от его героической истории, от его древней культуры и — самое главное — от его современной жизни и борьбы. Не оторвать, засаживая поэта за каменные стены тюрем, за ржавые решетки одиночек, то пытаясь окружать его молчанием, то громогласно клевеща на него. Не оторвать ни от родного народа, ни от народов Востока, ни от народов всего земного шара. В современной передовой литературе мира на одном из первых мест стоит имя славного революционного поэта Пакистана — имя Фаиза Ахмада Фаиза.

В стихах Фаиза современный читатель слышит те самые сокровенные движения народной души Пакистана, которые способен почувствовать только тончайший слух внимательного поэта, крепко и неотрывно прильнувшего к народному сердцу. Вместе со своим народом, поддерживая, поэтически выражая и укрепляя его веру, поэт убежден в неминуемом приходе рассвета, который окончательно разгонит тьму угнетения, мрак военных угроз, зловещие тени колониалистских обманов и империалистических провокаций. Не только свое слово, но и всю напряженную, страстную жизнь поэта-борца посвятил Фаиз служению великому делу счастья народов, великому делу борьбы за мир между народами. Заслуженно его грудь украсит медаль лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Это решение Международного комитета по Ленинским премиям одобряют миллионы и миллионы читателей и почитателей поэзии Фаиза. И они говорят своему любимому славному поэту, повторяя его же слова:

Эй, Фаиз! Твой путь далек, но чиста мечта твоя,
И на том пути большом пусть удача будет нам!

МИКОЛА БАЖАН

ДВА ГОЛОСА

Первый голос

Уже исчерпаны все желанья, уже завершен полет,
Уже наброшена сеть на звезды, луна нападения ждет.
Так что же теперь мы нового можем глазам своим обещать?
Какою мечтой неразумное сердце тешить и обольщать?
В сказках о счастье плутать не пробуй: уже не поможет ложь,
Лишь смерти гуман для нас остается, лишь в ней ты покой найдешь.
Смотри: вот твоя, вот моя могила, вот саван тебе, вот мне...

Второй голос

Неправда! Даров этой щедрой жизни достанет на всех вполне!
А если на празднике этом в жертву факел ты свой принес,
Знай: все равно прийти не замедлит время цветущих роз.
И если на празднике опустело место твое, мой друг,
Знай: не померкнут луна и солнце, дней не замкнется круг.
Останется всё: и ночи, и зори. и волны густых волос,
И цветники сияющих взоров, и сладость и горечь слез.
Этим слезам благодарен будь, страстным очам благодарен будь,
Солнцу и звездам, утренним зорям, лунным ночам благодарен будь!

Первый голос

Но если так, заря в небесах взойдет или нет — не все ли равно?
Дохнет ли опять ароматами ночь, взойдет ли рассвет — не все ли равно?
Когда в одиночестве стынет кровь и давит глаза железный покров,
Будут ли взоры кому-то слать страстный ответ — не все ли равно?
Когда разрушен шатер стиха, звонко ли трепетный саз поет,
Искусно ли строки тонким пером нижет поэт — не все ли равно?
Когда стала домом твоим тюрьма, сердце в рубцах, руки в цепях,
Придет, не придет ли весенних роз пышный расцвет — не все ли равно?

Второй голос

Пока сильны еще эти руки и правда в сердце стучит,
Пока в крови огонь полыхает и речь горячо звучит,
Мы наши цепи звенеть научим песней грядущих дней,
Чтоб все барабаны владык умолкли в смятении перед ней.
Полна сокровищница отваги, и сердцу неведом страх,
Завтрашний день мы уже сегодня держим в своих руках.
Вечер и утро, луна и солнце, и барабан, и знамя,
Перо и тетрадь, все богатства мира, все честные люди — с нами!

ГАЗЕЛЬ

Кто из искавших к тебе проник — и снова назад вернулся?
Я ж победил, я цели достиг — и снова назад вернулся.
Звезды в душе эта встреча зажгла, пламя в глазах зажгла,
Ран не страшась, я шел напрямик — и снова назад вернулся.
Я побывал на твоем пиру, и знает лишь сердце одно,
Чем я наполнил его тайник — и снова назад вернулся.
Верною смертью был каждый шаг, жизнью был каждый шаг,
Смерть миновал я в последний миг — и снова назад вернулся.
Руки осеннего ветра, Фаиз, за щедрость благодари:
Образ весны, возлюбленный лик, снова к тебе вернулся!

ДВЕ ЛЮБВИ

Поверь, в этой памяти горькой поныне свежи и чисты
Те дни, что цвели отраженьем весенней твоей красоты,
Те дни, когда мог я украдкой еще любоваться тобою,
Те дни, когда сердце впервые надеждой наполнила ты.

Надеждой, что рок беспощадный ко мне подобрел, наконец,
Надеждой, что ночи терзаний наступит предел, наконец,
Надеждой, что начали гаснуть страданья бессонные звезды,
Надеждой, что мне эта радость досталась в удел, наконец.

Как ждал я, чтоб с этих ступенек, сияя, спустилась ты в сад,
Чтоб всё, словно яркою хною, окрасил багряный закат,
Чтоб снова упругою ртутью походка твоя заструилась,
Чтоб вспыхнул на этой тропинке вечерней зарей твой наряд.

Но вскоре узнал я иные, разлукой палящие дни —
Все прежние беды и скорби мгновенно затмили они.
И каждая ночь стала грузом, тисками сжимающим сердце,
И жгучими стрелами стали зари золотые огни.

Каких только тайных убежищ душа не пыталась искать,
Но в памяти ты оживала, всплывала опять и опять!
Лишь руки прохладного ветра порою к глазам прижимал я,
Лишь изредка в горьком порыве луну я тянулся обнять.

И к нашей прекрасной отчизне познал я такую же страсть,
И так же в душе воцарилась ее беспредельная власть,
И к волнам волос ее щедрых, к прохладе ланит ароматных
Я так же мучительно жаждал душой опаленной припасть.

И так же всю жизнь без остатка возлюбленной я посвятил,
Порою рыдал безутешно, порою смеялся, шутил,
Малейшую прихоть любимой всегда был готов я исполнить,
Заставил сиять мое горе, страданья в цветы превратил.

Я самых безумных приказов отвергнуть ни разу не смел,
Являлся по первому зову, огнем безрассудным горел,
Все блага земные презрел я, все радости жизни забыл я.
А голосу благоразумья внимать все равно не хотел.

Чего только я не изведал, шагая крутою тропой:
Тюрьмы одинокие ночи, позор перед буйной толпой,
В святилищах дряхлые шейхи клеймили меня всенародно,
В роскошных чертогах владыки грозили мне в злобе слепой.

Враги ядовитые стрелы без промаха слали мне вслед,
Друзья упрекали, жалели, пытались подать мне совет.
Две страстных любви я изведал и верен обеим остался —
Все шрамы найдешь в моем сердце, но шрама раскаянья нет!

Перевод с урду
СЕРГЕЯ СЕВЕРЦЕВА

Под редакцией
Н. ГЛЕБОВА

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ

КАРТИНЫ

РАССКАЗ

Перевод с английского
И. КУЛАКОВСКОЙ

Жаке ждал, пока ему откроют, и думал о том, что француз при подобных обстоятельствах никогда не пригласил бы его к обеду. Он впервые встретился с Беком всего пять дней назад, и разговор их, если не считать нескольких незначащих фраз о Париже, носил исключительно деловой характер. Нормы отношений с людьми, которые он установил для себя, никак не предусматривали в подобных случаях приглашения к семейному обеду. Но, может быть, в среде немецких коммерсантов так принято, надо будет спросить у жены.

Дверь открыли, и Жаке испытал приятное удивление: фрау Бек, женщина лет тридцати пяти, была высока ростом, хороша собой. Ее очень красили золотисто-каштановые волосы и стройная фигура. Она протянула руку и мило поздоровалась с Жаке, сразу очаровав его, хотя он и заметил, что она чуточку поморщилась, увидев шрам у него на шее. Жаке был тяжело ранен в сорок третьем, хирурги немало потрудились над ним, но все же шрам несколько портил его от природы привлекательную внешность. И он все еще страдал от этого, особенно в присутствии хорошенькой женщины, как сейчас.

Фрау Бек повесила пальто Жаке и, пройдя вместе с ним в гостиную, сказала ему, что мужа еще нет дома: на эту субботу и воскресенье приезжает сын — студент Геттингенского университета, и Альфред поехал на аэродром встречать его.

«Значит, ей не меньше сорока»,— подумал Жаке, но сказал то, что полагалось:

— Трудно поверить, у вас сын — студент.

Фрау Бек негромко ответила «благодарю» и заговорила о другом. По-видимому, она не отличалась тщеславием.

— Альфред только сегодня сказал мне, что у вас жена немка.

— Да. Это верно.

— Знай я об этом хоть на день раньше, я бы приготовила что-нибудь из шведских блюд. А теперь все мои «сюрпризы» будут вам не в новинку.

— Ну что вы! Моя жена — врач, она человек занятой и не любит стряпать. Когда мы не обедаем в ресторане, вожусь в кухне я, а она сидит и читает медицинские журналы. Друзьям все это кажется немножко странным, но нам нравится.

Фрау Бек рассмеялась:

— Если так, у меня гора с плеч. А жена ваша родом не из Баварии?

Жаке кивнул и улыбнулся.

— Я уже не раз слышал, что говорю по-немецки с французско-баварским акцентом. Наверно, получается смешно.

— Вовсе нет, очень мило. Ну, извините, я загляну в кухню. Не выпьете ли чего-нибудь?

— Благодарю, сейчас не хочется.

— Там на столике журналы...— Она еще раз улыбнулась и вышла.

Жаке снова отметил про себя: «Какая привлекательная женщина». Теперь он был рад приглашению — вечер в обществе фрау Бек не может оказаться скучным.

Он оглядел комнату. Книжные полки, гравюры и картины на стенах говорили о том, что хозяева не чужды культурных запросов, новая ультрасовременная мебель свидетельствовала о достатке. Рассматривая одну из картин, он подумал: «Что ж, побежденные поднялись из пепла...» То, что зарабатывали он, художник-декоратор, и его жена — врач в детской клинике, не позволяло им так обставить квартиру. Конечно, Париж — самый прелестный из городов, созданных человеческим гением, но он стар, этот город, перенаселен, и в нем мало домов, где, как здесь, есть лифт и центральное отопление...

«Модильяни»,— отметил Жаке почти бессознательно, не переставая думать о чем-то другом; внезапно он словно окаменел и впился глазами в картину — один из многочисленных портретов жены художника. На этот раз Модильяни изобразил ее с черными волосами, полными тайны большими глазами, печальным, чуть отрешенным лицом и лебединой шеей. После минутного смятения Жаке подумал: «Что ж, многие художники повторялись в этюдах». Он быстро нагнулся, ища дату... 1919. Картина, принадлежавшая его матери, была написана в том же году. Жаке помнил это совершенно точно — с картиной Модильяни была связана целая семейная история. А рама? Он закрыл глаза, стараясь вспомнить, какая она была, и не смог.

Обычно щеки Жаке покрывал румянец, но сейчас, когда он пытался сообразить, возможно ли появление двух столь похожих... нет, совершенно одинаковых полотен, лицо его залила синеватая бледность. Размер картины... удивительный разрез глаз (мать всегда говорила: эта женщина словно всматривается в лицо жизни)... И какое-то необыкновенное, с подлокотниками и высокой спинкой кресло, в котором изобразил ее художник, похожее на трон епископа или другого князя церкви. Жаке снял картину со стены и поднес к роялю, где стояла яркая лампа. Держа одной рукой картину, он другой взял лампу. И в ту же минуту увидел на противоположной стене Ренуара. У Жаке перехватило дыхание. Он обогнул рояль и подошел к картине вплотную. Сердце учащенно билось, в висках стучало. Он вгляделся в картину, потом закрыл глаза, снова открыл их и опять посмотрел на Ренуара. Прелестный небольшой этюд — букет полевых цветов. Маки, ромашки, васильки непередаваемо нежных тонов прочно запечатлелись в его памяти. Если на полотне и стояла какая-нибудь дата, то ее скрывала рама.

Почти не веря, что все это происходит с ним наяву, Жаке поставил Модильяни рядом с Ренуаром. В ту же секунду пришла уверенность, что ошибки быть не может. Он, правда, не видел этих картин с тридцать девятого года, но зато смотрел на них каждый день в годы детства и юности. Возможно, Модильяни написал копию картины, подаренной им однажды вечером в «Ротонде» матери Жаке. Могло случиться, что и Ренуар повторил полотно, купленное отцом Жаке на каком-то благотворительном базаре. Но было бы просто невероятно, чтобы оба художника

сделали копии именно с этих двух картин. Значит, остается выяснить, как они попали к Альфреду Беку. Немецкий офицер, который жил в квартире семьи Жаке во время войны и вывез оттуда все ценные вещи, мог продать картины какой-нибудь немецкой галерее, где Бек их потом и купил. Да, конечно, так вполне могло случиться. Если только сам Бек не был тем офицером, если только он сам не вор!

Жаке услышал, как в холле открыли дверь. Он повесил картины на место и замер, сцепив пальцы рук за спиной. Вся его худощавая подвижная фигура застыла в напряженном ожидании.

Бек вошел в сопровождении сына, и Жаке с улыбкой сделал несколько шагов им навстречу. Беку было около пятидесяти. Высокий, с подтянутой, как у жены, фигурой и черными, лишь слегка тронутыми сединой волосами, он крепко, по-дружески пожал руку гостю и произнес улыбаясь:

— Господин Жаке, я привез с собой окончательный текст соглашения, как мы с вами договорились, и, кроме того, своего сына Рейнгардта.

Бек, видимо, не только любил сына, но и гордился им. Рейнгардт был выше ростом, но не такой широкоплечий, как отец; за толстыми стеклами очков скрывались близорукие глаза.

— Садитесь, пожалуйста,— любезно предложил Бек.— Что будете пить, портвейн или, может быть, виски?

— Виски и немного содовой, если позволите.

— С удовольствием.— Бек открыл дверцы шкафчика, стоявшего прямо под картиной Модильяни. Смешивая виски, он высказал удивление, что француз предпочитает такой аперитив. Жаке объяснил: за последние годы в среде французской интеллигенции очень многие перешли на виски и привыкли к нему.

— Мы постепенно избавляемся от нашей провинциальности,— добавил Жаке улыбаясь.— Американский джаз и стриптиз на рю Пигаль, итальянские хлебцы и польская водка в лучших магазинах и немецкие станки на наших заводах, когда хватает денег.

Жаке внешне вел себя, как и подобает воспитанному человеку в гостях, но внутри у него все кипело. «Если Бек и есть тот самый офицер,— яростно стучало у него в висках,— то куда же девалась мебель, которую тоже украли? Прошло уже шестнадцать лет с тех пор, как немцы ушли из Парижа, а мебель не служит вечно, но одна или две вещи могли все-таки уцелеть, и теперь они стоят в других комнатах». Удастся ли ему осмотреть всю квартиру? «А зачем,— тут же подумал он,— в этом нет нужды». Картины будто глядели на него со стены. Разве этого мало?! Надо только узнать, как они попали к Беку.

— Благодарю именно такой крепости я обычно и пью,— сказал он, потягивая виски. На самом деле хайболл получился слишком крепкий, но сейчас Жаке был этому даже рад: ему нужно было успокоить нервы.

Присаживаясь рядом и держа стакан в руке, Бек сказал:

— Я очень счастлив, что мы втроем — вы, я и Рейнгардт — можем немного поболтать до обеда. Позвольте объяснить почему.

И он принялся патетически разглагольствовать о том, что давно считает себя поклонником французской культуры, французского интеллекта, всего того, что можно назвать душой Франции. Он читает по-французски гораздо свободнее, чем говорит, и знаком с книгами многих французских мыслителей, поэтов и романистов. Он поспешил добавить, что вовсе не отвергает при этом немецкую культуру. Напротив, ему кажется, что обе культуры дополняют одна другую и в будущем они несомненно станут основой мировой цивилизации.

Бек говорил, Жаке вежливо улыбался в ответ, а в душе у него все нарастало раздражение. Хозяин, стараясь сделать ему приятное, кажется, не отдавал себе отчета в том, что просто повторяет набившие оско-

мину штампы нацистской пропаганды. То же самое твердили гитлеровцы в сорок первом; одной рукой выжимая все соки из оккупированной, разоренной страны, они лицемерно протягивали другую для пожатия. Но он-то, Жаке, чертовски хорошо помнил все это и вовсе не чувствовал себя польщенным.

Подобную же оскорбительную чепуху о «слиянии культур» без конца повторяли французские коллаборационисты, не смущаясь тем, что эта их болтовня сопровождается грохотом сапог гитлеровских солдат, печатающих шаг на Елисейских полях.

— Все это только своего рода присказка, а теперь я хочу задать вам важный вопрос,— сказал Бек.— У нас с сыном спор, и вы, как француз, можете его разрешить.

— Охотно,— пробормотал Жаке и подумал: «Так вот зачем, оказывается, меня пригласили к обеду».

— Отец предложил мне поехать на год учиться за границу,— сказал Рейнгардт.— Он хочет, чтобы я поступил в Сорбонну. Но я слышал, что в Сорбонне слишком много студентов и некоторым из них не удается даже записаться на лекции.

— Боюсь, что в Сорбонне есть факультеты, где студентов действительно слишком много,— ответил Жаке.— А вы какой для себя избрали?

— Филологический.

— Не знаю, как у филологов, но могу выяснить и написать через несколько дней.

— Буду очень признателен.

— Оставь, пожалуйста, Рейнгардт,— вмешался Бек.— Поедешь ты во Флоренцию, или в Упсалу, или в какой-нибудь другой университет, ведь главное для тебя вовсе не лекции. Главное — узнать народ, почувствовать, чем он дышит. Ты узнаешь...

Он прервал фразу на полуслове, так как в комнату вошла хорошенькая и на вид смышленая девочка лет тринадцати.

— Ах, это ты, Урсула, милая,— сказал он ласково и, представив дочь гостю, шутливо назвал ее своим «первым послевоенным достижением». Он поцеловал девочку в щеку и продолжал говорить, обнимая ее за талию: — Ты больше узнаешь от своих товарищей, чем от профессоров. Так почему же ты не хочешь сказать нашему гостю, в чем истинная причина твоего нежелания ехать во Францию?

Рейнгардт чуть заколебался, потом начал говорить с искренностью, которая даже вызвала у Жаке чувство симпатии.

— Мосье, я принадлежу к послевоенному поколению, но много читал о войне. Во Франции мне будет неприятно, если на меня станут смотреть как на вчерашнего завоевателя, я не хочу чувствовать себя незваным гостем лишь из-за того, что я немец.

— Ничего этого не будет, я-то знаю,— вмешался Бек.— Французы очень гостеприимный народ. О войне все давно забыли, кроме каких-нибудь маньяков. Мы ведь теперь союзники.

«Да,— подумал Жаке,— для этого меня и пригласили. И Рейнгардт поэтому приехал, его специально вызвали на субботу». Ему стало очень смешно, смех будто рвался изо всех пор наружу. Отцовская любовь привела его, Жаке, в эту квартиру в Дортмунде, где по невероятному стечению обстоятельств он нашел то, что искал целых шестнадцать лет!

— Я в этом вовсе не уверен,— упрямо продолжал Рейнгардт.— Только на прошлой неделе мне рассказали об одном случае... Двое моих приятелей в августе ездили во Францию. В Лионе они спросили дорогу у какой-то женщины. Ей было лет сорок пять, и она ответила им по-немецки. Говорила она не очень хорошо, но уж во всяком случае лучше, чем они по-французски. Когда женщина показала им дорогу, мой приятель из вежливости спросил, где она так хорошо изучила немецкий язык.

Она вдруг переменилась в лице и сказала со злостью: «В концлагере Бельзен».— Помолчав, Рейнгардт добавил: — Мне бы не хотелось услышать подобный ответ, ведь я-то ни в чем не виноват.

— Конечно,— негромко подтвердил Жаке,— вы здесь ни при чем.

Тринадцатилетняя Урсула шепотом, но все же настолько громко, что Жаке отлично расслышал, спросила у отца, что такое концлагерь.

— Потом объясню,— отмахнулся Бек и продолжал, обращаясь к сыну: — Я дважды побывал в Бордо за последние четыре года. Ни разу не ощутил никакой враждебности. Что думаете об этом вы, мосье, и прошу вас, будьте откровенны.

Жаке заговорил, отвечая Рейнгардту:

— Не сомневаюсь, то, о чем вы рассказали, действительно произошло. Пережитое горе всегда отзывается болью, стоит только о нем напомнить. Не думаю все же, что вам придется столкнуться с чем-либо подобным. Вы будете вращаться в университетских кругах, среди людей мыслящих. О вас станут судить по вашим собственным поступкам. Только безмозглый идиот может видеть в студенте ваших лет вчерашнего оккупанта.

— А я что говорил! — с явным удовольствием воскликнул Бек.

— Кроме того,— продолжал Жаке, обращаясь уже к Беку.— даже старые солдаты научились смотреть на вещи сквозь призму времени. Вражда постепенно стихает, не так ли? Или вы не были в армии в годы войны?

— Разумеется, был и считаю, что вы совершенно правы... Ну, Рейнгардт, что скажешь теперь?

— Меня очень обрадовало мнение мосье Жаке.

— Если приедете в Париж, с удовольствием помогу вам найти квартиру.

— Весьма признателен.

— В каких частях вы служили? — спросил Жаке, обращаясь к Беку. Вопрос прозвучал совсем непринужденно, хотя сердце у Жаке билось неровно.

Бек рассмеялся.

— О, это была синекура... служил военным юристом. Я адвокат, хотя уже лет десять не занимаюсь юридической практикой. Для меня это была война без выстрелов, счастливая возможность завести роман с Парижем.

— Значит, ваша часть размещалась в Париже! — выкрикнул Жаке чуть охрипшим голосом. И залпом допил виски.

— Не угодно ли еще?

— Да, пожалуйста, только не такое крепкое.

Бек взял у Жаке стакан и подошел к шкафчику. Смешивая виски, он вспоминал свое первое впечатление от Парижа. первую прогулку к площади Согласия, а оттуда к Елисейским полям... Ну, конечно же, Париж — один из самых чудесных городов мира.

В гостиную вошла фрау Бек. Она улыбнулась Жаке, села рядом с сыном, попросила мужа налить капельку вермута — «только чуточку, я должна следить за фигурой» — и сказала, что обед будет подан через несколько минут.

— В какой части Парижа вы жили? — спросил Жаке.

— Забыл название района. Всего в нескольких минутах ходьбы от Триумфальной арки.

— А, знаю,— сказал Жаке,— Этуаль.— В горле у него пересохло, и он отхлебнул большой глоток виски.

— Я жил в чудесной квартирке на улице, сплошь усаженной деревьями. Знаешь, Рейнгардт, в Париже везде и всюду деревья и много

маленьких скверов. Прелестный садик был и у самого моего дома. Он, кажется, назывался Руссо...

— Сад Монсо,— сказал Жаке громче, чем хотел.

— Монсо? Да, совершенно верно.

— Рядом бульвар де Курсель.

— Ну конечно, там я и жил,— воскликнул Бек,— и каждое утро...

— Долго вы пробыли в Париже? — перебил его Жаке.

— Почти два года, с зимы сорок второго до лета сорок четвертого.

Теперь Жаке получил ответ, которого ждал, четкий, не оставлявший места сомнениям, исключавший возможность ошибки. И хотя с языка у него уже был готов сорваться вопль: «Третий этаж, квартира шестьдесят шесть, подлая свинья!»,— но слова будто застряли у него в горле, и он молчал. Жаке вдруг представил себе, как вернется в Париж. «Дело прежде всего,— он почти слышал голос директора компании.— Чувства надо держать при себе. Все пострадали от войны. А вы расхныкались, как капризный ребенок, из-за каких-то картин, которых не видели двадцать лет!» Жаке прижал пальцы к правому виску, где вдруг задергалась и забилась какая-то беспокойная жилка. Так ему скажет директор, а что он ответит? Найти оправдание будет невозможно, ведь переговоры вела дирекция компании. Жаке только потому и послали сюда, что Бек хотел предусмотреть в соглашении некоторые небольшие изменения в орнаменте. Они уже договорились об этом и поставили в известность Париж. Если он даст выход своей ярости и соглашение пойдет насмарку, ему не оправдаться. Речь идет о весьма солидном заказе... У него обязательства перед компанией и перед самим собой. Дались же ему эти картины, он и не вспоминал о них последние десять лет.

Жаке услышал, как фрау Бек пригласила всех к столу: «Не пройдем ли мы в столовую?» — и встал с дивана. Рот его искривила гримаса, которую он старался выдать за улыбку, не замечая, что фрау Бек смотрит на него с недоумением. Едва только они вошли в столовую, Жаке окинул ее молниеносным взглядом, но не обнаружил ни одной из своих вещей. Он сел там, где указала хозяйка, кивнул в ответ на какую-то реплику Рейнгардта и с горечью признался себе: дело ведь не столько в самих картинах, сколько в том, что нельзя оставлять мерзавца безнаказанным! И все же он понимал, что так ничего и не решится сказать Беку: он будет молча поглощать одно блюдо за другим, приправляя их собственной желчью.

Пожилая горничная внесла супницу и поставила ее перед фрау Бек. Рейнгардт обходил стол с бутылкой. Бек назвал вино — из рейнвейнов — и спросил, знает ли гость эту марку. Жаке ответил «нет», затем, почувствовав, что дольше молчать неудобно, заговорил о своем пристрастии к некоторым немецким винам, которые он предпочитает французским. Так оно и было, но, едва только слова сорвались с его уст, он тут же пожалел об этом: могло показаться, что он просто хотел сделать хозяевам приятное, и самодовольная улыбка на лице Бека вызвала у него приступ ярости. И все же, будто против воли, он продолжал говорить в том же тоне.

— Изумительно,— сказал он, отведав суп.

— Не всем нравится черепаховый суп,— ответила хозяйка с явным удовольствием.— Я даже немного волновалась.

— Обращаюсь к вам, как хозяйка к хозяйке,— шутливо сказал Жаке,— сообщите мне, пожалуйста, рецепт.

— С удовольствием.

— Мосье,— заговорил Рейнгардт,— вы не сочтете невежливым, если я попрошу вас рассказать, что вы пережили во время войны? Меня очень волнует эта тема, и я задаю такой вопрос всем людям вашего возраста. Но, конечно, если это вам неприятно...

— Нисколько.— Жаке заговорил, но казалось, что слова он находит с трудом.— Когда началась война, я служил на юге, в зенитных частях... В нашем районе боевых действий не было, после перемирия нас всех демобилизовали. Но я и кое-кто из моих товарищей...— он помолчал, потому что жилка у него на виске снова судорожно затрепетала,— добрались до испанской границы... Мы хотели перейти через Пиренеи.

Внезапно Жаке почувствовал, что продолжать не в силах. На лбу выступил холодный пот. Руки и ноги словно налились свинцом. Он сидел неподвижно, уставившись взглядом в скатерть, и несколько секунд вовсе не замечал, что хозяева смотрят на него с недоумением. Он прислушивался к собственным словам... Кто произносит их, эти слова? Его душа, его уста, или это говорят его товарищи, погибшие в те дни на перевалах через Пиренеи? Этого Жаке не понимал. Ему только слышалось: «А теперь кем ты стал?! Тебя не отличишь от тех, кого ты сам когда-то презирал. Нет, это не ты ускользал от патрулей, ногтями цепляясь за выступы скал, не ты одолел Пиренеи, пять месяцев томился во франкистской тюрьме и наконец, добрался до Англии, чтобы отрапортовать: «Явился француз, готовый сражаться...» Будь ты тогда таким, как сейчас, ты был бы коллаборационистом».

Да, так оно и есть, никуда не денешься. Эта правда горька, как горько у него сейчас во рту. Он ощущал себя забрызганным с головы до ног грязью, липким навозом практических «соображений», тех разумных «доводов», какие он презирал в сороковом, когда был молод, смел и думал только о Франции, о свободе и о том, что руки у человека должны быть чистыми.

«Je suis un salaud! — с горечью подумал он.— Я подлец».— И вдруг почувствовал руку Бека у себя на плече.

— Что случилось, мосье? — забеспокоился немец.— Вам нехорошо? Чем я могу помочь?

Вся семья в недоумении смотрела на него, и он пробормотал:

— Извините... Пустяки...

Бек все еще не снял руки с его плеча, и Жаке она казалась куском раскаленного металла. Рывком он выпрямился, выдавил из себя улыбку и вдруг заговорил, быстро, с каким-то лихорадочным оживлением. Иногда у него случаются такие припадки. Это наследственное, от отца... Не эпилепсия, ничего серьезного, просто мгновенное нарушение обмена... Теперь он уже чувствует себя прекрасно и просит не беспокоиться, приступ может не повториться целый год, а уж о сегодняшнем вечере и говорить нечего.

Когда Бек снова уселся, Жаке залпом выпил стакан вина и опять обратился к Рейнгардту:

— Я не окончил своего рассказа. Мы с товарищами стремились добраться до Англии. Три дня скрывались в Пиренеях, потом нас задержали испанские пограничники. Долго мы просидели в тюрьме... Право же, фрау Бек, я непременно должен взять у вас рецепт. Жена будет в восторге.

— Весьма польщена. Ведь я добавляю кое-что свое к обычному набору. Я вам напишу...

Наливая Жаке вино, Рейнгардт заметил, что испанская тюрьма, вероятно, не очень-то приятное место.

— Не скажу даже, чтобы с нами дурно обращались. Но кормили очень плохо, и от насекомых спасенья не было. Когда нас выпустили, мы добрались до Гибралтара, потом до Северной Африки. Я воевал против вашего Роммеля,— сказал он, обращаясь к Беку,— а потом, в сорок четвертом, в Нормандии.

— Вы ранены в шею? — спросила маленькая Урсула.

Мать укоризненно посмотрела на нее, но Жаке улыбнулся и ответил:

— В шею и в большой палец ноги.

— Ах, война — это так ужасно,— вздохнула фрау Бек.

— Да, ужасно! — воскликнул Рейнгардт с каким-то особым волнением.— Но для тех, кто уцелел, связанные с войной переживания могут послужить величайшим стимулом духовного развития.

Жаке внимательно посмотрел на юношу.

— Уверяю вас, на войне люди нередко теряют человеческий облик.— Он подался вперед, глаза его горели.— Если хотите, я расскажу вам одну историю тех лет, которая особенно сильно на меня подействовала.

— О, разумеется.

Обращаясь к Рейнгардту, Жаке теперь все время смотрел на Бека.

— Я находился в частях союзных армий, которые первыми вошли в Париж в сорок четвертом. В тот же день я раздобыл джип и помчался на квартиру, где жила моя семья. Снайперы еще постреливали, но я не обращал на это внимания. Отец умер до войны, но я надеялся найти дома мать. Вскоре я узнал, что после оккупации Парижа она уехала к родным в деревню. В квартире было совершенно пусто, я хочу этим сказать, что занимавший ее немецкий офицер вывез все вещи.

Лицо Бека как-то сразу окаменело, и он впился глазами в Жаке.

— Все вещи были упакованы и вывезены,— спокойно продолжал Жаке.— Кровати, столы, диваны, белье, книги, картины. К сожалению, новая консьержка не знала имени этого офицера: она служила в доме недавно, а прежняя умерла вскоре после моего отъезда.

— Вы хотите сказать, что это сделал немецкий офицер? — спросил Рейнгардт.

— Да, конечно.

— Война ужасна во всем,— снова проговорила фрау Бек.— Страшные бомбежки наших городов! Мы жили в деревне, Рейнгардт, и ты всего этого не знал.

Пристально поглядев на хозяйку, Жаке решил: она ни о чем не знает. Похоже, что Бек продал все, кроме картин. Ну, что ж, он человек со вкусом. Даже не глядя на Бека, Жаке все время чувствовал на себе его взгляд, почти физически ощущал охватившее немца волнение.

— Бомбежки неизбежны во время войны,— пояснил Рейнгардт, обращаясь к матери.— Все же не могу понять, как немецкий офицер оказался способным украсть вещи, принадлежащие французской семье. Ну если бы хоть солдат, это еще куда ни шло, но офицер... Дегенерат какой-то!

— Ошибаетесь,— сказал Жаке.— Война превращает человека в зверя; история знает немало примеров того, как правители поощряли звериные инстинкты своих подданных. Францию грабили официально и неофициально, почему бы отдельным гражданам не делать того же, что позволяют себе власти.

Горничная поставила перед Жаке тарелку с форелью и молодым картофелем.

— Вы ели когда-нибудь отварную форель, мосье? — спросила фрау Бек.

— Вынужден сознаться, что ел. Это ведь и французское блюдо.

— Ужасно обидно. Я так хотела, чтобы весь обед был для вас сюрпризом...

— А я как раз очень люблю отварную форель.

Бек стоял теперь рядом с Жаке и снова наливал ему вино.

— Многие жители нашего района покинули Париж в сороковом году,— продолжал Жаке.— В таких квартирах, как моя, разместились немецкие офицеры. И представьте, везде вещи оказались вывезенными.

— Где находилась ваша квартира? — спросил Бек внезапно изменившимся голосом.

— На плас де Вогез там, где музей Виктора Гюго. Вам знакомо это место? — в свою очередь спросил Жаке и выпил немного вина.

— Конечно, я бывал в музее! — почти радостно воскликнул Бек, и с лица его исчезло напряженное выражение.

— Ваша форель, мосье. Она вкусна, пока горяча.

Принимаясь за еду, Жаке снова заговорил с Рейнгардтом:

— Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Жена у меня немка, а брат ее мой близкий друг. Но ни жена, ни ее брат не поддались гитлеровской заразе и уехали из Германии. Если бы в моей квартире жили такие немцы, как Гёте или Брамс, они бы, конечно, не похитили картины. Но когда речь идет о воспитаннике «гитлерюгенда», то...— Он передернул плечами и поднял заблестевшие глаза на Бека.— Людям свойственно поддаваться влияниям, подлецом человека делает история, воспитание, та моральная атмосфера, которая царит в стране, где он живет. О! — воскликнул Жаке, пробуя форель.— До чего же вкусно!

Бек заговорил, многозначительно подчеркивая каждое слово:

— Для тех из нас, кто отвергал нацизм, годы его господства были поистине ужасны.

— Не сомневаюсь,— кивнул Жаке. И стал рассказывать смешную историю военных лет, потом заговорил о шумном скандале в среде французских кинозвезд. Он умел быть занимательным собеседником, когда хотел, к тому же возбужденное состояние придавало его болтовне особую остроту. Через несколько минут в комнате воцарилась атмосфера непринужденности и веселья, даже Бек заговорил в том же тоне. После форели подали оленину с брусникой, и Жаке, множество раз восклицая «Formidable», выпил слишком много вина, пытаясь во что бы то ни стало обрести спокойствие. Ему очень хотелось, чтобы обед как можно быстрее окончился. Наконец после вишневого торта и кофе как будто уже разрешалось встать из-за стола. Когда Бек предложил выпить коньяку, Жаке извинился перед хозяйкой и попросил у нее разрешения скрасить коньяком деловые разговоры. Он объяснил, что самолет вылетает в Париж рано утром и, быть может, потребуется еще кое-что переделать в тексте соглашения. «Ну, разумеется»,— сказала фрау Бек, и хозяин дома повел его через холл в свой кабинет.

Это была небольшая комната, уставленная старинной удобной мебелью; Жаке сразу увидел свой письменный стол, а на нем — фарфоровую раковину, принадлежавшую его матери. Он чуть улыбнулся и подумал, что, вероятно, ошибся в хозяйке дома. Она оставалась совершенно невозмутимой в течение всего обеда, но, как видно, и у нее совесть нечиста. Кто знает, может быть, она зачала своего ребенка, хорошенькую «послевоенную» Урсулу, в той самой кровати, где спали его родители.

Ведь правду здесь никто ему не скажет, да и зачем она?

Он отказался от предложенной Беком сигары, сел за столик в стиле ампир, который помнил еще со студенческих лет, и начал читать текст соглашения. Документ был составлен просто и четко, и вскоре Жаке, улыбаясь, сказал:

— Вы, вероятно, были на прекрасном счету в армии. Все совершенно ясно и на своем месте. Не могу добавить даже запятой...

— Благодарю,— с видимым удовольствием сказал Бек и протянул свою ручку.— Я сам уже подписал от имени фирмы.

Жаке отпил немного коньяку и сделал вид, что неожиданно заметил фарфоровую раковину.

— Что это? — воскликнул он и перегнулся через стол, чтобы взять ее.— Поразительно! Вы ведь привезли эту вещицу из Франции?

— Да, купил где-то в старой лавчонке у антиквара.

— Знаете, как она называется? У нее есть свое название. «Парижский фарфор». Такие раковины делают в Севре.

— Мне показалось, что это просто керамика. Она, видимо, дорого стоит.

— О нет, что вы! Эта — недорогая. Бывают старинные раковины семнадцатого века, те действительно стоят дорого, но их сейчас встретишь разве только в музее. Что касается этой, то меня заинтересовала одна деталь.— Он показал на портрет молодой девушки.— Взгляните на сочетание русых волос, белой блузки и розочки вместо брошки. Я видел такую раковину с портретом только однажды, она принадлежала моей матери и стояла на туалетном столике. Мать всегда клала в нее перед сном обручальное кольцо.

Покосившись на Бека, Жаке с удовольствием отметил смятение в его взгляде.

— Какое интересное совпадение,— сказал Бек. Голос его звучал глухо.

— Не правда ли! — с улыбкой воскликнул Жаке.— Я с детства очень хорошо помню лицо этой самой девушки. Она, можно сказать, моя первая любовь. Как я тогда мечтал о ней! Мы жили в те годы на том самом бульваре, где во время войны жили и вы.— Все еще улыбаясь и не сводя глаз с Бека, он притворился, будто с большим трудом вспоминает адрес.— Бульвар де Курсель, 66, третий этаж.

Жаке заметил, как Бек силится что-то вспомнить. Номер дома, видимо, о чем-то говорил ему, и краска сбежала с его лица, оно сразу стало мучнисто-серым. А Жаке как ни в чем не бывало продолжал:

— Когда я вернулся на плас де Вогез, мне из всех пропавших вещей больше всего не хватало этой безделушки. Да что поделаешь...

Он подписал первый экземпляр соглашения, взял второй и вдруг остановился.

— Могу я просить вас о величайшем одолжении, если хотите, об уступке моей сентиментальности? Отдайте мне эту раковину, и я пришлю вам точно такую же из Парижа.

Жаке отметил со злорадством, что Бек все еще бледен и глаза у него бегают.

— Охотно. И ничего взамен не нужно.

— Нет-нет, я обязательно пришлю. И поверьте, я очень ценю вашу любезность.

Он подписал второй экземпляр, сложил его, сунул в бумажник и встал.

— Ну вот, с нашим маленьким делом покончено. Я слышу звуки рояля.

— Это дочь играет.

— До чего же хорошо!

Он взял раковину и осторожно положил ее в карман пиджака.

— Тысяча благодарностей!

— Не за что,— ответил Бек с вымученной улыбкой.

Перед тем как войти в гостиную, Жаке на секунду задержался. Обращаясь к хозяину дома, он негромко сказал:

— Не могу не отметить: хорошие у вас дети и вы для них — авторитет.

— Благодарю.

— Представляю, как больно было бы вам потерять их уважение. Мне не хотелось их огорчать, потому-то я и сказал, что жил на плас де Вогез. Но жил я на самом деле не там, а на бульваре де Курсель, 66.

Бек словно окаменел. Он сжал кулаки и посмотрел на Жаке с откровенной ненавистью.

— Теперь слушайте внимательно и хорошенько подумайте, как поступить, чтобы не сделать ошибки. Когда мать покидала Париж, она взяла с собой ценности и документы. У меня до сих пор хранится, как семейная реликвия, счет, выданный отцу при покупке Ренуара... дата, цена, подробное описание. Если я передам дело в суд, вы не сможете предъявить такого документа.

Бек тяжело дышал. Лицо его и шея налились кровью и будто распухли. Жаке подумал: «Сейчас бросится на меня с кулаками». Он приготовился дать отпор, но страха не испытывал и продолжал говорить:

— Ни один из нас не имеет счета на покупку Модильяни, но художник сделал дарственную надпись моей матери на обратной стороне холста. Я знаю, какую именно, а вы нет. Рама скрывает надпись. Сейчас я уйду и заберу картины с собой. Вы можете сказать своим, что продали их мне или даже подарили, стремясь хоть отчасти расплатиться за тех, кто не отвергал нацизм... так решительно, как, скажем, вы.

Жаке вошел в гостиную, поблагодарил гостеприимную фрау Бек, извинился за то, что должен сразу же уйти, и поцеловал протянутую ему на прощание руку. Он простился с Рейнгардтом и обещал вскоре написать ему. Урсула прервала игру, он тронул ее за плечо и сказал, что играет она с большим чувством. Потом на глазах у почти онемевшей от изумления семьи он снял картины со стены, взял их и направился к двери. В разыгранном им гамбите один ход придавал одержанной победе особую пикантность: никакого счета на покупку Ренуара у него не было, а Модильяни в тот вечер был настолько пьян, что никакой надписи сделать вообще не мог.

Бек стоял в дверях, загораживая путь. Жаке подошел к нему, и в комнате на секунду воцарилось молчание. Затем фрау Бек спросила:

— Альфред, а картины... Что все это значит?

— После объясню,— ответил мертвенно-бледный Бек, пропуская Жаке вперед.

Только в такси по дороге в гостиницу возбуждение, охватившее Жаке, немного улеглось. Он ехал по улицам мимо новых нарядных зданий — свидетелей того, что город этот, как и многие другие, еще недавно лежал в развалинах. Жаке стал думать о том, почему люди, будучи одинаково невинными от рождения, потом так часто становятся подлецами, почему их так легко толкнуть на путь, недостойный порядочного человека. Не это ли заставило беднягу Модильяни бесконечно часто изображать одни и те же задумчивые и печальные лица?!

Жаке смотрел на картины, уже плохо различимые в темноте, и его охватывало какое-то теплое и грустное чувство. Потом он тряхнул головой и сказал себе почти с гордостью: «Если понадобится, я снова сумею одолеть Пиренеи».

БЛАГА ДИМИТРОВА

Вапцаров

Никола Йонков Вапцаров, выдающийся болгарский поэт-революционер, был расстрелян фашистами 23 июля 1942 года.

■ ■ ■

Дарила жизнь ему одни невзгоды.
Побои. Голод. Каменные своды.
Но так же, как пиринский пик седой
(где возмужанья памятные годы
провел поэт с природою родной)
ответствует на тяжкий гром небесный
могучим эхом, мчащимся вдоль рек,—
вот так и он весь свой мятежный век
на все удары отзывался песней.

■ ■ ■

Он в печь бросал лопату за лопатой,
огни с его лица сгоняли тень.
И поезд все быстрей во тьме проклятой
летел туда, где брезжил новый день.
Он бросил песнь. И эта песня-диво
горючим стала для локомотива.
И там, где самый черный был тоннель,
опять открыл он жадной топки дверцы
и бросил в печь пылающее сердце —
пусть поезд мчит!
Пусть ближе будет цель!

■ ■ ■

У дальних континентов,
в синих водах
не плавал он на белых пароходах.
О них мечтал он много лет подряд,
но шел на смерть, друзей не предавая,
и был убит. И умер он, не зная,
что этот вот бетонный каземат
и есть корабль, с которым через годы
он обойдет и страны и народы.

Перевод с болгарского
ВИКТОРА ВИНОГРАДОВА

ДИТЕР НОЛЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ Вернера Хольта

РОМАН

Перевод с немецкого
Е. ЗАКС и Н. МАН

Часть вторая

I

В середине сентября на северных склонах Западных Бескид стояло бабье лето.

— В сущности, нам нечего жаловаться,— заметил Гомилка, который после отпуска был молчалив и замкнут.— Помнишь, когда мы пришли в зенитную артиллерию, мы спорили, нужна или не нужна муштровка? Нужна — чтобы захотелось скорее в бой.

Они стояли в уборной и курили. Здесь это было единственное место, где можно перекинуться словом.

Над лагерем спускались сумерки.

— Ты прав,— согласился Хольт.— Уж как мне осточертел Эссен,— вспомнил он,— а теперь до чего же мне хотелось бы вернуться туда. Все что угодно, лишь бы не этот лагерь.

Слухи об отправке на фронт не прекращались. Поначалу все думали об этом со страхом и трепетом, а теперь ни о чем другом и не мечтали.

— У нас у всех короткая память, —сказал Хольт.— Настанет день, когда мы будем мечтать о возвращении сюда.

— До сих пор мы попадали всегда в худшие условия,— заметил Гомилка.

Хольт продолжал сосать сигарету.

— Такого начальника, как Готескнехт, нам больше не видать.

— Да, служба на батарее была сплошным отдыхом,— подтвердил Гомилка.— Там с нами, по крайней мере, обращались по-человечески.

Хольт кивнул.

В их теперешнем лагере с пяти утра и до семи вечера все шло согласно тщательно составленному и педантично соблюдаемому распорядку. Они дошли до предела усталости. Хольт был крепким, здоровым малым, но и его угнетала эта изощренная, хитроумная и в то же время необычайно простая система, при помощи которой можно было сломить волю любого человека.

Окончание. Начало в №№ 4, 5, 6.

■

Хольт, Гомилка, Вольцов и Фетер входили в отделение службы трудовой повинности, которым командовал обер-форман Шульце. Они жили в большом неуютном бараке. В одной комнате помещалось пятнадцать человек. В это же отделение попало еще несколько приятелей Хольта по гимназии и по батарее.

Обер-форману Шульце было лет двадцать. Над его тупым бычьим лицом поднимался узкий, убегающий назад лоб. В водянистых глазах не было ничего человеческого. Выражение их было столь зверским, что Хольту все время казалось, будто перед ним переодетая обезьяна. Разума у обер-формана хватало ровно настолько, чтобы передавать по назначению полученные им приказания, и он выкрикивал их странным, сдавленным голосом, по временам переходившим в хриплый рев. Однако, невзирая на свою ограниченность, Шульце был с хитрецой. Беспардонный самодур, он травил и преследовал своей подозрительностью и ненавистью любого человека, казавшегося ему хоть сколько-нибудь развитым.

В этот вечер Шульце обрушился на Фетера. Фетер уже не был ни толстым, ни рыхлым. Он очень вытянулся и перерос даже Хольта. В последние полтора месяца он как-то удивительно легко свыкся с царившим здесь хамством и усвоил грубость, которой стыдился бы на батарее.

Язык Шульце был скуден до крайности, обер-форман обычно пользовался только двумя ругательствами: «тварь» и «мокрый тюфяк».

— Эй вы, мокрый тюфяк,— заорал обер-форман своим сдавленным голосом, увидя Фетера.— Сейчас я вам покажу. Бряк на землю, тварь этакая, и считать до двадцати. Будете знать, как надо мной измываться!

Фетер покорно шлепнулся на пол и начал считать:

— Раз, два, три...

Все уже лежали на матрацах, набитых соломой, только Вольцов еще не возвращался.

Вольцов сумел завоевать себе особое положение. Завидя Шульце, он щелкал каблуками громче остальных и под прикрытием показной субординации диктовал обер-форману все, что касалось обучения новичков. Это Вольцов помог Шульце сделать свое отделение лучшим во всей роте и возвыситься в глазах начальства. Это Вольцов организовывал службу — Шульце только неуклюже повторял все, что придумывал Вольцов. Это Вольцов был, в сущности, командиром, и обер-форман подчинялся ему, пребывая в иллюзии, что начальник он, Шульце, а Вольцов при нем нечто вроде адъютанта. Единственно оригинальным в действиях Шульце были ругань, крики и издевательства над подчиненными.

После возвращения из отпуска Вольцов впал в самое мрачное настроение, но Хольт приписывал это муштровке. «Может, и я так же изменился»,— часто думал Хольт.

■

Было еще темно, когда в дверях появился Шульце, стал навытяжку и крикнул:

— Пятая комната, четырнадцать рабочих и один обер-форман к осмотру готовы!

В бараке выросла фигура командира взвода унтер-фельдмейстера Бёма. Он, очевидно, был в хорошем настроении. Обычно он еще с порога кричал: «Свинюшник! Мусорная яма!» А сегодня вошел молча.

«Авось все сойдет мирно»,— подумал Хольт. Но в ту же секунду раздалась команда:

— Показать ноги!

Хольт свесил с кровати ноги. Гомилка только что спрыгнул босиком на свежепокрашенный пол и едва успел вытереть ноги тряпкой.

— Грязная свинья! Паршивый пес! — заорал унтер-фельдмейстер.— Шульце, полюбуйтесь на эту свинью!

— Убирайтесь, твари! — закричал и Шульце.

Гомилка натянул штаны и побежал к умывальнику.

Бём в нерешительности стоял посреди комнаты, словно ища что-то глазами...

— Это еще что такое? — протяжно проговорил Бём. И тут же завопил: — Оружие без надульника? Это чья винтовка?

Хольт чуть не свалился с койки, пытаясь разглядеть винтовку. «Нет, слава богу, не моя!» Кто-то спрыгнул с соседней койки.

— Дурак, идиотская скотина!

«Ну, начинается».

— Пятьдесят глубоких приседаний с винтовкой наперевес. Я научу вас обращаться с оружием, чучело пучеглазое! — У Бёма всегда были наготове новые ругательства.— А это что такое? Пыль под пирамидой? А это? Окурок в пепельнице? Иисус-Мария-Иосиф, окурок!

«Теперь очередь за дежурным,— подумал Хольт.— Бедный Кристиан! А ведь окурок-то положил сам Шульце,— вспомнил он, задыхаясь от бешенства.— Я видел, как Шульце притушил его, когда в комнату вошел Бём!»

— Грязь, грязь, всюду грязь,— продолжал бушевать унтер-фельдмейстер.— Вы, видно, гадите прямо по углам. Это что еще за свинюшник! Хлев вонючий! Обезьяний питомник! Черт подери вас всех! Вон! Вон! Все вон!

Хольт спрыгнул с койки. Четыре-пять движений, он одет и зашнуровывает ботинки.

— Шульце! Пятнадцать минут переползаний по-пластунски! Ну, раз-два, говорю я, и чтоб было готово! Ползать на брюхе,— заорал Бём снова,— ползать, покуда не заблестит брюхо!

Все не спеша трусили по огородам, потом ползли по-пластунски. Правда, в темноте можно было не очень стараться... Обратно в барак. Полотенце, мыло — в умывальную. «Теперь он, возможно, оставит нас в покое, должно быть, он удовлетворен»,— думал Хольт.

Они улеглись на койки. Унтер-фельдмейстер стоял посреди скудно освещенной комнаты.

— Я научу вас порядку,— сказал он почти нежным голосом.— Я научу вас чистоте, свиньи вы этакие. Я сделаю из вас людей. Даже если вы все при этом передохнете.— Унтер-фельдмейстер направился к двери.— Доброй ночи!

Хольт завернулся в одеяло. «Спать! Только спать!»

■

— Подъем!

Хольт вскочил в полусне. Окончательно он проснулся уже в умывальной, после того как подставил шею и плечи под струю холодной воды. Каждая минута, которую он сейчас выиграет, даст ему возможность получше заправить койку. Скорее обратно в комнату. Там был еще полумрак. Свет зажигать запрещалось.

Заправка койки стала теперь основной проблемой для Хольта. Плохо застланная койка означала, что ее разворошат, а это, в свою очередь, влекло за собой наказание. Обер-форман имел полное право раскидать постель и два, и три, и четыре раза. Он мог лишить провинив-

шегося обеденного перерыва и короткого отдыха. Он мог заставить его заправлять койку до отбоя и даже после отбоя. Случалось, что приходилось перестилать пятнадцать, а то и двадцать раз в течение дня, но Шульце все равно раскидывал постель.

■

На этот раз постель не была раскидана. Хольт надел каску и взял из пирамиды свою винтовку.

Отделения рассыпались по огороду, начались занятия по боевой подготовке. Шульце принес ручной противотанковый гранатомет — панцерфауст, о нем рассказывали чудеса.

— Действительно эффективное оружие,— сказал Вольцов,— если только суметь попасть в цель.

— Становись! — скомандовал Шульце.

Они полукругом выстроились вокруг него.

— Панцерфауст,— начал Шульце — это противотанковое средство пехотинца. Пробивает лобовую броню танка Т-34 толщиной семьдесят пять миллиметров. Вольцов, продолжайте!

Вольцов сжато и точно разъяснил суть дела. Говорил он слегка назидательным тоном. Шульце тоже слушал.

— Повторить! Венскат! — заорал он.

Венскат был далеко не глуп, но отличался удивительной вялостью.

— А? — отозвался он и сразу же получил приказ столько-то раз пробежать по гаревой дорожке.

Вольцов продолжал свои объяснения.

Подошел унтер-фельдмейстер Бём.

— Продолжайте!

Бёму было лет тридцать. Его голубые водянистые глаза глядели всегда подозрительно. В мирное время он был владельцем пивного бара в большом промышленном городе на Рейне.

Бём обвел всех мрачным взглядом и приказал повторить объяснение. При этом, разумеется, без ругани не обошлось.

— Хольт, как вы смеете улыбаться?

— Господин унтер-фельдмейстер, у меня дернулось лицо.

— Брюхо! — заорал Бём.— Сейчас задергается ваше набитое, как барабан, брюхо. Лечь! И ползти до самой канавы.

Хольт полз не торопясь. «Укрепляет мускулы»,— думал он с ожесточением. Когда он вернулся, Бёма уже не было.

■

В столовой, где два отделения обедали одновременно за длинным деревянным столом, все сидели вплотную, притиснувшись друг к другу. Дежурный притащил миски с картофелем в мундире и ведро бурой подливки, в которой плавали ошметки мяса.

Вскоре появился Бём. Под мышкой у него торчала толстая пачка писем. «Сегодня и мне должна быть весточка»,— подумал Хольт, уже получивший от Гундель четыре письма. Бём отдал письма командирам отделений. Хольт искоса наблюдал за Шульце. Тот вернулся на свое место и бросил пачку писем на стол, прямо в картофельную шелуху и пролитую подливку. Письма им он роздал, только когда они вернулись в казарму.

Хольт взял табуретку, уселся возле окна и нетерпеливо разорвал конверт. В последнем письме к Гундель он не смог скрыть своего настроения. Бывали дни, когда придирки, крики и муштра доводили его до отчаяния.

Он быстро прочитал коротенькое письмецо. В самом конце было написано: «Я хорошо понимаю, как грустно тебе иногда». Почерк у нее был детский, расплывчатый. В первых двух письмах ее манера выражаться казалась ему неловкой, заплетающейся. Но теперь она писала так естественно, словно разговаривала с ним.

«Милый Вернер, ты только представь себе, что со мной вчера случилось. Я делала покупки, и со мной вдруг заговорила какая-то дама.— Сначала Гундель написала «женщина», потом зачеркнула это слово.— Она назвала мне свое имя».

«Странно»,— Хольт, заинтересованный, стал читать дальше.

«Она спросила, не найдется ли у меня несколько минут. Мы вышли на улицу, и дама сказала, что ты близкий друг Зеппа — ее сына. В купальне ты мне говорил, что твоих друзей зовут Зепп и Гильберт, и потому я поверила ей. Ты будто бы рассказал ее мужу, что был у нас и что тебе очень у нас не понравилось. И хозяева мои тоже не понравились. Раз ты все это рассказал, значит, ты очень хорошо знаешь господина Гомилку. А потом она спросила, что я делаю в свободное время. И не зайду ли к ней как-нибудь? Она была очень любезна со мной. Я только не понимаю почему. Она сказала, что у нее нет дочерей и что ей будет приятно подружиться с молоденькой девушкой. И чтобы я приходила иногда вечером или в воскресенье. Она уверяла, что, если я хочу, она никому об этом не скажет, а я могу приходить через сад, и меня никто не увидит. Я ответила, что подумаю, но что, может быть, все-таки приду, если ей действительно хочется. Милый Вернер, напиши мне, пойти ли мне к ним и что это за люди? Ты ведь знаешь, почему я не хочу водиться с чужими».

«Какая может быть причина у Гомилок приглашать Гундель? Человеколюбие? «Девушка не так одинока, как вам это кажется...»

У нее много работы, писала Гундель, но работать она привыкла. Дети доставляют ей радость, хотя они и грубы с ней. Но она любит детей, даже грубых. Она не может исполнить его просьбу и прислать ему свою фотографию. У нее нет фотографии. Потом те строчки — «как грустно тебе иногда» и в самом конце просьба: «напиши мне поскорее опять, если тебе это не слишком трудно».

2

Построение затянулось. Отряд должен был идти на боевые стрельбы, но обер-фельдмейстер Лессер приказал ждать. В лагерь на мотоцикле прибыл посыльный. Бётхера и командиров взводов вызвали в канцелярию. Всем стало ясно: их перебрасывают.

В течение нескольких часов в лагере царила полная неразбериха.

— Вольцов, Венскат, Хольт, Гомилка! — кричал Шульце.— Ко мне! За мной!

Они принесли три ящика патронов, которые были розданы тут же в комнате.

— Двести патронов на человека! — ныл Фетер.— Да кто же их в силах тащить?

Но Вольцов велел ему замолчать. К вечеру все было готово к отъезду. Хольт стоял, опираясь на винтовку. Ранец давил его своей тяжестью. Поясной ремень оттягивали подсумок, саперная лопатка, на боку висел противогаз. Нарукавные повязки со свастикой было приказано снять. Обер-фельдмейстер Лессер встал перед строем.

— В Словакии,— голос Лессера так и гремел,— враги рейха при поддержке большевистских парашютистов пытаются нанести удар в

тылу нашей армии, ведущей тяжелые бои. Ввиду того, что словацкие военные силы слишком слабы, президент Тисо просит своего великого германского союзника выделить ему в помощь войска для уничтожения большевистских орд.

Лессер стоял, широко расставив ноги и грозно сдвинув брови.

— На нас возложено несение караульной службы и оказание помощи боевым частям при погрузочно-разгрузочных работах, в случае необходимости, разумеется, и в бою. Теперь вы сможете наконец показать, чему вы научились.

На вокзале их уже ждал товарный поезд. Паровоз медленно потащился вперед. Ночью они простояли много часов. Завернувшись в одеяло, Хольт спал на дощатом полу. На другой день поезд опять долго стоял на путях. От вагона к вагону полз слух: сбежал машинист. Гомилка с трудом подавил смех. Под вечер они наконец двинулись дальше.

Ночью поезд резко затормозил. От толчка лежавшие на нарах покатились друг на друга. Снаружи раздались крики, выстрелы.

— Выходи! — кричал Вольцов.

Хольт схватил винтовку и прыгнул в темноту. Впереди сверкали вспышки выстрелов. Вольцов стрелял наугад. Возле паровоза кто-то не своим голосом кричал: «Тормози! Тормози!» Луч карманного фонаря рыскал по рельсам. Вольцов помчался вперед, туда, где светился красный глазок семафора. Обер-фельдмейстер Лессер орал:

— Сумасшедшие раззявы! Идиоты проклятые!

Вернулся Вольцов и доложил:

— Мост... Конечно, охраняется. Там дали сигнал замедлить ход. Машинист остановил, а часовые из первого вагона давай палить как одержимые. Разумеется, охрана моста немедленно ответила. Откуда же им было знать, что здесь происходит.

Паровоз, вздрагивая, медленно двинулся дальше. Все полезли обратно в вагоны. На мосту Хольт разглядел несколько человек, вооруженных винтовками.

— Попало в кого-нибудь?

— Как ни странно, нет,— ответил Вольцов.— Но это плохо: значит, мы совсем не умеем стрелять.

На следующий день они прибыли наконец к месту назначения.

Город, окруженный густыми лиственными лесами, находился в получасе ходьбы от товарной станции — маленький, сонный, всего несколько узких улиц.

Стоял полдень. Городок был безлюден.

Миновав лабиринт извилистых улочек, они вышли на широкую пустынную площадь. Здесь Бётхер подал команду остановиться. Перед ними высилось довольно большое, обращенное фасадом на площадь, здание школы. Густой сад, отгороженный от площади низким дощатым забором, тянулся по обе стороны дома. Окна подвала и первого этажа по фасаду были забраны частой решеткой.

— Дерьмо, а не помещение,— сказал Вольцов.— Его трудно охранять.

Бётхер в сопровождении взводных осмотрел здание и начал отдавать приказы.

— Первый взвод — в караул! Второй взвод — на уборку помещения! Третий взвод — за соломой! Вещи сложить во дворе! Оружие иметь при себе. Винтовки за спину! Нале-во! Справа повзводно шагом—марш! Идти не в ногу!

Хольт вошел через главный вход и поднялся на несколько ступенек. Стены широко расступились перед ним, образуя просторный вестибюль. Отсюда в обе стороны расходились коридоры, ведущие в классы. Прямо

против входа виднелась широкая деревянная лестница. Справа от нее несколько ступенек вели вниз в подвальное помещение, из которого был выход во двор. Налево, между вестибюлем и коридором, была маленькая каморка. Там стоял школьный сторож, темноволосый человек лет пятидесяти. Бём сразу же налетел на него.

— Сдать ключи! Немедленно! И убирайтесь отсюда! Слышите, убирайтесь!

Сторож, очевидно, не понимал по-немецки. Он вышел через дверь, ведущую во двор.

Хольт работал до самого вечера, помогал выносить тяжелые парты и кафедры. Третий взвод привез на подводах солому, они натаскали ее в классы.

■

На другой день караульную службу нес второй взвод. Первое отделение обер-формана Шульце охраняло дом, второе с обер-форманом Рёслером во главе патрулировало в городе, третье отделение обер-формана Бётхера несло службу на вокзале, а четвертое под командованием обер-формана Лахмана было выделено для охраны железнодорожного моста. Инструктаж проводил Бём.

— С двадцати до шести ноль-ноль часовые на мосту открывают огонь без предупреждения — в эти часы населению выходить на улицы запрещается. Патрули в городе и на вокзале стреляют после первого предупреждения. Патрули в городе задерживают всех гражданских лиц, которые появятся на улице после двадцати часов. Полиция по ночам не патрулирует. Днем тоже необходимо проверять документы. Список документов висит в караульном помещении. Вопросы есть?

Молчание.

— Словакия наш союзник,— продолжал Бём,— но местное население заражено бунтарскими настроениями и враждебно Германии. Местные полицейские органы также не внушают доверия. В случае малейших волнений — полицейских немедленно разоружать и арестовывать. При аресте действовать решительно. Сопротивление должно быть сломлено любыми способами. Лучше применить оружие, чем позволить скрыться подозрительным элементам.— Бём вытащил записную книжку и прочел: — «Необходимо, однако, по возможности корректно обращаться с той частью населения, которая сочувственно относится к рейху».— И, вытянув руки по швам, скомандовал: — Второй взвод! Смирно! Пароль — «Заря»! — Он поднял руку, отдавая честь.— По караулам! Шагом — марш!

Взводы отправились сменять караулы. В школе осталось только отделение Шульце.

В полдень Хольт и Вольцов сидели вдвоем в караульном помещении. Вольцов раздобыл немецкие газеты, впрочем уже давнишние. Он курил и читал.

— Что делается на фронтах? — спросил Хольт.

Вольцов опустил газету.

— Финляндия капитулировала, ты знаешь? Болгария тоже отказалась от своих обязательств по отношению к рейху. На фронте вторжения произошла какая-то катастрофа. Фронт, очевидно, разваливается. Только на Ривьере мы еще прочно удерживаем позиции. Лион мы отдали, неприятель подошел к Мозелю. Ну, как,— спросил он мрачным голосом,— хватит с тебя? На Востоке события приняли катастрофический характер. На центральном участке фронта русские подошли к Варшаве.

— К Варшаве? — испуганно вскрикнул Хольт.

— Да. Восстание там все еще не подавлено. На северном участке русские наступают, они прорвали фронт под Нарвой. На Украине они тоже ведут развернутое наступление. Русские могут скоро оказаться на Карпатах, бок о бок с нами. Трансильванскую столицу мы уже сдали. Следующий удар будет нанесен, очевидно, в Венгрии. Еще что? Ах да, «фау-2»! Ну что же, англичане переносят их, очевидно, не хуже, чем «фау-1».

И Хольт спросил, как спрашивал уже не раз:

— О господи, что же будет дальше?

— Уж что-нибудь да будет. Война, к счастью, живуча, и сейчас делается все возможное, чтобы спасти положение. Геббельс принял решительные меры по проведению тотальной мобилизации. Школы закрываются, почти вся печать запрещена, ликвидировано прусское министерство финансов. Ну и так далее и тому подобное. Вот у меня «Фёлькишер беобахтер», правда, уже старый номер. Здесь напечатана речь статс-секретаря доктора Наумана, которую он произнес в Данциге в связи со вступлением Германии в шестой год войны. Доктор Науман...

— Дай-ка я прочту сам,— сказал Хольт.

Вольцов передал ему газету. Хольт быстро пробежал глазами статью: «...и сумел убедительно обосновать перед своими слушателями шансы Германии на победу...»

«Ага!.. Да, но где же оно, это обоснование шансов на победу? Я непременно должен прочесть...»

«...Тотальный успех возможен только при помощи тотальной мобилизации всех сил... Подъемы и спады... Вступление в шестой год войны совпало со спадом... Показать нашим врагам некоторые факты, гарантирующие преодоление всех кризисов... Немецкий народ непоколебимо предан фюреру, родина непоколебимо верит в победу...»

«Да, но где же обоснование шансов на победу?»

Хольт торопливо читал дальше.

— Сыграем в скат? — предложил Вольцов.

Хольт покачал головой.

«...Наши враги ошибаются,— читал он,— полагая, что они накануне победы... Новые дивизии направляются на фронт. Германия — это крепость, которая будет обороняться, как никогда еще не оборонялась ни одна крепость, и тогда настанет наш час...»

«Тогда... тогда... Но когда же?» — спросил себя Хольт.

— Вот тебе твой «Фёлькишер», с меня довольно. Что за тип этот Науман?

— Генерал-майор войск СС, «закаленный на фронте политический солдат». Так, значит, ты не хочешь играть? Ну что ж, придется мне разложить пасьянс.

В комнату вошел Гомилка.

— Вернер, мы сейчас заступаем на пост.

Хольт надел каску, взял винтовку, они вышли и остановились у черного хода. Большой квадратный двор был с трех сторон окружен садом. Сад — густой, засаженный фруктовыми деревьями и декоративным кустарником,— примыкал к лесу. Посреди двора стояла водокачка, справа у забора — сарай, рядом с ним маленькая калитка, которая вела в сад. За водокачкой в красном кирпичном домике, прямо против входа во двор, жил сторож.

Сейчас у водокачки околачивалось несколько человек, свободных от караульной службы: Венскат, Баруфке, Цёльнер, Мейерман, Фетер... Все они только что вымылись и расхаживали полуголые.

— Нам здорово повезло. По сравнению с лагерем здесь мы, можно сказать, на отдыхе,— заметил Хольт.

Гомилка промолчал. Из кирпичного домика вышла девушка с длинными, очень светлыми волосами и направилась к сараю. Ей было лет двадцать.

— Посмотри-ка, какие красивые девушки в Словакии,— сказал Хольт, но Гомилка упрямо молчал.

Венскат, стоявший у колодца, засунул два пальца в рот и свистнул что было силы.

— И-и-и-их, какая куколка! — протяжно крикнул кто-то.

— Как не стыдно! — сказал Хольт.— Что она о нас подумает!

Он пошел через двор. Гомилка за ним.

— Видел, Хольт? — спросил кто-то.— Для меня подходящая!

— Веди себя прилично,— огрызнулся Хольт.

— Да не трепись ты,— сказал Венскат,— вот еще тоже, разводить антимонии со словачкой.

Девушка вышла из сарая с двумя ведрами и робко направилась к водокачке.

— По воду! — прокаркал Фетер.

Она подошла ближе, и Хольт увидел, что у нее большие голубые глаза и суровое лицо. Она очень напоминала Уту и походкой, и посадкой головы, и всей осанкой.

«Пусть только парни посмеют безобразничать, уж я им...— подумал Хольт, но тут же одернул себя: — Смотри осторожно, как бы снова не влипнуть в историю...»

Девушка подставила ведро под трубу.

— Эй, малютка,— крикнул Венскат,— хочешь, мы тебе накачаем?

Девушка, очевидно, не понимала по-немецки и никак не реагировала на поднявшийся гогот. Она хотела взяться за ручку насоса, но Венскат быстро вытянул ногу, не давая ей пройти, и крикнул:

— Не понимаешь по-немецки? Нет? Не понимаешь? То, чего мы хотим,— интернационально...

«Она действительно не понимает по-немецки»,— решил Хольт.

— Убери-ка свои лапы. Ну, быстро! — сказал он.

— Да ты что? — Венскат просто обалдел.— Видно, у тебя...

Но Хольт грозно добавил:

— Сейчас же убери ногу, не то худо будет.

— Парень, видно, окончательно сбрендил,— вымолвил Венскат, но ногу все-таки убрал.

Девушка подняла ведра и пошла в дом. Парни смотрели ей вслед. Венскат разозлился:

— Ты что же это, драться со мной собираешься из-за этой?..

В дверях появился Шульце и крикнул:

— Хольт, Гомилка! На пост!

■

В самом отвратительном настроении простояли они два часа на посту у входа в школу. Город, казалось, вымер. Наконец поздно вечером оттуда вернулись оба взвода, и школьный двор наполнился гамом. Наступила полночь. Хольт и Гомилка обошли вокруг школы, пересекли сад.

— Она дочь сторожа,— ни с того ни с сего начал Гомилка.— Ее зовут Милена. Шульце на нее зарится.

— Шульце? — воскликнул Хольт.— Павиан этакий!

— Да. Когда он говорил о ней, я впервые увидел на его лице подобие какого-то выражения, разумеется, недоброго.

«Я-то чего волнуюсь,— подумал Хольт.— Мне-то до нее какое дело. Только пусть знает, что не все мы нахалы и развратники».

— А почему ты заступился за нее у водокачки? — спросил Гомилка.

— Вот что я тебе скажу! — воскликнул Хольт, впадая в бешенство.— Если только Шульце... Так вот, ничего у него не получится!

— Смотри, будь осторожен,— серьезно сказал Гомилка.— Нападение на начальство — это пахнет военным трибуналом. Впрочем, до трибунала не дойдет. Шульце попросту свернет тебе голову. Вот Вольцов, тот бы с ним справился, но на него тебе лучше не рассчитывать. А кроме того...

— Стой! — крикнул Хольт, в испуге бросаясь в сторону и поднимая винтовку. Из темноты кто-то выкрикнул пароль. Это был Бём.

— Заткните глотку! Перестаньте орать!

Хольт вытянулся и доложил:

— Все в порядке.

— На посту не разговаривать. Несите службу внимательнее.

На груди у Бёма висел автомат. Он снова скрылся в темноте. Приятели продолжали обход.

— ...А кроме того? — приглушенным голосом спросил Хольт.

Гомилка остановился и поглядел во все стороны, словно пронизывая взглядом ночь.

— С тех пор как началось восстание,— прошептал он,— здесь, как и всюду на Востоке, действует специальный указ фюрера о преступлениях военнослужащих вермахта по отношению к местному населению... А это значит, что даже если германский солдат провинился перед словаком, то его не предают военному трибуналу. На него накладывают только дисциплинарное взыскание.

— Указ фюрера! Откуда ты все это знаешь? — удивился Хольт.

— Слух прошел такой,— уклончиво ответил Гомилка.— Можешь спросить Вольцова. Он-то хорошо осведомлен. Об указе сообщили только командирам. Если о нем проведают солдаты, они так озвереют, что от дисциплины и следа не останется.

— Но ты-то откуда знаешь? — еще раз спросил Хольт.

— Неважно,— опять уклонился от ответа Гомилка.— Я хотел только предостеречь тебя.

Они пошли дальше.

«Шульце мерзавец,— думал Хольт с ненавистью.— Злобная горилла!» Но к его ненависти примешивалось сознание собственного бессилия.

— Значит, я должен стоять и смотреть, как он насилует девушку? — Хольт окончательно вышел из себя.— Ты мне это советуешь?

Гомилка, как видно, решил промолчать, но через несколько секунд все-таки сказал:

— Ты пришел в такую ярость, Вернер, но извини меня... ведь это только потому, что тут замешана девушка.

— Ах, так! — сказал Хольт, оскорбленный.— А русские, тогда на батарее, они тоже были девушками?

— Нет...— промолвил Гомилка.— Нет. Не сердись, пожалуйста, я ведь только хотел...

«Он прав,— решил про себя Хольт.— Нет, не прав... А может быть, я и сейчас — как в прошлом году... когда думал, что мы с Гильбертом сражаемся за справедливость, а на самом деле Мария Крюгер так околдовала меня, что я решил расправиться с Мейснером... Это было ребячество... Нет, не ребячество... Все бесцельно. Что такое справедливость? Может быть, все это вовсе не так... Или, может быть, жалость — это только слабость, и Цише был прав, утверждая, что истинная справедливость заключается в жестокости, когда мы, немцы... с завязанными глазами в темной комнате...»

■

В ближайшие дни им пришлось много и тяжело работать. На станцию прибывали все новые эшелоны с эсэсовскими частями. С платформы сгружали автомашины, лошадей, повозки, орудия, минометы.

— Теперь бандитам плохо придется,— ликовал Фетер.— Теперь они и недели не продержатся.

Часами таская ящики с патронами и корзины со снарядами, Вольцов чертыхался:

— Могли бы и словаки попотеть. Вот еще!.. Расселись по домам...

За обедом Вольцов, хлебая суп из котелка, сообщил:

— Прибыла эсэсовская дивизия в полном составе. Я слышал, что это соединение особого назначения. Они уже провели операции против партизан в районе Припятских болот, так что у них есть опыт в этом деле.

■

Прошло несколько недель. Переезд на новое место не принес ничего, кроме новой работы. Сентябрь близился к концу, но все еще стояли полетнему теплые дни. Только ночи были уже холодные и туманные.

Хольт лежал на солнце в школьном саду и смотрел в небо. Вдруг он услыхал шаги. Белокурая девушка шла по дорожке, неся грабли и большую корзину...

— Добрый день,— громко и внятно произнес Хольт.

Она быстро взглянула на него и тотчас же отвела глаза, устремив их прямо перед собой, но в ответ на его приветствие кивнула головой.

«Ага,— подумал польщенный Хольт,— значит, она делает различие между теми и мною!»

Ночью Хольт и Вольцов охраняли железнодорожный мост.

— Слушай! — сказал Вольцов.

Вдали грохотали орудия. Было уже около трех часов утра. Узкий серп месяца поднялся над горами. Хольта знобило.

— По звуку похоже на настоящее сражение.

— Из гор их не так-то скоро выбьешь,— заметил Вольцов,— из гор высотой в две тысячи метров... Тут можно навести порядок только при помощи крупных сил.

Хольту все время хотелось спросить Вольцова, в чем суть указа фюрера, но его удержало какое-то чувство — то ли возрастающая отчужденность, то ли необъяснимая робость. Орудия гремели до утра. В полдень, возвратившись в город, они увидели возле школы несколько забрызганных грязью грузовиков. Во дворе толклось человек двести эсэсовцев. Вольцов замешался в эту толпу и скоро вернулся с новостями.

— Ну, знаешь, мы думали, что покончим с бунтовщиками за неделю. Но это была иллюзия. Теперь восстание охватило уже полстраны. Словаки истребили целый гарнизон по соседству с нами, а эсэсовцев вымотали до конца... Эсэсовцы говорят, что партизаны ничуть не хуже регулярных войск, а дерутся даже упорнее — знают, что пощады не будет. Русские перебрасывают им оружие по воздуху, и партизаны часто вооружены лучше, чем эсэсовцы, у них у всех автоматы. Интересно, когда начнется здесь, у нас?

— Первый взвод,— сказал Фетер,— произвел сегодня утром обыски по всему городу. Искали оружие, но ничего не нашли.

После полудня эсэсовцы ушли. В доме осталось только одно отделение из третьего взвода, охранявшее школу, да отделение Шульце. Люди отдыхали после караула и спали прямо на соломе.

Хольту никак не сиделось в комнате. Он бесцельно бродил по саду

и снова увидел светловолосую словачку. Она тащила большую корзину, полную сучьев, веток и хвороста.

— Разрешите, я донесу вам,— сказал Хольт.

Он взял корзину и понес ее во двор.

— В сарай? — спросил Хольт через плечо.

— Да.

«Значит, она понимает по-немецки»,— подумал он, вздрогнув от неожиданности.

Девушка отворила дверь сарая. Хольт поставил корзину в угол, где кучей лежали дрова. Она вошла вслед за ним и приветливо сказала:

— Спасибо!

Хольт разогнулся. Ее близость приводила его в смятение. Внезапно он схватил девушку за плечи и прижал к себе. Она ударила его по лицу с такой силой, что он зашатался. Вне себя от ярости Хольт уже готов был броситься на нее. И вдруг словно услышал голос: «Что-то от этого есть и в тебе...» Его захлестнула волна ужасного стыда.

Девушка быстро швырнула чурбан для рубки дров между ним и собой и схватилась за топор. Потом, все еще не выпуская топора, она медленно подняла левую руку и указала ему на дверь.

— Вон! — только и проговорила она.

Хольт начал было бормотать какие-то слова не то извинения, не то оправдания, но в глазах, устремленных на него, пылала такая бездонная ненависть, что он, не произнеся больше ни звука, вышел из сарая.

Хольт вернулся в сад. Издали он увидел, как девушка пробежала через двор. В руках она все еще сжимала топор. Впрочем, это не дошло до его сознания. Он стоял с отсутствующим взглядом и пытался отделаться от удушающего чувства стыда. «Подумаешь тоже, корчит из себя,— думал он.— В конце концов я немец, а она...»

Но чувство стыда было уже невыносимым. Лицо Хольта горело огнем.

3

Через три дня отделение Шульце было снова назначено охранять школу. Хольт сидел в караульном помещении и видел, как Шульце вышел из комнаты. Через несколько минут у входа в подвал появился Бём.

— Шульце! Шульце! — крикнул он.

В караульное помещение вошел Венскат и сказал, ухмыляясь:

— Как же! Так тебя Шульце и услышит. Он отправился в сад за девочкой. У него просто слюнки текут, когда он ее видит.

Хольта будто по голове ударило. В эту секунду в дверях появился Бём.

— Да что вы тут, дрыхнете, что ли? Встать! Хольт, Гомилка! Пошли за мной!

Венскат исчез во дворе. Хольт и Гомилка спустились в подвал. Из-под штабеля ящиков они вытащили большой ящик с патронами, за которыми послал их Бём, и отнесли его в караульное помещение. Вдруг к ним в комнату ворвался Венскат. Лицо его было искажено ужасом.

— На помощь! Шульце в саду... мертвый.

Бём уставился на Венската.

— За мной! — крикнул он срывающимся голосом.

Они бросились в сад. Шульце лежал в кустах, страшно изуродованный. Вольцов совершенно хладнокровно наклонился над мертвым, череп которого был раскроен ударом топора. Падая, Шульце как-то странно согнул ноги в коленях. Куртка и брюки его были расстегнуты. В левой судорожно сведенной ладони он сжимал клок белокурых волос.

— Готов! — сказал Вольцов. Он выпрямился и огляделся, ища чего-то.— Вот!

Хольт увидел в траве топор, тот самый топор.

— Господин унтер-фельдмейстер,— вскрикнул Венскат,— это блондинка, дочка сторожа. Он пошел за ней. Я хотел поглядеть, куда это он запропастился, и нашел его здесь.

Бём бросился из сада. Все побежали за ним следом. Из школы один за другим выскакивали люди. Бём изо всех сил рванул ручку двери кирпичного домика.

— Выломать!

Вольцов так ударил в дверь прикладом своего карабина, что доски затрещали. Он продолжал ударять в дверь, покуда не отскочил замок. Венскат ворвался первым, в два шага проскочил переднюю и очутился в комнате.

Посреди комнаты стоял сторож, держа наготове охотничье ружье. Прогремел выстрел. Венскат с воплем свалился на пол. Бём вырвал ружье из рук сторожа.

— Убийца! Бандит! Проклятая сволочь! — Он принялся бить сторожа прикладом. Тот рухнул наземь. Бём топтал его своими подкованными сапогами.— К стенке! — вопил он.— Немедленно к стенке!

Девушка стояла у окна. У ног ее валялся наполовину уложенный рюкзак.

— Руки вверх, падаль! — набросился на девушку Бём.

Она подняла руки.

— Фетер, Вольцов,— орал Бём,— Венската на медпункт! Гомилка, Шведт, поставить бандита на ноги, скорее, и к стенке, к стенке! Хольт, чего вы стоите и глазеете? Поставить лицом к стенке эту падаль! Ну, ты, потаскуха, будешь держать руки вверх? Мейерман, Рунге, за мной! — Он выбежал из комнаты.

Гомилка и Шведт подняли сторожа, спотыкаясь, он пошел во двор. Девушка не отставала от него ни на шаг. Она шла, скрестив за спиной дрожащие руки, распустившиеся волосы покрывали ее плечи и спину. Хольт шагал вслед за ней, держа винтовку наготове. «Если она побежит, я должен буду стрелять. Я выстрелю...— Он наметил глазами точку у нее между лопатками.— Чуть левее,— думал он,— тогда она ничего не почувствует».

Сторож прислонился окровавленной головой к стене дома. Девушка остановилась рядом с ним. Хольт с винтовкой в руках стоял у них за спиной и думал: «Сейчас вернется Бём, и я должен буду стрелять».

В дверях появился Бём.

— В подвал! — крикнул он.— Живее!

Они спустились в подвал. Бём отворил железную дверь в какую-то темную яму.

— Шведт, останетесь на посту, пока вас не сменят. Остальные за мной!

■

В караульном помещении собралось все отделение. Вольцов доложил:

— Венскат скончался. Четыре человека на постах.

Бём быстро оглядел присутствующих и пробормотал скороговоркой:

— Гомилка, Хольт, Фетер, Цёльнер, Мейерман, Матцке, Рунге, Шведт, в подвал... Вольцов, примите командование отделением! Я звонил обер-фельдмейстеру. Он на станции. Хочет лично допросить обоих, как только вернется. Он говорит — смердит, всюду смердит, а здесь у нас особенно. Первый взвод отозвали. До второго невозможно добрать-

ся. Караулы сегодня ночью будут удвоены. Вольцов, перенесите Шульце на медпункт. Да. Надо очистить первый этаж от соломы, она слишком легко воспламеняется. Перейти всем во второй этаж, внизу оставить только караульных. Мне нужно на мост. Как только явится обер-фельдмейстер, доложите ему, что заступили в караул. Командуйте!

— Первое отделение, слушай мою команду! — гаркнул Вольцов.— Фетер, сообщить часовым, что сейчас их не сменят. Цёльнер и Мейерман, перенести Шульце! — Фетер направился к выходу.— Фетер! Не угодно ли вам будет повторить приказание? — остановил его в дверях Вольцов.

— Так точно! — растерянно сказал Фетер.

— Ко мне полагается обращаться: господин командир отделения!

— Так точно, господин командир отделения!

— Ступайте! И чтоб был порядок! — крикнул Вольцов.— Сейчас мы освободим комнаты в нижнем этаже.

Прибыл первый взвод. Дом дрожал от ударов молотков. Все срывали двери с петель и заколачивали ими изнутри окна первого этажа. Кто-то приказал использовать для этого и входные двери.

— Самое главное, чтобы они не могли бросать в нас гранаты через окно,— сказал унтер-фельдмейстер Ришка, командир первого взвода.

К вечеру вернулись Лессер и Бётхер. Вольцов представился им и снова поднялся наверх.

— Можешь носить свой парабеллум, Бётхер не возражает,— сказал он Хольту.

Вечером вернулся и Бём. Хольт видел, как он вместе с обер-фельдмейстером спустился в подвал.

— Завтра этих двух передадут гестапо,— принес очередную новость Вольцов.

Наконец в доме все успокоилось. Первый взвод, которому придали еще два отделения, под командованием Ришки был назначен в караул. Часть людей охраняла вокзал, а другие патрулировали по городу. Второму взводу была поручена охрана моста и школы. Поздно вечером Бём приказал одному из двух отделений, охранявших школу, тоже отправиться на мост.

— Три отделения на мосту,— заметил Гомилка,— и только одно остается в школе?

— Сволочь ленивая! — заорал Бём.— Вас сменят не раньше чем через три-четыре часа, а мне нужны люди. Мост важнее школы. Это приказ обер-фельдмейстера.

С большой неохотой он оставил с ними обер-формана Рёслера. Вольцов выставил три парных поста — у входа с улицы, во дворе, третья пара патрулировала на территории школы.

Хольт вышел из караульного помещения. Болтовня окружающих была ему противна. На секунду он остановился в дверях, но в темноте с трудом разглядел неподвижно стоявших часовых... Он думал о девушке в погребе, и это мучило его, словно физическая боль. «Я чуть не расстрелял ее...» Он не мог никак отделаться от этой мысли. Поднявшись на второй этаж, он бросился на солому, но заснуть ему не удалось.

В одиннадцать часов Хольт и Гомилка сменили патруль.

Вдвоем они медленно обошли свой участок — улицу, сад, двор и вышли с другой стороны снова на улицу. Забор, примыкавший к школе, был повален. Они молчали, напряженно вслушиваясь в темноту.

Пробило полночь. В городе, где-то совсем близко, прозвучал выстрел. Хольт замер на месте. Слышалась беспорядочная стрельба, короткие автоматные очереди, перемежающиеся винтовочными выстрелами.

— Стой! — раздался крик у входа, и там тотчас же прогремел выстрел. Гомилка побежал на крик. Хольт услышал у себя за спиной быстрые шаги. Кто-то напролом пробирался сквозь кустарник. Хольт выстрелил. Перед ним в темноте блеснуло пламя: кто-то дал очередь из автомата. На другой стороне площади началась перестрелка. В школе тоже послышались выстрелы.

Какой-то человек перебежал площадь и упал уже в саду, в нескольких шагах от патруля, успев крикнуть:

— На по-о-о-мощь!

В два прыжка Хольт очутился возле кричавшего. Человек, лежавший ничком, поднял голову и прохрипел:

— В городе... Патрулей... всех!

Голова в каске стукнулась о землю. На перекрестке, по ту сторону площади, начал короткими очередями строчить пулемет.

Хольт бежал через кусты. Стреляли во дворе, в саду, рядом — повсюду. Хольт выскочил на улицу, он мчался вдоль забора, потом бросился на землю и пополз к входной двери. Возле самого входа лежал часовой, второй — на пороге. Хольт переполз через них. В вестибюле валялся труп Рёслера.

— Не стрелять! — крикнул Хольт и откатился в сторону, чтобы не попасть под огонь пулемета, строчившего прямо в открытые двери. В вестибюле через равные промежутки времени слышались винтовочные выстрелы.

Прижимаясь к перилам, Хольт вполз по ступенькам наверх и в вестибюле укрылся наконец за выступом стены. Перед дверью в караульное помещение стоял Вольцов, в рубашке, с непокрытой головой и посылал пулю за пулей в открытые двери. Фетер подтащил Вольцову ящик с патронами.

Вольцов зарядил винтовку.

— Пробрался, Вернер? — крикнул он, увидев Хольта.— Ступай к воротам. Там один только Кранц.

— Где Зепп? — проорал в ответ Хольт.

Вольцов локтем указал на караульное помещение.

— Немного оцарапало лицо. Фетер перевязал его.

«Гильберт, Кристиан, Зепп и я — четыре,— быстро подсчитал в уме Хольт.— Рёслер убит — пять. Патрули — семь. У ворот один — восемь. Шведт и Швердтфегер стояли во дворе, их, вероятно, тоже убили — десять. Где же еще шесть?»

— Где остальные? — прокричал он.

Вольцов указал большим пальцем через плечо и продолжал стрелять. При вспышках выстрелов Хольт увидел три неподвижные фигуры, лежавшие на разбитых ступеньках. Четвертая осталась внизу, в вестибюле. Десять и четыре — четырнадцать.

— А Лессер и Бётхер? — спросил он.

— Наверху! — крикнул Вольцов между двумя выстрелами.— Не решаются спуститься!

Пуля пролетела на уровне головы Вольцова и ударилась в стену. Посыпалась штукатурка.

— Фетер, каску! — крикнул Вольцов.

Фетер подал ему каску.

Хольту удалось наконец сбежать по лестнице к двери во двор. Кранц стоял, прижавшись к косяку, и стрелял. На секунду стрельба прекратилась, Хольт услышал, как во втором этаже Бётхер громко крикнул: «Берегись!» — раздался звон и на пол упал какой-то предмет.

Стволом винтовки Вольцов подтащил к себе завернутый в бумагу пакет, прочитал записку и бросил ее вниз Хольту... В ту же секунду стрельба возобновилась. Хольт поднял пакет, из которого выпала связ-

ка ключей. Он чиркнул спичкой и прочел: «Приказ обер-фельдмейстера: немедленно расстрелять арестованных! Ключи передаю. Бётхер».

Хольт швырнул спичку и замер на месте. Кранц все еще стоял, прижавшись к дверному косяку, и стрелял. С улицы пулемет продолжал вести огонь, и пули ударялись о лестницу. «Тут никому не пройти,— решил Хольт,— ни Лессеру, ни Бётхеру». Он вскинул винтовку на плечо и спустился в подвал. Сердце его бешено билось. Он вытащил парабеллум и загнал патрон в патронник. Ощупью добрался до железной двери и остановился, прислушиваясь. От страха и возбуждения Хольт весь дрожал, ему необходимо было сперва успокоиться. Сверху долетали приглушенные звуки выстрелов. Он вынул ключ, открыл замок и увидел свет от огарка свечи.

Сторож стоял перед дочерью, заслоняя ее собой.

— Спасайтесь! — задыхаясь, сказал Хольт.— Только выпустить вас я не могу, не то они расстреляют меня.

Девушка смотрела на него неподвижным взглядом. «Вот теперь она поймет, что была несправедлива ко мне»,— мелькнуло в мыслях у Хольта. Сторож и девушка что-то сказали друг другу.

— Стреляй же, фашист! — крикнула девушка.

— Перестань молоть чепуху! — заорал Хольт, окончательно теряя самообладание.— Я должен вас расстрелять. Что если кто-нибудь сюда войдет? Тогда расстреляют меня. Придумайте что-нибудь!

Она что-то быстро-быстро заговорила, обращаясь к отцу. Тот подозрительно глядел на Хольта и на его пистолет.

— Скорей же! — нетерпеливо крикнул Хольт.

— Ключи у вас?

Хольт кивнул.

— Напротив тут мастерская... Лом!

Хольт взглянул наверх, увидел маленькое забранное решеткой окно и понял. Он бросился к соседней двери и попытался отомкнуть ее ключом. Девушка мигом очутилась около него.

— Давайте сюда! — сказала она и отворила сама.

Сторож отодвинул Хольта в сторону и принялся шарить в черной, как тьма, дыре. Наконец он нашел большой, изогнутый в форме дуги, кусок железа. Девушка заперла двери и отдала ключи Хольту. Он спрятал пистолет. Сторож влез на высокий ящик и, напрягая все силы, принялся ломом отдирать прутья.

— Вы должны скрыться через пять минут, не позже. Я доложу, что, когда я вошел, вас уже не было.

Она кивнула. Он уже хотел закрыть железную дверь, но вдруг остановился и сказал хриплым голосом:

— Если нас ваши люди... сегодня ночью... Тогда вспомни обо мне...

Она смотрела на него широко открытыми глазами.

— Перебейте ваших командиров. Мы скажем своим, чтобы вас не трогали.

«Безумие! Безумие!» — думал Хольт. Он захлопнул дверь, повернул ключ в замке и побежал наверх.

В доме сразу все стихло. Вольцов тоже уже не стрелял. Только на улице еще строчил автомат. «Это началось час назад»,— подумал Хольт. Он посмотрел на часы. Было около часу ночи.

— Вернер!— крикнул Вольцов.

Теперь, когда стрельба затихла, ясно слышался шум боя вдали. «Должно быть, у вокзала»,— решил Хольт. В саду затрещали ветки кустарника. Во дворе кто-то прокричал слова на чужом языке. «Ушли»,— решил Хольт.

— Вернер! — опять крикнул Вольцов.

— Кранц тоже убит,— отозвался Хольт.— А пленных мне не удалось расстрелять. Сбежали!

Но Вольцов уже поднял винтовку. Фетер быстро начал стрелять, выстрелы из «вальтера» следовали один за другим. Потом снова все стихло.

— Они подошли к самой двери! — вскричал Фетер.— Подумать только — чуть не ворвались!

Пулемет, стрелявший с улицы, смолк...

...Мощный взрыв потряс школу. Взрыв, еще взрыв, третий, четвертый. Пол колебался у них под ногами. Посыпалась штукатурка. И снова мертвая тишина.

— Господин обер-фельдмейстер,— раздался голос Вольцова.— Это у нас, наверху!

Никто не отозвался на его слова.

— Дым!..— крикнул Вольцов.— Горит!..

Хольт, обессиленный, прислонился к стене. Все. Кончено. Он услышал крик Вольцова:

— Никого не впускать!

Вольцов помчался по лестнице на второй этаж. Пламя пожара ярко осветило двор. Вольцов сбежал с лестницы, подскочил к Хольту и сказал:

— Кончать! Лессер и Бётхер убиты... Солома так и полыхает.

— Гильберт! — вскричал Хольт.

— Тише! — Вольцов снял каску и провел рукой по волосам.

Хольт спросил:

— А кто же уцелел?

— Мы, четверо с «Антона». Больше никто.

Зарево пожара осветило двор еще ярче. На лестничной клетке полыхало пламя.

— В темноте у нас была бы надежда уйти,— сказал Вольцов.— Но, если мы побежим в этом свете пожара, они нас всех перестреляют. Сидят себе спокойненько и только этого и ждут.— Он замолчал, пытаясь принять какое-то решение.— Нам давно уже следовало убраться отсюда. Мы должны были, как только началась заварушка, пробиться на вокзал к нашим. Вот что было бы правильно. Так что можем выгравировать это на могильном памятнике Лессера... Лессер знал, что сегодня начнется,— проскрипел он в приступе бешенства.

— Ух, как сыплется штукатурка с потолка! — крикнул Фетер.

— Ну и пусть ее сыплется,— рявкнул Вольцов,— смотри лучше за входом! — Он опять замолчал, что-то соображая.— Скажи, ты выпустил сторожа? — спросил он Хольта.

— Нет.

— Странно. Как же это они убежали?

— В окно.

— Но ведь окна зарешечены.

— Они выломали прутья! — крикнул Хольт.— О господи, что же с нами будет? Неужели мы сгорим заживо?

— Замолчи! — прикрикнул Вольцов.— Куда выходит это окно? В сад?

— Нет, во двор.

— Давай сюда ключ,— сказал Вольцов.— Я посмотрю, что там такое.

Он сбежал в подвал. Над Хольтом ревело и бушевало пламя. Стекла в окнах лопались и со звоном падали во двор.

— Вернер,— в ужасе вскричал Фетер.— Посмотри, они бегают уже по школьному двору. Видно, думают, что мы все перебиты.

Возле водокачки и кирпичного домика Хольт увидел несколько фигур, освещенных заревом пожара. Стрелять он не стал.

В дверях появился Вольцов.

— Если нам повезет, мы сможем выбраться в сад. Давай попробуем. Увидим, что будет дальше.

«Значит, дальше все-таки что-то будет, значит, еще не все потеряно»,— подумал Хольт.

— А что с Зеппом?

— Контужен. Кристиан заберет его с собой и поможет ему. А мы пока останемся здесь.

Он снова задумался, склонив голову на плечо.

— Да идем же! — в нетерпении крикнул Хольт.

— Минуту! Не нервничай. Что это с тобой сегодня? Я должен обдумать. Могут ли они выбить нас отсюда? Никакой боевой задачи мы не получали, поэтому я думаю, что мы имеем право прорываться отсюда самостоятельно.

— Гильберт! — не своим голосом закричал Хольт.— Перестань сейчас же! Не то я убегу один!

— Этого ты не сделаешь,— сказал Вольцов зло.— Никоим образом. Организованный отход — да! Но не бегство!

«Четыре человека,— в отчаянии подумал Хольт,— и организованный отход!»

На улице снова застрочил пулемет. Вольцов выстрелил.

— Вернер, стреляй! — закричал он отчаянным голосом. Вдруг освещенная пламенем пожара какая-то фигура появилась и тотчас же скрылась в темноте сада. Хольт расстрелял всю обойму. Над ним бушевал огонь, кирпичи и балки с грохотом обрушивались во двор.

— Еще раз! — крикнул Вольцов.

Они бросились в подвал. Хольт вспрыгнул на ящик, пролез в окно, Вольцов передал ему оружие, и они скрылись в кустарнике. Спасены! Хольт оглянулся. Пламя, бушуя, выбивалось из окна и, взмывая вверх, охватывало крышу.

Стрельба в городе затихла.

Приятели благополучно добрались до линии железной дороги и, идя по полотну, вышли к вокзалу. Им приходилось поддерживать Гомилку, поэтому они шли очень медленно.

Светало. Стояла такая тишина, точно ночью ничего и не было. Они доложили о своем прибытии унтер-фельдмейстеру Ришке. Бледный и совершенно растерянный, он стоял, окруженный своими людьми.

Гомилка скоро пришел в себя. Хольт перебинтовал ему голову. Пуля задела щеку и оставила на ней глубокую борозду шириной в палец, доходившую до самого уха. Рана сильно кровоточила.

Вольцов и Фетер в сопровождении нескольких человек вернулись в город. Казалось, здесь уже никого не было. Около десяти часов утра на вокзале собрался и третий взвод. На него напали вечером, когда он возвращался в город. Взвод был сильно потрепан. Командира убили, люди попрятались в роще. Часовые на мосту тоже подверглись нападению. Еще через некоторое время в сопровождении пяти человек на вокзал прибыл Бём и принял на себя командование отрядом. Вооружившись блокнотом, он бегал от группы к группе, пытаясь установить потери. В отряде, насчитывавшем сто восемьдесят пять человек, теперь осталось сто тридцать один.

При одной только мысли о предстоящей ночи Хольта бросало в дрожь. Он улегся в хлебном амбаре, а Вольцов остался на улице

— Как только стемнеет, они явятся снова,— сказал он.

Но перед самым вечером в город въехала моторизованная эсэсовская часть. Парни окружили машины, остановившиеся перед вокзалом. Фетер воскликнул:

— Нет, ты только посмотри, какое у них чертово оружие!

— Автоматические винтовки,— пояснил Вольцов,— новое оружие.

— Будь у нас такое, мы прошлой ночью, конечно, разбили бы словаков,— заметил Фетер.

Хольт безучастно сидел на бетонированной платформе возле пакгауза. «Если они вернутся, мы потеряем еще пятьдесят человек. И завтра опять. И самое позднее послезавтра наступит моя очередь. Значит, еще два дня...»

Бём созвал своих людей. Все взобрались на грузовики. Эсэсовцы построились перед зданием вокзала, они остались здесь.

4

Отряд получил новую задачу. Вольцов, как всегда, всем и все разъяснил.

— Ночью подразделения СС заняли деревню, которая стоит на перекрестке двух важных дорог, и тотчас же ушли дальше. Теперь нам приказано охранять эту деревню и перекресток. Наконец-то ясная боевая задача. По крайней мере знаем, на каком мы свете.

Они шли по крутым горным склонам, густо поросшим лесом, пробираясь по тропам и стежкам сквозь чащу. Бём ориентировался по карте. Впереди шло походное охранение, за ним, растянувшись, медленно двигались подразделения отряда. Наконец они вышли на широкую шоссейную дорогу и, ни разу не столкнувшись с врагом, усталые, но невредимые, достигли места назначения. Перед ними открылась зеленая долина километра в три шириной, тянувшаяся с востока на запад. Вдалеке, у перекрестка двух дорог, они увидели с полдюжины домиков да еще какие-то постройки возле ручья. Это и была деревня.

До перекрестка оставалось еще километра полтора.

— Первому взводу,— крикнул Бём,— окопаться слева и справа от дороги, фронтом на юг! Второй и третий взводы — оружие за спину! Идти не в ногу, шагом — марш!

Метрах в ста от перекрестка Бём приказал остановиться.

— Третьему взводу окопаться в километре от деревни, за мостом, фронтом на север! — Бём вытащил карту и стал совещаться с Ришкой.

Хольт окинул взглядом местность. «Постройки у ручья, дом, сарай — все, очевидно, принадлежит лесопилке»,— догадался Хольт, увидев во дворе штабеля досок. Справа от дороги, метрах в двухстах от перекрестка, он заметил какие-то одинокие обгорелые развалины.

Оба унтер-фельдмейстера все еще совещались. Вольцов бесцеремонно вмешался в их разговор. Отделение стояло, прислушиваясь к спору начальников.

— Хорошо,— сказал Бём,— значит, второй взвод разместился в деревне.

Вольцов встал навытяжку и спросил:

— Почему первый и третий взводы окапываются в километре от деревни? Такое расположение сил не диктуется обстановкой.

— Молчать, идиот проклятый! — прорычал Бём, вне себя от раздражения.— Кто вам разрешил молоть вздор?

Вольцов не спеша надел каску.

— Второй взвод в качестве резерва размещается в деревне! — прокричал Бём.— В качестве резерва! Остальные остаются там, где находятся. В открытом поле мы имеем преимущество. Я не позволю вторично

втянуть себя в уличный бой. Я выставлю парные посты в лощине. А вы, идиот этакий, вы будете вместе с вашей группой находиться в охранении, покуда из вас потроха не вывалятся.— Последнее ругательство он произнес уже более вяло. Ярость его улетучилась.— Составить оружие. Можно курить.— Бём бросился на траву и отстегнул флягу.— Вольцов, направляйтесь со своей группой в деревню и выберите квартиры.

Они пошли по пыльной дороге.

— Посмотри-ка,— сказал Вольцов и показал рукой направо. Возле трактира, неподалеку от дороги, виднелась серая куча окоченелых трупов.— Эсэсовцы расстреляли пленных! — пояснил Вольцов и, не оборачиваясь, крикнул через плечо: — Фетер, осмотрите три двора, те, что налево.

Вольцов, Хольт и Гомилка остановились на перекрестке, потом перешли мост и направились к лесопилке. Вслед за Вольцовом в дом вошел Хольт. Стены комнат были изрублены топором. У разбитого окна Хольт наткнулся на труп. Лицо мертвого было изуродовано до неузнаваемости. Хольт выбежал во двор.

В эту же секунду из другой двери, которая вела в мастерскую, вышел Гомилка. Нет, он не вышел, он выпал из нее и так вцепился в ручку, что дверь захлопнулась за ним. Лицо Гомилки было изжелта-зеленым. Скорчившись, он закрыл обеими руками лицо и привалился к стене.

— Зепп! — вскричал Хольт в испуге.

Гомилка опустил руки и, застонав, посмотрел на Хольта. В глазах его застыл неописуемый ужас.

— Не входи! — крикнул он.— Не входи, ради бога! — И он снова закрыл руками лицо.

Хольт окончательно растерялся. У него захватило дух от чувства какой-то страшной опасности.

— Нет,— сказал глухо Гомилка.— Нет, войди! Ступай-ка, ступай!

Хольт снял винтовку с плеча, но тотчас же надел ее опять, вынул парабеллум, поставил его на боевой взвод и рванул дверь. Перед ним открылся длинный коридор. Он вошел, дверь захлопнулась за ним. Хольт осторожно заглянул в маленькую контору. Никого. Он вошел в мастерскую.

Прошло несколько секунд, прежде чем он привык к темноте. Он увидел... Нет, то, что он увидел, было так чудовищно, что сперва в мозгу его возникли как бы отдельные мозаичные изображения, из которых постепенно начала складываться картина, пока не сложилась вся целиком. Хольт понял. Все пошло перед ним кругом, в глазах у него потемнело. Он хотел бежать, но ноги, отказываясь служить ему, неудержимо дрожали.

Хольт стоял и смотрел на дисковую пилу. На земле, покрытой опилками, пропитанной кровью, валялись разодранная в куски русская военная гимнастерка и вперемешку с кусками материи — ноги, отпиленные до колен, рука, кусок бедра. На столе возле станка лежало обнаженное безрукое туловище. На груди у туловища была вырезана большая пятиконечная звезда.

Кто-то вбежал в комнату и сразу же отпрянул. Это был Вольцов. Он тоже весь посерел. Подняв плечи, он откинул голову набок и, схватив Хольта за руку, вытащил его из мастерской.

Спустился вечер. Хольт, спотыкаясь, прошел несколько шагов. Неудержимая тошнота подступала к горлу. Его вырвало.

Вольцов старался подбодрить его:

— Так, так, еще! Сейчас тебе станет легче.— Он ткнул Хольта кулаком в спину.— Идем отсюда, скорей!

Они вышли на дорогу и столкнулись с Фетером и остальными.

— Два двора в полном порядке,— сказал Фетер.— Но в хлевах пусто, ни свиньи, ни даже кролика!

— Заткнись! — приказал Вольцов и отправился к Бёму.

— Где? — спросил Бём.

Вольцов указал рукой на деревню. Бём пожал плечами и покачал головой. Но Вольцов заорал:

— Вы, видно, полагаете, что у нас нервов нет? Ступайте, посмотрите сами, какую мерзость учинили эсэсовцы!

Ришка отвел Вольцова в сторону, отстегнул свою флягу и протянул ему. Вольцов так и припал к ней. Хольт стоял рядом, вперив остекленевшие глаза в пространство. Вольцов передал флягу приятелю.

— Пей! Да пей же! Это водка. Помогает. Глотни-ка еще разок, и ты, Зепп, тоже!

Хольт отпил и передал флягу дальше.

Вольцов обошел деревню. Около полуночи Бём, мрачный и раздраженный, проверил посты. Как только он удалился, Вольцов подошел к Хольту и Гомилке. Он закурил.

— Я опять предложил ему перевести оба взвода в деревню. И, кроме того, сказал, что надо сжечь лесопилку, да он не хочет. Если повстанцы возьмут деревню и наткнутся на такой сюрприз, они изольют свою ярость на нас. Я просто не понимаю эсэсовцев. Уж если сделать такое, как же можно этак преспокойно оставить все на виду? — Вольцов придавил окурок ногой.— Я еще вернусь,— сказал он и исчез в ночи.

За весь вечер Гомилка не произнес ни слова. Сейчас, когда они остались одни впотьмах, он заговорил:

— Я знал об этом. Но не верил...— Прошло несколько минут.— Теперь верю всему,— сказал он.

Хольт снял с себя винтовку и положил ее на подсумок. «Око за око, зуб за зуб»,— думал он.

— Да смилуется господь над всеми нами, если мы не победим!

— Победим! — с презрением воскликнул Гомилка.— Нет. Этому не бывать. Не должно быть, чтобы такая сволочь победила!

Прошло полчаса. Было совсем тихо. Только ручей журчал.

— С тех пор как я пошел в школу, я перестал верить в бога,— сбивчиво заговорил Гомилка.— И никогда уже не смогу поверить. Но вот в то, что существует дьявол, в это я верю.— Он говорил каким-то не своим голосом.— Когда я сегодня увидел это... Когда я думаю, что будет с Германией, мне кажется, я слышу, как мать читает мне евангелие, словно в детстве: и настанут времена, и люди будут искать смерть, и не найдут ее... И будут жаждать умереть, но смерть будет бежать от них... И я вижу: конец войны и «конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть»... и ад следует за ним.

Хольт содрогнулся. Он понял, как называется чувство, от которого он не мог отделаться вот уже несколько часов,— страх смерти. Он стоял и вслушивался в темноту — всем своим существом. Луна всходила теперь только на рассвете. Шум ручья заглушал все остальные звуки... Одиноко в ночи стоял он на посту.

Прежде чем Хольт расслышал шаги Вольцова, тот уже прокричал пароль.

— Что нового? Ничего! Скоро час.— Он остановился, словно застыв.— Бём улегся спать. Пойду в третий взвод... Если что — стреляйте: лучше рано, чем поздно.— Его поглотила ночь.

Стало холодно, в темноте тускло белел туман, поднявшись из болота, он медленно полз по полям. Гомилка прошептал на ухо Хольту:

— Слышишь? — Гомилка пристально глядел в темноту.— Там, впереди...

Хольт ничего не видел и ничего не слышал. Гомилка вскинул винтовку.

— Погоди! — сказал Хольт и медленно пошел вперед. «Нет, Зеппу почудилось. Не нужно стрелять». И все-таки он шел дальше. Потом остановился. Тишина. Только ручей журчал. Хольт обернулся и, вглядываясь в темные поля, прислушался опять. Тишина.

Звонкий удар обрушился на его каску, скользнул вниз, грохнул по плечу, швырнул наземь. Еще удар, второй, еще сильнее, прикладом в грудь. Звон гигантского медного колокола раздался в ушах у Хольта и поднял его высоко-высоко над долиной. И уже из неоглядной дали слышал он стрельбу, крики дерущихся, вопль Вольцова, который повел третий взвод под градом пуль на мост. И тут все угасло... Огромное чувство горячего счастья наполнило его.

5

Тряска и резкие толчки вызывали невыносимую боль. Хольт застонал и повернул голову набок.

— Лежи спокойно! — резко сказал Вольцов.— Они, вероятно, перебили тебе ребра.

Хольт лежал в кузове грузовика. Рядом кто-то хрипел. Он опять закрыл глаза. Голова, казалось, раскалывалась на куски. Он не понимал, что случилось.

— Где Зепп? — спросил Хольт слабым голосом.

— Тоже здесь. Ему прострелили плечо, а мне ногу, да еще проткнули штыком руку. Лежи тихо, неизвестно ведь, что там у тебя переломано.

Хольт повернулся на тот бок, который болел. Так было легче. Хрип стал ужасным.

Только поздно ночью прибыли они в город. Их сняли с машины.

Хольт пришел в себя уже на койке, на настоящей белоснежной койке. Палата была маленькой. Одна койка пустовала. В углу лежал пожилой человек с провалившимися щеками. В открытое окно виднелся сад.

— Мы уже в протекторате, приятель,— сказал пожилой человек.— Можешь спать спокойно.

Хольт чувствовал страшную слабость. Вечером к нему подошла молоденькая сестра в белом халате и спросила:

— Сколько вам лет?

— Скоро восемнадцать.

— Семнадцать! — воскликнула она участливо.— А где у вас болит?

Он отвернулся и стал смотреть в темное вечернее небо.

Позднее она пришла опять и сделала ему укол в руку.

— Завтра вам будет гораздо легче.

— Как вас зовут? — шепотом спросил Хольт.

— Сестра Регина. А теперь спать, спать!

На другое утро, как только закончился недолгий врачебный обход, в палате, припрыгивая на одной ноге, появился Вольцов. Он давно уже не был в таком прекрасном настроении... Левая его штанина была обрезана.

— Как дела, старик? — спросил он, усаживаясь на койку к Хольту.— С меня все как с гуся вода. Чистые раны, навылет, кость совсем не задета. Да, небо не оставляет старых вояк! Главврач вообще хотел отправить меня в гарнизонный госпиталь, да я немного подсимулировал.

— Подсимулировал? — воскликнул человек, лежавший в углу, и даже приподнялся.— И он ничего не заметил? А я думал, что врачи сразу замечают, если кто симулирует.

— Как бы не так! — воскликнул Вольцов.— Уж я-то разбираюсь в этом деле. Вопрос тщательно изучен еще в первую мировую войну, и даже раньше. Помнится, это описано не то в «Военных лазаретах» Пельцера, не то в «Военной медицине» Фрёлиха, ну да неважно где. Я сказал врачу, что не помню, что со мной произошло. Я, мол, очнулся, лежа на земле, и меня все время рвало, и во время перевозки тоже, и мне было очень плохо, и у меня страшно болела голова, хотя, по правде, сейчас мне уже легче, с головой то есть. Ну, разумеется, он тотчас и поставил диагноз: тяжелое сотрясение мозга, три недели постельного режима, не меньше. Что же еще ему оставалось делать?

Хольт невольно засмеялся, но от смеха у него болела грудь.

— Смотри, он тебя застанет у нас...

Вольцов покачал головой.

— Здесь всего два врача. Сейчас у них операции. Главврач просто обожает резать. Готов взять кого угодно, только бы распотрошить. Это даже не лазарет, а уютненький окружной госпиталь.

В комнату вошла сестра Регина.

— Вольцов,— принялась она бранить Гильберта.— Вы чего это бегаете по всему дому? Марш в постель!

— Сестра, мы старые-престарые однокашники. Ну позвольте, я залезу вон на ту свободную койку!

Она посмотрела на него, явно колеблясь, и засмеялась.

— Хорошо, мы откроем здесь отделение для детей.

— Для детей! Это мы-то...

— Ложитесь немедленно! — приказала сестра, протягивая Хольту таблетку.— Обезболивающее!

— Ну как, здорово я все это проделал? — спросил Вольцов, когда сестра ушла.

Человек с ввалившимися щеками, лежавший в углу, сказал, волнуясь:

— Послушай, приятель, ты, может, знаешь еще какие-нибудь штуки, чтобы обмануть врачей?

— Для этого мне надо знать сперва, сколько тебе лет и в каких частях ты служишь.

— Я ландштурмист! — сказал человек в углу.— До сорок третьего был годен для гарнизонной службы внутри страны... А теперь они написали мне: «Условно годен к строевой службе в военное время». Служил я в Праге в штабе корпуса. Только вдруг приказали мне взять из одного поместья в Словакии свинью для корпусного интенданта, да пожирнее. Ну, достал я эту свинью, а меня и подстрелили на дороге. У них там как раз началось... Свинья, разумеется, пропала. Здесь-то хорошо, приятель, как в раю! У меня прострелено легкое, но через три дня меня уже выписывают. Это ужасно. Говорят, интендант просто бесновался из-за свиньи, он непременно отправит меня на фронт. Зовут меня Август Мейер, мне пятьдесят три года, евангелического вероисповедания, женат, у меня четверо ребят. Только я не в партии, потому что раньше был социалистом.

— Август Мейер! — повторил Вольцов и громко засмеялся.— Нет, правда, Август Мейер? Более остроумного имени твои родители придумать не могли? Так вот, старый соци или кем ты там был — «Стальной шлем», народная партия,— все одна бражка. Будь тебе сорок, я и не подумал бы вмешиваться. Сам отправил бы тебя на фронт. Но при том, что тебе уже пятьдесят три и у тебя четверо ребятишек... Что ж, у меня тоже есть сердце. Я устрою тебе хорошенький аппендицит. У тебя не вырезан аппендикс? Прекрасно! После операции ты сможешь тянуть сколько угодно. Надо только, чтобы рана загноилась. Я объясню тебе,

как это делается. А покамест начни копить масло, которое тебе дают. Нужно по крайней мере четверть фунта...

— Есть у меня,— сказал Мейер,— даже больше. Я отсылаю его домой.

— Тогда тебе могут сделать операцию уже этой ночью. Вот слушай. У тебя вдруг начнет болеть живот, ну просто невыносимо. Ты будешь стонать и строить самые ужасные гримасы и кричать, что у тебя страшно болит и что боли эти как гром среди ясного неба...

— Но ведь если это так больно,— сказал Мейер, заранее сморщившись,— так, может, лучше не надо...

— Дурак,— вскричал Вольцов,— ничего это не больно, ты ведь только притворяешься... Понимаешь?

■

«Я искал приключений,— думал Хольт,— Значит, нечего хныкать и жаловаться, пусть даже придется погибнуть. Но только я представлял себе все по-другому. Я думал, меня ждет что-то очищающее, освобождающее, героическое, а вовсе не такая бессмыслица. «Лангемарк,— писали в наших хрестоматиях,— вот наш идеал, мы тоже хотим с песней на устах броситься в объятия смерти...» И он увидел развернутые страницы и готические буквы на них: «...Приподнявшись, он с радостным криком бросил ручную гранату в пулемет... но в то время, как она летела, его сразила пуля, и он упал с последней мыслью: Германия... и испил горький кубок, смеясь гордым смехом героя»... Ложь! Все, что писали в книгах,— ложь!»

— ...Слева, когда нажимают, не больно... Болит справа... И ты стонешь что есть силы...— донесся до него голос Вольцова.

Воспоминания детства вставали перед Хольтом отчетливо, как никогда. «Мне не было еще и десяти, когда мы уже играли в войну. Я говорил: вот вырасту и отправлюсь воевать! Я получил все, о чем мечтал».

— ...За десять минут до анализа крови ты должен сожрать масло, все целиком. Сможешь?

— А чего же? Почему же это мне не съесть масла? — сказал Мейер.

«...И все взрослые допустили. Они втравили меня в войну. «Поглядите-ка на Вернера! Уж он-то непременно станет храбрым солдатом!» Я не виноват. Я не знал, что это такое. Взрослые должны были знать, что это такое. Но они лишь говорили красивые слова, толкая меня на этот путь».

— Если ты проделаешь все как следует, им придется тебя оперировать, и никто не сможет тебя обвинить.

Хольт повернулся лицом к окну. Листва на деревьях была уже ржавой. Болтовня Вольцова лишь на секунды доходила до его сознания. Утром, когда он проснулся, ему показалось, будто ему удалось бежать. Но жизнь преследовала его по пятам. Жизнь, война преследовали его в образе Вольцова. «Не проснись я,— думал он,— все уже кончилось бы. И это было вовсе не страшно. Это было даже прекрасно. Ужасен только страх перед смертью, а сама смерть прекрасна».

Вольцов продолжал внушать Мейеру, что ему нужно делать.

Хольт не слушал. У него ничего не болело. Его охватило чувство освобождения и покоя. Перед ним проходили события последнего года.

«Все началось с Марии Крюгер. Прежде было всегда легко и просто. Это началось, когда она рассказала мне про Мейснера. Потом, когда мы были в горах, кто-то рассказал, как отбирают скот на Украине и как там расстреляли крестьянина со всей семьей. Потом Ута... Все, все

напрасно! Потом фрау Цише, и эта чудовищная работа ее мужа. Потом отец. Эсэсовцы в Польше убивают сотни тысяч людей в концентрационных лагерях!.. Потом история с русскими на батарее. Потом ночь в бараке Кутшеры... Потом Гундель и ее судьба... Потом словачка... Потом лесопилка...

Я знаю все. Коммунистов убивают. Евреев отравляют ядовитыми газами. Военнопленных избивают и заставляют умирать голодной смертью. Польских детей насильно угоняют в Германию. Украинцев насильно переселяют в Рурскую область. Молодых девушек убивают. Партизан убивают под пыткой. Я знаю это. Я пытался все позабыть. Но стоило мне забыть, как опять случалось что-нибудь ужасное... Это преследует меня, это набрасывается на меня. Я все время с этим, я не могу вырваться. Мне уже нет спасения. Я уже не могу отступить. Я должен пройти через семь кругов ада. И пока не пройду, не будет конца, не будет покоя, не будет забвения.

И ведь я не только *знаю* про это. Что-то от этого есть и во мне. Что-то? Да ведь я сам соучастник всего. Если бы Бём приказал расстрелять девушку, я бы ее расстрелял. И если прикажут завтра, расстреляю!.. О господи!..»

«Но тот, кто расстрелял бы ее,— продолжал размышлять Хольт,— он не был бы мной. Я получил приказ Лессера ночью. Я не выполнил его, я дал ей бежать, я и русских тогда взял под защиту. А тот, кто в мыслях уже решил — между лопатками, чуть левее, был не я. Но оба мы, и он, и я, мы дальше будем делать все, что потребует закон. Смотреть прямо перед собой, все равно куда, и вперед, шагом — марш!

Может быть, нужно, чтобы было именно так. И тогда мы станем наконец снова сами собой. Возможно, так должно быть, чтобы все это обрушилось наконец на нас — горе, гибель, мучения и смерть ночью под бомбами... И вскоре так оно и будет, будет повсюду, по всей немецкой земле».

Он забылся в дреме.

■

— Где Зепп? — спросил, придя в себя, Хольт.— Где Кристиан? Что с нами произошло? Гильберт, откуда у тебя этот штык?

Вольцов что-то жевал.

— Зепп тоже здесь,— ответил он с полным ртом.— Кристиан? Ну, этот где-нибудь ползает, здрав и невредим. Шмидлинг ведь даровал ему бессмертие, когда окрестил его «трупом». Я был вместе с ним до самого конца. Вот уж никогда бы не поверил, что из него выйдет этакий хладнокровный пес.

— А как мы оказались в машинах?

— А так и оказались. Наши парные посты и выстрела не успели сделать, как их всех перебили. А те ворвались в деревню. Я был в третьем взводе, когда началась стрельба. Мы бросились бежать во весь дух, но когда добежали до ручья, они уже овладели всей деревней, только в одном из дворов еще постреливали. Партизаны никак не давали нам перейти ручей. Мы дважды пробовали, но нас встречали сосредоточенным огнем. На мосту меня и ранило в ногу. Наконец мы добрались до лесопилки, нас было тогда еще двадцать один человек.

— А первый взвод?

— Первый взвод лежал на лугу и спокойно наблюдал за всей этой картиной. Мы обороняли лесопилку. Я послал к первому взводу связного, потом еще одного, но им не удалось пробиться. Мы дрались всю ночь. Партизаны дважды врывались во двор и даже проникли в здание, и нам пришлось выбивать их оттуда штыками... Фетер был впереди,

он совсем озверел. Мы ведь дрались, только чтобы нас не захватили там, где валялись эти мертвецы. Я нарочно показал трупы своим людям. Вот, сказал я, теперь вы знаете, что обязаны драться до последней капли крови! Так они и сделали. Из страха! Наконец рассвело, нам, правда, стало видно, но противнику тоже, и он принялся палить в нас, да так, что мы только диву давались. Патроны мы все израсходовали. Да и оставалось-то нас всего девять человек. Я думал только об одном — что предпринять, чтобы они не захватили меня на лесопилке? И вдруг в лощине появилась колонна наших машин с мотопехотой, да еще под прикрытием трех бронетранспортеров. Наши тут же разнесли в щепки все дома и вытащили нас из лесопилки, так сказать, в самую последнюю минуту. А первый взвод безучастно лежал, забившись в щели, потому что они, видишь ли, не получили приказа стрелять. Нет, ты можешь себе представить что-нибудь подобное? Наша мотопехота и подойти не успела, как партизаны немедленно рассеялись по лесу. Их было человек тридцать, не больше, но все отличные стрелки. А теперь слушай, что было с Зеппом. Его ранило в руку, он выполз из горящего дома и спрятался в подвале. Но в развалинах, как раз над его головой, партизаны установили пулемет и открыли огонь по лесопилке. Всю ночь напролет партизаны переносили тела казненных, которые валялись возле трактира, в подвал, а Зепп заполз под какую-то рухлядь и чуть не умер от страха. Тебя мы подобрали в лощине. Машина увезла всех раненых, четверо умерли по дороге. А остатки отряда забрали с собой пехотинцы.— Вольцов замолчал и скрестил руки под головой.

Хольт закрыл глаза. «Значит, Зепп выжил... Я тоже. Для чего, в сущности?»

■

Сестра Регина с удивлением смотрела на пустые койки.

— Это что же такое?

Она положила шприц на маленький столик возле окна и, подойдя к койке Хольта, остановилась у него в ногах. Смеркалось.

— Ну, как мы себя чувствуем?

— Благодарю, у меня ничего уже не болит. Очень хорошая таблетка, успокаивает.

— Да-а? — протянула сестра Регина.— Нет, никаких успокоительных я вам больше не дам.

В последнем отсвете уходящего дня она казалась сказочной и неземной в своей светлой одежде, в белой шапочке на золотистых волосах. Он смотрел на нее и думал: «Если на свете есть справедливость, то настанет день, когда и за ее спиной будет стоять человек и прикидывать: между лопатками, чуть левее...»

— Сестра Регина,— сказал Хольт.— Вы, конечно, хороший человек.

Она улыбнулась.

— Вы это к чему говорите?

— К тому, что всех нас постигнет возмездие. И вас тоже...

Она опустила голову, потом села на край койки.

— Что это вы говорите?

Он смотрел поверх нее. В легких сумерках расплывались контуры окна.

— Вот такая же девушка, как вы,— заговорил он,— такая же молоденькая, словачка и тоже белокурая... Она защищалась и убила одного из наших. Ее должны были расстрелять. И если бы мне приказали, я бы это сделал.

— Но вы же не сделали,— сказала она тихим голосом.— Спите спокойно.

— Я позволил ей бежать,— сказал Хольт едва слышно.— Но это ничего не значит. Я знал, что нас перебьют, не то у меня не хватило бы смелости... Что же это такое?

Она сидела молча. Потом сказала:

— А вы все-таки попробуйте помолиться!

Он ничего не ответил и покачал головой. «Судьба, предопределение, бог!..» Что-то похожее на протест шевельнулось в нем. «Не хочу я никакого бога. Во всем виноваты люди».

Сестра Регина, очевидно, уже приняла решение. Она встала и, взяв шприц, ввела ему под кожу иглу.

Он сразу затих.

— У меня к вам просьба, сестра Регина. Нельзя ли, чтобы на освободившуюся койку завтра положили Зеппа Гомилку?

— Сквозное ранение плечевого сустава? — Она кивнула.— А теперь спать. Скоро должен пройти санитарный поезд. Он направляется в Германию. Я постараюсь устроить так, чтобы вас взяли.

Утром у окна действительно лежал Гомилка. Лицо его было залеплено пластырем, правая рука забинтована. На вопросы Хольта он отвечал односложно.

Хольт снова впал в дремоту. Он очнулся от своей летаргии только к вечеру, когда в комнату уже закрались сумерки. Сестра Регина снова заступила на дежурство.

— Ну как поживает детское отделение? — спросила она, входя.

— Скажите,— спросил Хольт,— вот вы говорили вчера о санитарном поезде, это правда?

— Мы ждем его завтра. Вас возьмут. Документы уже подписаны.

— Да, но если Зепп и Гильберт...

— Так я и думала. Доктор немного нахмурился, посмотрев на документы Вольцова, но потом все-таки подписал их. Он велел мне отправить всех вас в детскую клинику.— Она засмеялась.

— Подумаешь,— проворчал Вольцов,— сама-то на каких-нибудь два года старше нас...

И вдруг Гомилка сказал:

— Вовсе мы не заслужили того, чтобы нас отправили отсюда, чтобы нам было спокойно.

— Не заслужили? — Вольцов засмеялся.— Жар у тебя, что ли? Да с каких это пор подобные дела делаются по заслугам? Связи нужны! На этот раз они оказались у Вернера. Уж там, где касается баб...

— Гильберт! — гневно крикнул Хольт.

Но Вольцов продолжал как ни в чем не бывало:

— Слепому видно, сестра, что Хольт строит вам куры.

Она заложила руки за спину и, опершись о подоконник, засмеялась, сверкая зубами:

— А вам, видно, не нравится, что я предпочитаю Хольта? Он вот не кричит. Он милый и совсем не солдафон, не то что вы!

...— Вы поедете в настоящем спальном вагоне,— сказала на другой день сестра Регина и уложила их вещи.— Мне бы тоже очень хотелось уехать с вами, да никак нельзя. Вот отслужу положенное время, тогда найду себе место в Шверине.

Вошли санитары, сестра Регина вышла из комнаты. Хольта несли вниз по лестнице, а он думал: «Как бы мне хотелось с ней попрощаться».

Его поместили вместе с Гомилкой в двухместном купе, Вольцов лежал в соседнем. Сквозь тонкую стенку Хольт слышал, как Вольцов ругается: «Ну-ка, забери свои ноги, болван!» Обслуживающий персонал был ворчливым и неприветливым.

Эшелон с ранеными прибыл в Прагу. Между Прагой и Дрезденом поезд подолгу и часто стоял на путях. Еще через день он прибыл наконец в Дрезден. В санитарной машине их перевезли в большой тыловой госпиталь. Хольт, Вольцов и Гомилка опять лежали рядом.

Через несколько дней Вольцов заявил:

— С меня хватит. Скажусь здоровым.— В тот день он получил письмо от Фетера.— Остаток отряда снова собрали в лагерь. Фетер пишет, что его отпустят, вероятно, в середине октября.

На следующее утро Вольцов в полной форме подошел к койке Хольта. Они расставались в первый раз. Прошло еще несколько дней, и Хольт встал тоже. Гомилка уже выздоравливал. Стояли прекрасные октябрьские дни. Друзья гуляли по госпитальному саду. Солнце больше не грело.

— Я все время думаю: что же будет дальше?

Гомилка пожал плечами.

— Я-то почем знаю!

Адвокат Гомилка приехал навестить своего сына. Он передал Хольту письмо от Гундель.

Хольт читал это письмо с чувством благодарности и стыда. В мыслях о Гундель было что-то гнетущее. «Неужели я осмелюсь показаться ей на глаза? Никогда не смогу я признаться ей в том, что выстрелил бы тогда, на школьном дворе». Эта мысль была подобна ране, которая никак не могла затянуться. А внутренний голос все время твердил — как же ты можешь жить с печатью Каина на лбу?

Мысли эти терзали его.

— Послушай, я должен задать тебе вопрос,— сказал он Гомилке.— Вот когда ты стоял на школьном дворе позади сторожа... если бы Бём тогда приказал тебе...

Гомилка только махнул рукой. Хольт замолчал.

— Право, не знаю, есть ли смысл копаться в этом,— промолвил наконец Гомилка.

— Не увиливай! — вскричал Хольт.— Ты бы его застрелил? Да или нет?

— Тогда да.

— А сейчас?

— Сейчас?..— сказал Гомилка, задыхаясь.— Я выстрелил бы в Бёма! Я стал бы отстреливаться! Ведь я все равно погиб бы, отказавшись выполнить приказ. А тогда пусть уж со мной погибнет еще кто-нибудь из этой сволочи, которая отдает такие приказы.

Хольту снова послышался голос словачки в подвале: «Перебейте ваших командиров!..» Он спросил, тоже задыхаясь:

— И ты вправду так сделал бы, Зепп?

Гомилка помолчал.

— Я хотел бы так сделать,— сказал он наконец.— Но хватило ли бы у меня мужества... Не знаю.

— А есть такие, которые отказались бы выполнить этот приказ?

— Думаю, что есть.

— Но ведь мы обязаны выполнять любой приказ! — воскликнул Хольт.— Ведь это же высший закон для солдата. Во что превратится армия, если мы перестанем выполнять приказы? Приказ есть приказ!

Гомилка улыбнулся.

— Во что превратится армия? А что с ней вообще произойдет, Вернер? И что ты называешь высшим законом? Скажи, пожалуйста, все наши законы давно потеряли свой смысл, и только этот нет! — Он вынул из нагрудного кармана маленькую записную книжечку и полистал ее.— «Ни одним военным законом,— прочитал он,— не предусмотрено, что солдат, совершивший позорное преступление, освобождается

от наказания, даже если он ссылается на приказы, полученные от начальства, особенно если эти приказы находятся в вопиющем противоречии с основами человеческой морали и международной практики ведения войны». Ну как, ты согласен с этим?

— С этим? — растерянно сказал Хольт.— Ведь это... это из Женевской конвенции? Не правда ли?

И вдруг Гомилка рассмеялся горьким, отчаянным смехом.

— Ты только вспомни о лесопильне! — воскликнул он.— То, что я тебе прочел, это Геббельс написал на троицу в «Фёлькишер беобахтер», а подразумевал он американских летчиков, которые бомбят наши города... Если ты послушаешь, что говорят эти... наши,— продолжал Гомилка,— ты окончательно запутаешься. Они все так выворачивают, точно правда на их стороне.

— У нас с тобой нет Архимедовой точки, точки опоры,— сказал Хольт.

— Да, ты прав. Нужно иметь такую точку. И тогда не страшна никакая ложь. Тогда говорят только факты. Тогда можно сказать: нет, постой, вот доказательства, ты неправ, ты виновен. И причиной всему вовсе не первый выстрел. Такой внешний повод всегда можно создать. Но должна быть какая-то внутренняя причина, что-то, составляющее сущность мирозданья.

— Или, может быть, лежащее вне его? — спросил Хольт.

— Ты подразумеваешь бога? Так многие говорят. Нам всегда говорят о боге, о предопределении, судьбе. Не согласен я со всем этим. Понятие бог так же примитивно, как понятие Вечный Жид. Никто, в сущности, не знает, что это такое... Старики заварили кашу, а расхлебывать ее придется нам.

— И при этом еще подохнуть! — заметил Хольт.

■

Хольт получил письмо от Вольцова. Его отпустили из рабочего отряда, и теперь он сидит в своей пустой вилле и играет с Фетером в скат. «Мать,— писал он,— поместили наконец в сумасшедший дом, после того как она учинила всякие штуки, позорные для жены офицера». Учеников из их класса развеяло на все четыре стороны. Он уже получил повестку о том, что двадцатого октября его направят в танковые войска, и Фетера тоже. На призывном пункте он узнал, что Хольт и Гомилка зачисляются в ту же часть, что они.

Хольт навел справки в канцелярии лазарета. Да, там уже лежали повестки для него и Гомилки.

Из госпиталя их выпустили в конце октября. Отпуска по болезни, на который они надеялись, им не дали.

Они отбыли пассажирским поездом в восточном направлении и прибыли в район каких-то гигантских казарм. Им пришлось наводить справки в бесконечном множестве канцелярий, прежде чем они узнали, где помещается штаб.

В одном из коридоров они вдруг натолкнулись на Вольцова. Тот шел, высокий, мрачный, неся в руках полный котелок. Увидев их, Вольцов обрадовался.

— Я уже все подготовил. Ревецкому я сказал, что, если он хочет иметь самое лучшее отделение, пусть непременно найдет место для вас. Он и нашел. Ревецкий — наш унтер-офицер. Доисторическое животное, вернее полукабан, полупаяц. Петер Визе тоже здесь. Его признали годным. И Фетер здесь. Словом, все старые вояки опять вместе.

— Во-о-о-льцов! — заорал кто-то во дворе.

— Это Ревецкий! Ну-ка посмотрю, чего ему надо. Я ведь опять вроде бы адъютант. Командир нашего взвода — лейтенант Вейнерт, совсем молодой паренек и фанатичный солдат.

Оставшись один в казарме, Хольт расположился на свободной койке.

6

Хольт стал солдатом. Его называли теперь танкист Хольт. Повесив автомат через плечо, он пел во всю глотку: «Далеко у Седана! На вы-со-о-о-тах! Там стоял тан-ки-и-и-ст на часах!» Все предыдущее было только игрою, прелюдией, вступлением. На размышления уже не оставалось времени. Муштра была тяжелой, жизнь нечеловечески трудной. Но танкист Хольт не мечтал больше выбраться из этой гигантской казармы, хотя и проклинал ее, как тюрьму. Он не мечтал избавиться от начальства, хотя и ненавидел его, потому что знал: будет еще хуже. На этот раз предстоит фронт, ад кровопролитных боев. 11-я танковая дивизия, для которой здесь готовилось пополнение, входила в состав войск, действующих на Восточном фронте. А там в эти недели дрогнул рейх.

Хольта обучали радиоделу. Будущие радисты спешно осваивали довольно обширную программу: радиостанции, ультракоротковолновые и средневолновые передатчики, их устройство и обслуживание, настройка и смена частот, уход, устранение неисправностей и т. д. и т. п. После обеда они выезжали с радиостанцией в окрестные деревни и разыскивали защищенное от ветра местечко где-нибудь за овином или на крестьянском дворе. Но едва они успевали устроиться в заветренном уголке, как приказ уже гнал радистов дальше, на шоссе, открытое буйным ноябрьским ветрам.

Кроме того, они изучали материальную часть танка. Занятия проводились на старом и давно уже вышедшем из строя танке.

Ежедневно четырнадцать часов занятий! Зато в эту зиму 1944 года было очень мало строевой подготовки и муштры. По выходе из казармы им предписывалось «поведение, соответствующее боевой обстановке». Огромный казарменный двор был искусственно превращен в изрытое воронками поле, посреди которого, словно грозный призрак, стоял сотни раз горевший танк — устрашающая развалина, служившая мишенью на занятиях по метанию противотанковых гранат. Каждый, кто забывал пригнуться, выйдя из дверей казармы, получал жестокий нагоняй от унтер-офицера. Даже с котелками, все равно — пустыми или полными, полагалось бежать согнувшись и вприпрыжку, лавируя между воронками.

Инструкторы и без строевой подготовки умели «подпортить жизнь», показать, что такое «прусский дух», «кишки повыпустить», «мозги вправить», «сердце иссушить» и так далее. Дежурный унтер-офицер заботился, чтобы в помещениях не было слишком уютно, и расшвыривал постельные принадлежности по комнате, а то и выбрасывал их в окна. По ночам иной раз устраивался так называемый «бал-маскарад», унизительный телесный осмотр, надраивание коридора одежными и даже зубными щетками, а чистка оружия начиналась в субботу вечером и кончалась разве что вечером в воскресенье.

Хольт да и Гомилка тоже молча все терпели. Фетер тупел день ото дня. Вольцов эти невзгоды воспринимал как «подготовку к фронту», где, мол, еще «неуютнее». Но слабый маленький Петер Визе физически изнемогал и под конец надломился.

Вольцов как-то сказал Хольту:

— Так или иначе, а он идет к гибели. Только сильные выдерживают испытания.

Хольт часто смотрел на Визе и думал: «Три месяца занятий, еще два, еще один. Значит, жить ему осталось еще два месяца, еще месяц». Визе мечтал о консерватории.

— Я твердо решил стать пианистом! И больше всего я буду играть Шопена и Рубинштейна.

— Ладно, а я буду ходить на твои концерты,— говорил Хольт.

Визе смотрел на часы.

— Надо бежать чистить сапоги Ревецкому и Боеку.

■

Оба командира отделений учебного взвода были грозою рекрутов. Унтер-офицер Ревецкий именовал себя «прусским капралом». Определение Вольцова — «доисторическое животное, вернее полукабан, полупаяц» — было еще слишком мягким. Ревецкий был нагл, бессердечен, подл; временами выспренний до нелепости, временами тупой грубиян; жестокий и сентиментально-слезоточивый, сегодня не такой, как завтра, послезавтра не такой, как вчера. Он мог быть красноречив и говорил изысканно и точно, а потом снова бессмысленно орал и бесстыдно ругался. Это был актер по призванию, который вечно играл кого-то, но каков он был на самом деле, никто не знал. Петер Визе боялся его пуще огня, Хольт считал его сумасшедшим, Гомилка утверждал, что он порочный тип.

Ревецкий, человек лет сорока, невысокого роста и довольно изящного сложения, холил свои красивые руки и душился. Лицо у него было помятое, в морщинах. Над красным, деревянно-неподвижным ртом нависал нос, смахивавший на огурец.

Глаза его смотрели холодно и злобно. Регистр его мимических возможностей был поистине неисчерпаем. А говорил он то рифмованными ямбами, то на грязном казарменном жаргоне. Длинная, завитая грива волос противоречила всем военным обычаям. На этой гриве торжественно восседала пилотка. Для всех оставалось загадкой, как он умудрялся сохранить такую роскошную прическу. Впрочем, загадкой в нем было многое.

К тому же он был коварен:

«Гомилка, дрянь вы эдакая, мне бы очень хотелось прочитать ваши мысли, маску с вас сорвать, разоблачить вас, тайный мятежник! Ну погодите у меня, я вам такую напишу характеристику, что вы кончите штрафной ротой!»

Он был и подл:

«Визе, маменькин сынок, слабосильный крошка, ну, ну, когда вы будете писать вашей мамочке? Только честно! Ах так, сегодня вечером? Ну, ну, давайте!»

А вечером:

«Визе, никогда вам не управиться с письмом к мамочке, марш стирать мой китель!»

Как ни неправдоподобно это звучит, он бил своих подчиненных. Если кто-нибудь неправильно отвечал на занятиях, Ревецкий приходил в ярость, потом вдруг смягчался:

— Сегодня вечерком, любезный, я вас приглашу для маленькой шлифовки, да смилуется над вами господь.— Он стоял перед оробевшей жертвой и говорил нараспев: — Прежде, давно это было, в старые времена, все обстояло проще, тогда пороли — и делу конец. Мне это запрещено, меня за такую расправу упекут в каталажку. Разве что вы сами попросите меня вас поучить.

Как правило, несчастный тотчас же бормотал:

— Прошу вас об этом, господин унтер-офицер!

Тогда Ревецкий стегал его плеткой по рукам.

— Нам потом ни один человек не поверит,— сказал как-то Хольт.

Гомилка отвел его в сторону.

— Ревецкий был сначала помощником инструктора в роте выздоравливающих. А ты сам знаешь, как достается выздоравливающим. Он до смерти затравил одного заслуженного фронтовика. За это его перевели — только не на фронт, а к нам.

— Откуда ты все это знаешь? — удивился Хольт.

Гомилка обошел его вопрос молчанием.

— Проверь сам. Я тебе говорю, что он насквозь порочный человек, садист. Здесь именно такие и нужны.

Второй командир отделения, бывший студент богословского факультета, Боек, несмотря на овладевавшие им порою вспышки ярости, и вполовину не внушал рекрутам такого страха и ненависти. Собственно говоря, Ревецкий был палачом при командире взвода, ибо франтоватый лейтенант Вейнерт не был приспособлен к муштровке рекрутов. Даже придя в бешенство, он говорил тихо и сдержанно:

— Я о вас пачкать руки не намерен! Ревецкий, взять этих пятерых! Поучите их до потери сознания!

Ревецкий отводил приговоренных на участок, где были прорыты канавы, поставлены изгороди, насыпаны холмы и т. д., или же на изрытый воронками казарменный двор, вытягивал губы и нараспев повторял:

— Вот дни, про которые мы скажем, что не любим их, проповедь двенадцатая, стих первый.— Затем медленно шел по полю, заложив руки за спину, а своим жертвам приказывал следовать за ним гусиным шагом, распевая под противогазом: «Динь-дон, динь-дон, гей, гей, гей!», покуда они не начинали задыхаться. Случалось, что кто-нибудь падал без сознания. Однажды после такой «особой обработки» Хольт сказал:

— Большей низости на свете нет!

Но самое гнусное в Ревецком было то, что он всячески унижал рекрутов. Хольт испытал это на себе. Уже пришла зима с сильными морозами. На холмах, среди снежной пустыни, пять часов маршировки становились тяжелым испытанием.

Однажды на занятиях по стрелковой подготовке Хольт в качестве первого, а Фетер в качестве второго номера долго лежали за пулеметом на снегу. Хольт заметил вблизи от себя коренастую фигуру обер-фельдфебеля Бургкерта в грязной шоферской шинели. Бургкерт вечно шатался то там, то тут, его иногда видели в мундире, увешанном орденами, но знали о нем только, что он любимец командира батальона. Вид у него был какой-то запущенный, от него вечно разило винным перегаром. Сейчас он неподвижно стоял на холме, где всего сильнее свистел ветер и бушевала вьюга, снег доходил ему уже до колен. Хольт смотрел на Бургкерта и не расслышал приказа. Ревецкий подскочил к нему.

— Сменить ствол! — И засек время.— Пять секунд! — У Хольта руки одеревенели от холода.— Десять секунд... Пятнадцать!..

— Готово! — крикнул Хольт.

— Плохо, омерзительно, из рук вон! — орал Ревецкий.— Дубина, лентяй, грязная свинья! — Хольт не шевелился.— Ну я уж тебя отделаю, своих не узнаешь! Встать!

Хольт поднялся. Ревецкий дважды обежал вокруг него, каждый раз ударяя своим стеком по голенищам его сапог.

— Нет, я придумаю кое-что получше! Вы еще бога будете молить, чтобы со мной на фронте беды не случилось! Каждый день будете за меня бога молить! Вечером извольте вместе с Фетером явиться ко мне.

Командир учебного взвода лейтенант Вейнерт был высокий, стройный, белокурый и голубоглазый молодой человек двадцати одного года.

Его черный мундир с серебряными черепами на петлицах всегда был безукоризненно отутюжен. Вейнерт любил говорить о себе: «Я солдат до мозга костей». Или: «Я политический солдат... Мы, пламенные национал-социалисты, знаем только один закон — верность фюреру!» Он цитировал «Майн кампф» и еще охотнее «Миф» Розенберга. Со страстью разъяснял он политику национал-социалистской партии.

— Не забывайте о лучезарной миссии, которую мы выполняем! — восклицал он.— Уже два тысячелетия человечество жаждет спасения. Мир ждет спасителя. Мы, немецкий народ, и есть этот спаситель. Но мы не позволим, наподобие того лжеспасителя, пригвоздить себя к кресту. Мы других пригвоздим к кресту. Сила — вот наше евангелие!

К рекрутам он обращался так:

— Рядовой Рейман! Вы дерьмо! Вы никогда не оцените счастья жить в наше время. Никогда вас не осенит понимание, какая это честь — умереть за Адольфа Гитлера. Вы живете, жрете, напиваетесь. Вы навоз в поле, которое мечом перепахиваем мы, национал-социалисты, дабы рос и зрел наш рейх.

У него было два конька: лекции на темы вроде «Герой и история», «Немецкий дух и героическая мысль» и еще военные игры.

На фронте, во Франции, лейтенант Вейнерт пробыл недолго, недели две.

Вольцов заметил:

— Язык у него хорошо подвешен, посмотрим только, что останется на этом фронте от его «героических мыслей». Я готов подписаться под всем, что он говорит. Такой человек мог бы быть моим идеалом. Но мне все кажется, что он носит маску, а в действительности... Словом, поживем — увидим!

Однажды у них произошла стычка. Вольцов хвалился своими военными познаниями. Вейнерт вспылил:

— Вы хвастун, Вольцов! Я вашу породу болтливых трусов, слава богу, знаю.

Вечером Вольцов задумчиво повторил:

— «Болтливый трус»... я ему этого не спущу.

Несколько дней спустя они впервые метали боевые гранаты. Ревецкий вручил Хольту две гранаты. Хольт вставил запалы и пополз к окопу, где дожидался Вейнерт.

Стоя в тесном окопе, лейтенант объяснил ему еще раз:

— Считать не надо! Снимайте кольцо и бросайте.

Метрах в двадцати в землю был вкопан столб, служивший мишенью.

— Огонь!

Хольт снял кольцо и метнул гранату. Лейтенант и рекрут оба присели в окопе, взрывная волна пронеслась над ними. Хольт метнул вторую.

Вольцов сидел со своей группой в кустах и, по обыкновению, разглагольствовал:

— Как средство поражения ручная граната, собственно говоря, мало эффективна, здесь важно моральное воздействие.

— Вы еще сегодня почувствуете, как глубоко морален мой метод обучения,— продекламировал Ревецкий.

Вольцов промолчал.

— Вперед! — скомандовал Ревецкий.

Вольцов сполз в окоп, где Вейнерт, как попугай, твердил:

— Считать не надо! Снимайте кольцо и бросайте!

— Слушаюсь,— ответил Вольцов и метнул гранату. Готовя к броску вторую, он спросил: — Я правильно вас понял, запал горит пять секунд?

— Не болтать, бросайте!

Вольцов обстоятельно засучил рукава, чтоб виден был циферблат наручных часов, взглянул на лейтенанта и снял предохранительное кольцо. Зажав гранату в кулаке, он смотрел на часы.

— Еще четыре секунды...

— Вольцов! — в смертельном страхе взвизгнул лейтенант.

— Еще две секунды... одна...

Лейтенант посерел и был близок к обмороку.

— Бросаю! — крикнул Вольцов и метнул гранату. Она разорвалась в воздухе. В окоп посыпался песок.

Вейнерт дрожал мелкой дрожью. Дрожал теперь и Вольцов.

— Господин лейтенант, в следующий раз, прежде чем называть меня болтливым трусом, взгляните сначала на мое генеалогическое древо.

■

Вейнерт не только не доложил об этом случае начальству, но все больше и больше проникался симпатией к Вольцову, который мало-помалу сделался его любимцем. Возле ящика с песком они разыгрывали стратегические шахматные бои, в которых Вольцов загонял лейтенанта в окружение, брал его в клещи. Он выставлял одни классические канны за другими, образцово сосредоточивал на поле боя потерявшие взаимодействие части — «наивысшее достижение полководца» и, склонив голову набок, докладывал:

— Господин лейтенант, я говорю шах и мат! Обе ваши боевые группы, вон там, будут тем временем уничтожены!

Хольт радовался, когда его привлекали на помощь, и терпеливо внимал историческим параллелям Вольцова. Ящик с песком был огромный, вокруг него шли две деревянные ступеньки. Когда предстояла такая игра, Вейнерт вызывал к себе Фетера и Хольта и заставлял их строить разнообразнейший ландшафт с реками, горами, лесами и городами. После обеда он отводил Ревецкому для учения самый захолустный угол, звал к себе Вольцова и говорил:

— Вот вам интереснейшая проблема. Вы будете красный. Я синий, и я наступаю.

Он расставлял фигуры, крохотные танки, символические изображения частей и соединений. Рядом стоял Хольт, вооруженный двухметровой указкой, чтобы поправлять фигуры. Вейнерт, расфранченный как всегда, сидел на верхней ступеньке.

— Я неожиданно прорвал вашу оборону силами двух танковых корпусов, пехоты, артиллерии и так далее. Мои резервы вам неизвестны. У вас сколько-нибудь значительных резервов нет.

Вольцов ворчал:

— И всегда-то я должен действовать меньшими силами, а потом вы меня критикуете за тактику изматывания! А как обстоит дело в воздухе? Разрешите закурить?

Вейнерт кивал.

— Авиации у вас хватает лишь на то, чтобы прикрыть пехоту, это облегчает вам задачу.

— Вот этот город — столица моего государства?

— Да. Действуйте.

— Сначала я должен понять, куда нацелен удар!

Лейтенант Вейнерт подтягивал острие танкового клина поближе к городу.

— Вот. Вечер четвертого дня наступления.

Вольцов долго думал, разгуливая вокруг ящика с песком, зажав в зубах сигарету.

— Я начинаю сосредоточивать силы. Мне нужно восемь дней. Пока что продвигайтесь вперед. Нет, нет, господин лейтенант, не так быстро, там у меня как-никак два укрепленных пункта, а также артиллерия, сначала надо вам с ними расправиться. Дальше, чем до реки, вы за восемь дней не доберетесь.

Вольцов расставлял свои фигуры и пояснял:

— Ваше наступление нацелено на мою столицу. Ситуация, схожая с положением во Франции в июне 1940 года.

Вейнерт смотрел на него, все более и более удивляясь.

— Что, собственно, произошло? Это же чушь какая-то! Вы что, не хотите перебросить свои силы для обороны столицы?

— А где сказано, что я непременно должен защищать столицу? Такого закона вы не найдете во всей военной литературе. Я вправе поступать как мне вздумается! У меня там надежнейший гарнизон.

— И вы не попытаетесь задержать противника на водном рубеже? Это же последний барьер на пути к столице.

— Не стану я жертвовать своими лучшими дивизиями из-за этой речушки,— горячился Вольцов.

И так далее и так далее.

■

Лейтенант Вейнерт проводил занятие на тему: «Судьба ли раса?» На мундире его красовался круглый партийный значок. Взгляд холодных глаз скользил поверх голов слушателей. Руку он заложил за спину.

— Судьба ли раса? — звонким голосом вопрошал Вейнерт.

«Может, он сейчас объяснит, что он, собственно, подразумевает, говоря о судьбе,— думал Хольт.— По-прежнему ли это рок, господь бог, предопределение?..»

— Судьба расы означает самоопределение,— начал лейтенант.— Ибо нордическая кровь...— Хольт слушал невнимательно.— ...каждый должен принять участие...— доносилось до него,— ...от себя лично способствовать новому притоку нордической крови... наша нация... нордическая раса и...

«Нордическая раса,— думал Хольт,— никто ни разу еще не объяснил, что это такое. Ни Кутшера, ни Цише, ни Лессер». Он вспомнил отца. Но это было прошлое. «Отец говорил, что все это религия, суеверие, возня призраков, злые чары. Но это он говорил не мне! Меня,— с горечью думал он,— отец отпустил — в беду, в несчастье!» Вейнерт то и дело возвращался к «нордической крови», и это нестерпимо раздражало Хольта. «Все вздор. Но зачем это? Зачем вся эта ворожба с расами, с кровью, с нордическим человеком? Вот что нужно бы узнать!»

Лейтенантом, видимо, опять овладела горячечная болтливость. Хольт скептически и недоверчиво смотрел на него. К чему это все?

— ...Только нордическая кровь: германцы или ночь — вот лозунг сегодняшнего дня.

Рекруты клевали носом. Лишь немногие слушали лейтенанта.

— Жизнь героев — вот жизнь, к которой мы стремимся, жить жизнью белокурой бестии, алчущей добычи и победы. Для того чтобы стать героями, у нас есть один только путь — наше столетие сделать началом новой эры. Ибо герой всегда стоит у истоков.

«То, что он говорит, никого не интересует,— думал Хольт.— Вот скажи он, как дальше пойдет война, все станут жадно его слушать».

— В детстве герой ленив и эгоистичен. Но существует героическая лень...

Вольцов толкнул Хольта и прошептал:

— Это я, ей-богу, я!

— Героическая лень — это покой в себе: добродушный, немногословный, покуда не настанет пробуждение, взрыв первобытной силы и жажда боя...

— Как в воду глядит,— прошептал Вольцов за спиною Хольта,— месяц сплю как сурок, а потом жажду всех лупцевать!

— Вот почему герой любит море и плаванье на кораблях викингов, вот почему подымается он на горы. Там, наверху, он ощущает свою вечность, свою родственность первым арийцам, чувствует то, что единственно полнит его душу: вневременную мощь! Герой и мирозданье — вот загляд в события!

«Родственность первым арийцам? Ну, он уже распустил паруса! Как странно, я слушаю его, слышу каждое его слово, а в общем-то понятия не имею, о чем он говорит».

— Герой осмеливается прожить ему предначертанное, не бояться смерти, снести ненависть многих и многих...

«Снести ненависть многих! — Мысли Хольта мешались.— Неужели это подвиг, героизм — быть ненавистным?»

— Странно слагаются судьбы героев... Ревецкий! — вдруг заорал Вейнерт. Рекруты вздрогнули, видя, что лицо его побагровело от злости.— Менке, Хинц, Отцдорф и Плесс! После занятий, Ревецкий, отделайте этих скотов, покуда не захрипят! Спать во время занятий! Погодите у меня, антинемецкий сброд, я из вас это скотство выбью!

«Ну, теперь он наверняка утратит нить,— думал Хольт, неотрывно глядя в лицо лейтенанта.— Впрочем, он может продолжать с любого места, тут ведь что в лоб, что по лбу».

— Странно слагаются судьбы героев,— продолжал лейтенант.— Если нам удастся понять героя и его судьбу, значит, мы поняли и весь его мир.

«Судьба, вечный разговор о судьбе, а что она, собственно, такое?»

— Героическая ненависть — Тор так схватился за молот, что суставы пальцев у него побелели. Это великолепие героической ненависти, которая обрушивается на мир так, что и сильнейшие содрогаются в лесах! И только когда мы сумеем научиться ненависти, героической ненависти, над Германией взойдет заря новой жизни.

«А что же придет на смену героической ненависти? Не иначе как героическая нравственность»,— думал Хольт.

— ...Дикая кровь может вовлечь героя в извечный спор полов, заставить его бороться за сокровенный смысл мужчины и женщины, который можно познать только на опыте, не домыслить! Пол не знает узды — в этом для некоторых мужчин героической крови и заключается сомнительность брака...

Теперь рекруты и вправду слушали его. Кое-кто с интересом поглядывал на лейтенанта. Но Вейнерт вернулся к разговору о героической расе, и интерес погас. Хольт тоже слушал невнимательно.

«Сейчас заговорит о нордической красоте, а значит, уже виден конец»,— подумал он.

— ...Нордические люди явились на землю как ее украшение, как лучезарные пришельцы из радостной вселенной...

— Аминь,— тихо проговорил кто-то. Это был Гомилка.

Хольт уже совсем не слушал. «Наконец-то я понял, для чего это придумано,— и от этой догадки у него занялось дыхание,— ...раса, нордическая кровь, арийцы, сверхчеловек, героическое доверие... все для того, чтобы мне пристрелить словачку, и глазом не моргнув!»

— В борьбе за рейх морали не существует!..— воскликнул Вейнерт.

— Во веки веков аминь! — прошептал Гомилка.

— Встать! Смирно! — рявкнул Ревецкий. Рекруты вскочили. Лейтенант Вейнерт, стройный и прямой, как свеча, вышел из комнаты. Дверь за ним захлопнулась.

— Так,— произнес Ревецкий.— Конец служебного дня? Черта с два! Я отлично видел, что вы все дрыхли.— Он забегал вдоль столов, похлопывая себя стеком по сапогам.— Почему на ваших физиях не написано благоговения? Что вы на меня пялитесь, точно снулые карпы? Вот сейчас узнаете, как можно заживо сгнить! Я из вас выколочу героическую лень, я вас так отшлифую, что своих не узнаете... Г-а-а-з-ы!

Они вытащили противогазы.

Только через час он позволил им разойтись по комнатам.

7

Подавленное настроение рекрутов сразу исчезло, как только пришло известие о наступлении немецких войск в Арденнах. Вейнерт и Вольцов до глубокой ночи стояли у ящика с песком, анализируя развитие операции. Хольту пришлось пожертвовать сном, чтобы длинной указкой передвигать малюсенькие танки. Вейнерт знал некоторые подробности, не сообщавшиеся в сводке верховного командования. Вольцов изучал карту, тыкал пальцем в песок и уверял, что наступление ведется по всем правилам военного искусства. До конца года сообщения о развитии наступления носили оптимистический характер. Потом все иллюзии рухнули.

За несколько дней до рождества рекруты приняли присягу. Церемония не произвела на них ни малейшего впечатления. Один Вольцов отнесся к ней всерьез:

— Мы принесли присягу,— говорил он,— и должны сражаться до последней капли крови, как бы ни обернулись события.

Ревецкий сообщил взводу о начале празднования рождества.

— С этой минуты я обязан облагораживать ваши души, чтобы в святую ночь вы могли с невинными лицами предстать перед младенцем Иисусом.

— Облагораживать наши души? Плевать нам в души — вот что он хочет сказать, проклятая ханжа,— заметил Хольт.

Однажды Ревецкий вошел в комнату и приказал:

— Визе, расстегните воротник.— Визе повиновался. Ревецкий осмотрел содержимое одного из шкафчиков. Потом вдруг накинулся на Визе: — Это же черт знает что такое! Парень ходит с расстегнутым воротом! За это получите шесть часов особой обработки! Собирайтесь, покуда я вас не прикончил, можете еще черкнуть несколько строк своим близким!

Петер Визе побледнел.

— Может, вам угодно приобрести индульгенцию? Что вы собираетесь делать со своей водкой в святую ночь?

— Господин унтер-офицер,— пробормотал Визе со вздохом облегчения,— я собираюсь отдать ее вам!

— Какой прелестный подарок! — воскликнул Ревецкий, и лицо его как-то странно сморщилось.— Расстегнутый воротник я великодушно простил!

Наступил сочельник. Вольцов, Хольт, Фетер, Гомилка и еще несколько человек должны были исполнять роль официантов, прислуживая унтер-офицерам, для чего им выдали белоснежные кителя. Из просторного гаража вывели все машины, вдоль стены соорудили стойку,

а в глубине — эстраду. Вечером солдатский хор пел: «Тихая ночь, святая ночь...» Гараж был освещен только свечками, горевшими на двух больших елках. Майор Рейхерт, командир батальона, держал речь к собравшимся. Хольт с подносом в руках стоял у стойки.

Праздничный вечер быстро превратился в обыкновеннейшую попойку. Унтер-офицеры мгновенно перепились. Ревецкий вращал глазами, пил и орал:

— Водку хлещет кура, она совсем не дура!..

В углу, окруженная унтер-офицерами, стояла некрасивая девица лет под тридцать, сутулая, с вытравленными перекисью волосами. На офицерских столах выстроились батареи винных и коньячных бутылок, вазы с конфетами и распечатанные коробки сигарет. Командира батальона, майора Рейхерта, Хольт видел в первый раз. Справа от него сидел легендарный капитан Вебер, командир 4-й роты, много раз упоминавшийся в сводке верховного командования, обладатель полного набора знаков отличия. Вот уже полгода как он обосновался в запасных частях. Однорукий — левый рукав его черного мундира был приколот к плечу,— одноглазый, с черной повязкой, с лицом, испещренным шрамами, прямой, как палка, Вебер сидел рядом с майором и резким движением то и дело подносил ко рту бокал с вином. Сегодня на его мундире не было ни орденов, ни медалей, только «Рыцарский крест» на шее.

— Посмотри на него,— сказал Вольцов Хольту.— Этот человек обеспечивал переправу наших войск через Днепр у Рогачева, потом со своими «тиграми» выходил из окружения под Могилевом. Вся его рота полегла, один он вышел.

— Официант! — прокаркал Ревецкий за унтер-офицерским столом. Глаза у него были полны печали.— Хольт! Нам так чертовски хорошо... Эй, Ганимед, расторопный ангел!..— Он рыгнул.— Не хватает только водки!.. Хольт! Вместо того чтобы радоваться великой чести обслуживать прусского капрала...

Унтер-офицер Боек крикнул во всю глотку:

— Ты что, просить его собрался? С каких это пор сопляков просят? Прикажи ему, затычке несчастной! Да еще добавь, что с завтрашнего дня и до конца праздника мы так его будем обрабатывать, что у него мозги повылезут!

— Живо тащи сюда водку,— закричал Ревецкий,— не то я так тебя отделаю, что чертям будет тошно!

Вольцов отвел Хольта в сторонку:

— Нам надо напоить Ревецкого и Боека, чтоб они не смогли за нами шпионить.

— Давай! — согласился Хольт.

■

Кто-то, подойдя сзади, взял Хольта за плечо и с силой повернул к себе. Это оказался обер-фельдфебель Бургкерт.

— Парень, ты кто?

— Рядовой Хольт из учебного взвода штабной роты.

Обер-фельдфебеля знали все. Шутить с собою он никому не позволял, небрежно приветствовал офицеров, а на приветствие нижних чинов отвечал едва заметным кивком. Ростом с Вольцова, но шире в плечах и плотнее, он был сегодня при всех своих орденах. Взгляд Хольта скользнул по его черному мундиру. «Железный крест» первой, «Железный крест» второй степени,— мысленно подсчитывал Хольт,— золотой значок за ранение, значок за участие в ближнем бою, золотой «Германский крест», на рукаве семь значков за подбитые танки...»

— Разглядывай, разглядывай этот хлам, парень! — хриплым басом сказал обер-фельдфебель, все еще крепко держа Хольта.— Когда насмотришься досыта, принесешь мне две бутылки коньяку, но не этого вот дерьмового, а того, что подают офицерам! Две бутылки и два стакана. Принесешь туда вон, в угол! Выполняй!

Хольт побежал к стойке.

— Две бутылки для командира батальона.

Обер-фельдфебель, сидевший на пустом пивном бочонке, взял из рук Хольта обе бутылки и начал рассматривать этикетки.

— Отлично! — Он поставил бутылки на пол и налил два стакана.— Пей, рекрут!

Шум в помещении мало-помалу стих. Где-то вдали несколько голосов затянули: «Как прежде, как прежде Лили Марлен!» Потом и они замолкли. Возле импровизированной сцены майор, видимо вконец опьяневший, вскарабкался на стол и, держа в руках бокал шампанского, орал:

— Ура!.. Одиннадцатая!.. Танковая!.. Да здравствует!.. Прославленная, непобедимая одиннадцатая танковая дивизия!

— Непобедимая? — проговорил обер-фельдфебель. Голос его утратил скрипучесть и звучал глухо и замогильно.— Непобедимая! А Тула, ноябрь сорок первого... Смоленск, сентябрь сорок третьего... Могилев... март сорок четвертого... Минск... июль сорок четвертого... Непобедимая, но *уничтоженная!* Одиннадцатой танковой дивизии больше не существует! Разве что пять сотен винтовок да дюжина «тигров», но и тем уже давно пора на слом!

— Да здравствует,— вопил майор,— наш великий генерал и наш фюрер Адольф Гитлер...— Стены задрожали от рыка присутствующих.

— Пей, парень,— сказал обер-фельдфебель.— Не за генерала. Ни за кого. За лужу, в которой мы сидим! — Хольт послушно выпил.

— Приказ по батальону! — услышал он оглушительный возглас майора.— В сложившейся обстановке... приказываю... выпить весь имеющийся запас спиртного!

— Так глубоко в луже еще никогда и никто не сидел,— продолжал обер-фельдфебель.— Ты, парень, и понятия не имеешь! — Он опять налил себе полный стакан коньяку.— Пей, рекрут! Благодарность родины тебе обеспечена.— Хольт, как зачарованный, смотрел на этого человека, который подливал себе, пил и снова подливал.— Пей, мальчик! Пей за лужу!

Хольт убежал.

■

Пир за столом унтер-офицеров шел к концу. Ревецкий тянул водку прямо из бутылки. Боек всем телом навалился на стол. Ефрейтор Киндхен, шатаясь, бегал от стола к столу с бутылками в руках и пел: «Да здравствует, да здравствует уют!» Офицеры куда-то скрылись. Унтер-офицер Винклер, сосед Ревецкого по комнате, пробирался к выходу, но споткнулся и упал. Ревецкий склонился над ним, потом выпрямился и, осклабясь, сказал: «Продолжай в том же духе!» Хольт подбежал к Винклеру, но его опередил Бургкерт.

— Уволоки его отсюда, рекрут! — сказал он Хольту.— Он еще пригодится. Мы все еще пригодимся!

Хольт и Гомилка подняли Винклера. В дверях гаража появился ефрейтор, низкорослый малый лет тридцати. Он курил и невозмутимо созерцал весь этот хаос. Ефрейтор посторонился, пропуская Хольта и Гомилку с их ношей.

— Ваши инструкторы? — осведомился он.

— Все это очень противно,— вместо ответа сказал Гомилка.

Ефрейтор усмехнулся и, указав рукой на «зал», заметил:

— Погодите, скоро эта свистопляска кончится! Не пройдет и года, как всех их выметут грязной метлой!

Хольт и Гомилка протащили Винклера по изрытому воронками казарменному двору до его комнаты. Гомилка побежал обратно в гараж, где ефрейтор все еще стоял в дверях.

Хольт пошел к себе. Тусклая лампа едва-едва освещала помещение. Б одном из углов сидел Петер Визе и писал письмо.

Хольт прислонился к шкафу. Визе ему улыбнулся. Шум пиршества доносился сюда через обширный казарменный двор.

— Н-да, Петер,— беспомощно пробормотал Хольт и бросился на кровать. «Рождество!» — с грустью думал он...

В первый день праздника, когда обитатели казармы наконец протрезвились, Киндхен принес почту. Хольт получил посылочку от Гундель.

«Фрау Гомилка разрешила мне кое-что испечь у нее для тебя. Правда, я пекла в первый раз и поэтому не совсем удачно. Но фрау Гомилка считает, что мое изделие все же можно послать тебе. Она дала мне для тебя еще и сушеных абрикосов. Снялась я у фотографа, но мне кажется, что на самом деле я выгляжу по-другому».

Он вскрыл посылку — сверху лежала веточка елки — и долго смотрел на фотографию. Гундель... Она не улыбалась, а серьезно, даже строго смотрела на него. «И бывают же такие огромные глаза»,— подумал он.

■

День своего рождения Хольт провел на занятиях в поле. На обратном пути Ревецкий решил снова подвергнуть рекрутов «особой обработке», поэтому, вернувшись в конце концов в казарму, Хольт в полном изнеможении повалился на койку. Фетер сказал ему:

— Ну, теперь тебе восемнадцать и ты даже в штатском можешь ходить на любые фильмы.

Неделю спустя пришло сообщение о прорыве русских у Вислы. Вольцов развернул свои карты.

— Вот здесь, с сандомирского плацдарма! Удар, видимо, направлен на юго-запад, на Краков, или западнее, на Кельцы...

Вскоре подоспели новые сообщения: прорыв русских в Восточной Пруссии! В казарме непрерывно циркулировали самые разные слухи: говорили, что вторую роту отправляют на фронт уже этой ночью. Фетер кричал:

— Мы же не закончили подготовку! Как же так?

Прошла еще неделя.

■

Учебная рота садилась в машины, чтобы ехать на соседний полигон. Вольцов давал последние директивы:

— Ребята, когда будете наступать, не попадите под огонь своих пулеметов! Вернер, при смене огневых позиций будем прикрывать друг друга огнем.— Он затянулся сигаретой.— Интересно, решат ли они, что мы достаточно подготовлены для фронта?

— Поживем — увидим,— отвечал Хольт.

Гомилка поинтересовался:

— Скоро нас пошлют на фронт?

— Ты, кажется, этого ждешь не дождешься,— съязвил кто-то.

Хольт подумал: «В вопросе Зеппа звучал не испуг, а скорее нетерпение».

— Ты прав, Зепп. Ожидание, неизвестность — это, пожалуй, самое худшее.

— Да,— сказал Гомилка.

Ревецкий крикнул:

— Приготовиться!

Они затоптали сигареты и надели каски.

— Становись!

Ревецкий сегодня был настроен дружелюбно и называл рекрутов не иначе как «мушкетеры» или «фузилеры».

— Спокойствие,— громогласно возвестил он,— ваш капрал всегда будет с вами в трудный час! Зарядить винтовки и поставить на предохранитель!

Они направились к воображаемому переднему краю обороны.

— Отделение, нале-во! Бегом — марш! Вперед, аркебузники! — кричал Ревецкий.

Хольт на правом фланге бежал по глубокому снегу. В небо взлетела ракета, ослепительно белый свет разлился над заснеженной равниной. На левом фланге заработал пулемет Вольцова. Хольт увидел перед собой расставленные на поле мишени и стал стрелять короткими очередями. «Может быть, это последняя учебная стрельба»,— думал он.

Ревецкий был доволен. На машине они вернулись в казарму.

■

Через два часа все уже разошлись по комнатам. Вольцов принес из умывальной кучу новостей. Радиоприемник, работающий на средних волнах, был установлен прямо на земле вместе с восьмидесятиваттным передатчиком, и таким образом наладилась связь с боевыми частями, которые взывали о помощи. Русские, овладев Краковом, продвигаются на запад. В 4-й роте приводят в боевую готовность учебные танки: «пантеры» уже стоят в парке, сегодня ночью они направятся на фронт.

Ревецкий распахнул дверь:

— Вольцов, к лейтенанту!

— Надеюсь, он не собирается играть у ящика с песком! — Вольцов надел куртку и вышел. Через десять минут он появился в дверях, пропуская вперед Вейнерта. Следом за ними вошел Ревецкий. Те, что уже лежали на койках, поднялись.

Хольт взглянул в лицо Вольцову и понял все.

«Господи, спаси и помилуй!»

Лейтенант осмотрелся по сторонам и начал:

— Германия, героическая мысль, национал-социалистская идея, неужто я понапрасну толковал вам об этом? — Он расхаживал взад и вперед по комнате.— Бросал слова на ветер? Нет! Этого не могло быть! — И почти скороговоркой: — Русские перешли границы Силезии, земли, которую наши предки своим геройским мечом присоединили к рейху. Они подходят к промышленному району, к Бреслау. Рейх в опасности! Настал решающий час! Война вступила в свой последний этап — стала войною нервов! Победит тот, у кого крепче нервы. У нас они крепче.

«Когда же наконец станет ясно, к чему он клонит?»

— В этот час фюрер повелел создать истребительно-противотанковую дивизию. Из добровольцев.

«Из добровольцев? Слава тебе, господи!»

Гомилка вскочил с кровати и торопливо надел брюки.

— В ваших силах сделать эту дивизию лучшим соединением, о которое противник сломает свои уже расшатанные зубы. Наш камрад Вольцов первым заявил о своем желании вступить в ряды новой дивизии, впрочем, от него я ничего другого и не ждал. Кто последует его примеру?

— Господин лейтенант,— воскликнул Гомилка,— я прошу зачислить меня!

«Зепп,— крикнул в Хольте какой-то голос,— Зепп!»

— Кто еще? — спросил лейтенант.

«Борьба с танками на Востоке! И Зепп добровольно ввязывается в нее!»

Фетер, свесившись с кровати, скреб себе грудь под рубашкой так, что всем было слышно.

— Фюрер отдал приказ: каждый, подбивший шесть танков в ближнем бою, награждается «Рыцарским крестом».

— Что-о-о? — крикнул Фетер.— За шесть танков «Рыцарский крест»? В таком случае, господин лейтенант, зачисляйте и меня!

«Гильберт, Зепп, Кристиан... А я?»

Вольцов бросил взгляд на кровать Хольта и проговорил:

— Вернер! Старина!

— Господин лейтенант, я тоже,— проговорил Хольт каким-то чужим голосом.

Остальные молчали.

— Вы четверо,— сказал лейтенант,— так я и думал, камрады, благодарю вас. Завтра спите вволю. В двенадцать приходите в канцелярию за документами. Спокойной ночи.

Хольт соскочил с кровати. Ревецкий стоял посреди комнаты и орал:

— А другие? Другие-то? Ребята, вы что, два века прожить хотите?

Хольт стал искать в шкафу бумагу. Ревецкий не унимался:

— Ну вы еще пожалеете! И долго будете жалеть! С завтрашнего дня я начну вышибать из вас инстинкт самосохранения, скоты поганые!— Он с треском захлопнул за собою дверь.

Хольт писал. Кто-то крикнул:

— Тушите свет, через три часа мы уходим!

Вольцов, составлявший список для вещевого склада, небрежно бросил:

— Мальчишка, придержи язык.

— Правильно,— отозвался ефрейтор Киндхен со своей кровати.— Ты надавай им хорошенько по шеям. Если бы не моя как на грех негнущаяся коленка, я бы немедленно к вам присоединился.

Хольт писал: «Милая Гундель! Завтра отправляюсь на Восточный фронт, я вызвался добровольно. Почему — сам не знаю».

Он задумался. «Я сделал это для тебя»,— хотелось ему написать.

«Для Гундель?» — он услышал свой собственный голос и голос адвоката Гомилки. «Ждать? Но чего же?.. Что придет сказочный принц и освободит заколдованную принцессу?..»

Он не сводил глаз с листа бумаги. «Все ложь,— думал он.— Все ложь».

8

Столы в комнате были завалены плитками шоколада и пачками сигарет.

— Люди, наслаждайтесь войною, мир будет страшен! — воскликнул Фетер.

Вольцов вставлял в гранаты запалы. Хольт сидел в сторонке и читал «Фёлькишер беобахтер», в которую был завернут кусок масла.

Томимый грызущим страхом, он хотел заставить себя поверить в то, что было написано в газете. «Так, значит, русские совсем никудышные вояки! Я хорошо подготовлен, молод, силен. Кому же и вынести все это на своих плечах, как не нам, молодым!»

Дверь распахнулась от сильного удара ногой. На пороге стоял оберфельдфебель Бургкерт — черный мундир сплошь в орденах, лицо серое, изможденное, на лбу капли пота. Скрипучим голосом он спросил:

— Вы поедете со мной? — Но вдруг присел у стола и начал вертеть в руках пистолет Вольцова. Бургкерт обливался потом, руки у него дрожали.—...Я был сейчас на чердаке у радистов,— сказал он хриплым голосом,— они всю ночь принимали мольбы о помощи. Фронта больше нет. Полное окружение. Наша одиннадцатая танковая в котле под Калишем.

— Знаю,— безразлично отвечал Вольцов.

— Они поймали вопль какой-то части: «Боже, смилуйся над нами!» Нервы у всех сдали окончательно!

В комнату вошел низкорослый коренастый человек и поочередно оглядел сидящих.

— Ефрейтор Хорбек.— Он сел.

Хольт узнал его, этот человек стоял в дверях гаража во время рождественского пира, единственный трезвый в тогдашней пьяной свалке. Хольт заметил, как удивленно он кивнул Гомилке, как внимательно посмотрел на Вольцова и Фетера. Ему даже показалось, что в серых глазах ефрейтора появилась настороженность, сменившаяся безразличием.

— Я шофер и повезу вас. Вы готовы?

Вольцов продернул в петлицу новую блестящую орденскую ленточку. Хольт и Фетер прикрепили значки за отличную зенитную стрельбу.

— А я свой куда-то засунул,— равнодушно произнес Гомилка, бледный и молчаливый.

— Сейчас вам выдадут документы,— сказал Бургкерт. Они пошли в канцелярию.

— Только действия нужны сейчас!— напутствовал их лейтенант Вейнерт и закончил:— С богом, камрады!

На дворе ждал открытый восьмиместный автомобиль с брезентовым верхом, в каких обычно разъезжают полицейские. Киндхен стал грузить панцерфаусты. Ефрейтор Хорбек стоял рядом и курил, явно не собираясь ему помогать. На нем не было даже маскировочного халата, но зато он вез с собой туго набитый рюкзак, множество одеял, палаток и большой кухонный котел.

— На что тебе все это барахло?— спросил Вольцов.

Ефрейтор обернулся. На лице его снова промелькнула настороженность. Но скорее всего это только показалось, потому что он хлопнул Вольцова по плечу и воскликнул:

— А вот посмотришь!

Хольт наблюдал за ним, раздумывая, что же это за человек?

Стемнело. О них, казалось, позабыли. Учебная рота ушла на занятия. В машине Бургкерт сел за спиной Вольцова. Его басовитый голос гремел. Когда он пил из фляжки, вокруг распространялся запах водки. Гомилка сидел впереди, за ним Хольт. У ворот казармы часовые тщательно проверили их документы. Взгляд Хольта привлек указатель: «До Гёрлица 58 км».

■

Ночь. Хольт прикрыл колени одеялом. Мороз пробирался сквозь брезентовый верх. Шел снег, завывал ветер. Хольт оглянулся и увидел, что Бургкерт припал к плечу Вольцова. Оба спали. Голова ефрейтора

черным силуэтом вырисовывалась на ветровом стекле, за которым светились снежные хлопья. Ефрейтор разговаривал с Гомилкой и, отведя правую руку от баранки, переставил зеркало на ветровом стекле, видимо желая посмотреть, что делается сзади. Изредка, когда утихал вой пурги, до Хольта доносились обрывки разговора, заглушаемые равномерным рокотом мотора.

Лицо Гомилки было повернуто влево. Он сказал — кажется, это был ответ на какой-то вопрос:

— ...вы же его лучше знаете.

Порыв ветра обсыпал машину снегом...

— Вольцов иногда слушается Хольта, но больше никого,— проговорил Гомилка.

«О чем это они?» — сквозь дрему подумал Хольт. Машина въехала в колдобину, его отбросило к борту. Когда он снова усаживался на место, до него донеслись слова ефрейтора:

— А тот блондин?

— Вольцова слушается, как собака,— отвечал Гомилка,— но когда остается один...

Шум мотора заглушил его слова.

Хольт еще услышал, как Гомилка говорит:

—...Нет, собственно, мой отец...— Вернер нагнулся вперед, чтобы расслышать получше.— Я вам тогда рассказывал, как все это случилось,— продолжал Гомилка.— Мне, конечно, было нелегко. Есть же, наверно, люди, которые с самого начала знали, что происходит. Хольт в отпуске познакомился с девушкой, отец которой погиб в лагере, а мать была казнена. Такие...— шум мотора опять заглушил его слова.

«Зепп рассказывает о Гундель»,— удивленно подумал Хольт. Ефрейтор снова немного передвинул зеркало и посмотрел на спящих Бургкерта и Вольцова.

— ...Понимаешь ли ты все это, вот в чем вопрос, не говоря уже о том, что в наше время лучше держать язык за зубами.

— Хорошо бы, конечно, иной раз знать получше, с кем имеешь дело,— отвечал Гомилка.

Ефрейтор повернулся к нему.

— То-то и оно,— сказал он. И замолчал. Машина с затемненными фарами стремительно неслась сквозь вьюгу.

В Гёрлице они долго стояли на перекрестке. Бургкерт проснулся и вышел из машины. Хольт дрожал от холода. Неслышная призрачная процессия тянулась мимо них: повозки, груженные сундуками, подушками, домашней утварью, пешеходы, толкавшие перед собой ручные тележки. Казалось, конца не будет этому шествию. И только плач детей да скрип полозьев изредка доносились до Хольта.

Бургкерт отпил из фляжки. Потом машина, непрерывно сигналя и притушив фары, стала медленно продвигаться вперед в сплошной людской гуще. По шоссе навстречу им тянулся такой же нескончаемый поток. На всех перекрестках машину останавливали контрольные посты, эсэсовцы, жандармы: «Предъявите документы!» Часам к шести утра они добрались до Бреслау.

— Где здесь штаб?

Никто ничего не знал.

Бургкерт вылез из машины перед зданием, которое охранялось двумя часовыми. И скоро вернулся обратно.

— Сначала мне надо осмотреться. Вольцов, потрудитесь узнать, куда нам ехать дальше. Через полчаса возвращайтесь. Если меня не будет, поезжайте одни.— Он скрылся в темноте. Вольцов изумленно глядел ему вслед.

— Знаешь, чего он ищет? Водки! Он совсем ошалел без выпивки.

Везде царил хаос.

— А вот и штаб. Стоп!

Какой-то фельдфебель накинулся на Вольцова.

— Истребительно-противотанковая дивизия? Хватит дурака валять! Бумажные крысы! — Потом примирительно заметил: — Попытайтесь добраться до Клейн-Нирица, там штаб семнадцатой танковой дивизии.

Они долго и тщетно дожидались Бургкерта. Наконец ефрейтор сказал:

— Поехали. Черт его знает, когда он вернется!

Гомилка тоже настаивал:

— Да на что он нам? У нас свои документы.

Вольцов колебался, но ефрейтор крикнул:

— Поехали, поехали! Нечего тут торчать!

— Истребительно-противотанковой дивизии, по-видимому, просто не существует,— сказал наконец Вольцов.— И это очень плохой знак. Значит, теперь ставка на одиночного бойца.

Хольт отвел Гомилку в сторону:

— Скажи, этот ефрейтор, что он такое?

— Металлист из Вупперталя,— отвечал Гомилка.— До последнего времени был освобожден от военной службы.

— Откуда ты его знаешь?

— После рождества мы несколько раз встречались в столовой.

Они сели в машину. Ефрейтор дал газ. Клейн-Ниpиц оказался просто крохотной деревушкой.

...17-я танковая дивизия? Никто о такой не слыхал. Какой-то штаб какой-то воинской части, состоявший из трех фельдфебелей, двух шоферов и дюжины растерянных офицеров, заканчивал сборы к отъезду. У здания стояли грузовики с работающими моторами. Вольцов расспрашивал всех, попадавшихся ему на глаза. Один отсылал его к другому. Наконец их провели в комнату, где сидел какой-то майор.

Майор говорил по телефону, лицо у него было багровое.

— Да я же вам объясняю, что между русскими и нами никаких войск нет! Нет! Никакого танкового корпуса, только части фольксштурма. Нет! Тот, кто это сказал,— болван! Нет! Никаких сведений! Последние данные давно устарели. Нет! Вы неправильно информированы! Корпус Неринга с боями отходит от Калиша к Одеру! Нет! В промежутке между корпусами — русские! Нет! Вы неправильно информированы. Заукен восточнее Неринга? Нет! Если они вообще выйдут к Одеру, то значительно севернее. Нет! Между нами и Оппельном — брешь! Нет. Оппельн может быть сдан каждую минуту! Нет! На Одере должен быть создан новый рубеж обороны, Олау — Бриг — Оппельн. Нет! Я должен немедленно уходить отсюда!

Он слушал, поглядывая на Хольта и Вольцова. Потом крикнул в трубку:

— Что? Нет? Ладно! Нет! Все! — Майор швырнул трубку на стол и заорал: — Что вам надо?

— Мы ищем истребительно-противотанковую дивизию, господин майор,— отвечал Вольцов.

Майор окончательно утратил самообладание.

— Ищите где хотите, только не здесь. Видит бог, здесь вы ее не найдете. Здесь,— он сделал широкое движение рукой,— здесь только лес, лед, снега, болота и русские! О, чего-чего, а русских здесь сколько угодно! Да и вообще, что за дурацкие расспросы, никакой противотанковой дивизии не существует, чушь собачья!

Вольцов усмехнулся, и его усмешка, как это ни странно, успокоительно подействовала на майора. Весь дрожа от нервного напряжения, майор уже тише спросил:

— Что вам нужно? Мне некогда! — И тут же завопил не своим голосом: — Карты вам нужны? Вы просто дурак! Вот вам карты,— он бросил к ногам Вольцова толстый пакет.— И бензин вам тоже нужен? Во дворе полно бензина. Завтра им будут заправляться русские!

— Куда нам ехать? — спросил Вольцов.

— В сумасшедший дом! — крикнул майор. Он схватился за голову.— Поезжайте в Олау, или в Бриг, или в Оппельн и явитесь к майору Линдеру. Живо!

В Бреслау они отыскали сборный пункт. Там объявили, что их направят в сводную роту. Вольцов протестовал, покуда его не провели к какому-то подполковнику.

— В Клейн-Нирице расположен штаб семнадцатой танковой дивизии. Предъявите ваши документы!

— В Клейн-Нирице никакой семнадцатой дивизии нет. Один майор оттуда послал нас к майору Линдеру!

— К майору Линдеру? Да он же в Клейн-Нирице!

Так вот и продолжался этот бессмысленный разговор. Какой-то капитан, с желтым лицом и печальными глазами, охрипшим голосом говорил:

— Я ни о чем понятия не имею. Майор Линдер со своим штабом, видимо, в Эльсе, если там еще нет русских. Направляйтесь в боевую группу Бухерта. Покажите ваши документы.

«Они все здесь с ума посходили»,— думал Хольт.

— Из двадцать шестого запасного батальона? В таком случае, вы входите в одиннадцатую танковую дивизию. Она где-то неподалеку.

— Нет ее нигде, господин капитан.

— Понятия не имею! Вы радист? Здесь создается боевая группа. Останетесь у нас. Танки еще не подошли!

Но в соседней комнате другой офицер усталыми движениями уже проштемпелевал их бумаги. Они получили разрешение ехать в Силезию.

— Торопитесь! Повсюду взрывают мосты.

■

В маленьком городке они остановились у казармы. Вольцов с большим трудом пробился к военному коменданту. Хольт ждал его на улице и опять смотрел на нескончаемый поток беженцев — страшное шествие горя и отчаяния. Метель засыпала снегом женщин, ребятишек, закутанных в одеяла, санки, ручные тележки, узлы с подушками, домашний скарб, скудные пожитки, стариков, тяжело опирающихся на палки, старух, обвязанных платками. Хольту вспомнились изможденные фигуры пленных на батарее. «Теперь настал наш черед». А снег падал, падал, все кругом застилая белой пеленой.

Вольцов вернулся.

— Я получил боевое задание.— Уже в пути он объяснил, в чем, собственно, оно состоит. На восточном берегу Одера находились части фольксштурма. Существовали ли еще боеспособные остатки войск развалившегося фронта, никто толком не знал.

— Нам приказано усилить подразделения, занимающие противотанковый рубеж. Задача: задержать танки противника, пока здесь не будет создана линия обороны. Войска уже на подходе.

Дорога вела к мосту. Берег круто обрывался. За насыпью солдаты устанавливали 150-миллиметровые пушки.

— От шестьдесят четвертого дивизиона, расквартированного здесь, почти ничего не осталось,— рассказывал Вольцов.— Командир дивизиона, он же комендант гарнизона, старый-престарый майор. Бессмыслен-

но, конечно, устанавливать здесь такие пушки. Они должны находиться в пяти километрах от переднего края.

Машина медленно шла по мосту.

Одер, эта могучая река, замерзла у берегов. Течение несло глыбы льда и прибивало их к берегу, так что они громоздились горой. Между стремительно несущимися льдинами поблескивала черно-серая маслянистая вода.

На мосту и дальше на шоссе им встречались отступавшие части. Вольцов то и дело приказывал останавливать машину.

— Где русские?

Ему показывали на восток.

— Наверно, уже в Намслау.

— Есть там наши войска?

— Только части фольксштурма.

Пустынное, заброшенное простиралось перед ними шоссе. Пурга намела снежные дюны, и машина с трудом пробивалась вперед. Промелькнула деревня, пустая, покинутая. Коровы мычали в хлевах.

— Здесь можно бы свинью забить,— сказал Фетер.

Вольцов, по обыкновению, изучал карту.

— Танки непременно пойдут по этому мосту! — Он словно продолжал военную игру с лейтенантом Вейнертом у ящика с песком. — Из Крейцбурга, через Намслау... Подумать только, что мы ничего не знаем и ничего не можем узнать! У Оппельна они, наверно, уже отступили за Одер. Я, конечно, не имею ни малейшего желания стать фольксштурмистом.

— Правильно,— подхватил ефрейтор,— уж лучше остаться одним.

— И я так думаю,— согласился Гомилка.

— А как мы вернемся через Одер, если мосты будут взорваны?— поинтересовался Хольт.

— А на это нам сейчас наплевать! — в ярости крикнул Вольцов.— Поезжай, Хорбек, да смотри осторожно! — Он взглянул вверх.— Метель прекратилась. И, значит, можно ждать штурмовую авиацию.

— У русских, говорят, уже нет авиации.

— Чего у них нет? — переспросил ефрейтор и обернулся к Фетеру.— У них, парень, такие штурмовики, что закачаешься.

Шоссе шло через лес и круто заворачивало вправо. Метрах в шестидесяти от поворота дорогу перерезало противотанковое заграждение. Они вышли из машины.

— Неплохо придумано,— сказал Вольцов.— Танк выходит из лесу, а заграждение замечаешь, когда уже наткнешься на него.

Между заграждением и лесом по обе стороны шоссе оставалось по узкому проходу. На проезжей части шоссе неподвижно стояли двое фольксштурмистов.

■

Ефрейтор повернул машину направо, проехал через проход в заграждении и повел ее по опушке леса. Хольт с автоматом на груди шел за Вольцовом.

— Кто здесь командир? — спросил Вольцов.

На опушке Хольт заметил барак, в каких обычно живут лесорубы. Навстречу им вышла фигура, при виде которой Вольцов заулыбался, а Фетер прыснул.

Это был маленький толстый человечек лет пятидесяти, в грязно-желтой форме, со свастикой на нарукавной повязке, в пестрых перчатках и фуражке с большим козырьком. Он явно мерз без шинели. Лицо у него было багровое, оттопыренные уши — белые. Глаза слезились от мороза, на руке болталась каска.

— Вы, собственно, кто? — спросил Вольцов.

Человечек, видимо, не знал, как быть,— на белом маскировочном халате Вольцова, конечно, не было знаков различия,— но решил все-таки его приветствовать.

— Хайль Гитлер! Полевой караул в составе двенадцати рядовых фольксштурма. Начальник караула Тёпл.

Фетер расхохотался.

— Тёпл! — воскликнул он.— Да вам следовало бы зваться Мёрз, старина!

Вольцов покачал головой.

— Что вы здесь делаете?

Старик, стуча зубами от холода, сказал:

— В этот решающий час жизнь отдельного человека значения не имеет, поэтому мы...

— Отходите! — крикнул Вольцов.— Отходите, да поживей, за Одер, там займете свое место в общей обороне. Марш, приказываю отходить за Одер.

— Приказ? — Фольксштурмист — это Хольт сразу понял — колебался между недоверием и надеждой.— А кто вы такой?

— Лейтенант Вольцов из истребительно-противотанковой дивизии,— Вольцов даже глазом не моргнул. Но вдруг он поднял голову и прислушался.— Бегите! — крикнул он и гигантскими прыжками помчался к лесу.

Хольт бросился наземь рядом с Фетером, а двенадцать фольксштурмистов и их командир все еще в испуге стояли на шоссе, когда над лесом появился самолет. Он развернулся и, казалось, ринулся прямо на дорогу, изрыгая огонь из всех своих пулеметов. Над дорогой пронесся второй штурмовик, противотанковое заграждение и фольксштурмисты скрылись в дыму.

Хольт выбежал на шоссе. Одиннадцать человек в смятении стояли над убитым товарищем. Их старый командир, весь в поту, дрожал. Вдали загрохотали артиллерийские орудия. Вольцов набросился на командира фольксштурмистов:

— Ну, теперь веришь мне, а? Живо убирайтесь отсюда!

Покуда тот растерянно смотрел то на одного, то на другого, вперед протиснулся ефрейтор:

— Ты вправду хочешь их отсюда отправить?

— А ты что, против?

— Избави бог! — Ефрейтор лукаво подмигнул.— Просто я слышал, что ты сам желаешь сражаться здесь, не щадя живота...

— Поэтому мне и надо отделаться от этой инвалидной команды! Они мне испортят всю диспозицию!

— Порядок! — Ефрейтор сунул два пальца в рот, пронзительно свистнул и рявкнул: — Смирно! Прикажите своим людям построиться!

— Это он сумеет,— заметил Фетер.

Старик построил своих фольксштурмистов.

— Рапортую об отбытии, команда для следования построена,— доложил человечек, стоя по стойке «смирно», при этом руки и ноги у него дрожали.— Хайль Гитлер! Напра-во, шагом — марш!

Они молча смотрели вслед людям, исчезавшим в туманной дымке.

■

...В бараке железная печка разливала благотворное тепло. Вдоль стен стояли скамьи. В щели задувал ледяной ветер. Вольцов подсел к печке. Хольт, прислонившись спиной к стене, пытался спать сидя.

Ефрейтор забился в самый дальний угол. Коптилка отбрасывала трепещущие тени. Вольцов растопил снег, подождал, пока вода закипит, и заварил мятный чай.

— Вольцов, а теперь объясни мне толком,— сказал Гомилка,— зачем ты отослал фольксштурмистов?

— Потому что они небоеспособны,— отвечал Вольцов.— В такой сложной обстановке нельзя использовать людей, которые не хотят сражаться и сражаются только потому, что ничего другого им не остается. На них положиться нельзя.

Гомилка встал и несколько раз прошелся взад и вперед по бараку, держа под мышкой автомат. Потом он остановился и, прислонившись к дверному косяку, сказал:

— Ты отказываешься сражаться бок о бок с людьми, которые не хотят сражаться... но которым ничего другого не остается...

Хольт открыл глаза. Гомилка, бледный как смерть, стоял, держа у бедра автомат. Палец его лежал на спусковом крючке. Ствол был направлен на Вольцова.

«Что это? Что здесь происходит?» — пронеслось в мозгу Хольта.

— Твои слова относятся только к фольксштурмистам? — услышал он опять голос Гомилки.— Или к другим тоже?

Вольцов поднял глаза, долго и пристально смотрел на Гомилку и наконец спросил:

— Правильно ли я тебя понимаю, Зепп?

— Да. Думается, что теперь ты меня понял... Не вставай! — крикнул он, когда Вольцов пошевелился, и добавил: — Я должен тебе кое-что сказать.

Ефрейтор в своем тускло освещенном углу весь подался вперед. Он попеременно смотрел на Гомилку, на Вольцова, на Хольта. Хольт неподвижно сидел на скамье, завороженный спектаклем, который разыгрывался перед ним и которого он не понимал или не хотел понимать.

— Я... я просил послать меня сюда по одной только причине,— задыхаясь от волнения, говорил Гомилка.— Я в этом деле больше не участвую. Иными словами, я решил перейти к русским!

Долго царила тишина.

— Ты принимал присягу, Зепп! — сказал Вольцов.

— Мне *пришлось* ее принять, меня к этому принудили.

— Ты доброволец,— продолжал Вольцов.— Доброволец не может утверждать, что его принудили к присяге.

Гомилка тяжело дышал, плечи у него то поднимались, то опускались.

— Все равно, значит, я нарушу присягу.

— Мерзавец тот, кто в беде оставляет своего полководца,— враждебно и холодно произнес Вольцов.

Но тут взорвался Гомилка, да так, что шрам набух на его лице:

— Полководец... Это не мой полководец! И это не моя война! Ты называешь Гитлера своим полководцем и блюдешь ему верность... Я называю его *преступником,* убийцей и сумасшедшим! Я отказываюсь повиноваться! Я... я был в зенитной артиллерии, я думал, что сражаюсь за Германию.... Я не хотел слышать, не хотел видеть, как он все втаптывает в грязь, как Германию превращает в сплошное скотство... И как мы из-за него становимся преступниками! Но потом мне все стало ясно! И я ставлю точку!

В тишине, которая наступила после его слов, ефрейтор поднялся со скамейки, но никто этого не заметил.

— Я стоял на дворе,— страстно крикнул Гомилка,— и если бы Бём приказал, я бы убил сторожа, хотя тот был прав, когда стрелял, потому что так и надо было Шульце, этому зверю... Но мне из-за этого

стать убийцей! Я не позволю сделать из меня убийцу! Прежде чем такое повторится, я уйду. Да, уйду. И ты не можешь сказать,— уже спокойнее продолжал Гомилка,— что я стремлюсь к чему-то неправедному, разве что я нарушил присягу! Но присяга, данная этому сброду, не может связать человека! — И он выкрикнул свое обвинение прямо в лицо Вольцову.— Тебе нечего возразить мне, Вольцов, нечего! Потому что ты знаешь все. Вспомни лесопильню! Ты знаешь значительно больше, чем говоришь! Ты никогда не говорил нам правды, если эта правда тебя не устраивала! Ты готов погубить нас, Вольцов, лишь бы тебе насладиться игрой в войну. А что эта война ведется черт знает за что, это тебе известно не хуже, чем нам. Ты все знаешь! Ты знаешь «приказ о комиссарах» * и знаешь, что один из исполнителей этого приказа — твой отец... стал преступником, да, преступником! Ты знаешь директиву «нахт унд небель» **, знаешь об «окончательном решении еврейского вопроса», ты точно знаешь, что такое Освенцим, ты знаешь, что в эссенском гестапо имелись приспособления для выбивания зубов! Ты знаешь все. Потому что все это стояло в дневниках твоего отца. Твоя мать многим об этом рассказывала. И ты также знаешь, что твой отец не раз пятнал и позорил офицерскую честь!

Отсветы слабого огонька коптилки пробегали по лицу Вольцова, белому как стена. Но Гомилка не умолкал. Слова рвались из него:

— Такому фюреру я не должен хранить верность! Я выхожу из игры! А теперь, Вольцов, клянись, что ты не попытаешься удержать меня!

Вольцов поднялся и положил правую руку на кобуру пистолета. Потом решительным движением повернулся к Гомилке. Ствол автомата был направлен прямо в грудь Вольцова.

— Так не пойдет,— с угрозой в голосе проговорил он и мрачно взглянул на Гомилку.— Убери эту штуку. Считаю до трех.

— А потом? Что потом? — крикнул Гомилка.

— Потом я тебя уложу на месте!.. Раз...

— Стреляю! — вне себя выкрикнул Гомилка.— Прежде чем хоть раз выстрелить в русского, я убью тебя, клянусь богом! Ты знаешь, Вольцов, вся Германия стала лесопильней, и ты хочешь воевать дальше, чтобы эта мерзость не всплыла на свет...

— Два,— сосчитал Вольцов и изготовился к прыжку.

— Вольцов! — Палец Гомилки уже нажимал спусковой крючок. Хольт бросился между ними. Он понял: Зепп сейчас выстрелит.

— Вы с ума сошли! Убери автомат! Гильберт! Назад! Прежде чем вы убьете друг друга...— Сам не зная что делает, он выхватил из-за пояса ручную гранату.— Сейчас брошу!

Гомилка с неохотой опустил ствол автомата и сказал:

— Я ухожу! Никто меня не удержит! И я не позволю Вольцову пристукнуть меня!

— Гильберт! — крикнул Хольт.— Второй раз в жизни напоминаю тебе, ты мне клялся...

— Я убью его, эту сволочь, предателя! — задыхаясь от ненависти, прошипел Вольцов.

— Гильберт, садись вон туда! — крикнул Хольт.

Вольцов наконец повиновался, хотя в глазах у него пылала ненависть. Хольт облегченно вздохнул. Обернувшись, он увидел, что ефрейтор отставил винтовку.

---

* «Приказ о комиссарах» — преступное распоряжение руководителей гитлеровского вермахта об уничтожении попадавших в плен политработников и коммунистов Советской Армии.

** «Nacht und Nebel» — «Мрак и туман» (нем.) — так гитлеровцы условно обозначали тайное массовое уничтожение гражданского населения.

— Ты отпустишь его? — спросил Хольт.

Вольцов молча подбросил в печку несколько поленьев. Гомилка повесил на шею автомат. Только сейчас открылась Хольту вся важность решения, принятого Гомилкой.

— Да ведь русские прикончат тебя! — воскликнул он.— Они все сметают с лица земли!

Ефрейтор крикнул из своего угла:

— Да замолчи ты! Перестань молоть чепуху! Довольно я ее наслушался... Да... если ты об этом подумаешь в бою, будет уже поздно! Но если мы спокойно приедем на машине, а я вдобавок еще знаю несколько слов по-русски...

Все разом взглянули на ефрейтора. Гомилка удивленно переспросил:

— Мы?

— Ну да, а что ты, собственно, думаешь? Почему я пошел добровольцем? Уничтожать русские танки? Э, нет. У меня сейчас всеобщая забастовка, а не война.

Хольт во все глаза смотрел на ефрейтора, потом опять на Гомилку. Какая-то надежда забрезжила в нем, смутно обрисовался выход. Гомилка сказал:

— Вернер...— и добавил: — пойдем со мной.— Всего три слова.

Вольцов поднял голову и взглянул на Хольта.

Хольт молчал.

— Пойдем со мной,— повторил Гомилка.

Хольт молчал.

— Думай, да поскорее! Давай! Давай! — воскликнул ефрейтор.

— Я не могу! — В какую-то долю секунды в мозгу Хольта пронеслись все долгой муштрой навязанные ему понятия.— Не могу я идти к русским! Я же немец!

— Парень! — воскликнул ефрейтор.— Брось эти фразы! С их помощью уже достаточно долго натравливали рабочих друг на друга! Пойми наконец, *кто* наш заклятый враг!.. Дело не в русских и немцах, дело в буржуазии и пролетариате! Ты что, фабрикант? Может, твоя фамилия Крупп? Ну! Чего ты дожидаешься?

— Буржуазия и пролетариат...— повторил Хольт,— что мне до этого? Мне это все ни к чему! Но мы немцы!

— И твоя Гундель тоже,— сказал Гомилка.

Хольт опустил глаза.

Внезапно темнота тесного барака, как пелена, упала с его глаз. Ослепительный свет залил все кругом. Глазам его открылся сияющий ландшафт, голубое небо над волнующейся нивой. И голос Гундель говорил: «Меня тоже ненавидели... Они все орали мне «сволочь».

Опять настал мрак, озаренный только неровным светом коптилки.

«Гундель... Немцы ненавидят немцев, одни дрожат, чуя конец, другие нетерпеливо ждут конца. А я? К кому принадлежу я?»

— Гильберт! — воскликнул он.— Да скажи ты хоть что-нибудь!

Вольцов встал, надел каску, затянул ремень так туго, что он врезался в тело.

— Я иду сменять Фетера на посту. А ты, Вернер? Кто еще держится на ногах, тот будет сражаться.

— А за что? — крикнул ефрейтор, и в глазах его блеснула ненависть, равную которой Хольт видел только раз в жизни — когда *она* замахнулась топором в сарае.

Воспоминание это ввергло Хольта в еще большее отчаяние.

— За кого? За концерны? За Круппа? За всех других кровопийц? За то, чтобы фашистская сволочь еще продлила свое существование, еще дольше терзала бы народы? За это ты сражаешься?

Вольцов постучал себе пальцем по лбу:

— Я скажу, за что! А тебе, несчастному плебею, этого, конечно, не понять! — Он двинулся к выходу.— За мою солдатскую честь! — Дверь с треском захлопнулась.

Ефрейтор вскочил и простер руку к двери.

— Вот они каковы! Вот как они выглядят, эти головорезы, психопаты, проклятый сброд! Они не лучше фашистов, это юнкерское отродье! Нет, еще хуже. Фашисты исчезнут с лица земли, их вывезут на свалку, и уже скоро. Они нежизнеспособны. Но милитаристская сволочь, она упорнее, она не хочет погибать, она продолжает жить, продолжает заниматься травлей, убивать направо и налево!

— Замолчи! — сказал Хольт. Он посмотрел на Гомилку и опять услышал его голос:

— Пойдем со мною, Вернер!

Хольт поднялся. Он надел каску, взял автомат.

— Я не могу.

— Вернер, открой глаза, пока не поздно!

— Я не могу.— Хольт говорил, ни к кому не обращаясь.— Однажды я во все поверил, поверил, потому что ничего не знал. Теперь, когда я все знаю, и знаю, что все было ложью, все было напрасно, я больше верить не в состоянии. Преступники... что ж, возможно, но мне все равно. Только одного я не вправе допустить — однажды проснуться и понять: я предал Германию в ее самый тяжкий час.

— Германию? — возмутился ефрейтор. Он подошел к Хольту и взял его за плечо.— Ты хочешь сказать: в самый тяжкий час Гитлера. И в самый прекрасный для Германии! — Он подтолкнул Хольта к двери.— Иди, иди, буржуйский сынок.

Хольт, растерянный, вышел из барака.

■

Метель прекратилась. Только что выпавший снег лежал высотою по колено, на шоссе намело белые дюны. Над ними все еще свистел ледяной колючий ветер. Небо было усыпано звездами.

Фетер, Вольцов и Хольт стояли на опушке леса, где ветер запутывался в деревьях.

— Что ж, Вернер,— сказал Вольцов,— я это знал.

— Замолчи! — ответил Хольт и натянул капюшон поверх каски.

Фетер возмущенно воскликнул:

— Да Зепп, верно, малость тронулся! Откуда это известно, что мы проиграем войну? Скоро появится новое оружие, и мы победим!.. Ну, а Зеппу они такое покажут!

— Заткнись! — крикнул Хольт.

Вольцов объяснил Фетеру боевое задание.

— Кристиан, ты с пулеметом займешь позицию на опушке и ни одного человека не выпустишь из танка. Это основная твоя задача. Я расположусь за заграждением. Ты, Вернер, из окопа откроешь огонь по второму танку, едва он появится из леса.

Хольт молча кивнул.

Лунный серп поднялся над деревьями. Снег блестел в белом призрачном свете. Казалось, на все кругом накинута серебряная вуаль.

Гомилка и ефрейтор вышли из барака. Хольт подошел к ним. Вольцов стоял на шоссе. Ветер утих. Гомилка вытащил из кармана маленькую карточку — фотографию своей матери.

— Пошли это моему отцу, Вернер. Можешь написать, что ты сам взял ее у меня, да он и так все поймет, если я оторву верхний краешек.

— Надо уходить, и скорее,— сказал ефрейтор.— Пока этот малый снова не начнет бесноваться.— Он укрепил на палке лоскут от простыни и стал прогревать мотор.

— Прощай, Вернер,— проговорил Гомилка.

Хольт побежал к Вольцову. Лицо Вольцова было искажено яростью, в руках он держал автомат. Но Хольт подошел к нему вплотную и стоял так, покуда за его спиной по заснеженному шоссе не прошумела машина.

— Запомни, это в последний раз я позволил поймать себя на слове,— мрачно проговорил Вольцов.— Солдатская присяга мне дороже ребяческой клятвы той поры. Отныне любой предатель будет уничтожен мною, будь он даже моим родным братом.

Вольцов и Фетер ушли в барак. Хольт остался на опушке. Пустоту в нем не заполняла ни единая мысль, ни единый проблеск надежды.

■

Было шесть часов утра. Хольт вздрогнул и прислушался. Кровь так громко стучала у него в ушах, что он сначала ничего не мог разобрать. Но потом опять послышалось далекое громыхание. Глухой низкий звук сменил его. Танки!

Он с криком бросился в барак. Вольцов и Фетер мгновенно проснулись, схватили противогазы, ремни... Готово!

— Кристиан, к пулемету!

— Тихо! — Громыхание слышалось уже ближе, что-то шумело и лязгало на востоке и на юге тоже, все громче и громче. Затем этот шум, с добрый час, равномерно, не приближаясь, слышался на севере и юго-востоке.

— Что ж это, должно быть, за полчища танков! — заметил Хольт.

— Но, видимо, они идут не сюда, иначе давно бы уже были здесь. Похоже, что они наступают южнее, на Бриг, а севернее идут через Намслау на Эльс. Здесь пройдут разве что отдельные машины.

Танки показались, когда над лесами уже разлился бледный свет утра: тринадцать Т-34 и десять или двенадцать машин с пехотой. Удар настиг трех юношей с неотвратимостью стихийного бедствия. Все продолжалось не более одной минуты.

Лязг гусениц и гул моторов внезапно усилились, танки были уже совсем близко. Хольт спрыгнул в окоп, Вольцов лег за противотанковым заграждением. Первый танк с диким оглушающим шумом вырвался из лесу, водитель, заметив преграду, резко затормозил. Но мотор взревел, и танк подошел к заграждению. Хольт, словно завороженный, смотрел на стальное чудовище. Взрывная волна сбила его с ног. Ослепительно белая вспышка света — и мощный взрыв, как ураган, пронесся по лесу, несколько деревьев закряхтели и надломились... Свистящий поток воздуха взвил до самого неба клубы дыма и снега, разорвал туманную пелену. Заграждение смело. В воронке, свалившись набок, лежал танк. Вольцов, шатаясь, бежал через поляну. В этот момент из лесу появился второй танк, и Вольцов отскочил в сторону. Танк одним рывком повернулся на девяносто градусов и с шоссе ринулся вниз на поляну. Хольт скрылся в своем окопе и повел огонь из пулемета. Танк прошел над окопом. Хольт поднялся и выстрелил из панцерфауста, но попал слишком низко. Взрывная волна прижала его к земле. Из кормы танка капало горящее масло. Башня с жуткой быстротой поворачивалась назад. Стреляли два танка, третий, с повернутым вправо орудием, был уже далеко на шоссе, из его ствола вырвался язык пламени длиною в метр. С устрашающим «ура» наступал спешившийся взвод пехоты.

Хольт добежал до оврага, там Фетер вслепую стрелял из пулемета. Рядом разорвалась ручная граната. Несколько фигур в маскхалатах бежали, стреляя на бегу. Фетер удрал в глубь леса. Хольт нос к носу столкнулся с Вольцовом. Вольцов бежал что было сил. Густой кустарник укрыл их. Хольт пробрался дальше в чащу.

Никто их не преследовал. Стрельба смолкла. Они стояли не дыша и вслушивались: рокот моторов, лязг гусениц. Но шум этот быстро стихал и вскоре стал едва слышен.

— Проклятие! — прохрипел Вольцов.— Проклятие!

Хольт — сердце у него неистово билось — прислонился к стволу дерева. «Что дальше?» Он весь дрожал.

— Отходить, отходить за Одер! — приказал Вольцов.— Может, мы еще как-нибудь переправимся через реку! — Он подтянул ремень.— Так или иначе, а боевую задачу мы выполнили: задержали танки, насколько могли.

Бегство. Бегство на запад через леса, по ломкому льду болот, через безбрежные поля и труднопроходимые чащи. Со стороны Одера доносился гул канонады. После долгого пути они вышли к реке возле какого-то городка. На другом берегу время от времени взвывали 150-миллиметровые орудия. Когда они трое переправлялись на лодке через реку между беснующихся льдин, выше по течению пехота уже начала штурмовать дамбу. Пушки молчали.

9

Хольт вскарабкался по отвесному берегу. Он был настолько деморализован, что лучшим исходом ему казалось забиться в какой-нибудь сугроб. Пошатываясь, шел он навстречу первым домишкам городского предместья, на ходу засовывая в рот кусочки шоколада с кофеином. От полного изнеможения он, как сквозь дрему, воспринял все, что последовало: полевой караул, фольксштурм, плохо вооруженные полуинвалиды, сборы людей в каком-то дворе для контратаки. Они шли за незнакомым лейтенантом через палисадники, глухие улочки, потом по широкому шоссе к мосту... Штурмовая авиация противника... Осколочные бомбы, гудение моторов и огонь бортового оружия... И трупы, повсюду трупы... Лейтенант, недвижно лежащий на снегу... Голос Вольцова:

— Назад!

Какой-то дом в конце улицы... Снова голос Вольцова:

— Они атакуют!

И пехотинцы в маскхалатах, лавиной устремившиеся на них с моста...

Хольт, задыхаясь, упал на колени перед выбитым окошком одноэтажного домика. Как сквозь дымку, он видел Вольцова, вставляющего новый магазин в автомат.

— Назад!

И опять бегство по палисадникам... Десяток-другой изможденных людей, без командира, без оружия — и это армия? Снова завыли снаряды, с правого берега Одера загрохотали залпы орудий, налет штурмовой авиации, рокот моторов, дробный стук бортовых пулеметов, короткие перебежки от дома к дому.

— Кристиан, дай мне магазин, мы можем вести только одиночный огонь, стреляй же!

И снова крик Вольцова:

— Назад!

В подвале какого-то дома на рыночной площади Хольт наконец пришел в себя. Наступление приостановилось, они получили возможность опомниться.

— Вот теперь русские начали переправлять свои войска, танки, артиллерию,— сказал Вольцов.

— Плацдарм — первый сорт,— заметил Фетер.

...Громовой удар, и подвал содрогнулся, крышу сорвало. Над развалинами пронеслись штурмовики. Вольцов приказал Фетеру разведать обстановку.

Через час Фетер притащился обратно с ящиком патронов. Фольксштурмисты, не шевелясь, сидели в полутьме вдоль стен, отупевшие, омертвелые, не способные даже к бегству. Вольцов стал кричать на них, заставил снаряжать магазины автоматов.

— Что там слышно, Кристиан?

— Говорят, что на этом участке наступают сибирские стрелковые части, русские из Сибири, прошедшие специальную подготовку ведения ближнего боя, специалисты наступления! Здесь почти все разбито, но в Штрелене... Уж не знаю... Туда будто бы сегодня ночью подойдет наша свежая дивизия, усиленная танками. Нам надо продержаться до ее подхода.

— Они давно должны были быть здесь,— сказал Вольцов.

В доме напротив открыли интенсивный огонь. Хольт в полной апатии прикорнул в углу. Он думал о Гомилке.

— Выходи! — рявкнул Вольцов.

На рыночной площади показались первые танки. Огонь, рушащиеся дома. Паника. Беспорядочное бегство.

Полуразрушенный деревянный мост. Здесь части местного гарнизона заняли оборону. В сотне метров находился вокзал, там, у железнодорожного переезда, танки беспрепятственно пересекли пути, вышли на шоссе и помчались дальше.

Хольт, задыхаясь и обессилев, лежал на снегу. Смеркалось. Пехота в белых маскхалатах наступала на дамбу. И опять бегство, бегство по заснеженной равнине, по безлесным далям, где только голые вербы там и сям торчали из снега. Стрельба позади них прекратилась.

Они побрели назад. Кучка измученных солдат теснилась вокруг Вольцова — разбитые, несчастные люди. Мороз крепчал, началась вьюга.

Наконец добрались до деревни.

Здесь был командный пункт, были офицеры, войска, противотанковые орудия, склады боеприпасов. Фетер принес горячую пищу из полевой кухни. Хольт сидел на снегу. Фетер протянул ему котелок с горохом.

— Русские!

Крики, беспорядочная стрельба, паника. Но никаких русских не было. Вольцов выругался.

— Черт возьми совсем, у вас галлюцинации!

Их направили на позиции, расположенные в кустах за деревней. Бой вспыхнул снова. Под прикрытием темноты советские пехотинцы продвинулись вперед и заняли низину. В километре от деревни была наспех создана линия обороны, вернее, несколько окопов, вырытых за голыми вербами. Хольт уже окопался. Рядом с ним рыли ячейки Вольцов и Фетер. Они соединили их в один общий окоп и присели, тесно прижавшись друг к другу.

— Дай мне огня, Кристиан! — Это были первые слова, сказанные Хольтом за долгие часы. Огонек зажигалки спокойно горел, прикрытый ладонью.

— Ну и влипли же мы! — проговорил Фетер.

Хольт всматривался в темноту. «Не скулить! Я мог бы лежать где-нибудь с простреленным животом. С перебитыми ногами. Не скулить! Я сам этого хотел!»

Вольцов поднялся, потянул за плечо Хольта.

— Пойдем, Вернер... в деревню! Может, там все устроится с бумагами.— По дороге он бормотал себе под нос: — Уже переправлены танки, артиллерия, минометы. Завтра появится и штурмовая авиация.

Они с трудом тащились по снегу.

■

В деревне у командного пункта то и дело останавливались автомашины. Им бросился в глаза какой-то коренастый малый в белом маскхалате.

— Бургкерт!

— Ах, так и вы еще живы! — Обер-фельдфебель был сегодня трезв.— Они отправили меня в Бриг. Это, мол, расположение нашей одиннадцатой.— Он сплюнул.— Расположение кучи дерьма!

Несколько офицеров вошли в дом.

— Батальон собрался удирать,— сказал Бургкерт.— Они уже укладывают свое барахлишко.

— Что нового на Одере? — спросил Вольцов.— Никто ничего толком не знает.

Обер-фельдфебель был зол и проговорил в ответ:

— Не задавай дурацких вопросов. Лучше помоги мне, я собираю людей. Мы будем наступать!

— Наступать? — возмущенно переспросил Хольт.— Но это же...

— Говорят, фюрер лично отдал приказ нынешней ночью ликвидировать плацдарм.

На улице какой-то капитан с острым подбородком и по-старчески запавшими челюстями приказал Бургкерту:

— Вы прочешете деревню! Здесь полным-полно дезертиров.— С этими словами он исчез.

Бургкерт пришел в ярость.

— Черт знает что! Какой-то задрипанный капитан с авиабазы, а туда же, командует!

Он не двинулся с места. Двое солдат грузили вещи на машины. Но едва солдаты вошли в дом, как Бургкерт подскочил к машине, схватил какой-то ящик и бросился наутек. Вольцов покачал головой.

— Это уж называется мародерством.

Бургкерт бежал, засовывая под ватную куртку бутылку коньяку.

■

Из кучек одичалых солдат был сколочен «штурмовой батальон», который занял оборону перед деревней. Около трех часов утра артиллерийские батареи, расположенные за позицией батальона, открыли огонь. В ответ на деревню посыпался град снарядов и мин. Дома, сараи и амбары рушились, склады боеприпасов взлетели на воздух, артиллерия смолкла. Деревня была объята огнем.

Все чувства в Хольте спали. Он вылез из окопа и, тяжело ступая, побежал по снегу. Отдельные выстрелы. «Почему... Почему наши не отвечают?»

— Дальше!— Это был голос Бургкерта.

— Ура!

«Кто кричит «ура»? Вон там .. окоп! Стой! Бросай гранату! А впереди рев, пальба, разрывы гранат. Красные ракеты. Это еще что?» Хольт побежал быстрее. Фетер задыхался, но не отставал от него. Они спрыгнули в окоп к Вольцову. Хольт залег за пулемет. Осветительные ракеты! Волна огня и крика пронеслась над его головой.

■

Во мраке ночи контратакующий «штурмовой батальон» натолкнулся на наступающую советскую пехоту. Пехотинцы, на ходу ведя огонь из автоматов, вынырнули из тьмы, разбили, разнесли, уничтожили первый эшелон контратакующих, пронеслись над окопами, смяли второй эшелон, ворвались в горящую деревню и ликвидировали последние очаги сопротивления. Больше не существовало «штурмового батальона». Больше не существовало резервов. Остатки батальона в беспорядке бежали на запад. Далеко за бывшей линией фронта еще оставались в живых несколько человек, в окопах или в кустах. Фронт был повсюду.

■

Хольт лежал в окопе, рядом — землистого цвета труп. Советская пехота пронеслась над ним как вихрь, как какое-то наваждение. В свете ракет перед Хольтом мелькали отдельные тени, его пулемет строчил в пустоту, призрачные фигуры перепрыгивали через окоп, чье-то тело тяжело свалилось на него. Это Вольцов спрыгнул в окоп, отбросил в сторону труп и схватил пулемет. Фетер и Бургкерт тоже вернулись. Вольцов прохрипел:

— Как черти, настоящие черти!

Бургкерт кричал:

— Встать! Отходим назад!

Солдаты, отбившиеся от своих разгромленных частей, присоединились к ним. Через горящую деревню они двинулись на запад, покуда встречный артиллерийский огонь их не остановил.

Они сделали привал в небольшой рощице, среди голых, причудливой формы верб. Фляжки у них были полны водки. Пей, лакай, это подкрепляет силы...

Теперь они уже были в состоянии говорить.

— Ребята,— простонал Бургкерт,— вы только подумайте, такую силу сосредоточили на полукилометровом участке! Где уж нам справиться!

Вольцов жадно пил.

Хольт ложкой что-то чертил на снегу. Как он ни устал, слова Бургкерта пробудили в нем способность думать.

«А мы?— думал он.— Нас бьют. Мы хорошо подготовлены и вооружены, у Бургкерта за плечами большой боевой опыт, мы деремся отчаянно. Но нас бьют, гонят, преследуют. Почему? Я словно в параличе. Может быть, это сознание неправоты? Может быть, это оттого, что мы знаем: все было ложью. А они? «...попробуй почувствовать себя на месте большевика,— говорил Гомилка,— у которого расстреляли всю семью или угнали ее в Германию» ...И еще: «...не они начали!..»

Хольт вытянул онемевшие ноги на снегу и думал, думал. «Мы напали на них, наша армия привыкла побеждать, и мы дошли до Волги. Мы стояли на Кавказе, и ни один из нас гроша ломаного не дал бы за их поверженные армии. Но они поднялись и разбили нас, и снова, и снова разбивали, они гнали нас на протяжении трех тысяч километров, и становились все сильнее, все сильнее, а теперь они перешли Одер. И нет среди них никого, кто бы, как я, думал: все напрасно. Никого, кто бы не верил в победу. Никого, кто сказал бы себе: все было ложью. Наверно, это и делает их непобедимыми».

Все трое молчали.

■

Они шли дальше. Наконец снова большая деревня, опять эсэсовцы. Командир накинулся на них:

— Почему вы оставили фронт?

— Старина, фронта больше нет. Есть только русские, парни что надо! Погоди, скоро их увидишь!— Бургкерт оттолкнул командира.

Стоявший рядом капитан так и задрожал от возмущения.

— Одиннадцатая танковая дивизия? Здесь нет никаких танков. Танки в Бреслау, но без экипажей. Вы чего здесь околачиваетесь? Сейчас вам выдадут документы. Вы пойдете на Штрелен.

В Штрелене решили включить их в сводную роту и отправить снова на передовую.

— Бежать хотите? На фронт! Обратно!

Бургкерт стал врать что было силы: радисты спецназначения, крепость Бреслау, штаб армии! Им дали направление на Бреслау.

Штрелен казался запрудой, на которую наткнулся мчащийся людской поток, уносивший с собой штабы, полки, обозы, отряды трудовой повинности, военнопленных... Орудийные раскаты, громыхавшие на востоке, становились все явственнее. Всех охватила паника. Полевая жандармерия прочесывала рестораны и пивные каждые полчаса.

Хольт, обессиленный, сидел в кафе. Поезд на Бреслау отходил только вечером. Было жарко и душно. Вольцов ругался, что лимонад теплый, Бургкерт выплеснул напиток под стол и налил в стакан водку, которую сумел сохранить целой и невредимой. Осушив один свою бутылку, он заснул.

— С Бургкертом в танке,— сказал Вольцов,— очень неплохо. Но только если у него достаточно водки. И вообще он жизнеспособен только под алкоголем...— Вольцов бросился вдогонку за каким-то штатским и вырвал у него из рук газету.— Сегодняшняя,— сказал он, разворачивая ее.— Сообщения из ставки фюрера: «Между Козелем и Бреслау отражены многочисленные попытки врага форсировать реку».

«Отражены — это хорошо»,— подумал Хольт.

Вольцов закурил.

— Слушай, Вернер: «Как развернутся события на востоке?»

— Вероятно, мы скоро получим новое оружие! — воскликнул Фетер, который слушал, раскрыв рот...

— «...Каждый видит свой долг в том,— продолжал читать Вольцов,— чтобы, не щадя себя, используя малейшую возможность, уничтожать большевистские танки и пехоту».

«Уничтожать? Да ведь это было только вчера... Зепп и ефрейтор... Противотанковое заграждение... Вольцов и его «тактическое превосходство»... Не думать об этом!»

— «...Здесь стало известно, что русские ввели в сражение все наличествующие силы, и если нам удастся эти силы разбить, русские останутся почти безоружными и вынуждены будут отдать обратно все, что захватили»,— продолжал читать Вольцов.

— *Почти* безоружными — здóрово,— сказал Фетер.— Видно, тот, кто это пишет, считает нас за совершенных болванов.

— А что, в сущности, стряслось вчера у противотанкового заграждения? — спросил Хольт.

— Я думал,— с неохотой выговорил Вольцов,— что они растеряются от неожиданности.

— Мальчик,— внезапно сказал своим рокочущим басом оберфельдфебель, глядя сонными глазами из-под опухших век.— Они же превосходно знают фокус с противотанковым заграждением. Они знают все решительно фокусы, какие только бывают. На что я прожженный танкист, но они и мне ни в чем не уступят.— Он взял свой алюминиевый стакан и наполнил его водкой.— Наш панцерфауст — просто дерьмо. «Лучшему солдату лучшее оружие!»

Танкист осушил стакан и уселся поглубже.

— Ну и околпачили же нас, парень! — Он закрыл глаза.

Вольцов слушал, прищурившись. А обер-фельдфебель продолжал говорить, отрывисто, теряя нить мыслей, в полусне.

— На троих у нас было шесть моргенов земли... Все под картофелем, да еще помещику... Барон наш был майором. Отправился он однажды охотиться на кабанов. А охотничью коляску понесло... Четыре мерина... Я схватил их под уздцы.— Обер-фельдфебель уже еле ворочал языком.—...Барон и говорит: «Имя? Здешний?» Я говорю: «Ваш сосед... Три брата, шесть моргенов. Народ без земли...» А он и скажи: «Ступай добудь себе землю. На востоке земли много».— Голова обер-фельдфебеля упала на грудь.— Я навсегда запомнил. Думал: вот станешь солдатом, тогда и добудешь себе настоящее хозяйство.— Он вдруг стукнул стаканом по столу.— Наливай, солдат!

Вольцов ухмыльнулся и наполнил его стакан. Бургкерт пил, не открывая глаз. Водка текла у него по подбородку, по шее, по мундиру. Он провел рукой по губам, и рука, словно парализованная, тяжело упала.

— И все... и больше ничего... и всегда я дрался, только чтобы иметь хозяйство.— Он захрапел.

— Нализался! — сказал Вольцов.— Дубина эдакая!

— Да, здорово его околпачили с этой землей на востоке! Остался он с носом! — заметил Фетер.

■

Хольт так и заснул сидя. Проснулся он только к вечеру. Кафе тонуло в сумерках. Столы опустели. За стойкой уже не мыли стаканов. Все давно ушли. Проснулись и остальные. Бургкерт послал Фетера в город посмотреть, где застряла их машина.

Они принялись за еду.

— Здесь когда-то стояли гусары,— начал Вольцов.— Совсем близко отсюда, в Войзельвице, барон Варкотш принимал старого Фрица...

— Ты что, рехнулся? — спросил Бургкерт.— Видно, нагрузился не в меру?

— Н-да,— сказал Вольцов и закурил.— Пора бы уж и нам в дело. Хочу успеть получить офицерский чин.

В дверях появился Фетер.

— Милостивые государи! — прокаркал он.— Машина подана.

Хольт залез под брезент и притулился у заднего борта. Он никак не мог уснуть.

10

— Где мы? На правом берегу,— пояснил Вольцов.— Мы ведь уже переправились через Одер.

— Значит, снова здоро́во! — крикнул Фетер.

Вдали грохотала канонада. Лес напоминал военный лагерь. Бронетранспортеры, тягачи, орудия, автомашины, бочки с горючим, бараки, засыпанные снегом, палатки, множество солдат...

Бургкерт поговорил с каким-то обер-лейтенантом и прошел вперед. Хольт последовал за ним.

По железной дороге, пересекавшей лес, двигался эшелон с танками. С платформ торчали непомерно длинные стволы танковых пушек.

— «Пантеры»! — в восторге крикнул Фетер.

Вскоре послышался рев моторов. По штабелям рассыпающихся бревен танки с грохотом съезжали с платформ и шли к цистернам.

— С такими танками мы, разумеется, победим. Верно? — Фетер радостно потирал руки.

Восемнадцать танков рассредоточились в кустах на опушке леса. Немедленно началось комплектование экипажей. Бургкерт сразу стал важной персоной.

— Командовать танками буду я. Наглец обер-лейтенант, конечно, остается здесь. Эта поездка для него слишком рискованна.

— Мы едем с вами,— заявил Вольцов.— Не возражайте, господин обер-фельдфебель. Я буду наводчиком, Хольт радистом, Фетер заряжающим. Вот у вас и готов экипаж, на который вы вполне можете положиться.

Бургкерт посмотрел на Хольта.

— Можешь работать радистом?

Хольт кивнул.

— Ребята,— сказал Бургкерт, и рука, в которой он держал сигарету, задрожала,— если вы струсите... Я уйду, а вас оставлю подыхать. Мне это раз плюнуть.

Хольт снова кивнул. Он рассеянно взглянул на танки, катившиеся по просеке, и отправился вслед за Вольцовом к головному танку.

— Выдать боеприпасы! — послышалась команда. И Хольту вспомнилась зенитная батарея.

К нему подтащили ящики со снарядами, и он принялся подавать их Фетеру в танк. Обер-лейтенант и Бургкерт обошли все танки.

— Экое безобразие! Парни курят! Они что же, решили весь лес взорвать?

Хольт подал еще один снаряд. Он уже с трудом двигал руками.

— Ну-ка, живее!

— Проклятый надсмотрщик! — ругались солдаты.

— От морального духа решительно ничего не осталось! — проворчал Вольцов. С трудом переводя дыхание, он уселся на пустой ящик.

— Готово! — Фетер вылез из башенного люка и спрыгнул на землю. Бургкерт принес документы, необходимые для радиосвязи.

Хольт быстро обежал танки. Окоченевшими пальцами он записывал имена радистов. Над лесом медленно всходила луна. Искрился снег. Рваные тучи отбрасывали таинственные тени. «Эшенхаген, Папст, Адам, Маас, Йенер, Герке и прочие, и прочие»,— записывал Хольт.

■

Взобравшись на танк, Хольт повис над люком и попытался нащупать ногами точку опоры. В танке горела электрическая лампочка. Возле пушки стоял Вольцов и протирал куском замши окуляр прицела.

— Машины прямо с завода! — прокричал он сквозь рев мотора.— Две они забрали у нас для командира.

В танке все было забито боеприпасами. Хольт взобрался на сиденье и надел на себя кожаный шлем с наушниками. Включив радиостанцию, он настроился на заданную волну и подвинул ногами свой рюкзак. Фетер вложил в него паек. Но есть Хольту не хотелось. Ему казалось, что он сдавлен стальными плитами. В спертом воздухе нечем было дышать. Невольно припомнилась песня: «И танк нам станет стальной могилой...» Он включил переговорное устройство, и до него донесся веселый голос Вольцова:

— Кристиан! Не вздумай только перепутать бронебойные снаряды с осколочными. Это нам может стоить головы.

— Тихо! — крикнул Хольт.— Перехожу на прием!

Послышался резкий голос:

— Всем доложить о готовности!

Отозвались все пятнадцать танков.

— Радиомолчание! Русские пеленгуют! Конец.

Хольт сидел на своем кожаном сиденье, погруженный в мрачные мысли. Фетер готовил пулемет Хольта к ведению огня.

— Что-то ты очень весел! — сказал Хольт.

— А нам в пайке выдали веселящие таблетки. Твои взял Гильберт.

■

Мороз все еще трещал в верхушках деревьев. Хольт медленно шел лесом. Кругом стояли танки с работающими моторами, самоходные орудия, бронетранспортеры.

Таща на себе тяжелую ношу, подходили пехотинцы и располагались возле танков. Шум моторов заглушал далекие раскаты орудийных выстрелов. На востоке занималось утро.

Алкоголь возбуждающе подействовал на обер-фельдфебеля. Голос его опять гремел, руки перестали дрожать, морщины на запавших щеках разгладились. Он без конца обсуждал с Вольцовом боевую задачу.

— Боевые группы Бредова. В первом эшелоне будут наступать танки. Непосредственно за ними самоходные орудия — так называемый дивизион штурмовой артиллерии, потом два мотопехотных батальона на бронетранспортерах... У нас на броне будет танковый десант. Кроме того, нас поддерживает полевая артиллерия и скоро должен подойти пехотный полк на машинах.

— Танков у нас маловато! — заметил Вольцов.

Бургкерт принялся разъяснять положение. Он сказал, что противник занимает большой плацдарм на левом берегу, но севернее остатки немецкого корпуса продолжают удерживать на правом берегу плацдарм и понтонный мост.

«Никто уже ничего не понимает»,— подумал Хольт.

— У русских на фронте сейчас одна пехота,— сказал Бургкерт.— Они перегруппировывают свои силы. Наш корпус должен был пробиться сюда с севера, да застрял. Значит, теперь мы должны пробиться с юга и открыть ему дорогу.— Он вдруг выругался.— Да плевать я хотел на все это. Меня беспокоит совсем другое. Чтобы выполнить задачу, нам осталось пройти около девяноста километров, на наших танках мы, пожалуй, пробьемся. Только бы хватило горючего. Все остальное — дело пехоты.— Он посмотрел на часы.— Мы будем наступать. Хольт, передай всем: двигаться прямо по шоссе, потом свернем и будем идти полем, пока не выйдем на другое шоссе...— Бургкерт взял флягу и отхлебнул глоток. Хольт соскользнул на сиденье. Странное состояние овладело им. Неясные чувства, словно волны, набегали и сотрясали его. Он все видел с невероятной ясностью. Окружающее придвинулось к нему близко-близко. Малейший шум и треск в наушниках казались удивительно громкими. Левое веко у него подергивалось. «Волнение,— подумал он,— а может быть, таблетки...»

■

Танк рванулся, двинулся вперед и в числе шестнадцати «пантер» занял место в голове боевой группы. За танками выстроились самоходные орудия и вереница бронетранспортеров. Пройдя сквозь молодую рощу, танк повалил несколько сосенок, выбрался на просеку, где к колонне присоединилось еще несколько самоходок, и наконец выполз на шоссе.

Хольт протиснулся к Фетеру. Обер-фельдфебель вылез из башенного люка до пояса. Ледяной встречный ветер бил ему в лицо. Пятиметровый ствол пушки выступал далеко вперед над лобовой частью танка. Они миновали противотанковые заграждения, возле которых в окопчи-

ках сидели солдаты. Небо заволокло, с севера низкие тучи мчались над лесом.

— В такую погоду нам штурмовая авиация не страшна,— заметил Бургкерт.

Дорога полого поднималась вверх. Механик-водитель переключил передачу. Закоченевший Бургкерт опустился в люк. В наушниках Хольт услышал голос командира боевой группы, который кричал, вызывая самоходную артиллерию:

— Не отставать! Идиоты проклятые! Не отставать, черт вас дери совсем!

«Ишь разошелся»,— подумал Хольт. Наконец откликнулись радиостанции самоходной артиллерии, а потом и пехоты.

— Дрыхнете вы, что ли? В воздухе «ильюшины». Наблюдайте!

Хольт всем передал предупреждение. Танк вдруг затормозил так резко, что Хольт по инерции подался вперед. Их окружили солдаты. В оптический прицел Хольт увидел два разбитых танка, валявшихся на обочине шоссе, и зенитные орудия рядом в кустах. Танк двинулся дальше. Хольт машинально настраивал радиостанцию. Радист командира группы произнес словно мимоходом:

— Русские ведут интенсивный огонь, но это только так, нервничают. Атакуйте! — И тут же: — Командир будет идти за вами вместе с полевой артиллерией. Когда прорветесь, доложите!

Хольт только покачал головой, зато обер-фельдфебель разразился проклятиями, прильнул к фляге с водкой и стал браниться.

— Сперва старик в погоне за орденами втравливает нас в это дерьмовое наступление, а потом плетется в хвосте, на что это похоже!

Танк опять остановился. Хольт выставил голову на ледяной зимний воздух. Прямое, как стрела, шоссе, выйдя из леса, тянулось по равнине, безлюдной и снежной. Хольт посмотрел на восток. Поля, луга, кустарник — до самого горизонта. А там не то туман, не то клубы дыма. Неожиданно перед танком выросли какие-то фигуры в белых касках. Бургкерт долго смотрел в бинокль, потом приказал Хольту связаться с танком командира группы.

— Его присутствие здесь необходимо.

Командирский танк не отвечал. Раздался только наглый голос радиста самоходной артиллерии:

— Господа изволят завтракать!

— Хольт, немедленно вызови командира! — крикнул Бургкерт, приходя в бешенство.— И брось ты свою вежливость!

Наконец командирский танк ответил.

— Что это у вас там за безобразие? — гаркнул радист командира.— Почему не атакуете?

Бургкерт вышел из себя.

— Потому что мне и отсюда видно, что это дело безнадежное.

— Атаковать немедленно! — послышался голос.

— Атакуем! — прокричал Бургкерт.— Но если мы потеряем половину роты, они нас...

«Да ничего с нами не случится,— решил Хольт.— Через полчаса мы будем уже в тылу у русских».

— Не останавливаться! — раздался снова голос радиста командирского танка.— Посылаем за вами следом полевую жандармерию!

— Пожалуйста! — заорал Бургкерт.— Пожалуйста! В таком случае, мы повернем орудия в другую сторону!

Хольт выключил радиостанцию. Солдаты, стоявшие вокруг танка, заулыбались.

— Что, огня испугались? Тоже мне аристократы. А мы изволь в него переть? Себя-то господам всегда жалко.

Бургкерт отхлебнул из фляги и приказал:

— Вперед!

Мотор взревел, танк свернул с шоссе и, покачиваясь, словно на волнах, пошел вдоль опушки. Остальные танки покатили за ним и рассеялись по равнине, за ними потянулись и стоявшие на опушке самоходные орудия.

— Вернер, передай, чтобы два танка из первого взвода вышли вперед,— раздался приказ Вольцова.— Пусть прикроют нас с флангов.

И тут же Хольт услышал, как Бургкерт сказал:

— Клотше, смотри, как бы нам не подавить свою пехоту.

Хольт взглянул в свой оптический прицел. Вселенная, поглощенная черной тучей дыма, гибла у него на глазах. Красные и белые молнии прорезали тьму. Сквозь рев моторов слышались громовые раскаты разрывов.

— Закрыть люки!

Завеса огня преградила им путь, затем ее не стало. Только серый туман вился вокруг танков, туман и черный дым, когда перед головной машиной вдруг взметнулся вверх гигантский земляной фонтан, и танк провалился в воронку. Хольт не слышал ни грохота разрывов, ни звона осколков, бьющихся о броню, ни воя снарядов. Слышал только, как взревел мотор и как крикнул Бургкерт:

— Клотше, полный газ! Вперед!

Танк двигался, спотыкаясь и проваливаясь в воронки. Снаряды рвались вокруг. Хольт прижался глазом к оптическому прицелу. Он увидел, что правый танк ушел метров на тридцать вперед, а за ним, невзирая на разрывы снарядов, согнувшись бежали пехотинцы, но шквал огня заставил их лечь.

— Клотше! Окопы! Осторожно!

Танк шел через окопы и воронки. Но Хольт уже ничего не хотел видеть. Лес разрывов, люди в окопах, залегшие под этим адским огнем, пехота, следовавшая за танком и уже поредевшая под градом осколков. Люди в отчаянии цеплялись за машины, и танки тащили их за собой сквозь снег и грязь... Хольт старался ничего не видеть. Но тут опять прозвучал голос Бургкерта:

— Пробились!

Дрожащая, окутанная дымом земля... Вдруг туман разорвался, и перед Хольтом открылось огромное пространство, вплоть до самого горизонта, обозначенного лесом...

— Осторожно! Истребители танков! — крикнул Бургкерт.

В памяти Хольта сразу возникла инструкция по борьбе с танками: как подкрасться к «мертвому пространству» танка, как лечь так, чтобы танк прошел над тобою, как подползти сзади к стальному колоссу... Но вот что чувствуешь, когда сидишь внутри этого стального гроба, и нервы твои натянуты как струна, и ты парализован страхом, и все твои чувства обострены, словно у животного, сжавшегося в комок от смертельного ужаса... Это Хольт узнал только сейчас. Он сильнее стиснул рукоятку пулемета... Он видел окоп, каски, непохожие на те, что носили они, и белые маскхалаты за бруствером. Он слышал, как крикнул Бургкерт и как раздался первый оглушительный выстрел пушки... Стрелял Вольцов!.. Над бруствером окопа взметнулся столб огня, снега и земли. Открыли огонь и пулеметы. И вдруг окоп исчез из поля зрения Хольта. Танк зарылся носом в землю, но под оглушительный рев мотора вновь принял правильное положение. В наушниках раздался голос Бургкерта: «Пехота завязала рукопашный бой!» И еще другой голос, крик радиста соседнего танка справа: «У нас на броне человек... о, господи... сбейте его... А-а-а! Снимите его!»

И Хольт закричал:

— Вольцов! Помоги правому соседу... Да помоги же ему!

И Бургкерт:

— Гранатой! Угломер пятнадцать — ноль...

Голос Вольцова произнес:

— Я и так разрываюсь на части.

Вольцов повернул башню влево. И снова крик соседа справа, искаженный смертельным ужасом голос радиста:

— Го-о-о-орим! На помощь!

Ледяной голос Вольцова:

— Опять окоп, господин обер-фельдфебель.

Танк резко остановился. Пушка выстрелила. Голос механика-водителя произнес:

— Под гусеницей — окоп.

Танк несколько раз повернулся на месте и пошел вперед.

Они быстро продвигались к лесу, как вдруг перед ними взметнулся столб земли.

— Противотанковые орудия! Противотанковые! — бормотал Бургкерт.— Нет, танки!

Вольцов крикнул:

— Клотше, тут торчит ветка и мешает наблюдать. Подай-ка немного вперед!

Танк продвинулся вперед, высунув из куста свою пушку. Теперь и Хольту было хорошо видно все широкое пространство, вплоть до лесной полосы. Вольцов выстрелил.

— Хорошо замаскировались! — крикнул он.

Еще один выстрел и еще...

— Попал! — сказал Бургкерт.— Здорово! Отползает. Ну-ка, живо, еще разок!

Вольцов снова выстрелил. Фетер открыл люк и швырнул горячие гильзы в снег. Холодный воздух ворвался в танк.

— Еще раз! — сказал Бургкерт.— Немного левее, Вольцов. Дай-ка вон по тому красному кусту... Да, да, чуть повыше.

Вольцов дал еще несколько выстрелов, и тут что-то смело лесной островок, растерзало заросли граба, выломало молодые дубки и желтым пламенем охватило сухие ветви...

— Закрыть люк! — отчаянным голосом приказал Бургкерт.— Вольцов! Нас обнаружили. Тут один... справа. Рядом с кустами... Огонь! Да скорее же, он стреляет!

На этот раз снаряд ударился о броню танка.

— Подбиты!

— Левая гусеница! — доложил механик-водитель.

Мотор взревел. Танк двинулся и снова остановился.

— Все в порядке!

Новый взрыв на опушке. В воздух взлетели комья земли, обломки деревьев, ветки.

— Стопятидесятидвухмиллиметровые! — проговорил Бургкерт.

По радио крикнули:

— Атакуйте! Мы вас поддержим! Их очень мало!

Хольт попытался связаться с мотопехотой, но она где-то отстала, и ее едва было слышно.

— Залегли на месте прорыва... Противник ведет интенсивный огонь... Отражаем контратаки!

— Русские уже закрыли брешь! — сказал Бургкерт.— Клотше, вперед!

В кустах они увидели еще один горящий танк. Лес пылал. Они помчались по полю, повернули направо, выбрались на шоссе, пересекли железнодорожное полотно и снова углубились в лес. За ними следом

шла самоходная артиллерия. Полчаса они продвигались, не встречая сопротивления. Бургкерт стоял в открытом люке. Вдруг он крикнул:

— «Ильюшины»! — и нырнул в башню. Над ним захлопнулся люк. Самолеты кружили над лесом, взмывали в небо и снова пикировали на шоссе. Танки заползли в лес и остановились. Послышались взрывы бомб, открыли огонь авиапушки.

— Ну теперь мы окончательно влипли. Свяжись-ка со взводами, Хольт,— сказал Бургкерт.

Взводы откликнулись.

— Свяжись с пехотой.

Мотопехоту было еле слышно.

— Отражаем фланговые атаки танков!

Бургкерт слушал, держа в руках только что откупоренную бутылку водки.

— Танков? Значит, они пропустили нас и теперь уничтожают нашу мотопехоту.— Бургкерт хлебнул водки.

Хольт крикнул:

— Фетер, вылезь, посмотри: что в воздухе?

Фетер тотчас же доложил:

— Ничего не слышно. Ушли.

Одиннадцать танков выползли на шоссе и пошли дальше. Лес кончился. Потянулись поля. И тут опять налетели самолеты. Три танка, объятые пламенем, остановились. Восемь достигли спасительной опушки. Самоходная артиллерия, следовавшая за танками, остановилась в роще, и ее бомбили самолеты. Хольт услышал позывные командирского танка, принял и записал текст радиограммы. «Нет уж, подтверждать получение этой радиограммы я не буду». Он передал листок Бургкерту. Командир группы приказывал: «Танкам и самоходным орудиям вернуться и оказать помощь мотопехоте!»

Бургкерт прочитал радиограмму. В наушниках послышался голос радиста самоходной артиллерии:

— Вы слышали этот бред? Повернуть назад! Ну, парень, тут уж всем нам конец.

Бургкерт:

— Но ведь если мотопехота не прорвется, наше продвижение бессмысленно.

Вольцов:

— Но если мы вернемся и выручим мотопехоту, у нас кончится горючее, и тогда наша атака все равно окажется бессмысленной.

Бургкерт:

— Наше наступление с самого начала было бессмысленно. Хольт, ты подтвердил получение радиограммы? Нет? Вот пес хитрый! Выключи прием. Вызывай самоходки на ультракоротких. А для старика мы прикинемся мертвыми.— И, обращаясь к механику-водителю, Бургкерт приказал: — Вперед, Клотше!

Они опять пересекли линию железной дороги и остановились в лесу. Здесь они простояли много часов. В небе беспрерывно кружили самолеты.

— Они даже не высылают против нас танков! — сказал Вольцов, обращаясь к Бургкерту.

— Зачем? Их заменяет авиация.

Наконец налет кончился. Шесть уцелевших танков взяла под свою защиту темнота. Они снова пересекли линию железной дороги и, словно звери лесные, укрылись в чаще. Целый час на ближнем шоссе слышался лязг гусениц — шли танки. Наконец они двинулись дальше, с открытыми люками. Казалось, экипаж всеми пятью чувствами вслушивается в темноту. Горизонт пламенел от залпов орудий, линия фронта была

уже недалеко. На небе взошел серп месяца, и тут они увидели не менее ста русских танков, сосредоточившихся в исходном районе. Канонада смолкла. Четыре из оставшихся танков скрылись в темноте. На рассвете они прорвались через линию фронта, прошли под мощным минометным огнем и, пройдя еще несколько километров, остановились в селе. Бургкерт вылез из танка и отправился искать командный пункт.

■

Когда танк остановился, Хольт упал. Упал ничком на радиостанцию, да так и остался лежать, зарывшись лицом в руки. Его тряс озноб, он задыхался. «Удалось,— думал он,— спасены!» Наконец он пересилил свое волнение и вылез из танка.

— Вот,— сказал Вольцов,— проглоти-ка первитин, взбадривает. Есть у тебя шоколад? Только не скисать!

К ним подошел Бургкерт.

— Нам надо до рассвета переправиться через Одер.

Накануне остатки разбитых немецких войск подошли к Одеру. В эту ночь был оставлен плацдарм на правом берегу. Лишь незначительные силы прикрытия находились на плацдарме и ждали приказа отходить.

■

По шоссе, обстреливаемому тяжелой артиллерией, четыре танка подошли к Одеру и взобрались на дамбу. Здесь в один из четырех попал тяжелый снаряд и расколол его надвое. Остальные сползли к берегу и приблизились к мосту.

Стоп! В ожидании своей очереди танкисты вылезли из машин. По мосту шла пехота. Стало уже совсем светло. Бургкерт нещадно бранился.

Понтонный мост вот уже два дня находился под непрерывным обстрелом. Днем переправу бомбила авиация. Саперы восстанавливали мост и кое-как латали понтоны.

— По местам!

Хольт сидел в открытом люке, свесив ноги внутрь танка. Фетер сидел на броне, Вольцов стоял позади него. А Бургкерт, стоя в открытом башенном люке, дирижировал водителем, единственным, кому пришлось опять спуститься в убийственную тесноту танка.

Мост ушел уже глубоко под воду. Снаряды рвались и покрывали его осколками льда и стали. За белым ледяным туманом лежал далекий берег. «Я это уже видел,— подумал Хольт,— я ведь этот мост знаю...» Но нет, в его памяти просто всплыла картина, писанная маслом,— Березина. Танк лег на мост всей своей сорокашеститонной тяжестью. Понтоны ушли под воду, но мост выдержал. Танк медленно дополз до середины реки. За ним шел второй. Было уже совсем светло.

Опять налетела авиация. На берегу гремели зенитные орудия. Второй танк развалился, в него попала бомба. Словно пылающий факел, стоял он посередине реки. Хольт в ужасе закрыл лицо руками. Он чувствовал, как под ним сотрясается танк. Гигантский столб воды и льда поднялся к небу, и два понтона скрылись под водой. Мост еще глубже ушел под воду, настил тоже погрузился в реку, и танк стал клониться набок. Хольт вывалился из танка на мост. За ним выскочил Вольцов. Фетер прыгнул на Хольта. Бургкерт все еще стоял в башенном люке. Танк перевернулся, упал с моста и пробил лед. И мост, освободившись от многотонного груза, снова всплыл. Над рокочущей рекой торчала башня танка с пушкой.

Бургкерт подплыл к понтону. Хольт встал, пошатываясь. Самолет промчался над мостом и смел огнем все, что на нем еще оставалось.

...Запрокинув голову, Хольт лежал в грязи, мало-помалу впадая в бессознательное состояние. Сначала он смотрел в серое небо, озаряемое молниями, потом начались галлюцинации. По мере того как тьма заволакивала его сознание, он все яснее видел нежное, чистое лицо Гундель, склонившееся над ним, но большие глаза, казалось, не смотрели на него, губы ему не улыбались. Потом и это лицо скрылось в тумане.

II

Хольт лежал в госпитале в маленьком нижнесилезском городке Когда-то здесь был тыловой лазарет, потом его эвакуировали, а на его месте разбили полевой госпиталь, куда привозили раненых, непрерывно прибывавших с Восточного фронта. Легкораненых, способных держаться на ногах, отправляли дальше. Но фронт придвигался все ближе и ближе и гнал перед собой волну больных, изувеченных, вконец обессилевших солдат. Гром канонады доносился в палаты. В боковом флигеле находился медицинский пункт какой-то дивизии.

Хольта ранило в бедро. Осколок не задел какого-либо значительного сосуда или нервного сплетения Месяц, сказали ему, в крайнем случае, полтора... Тут и не такое видывали.

Пулевые и осколочные раны, сопровождавшиеся гнойными и гангренозными воспалениями, заражение крови — все это здесь было привычно и обыкновенно.

Первую, самую тяжелую неделю, когда мучительно болела рана, Хольт находился в бессознательном состоянии. Потом постепенно он начал приходить в себя. Хольт лежал на койке, смотрел в белый потолок и грезил, как бывало в детстве, когда по целым дням мечтал о кругосветных путешествиях, о славе и власти... И теперь, в дни болезни, перед ним возникали разные видения. Но они проходили, словно в потустороннем мире, в бесконечной весне... Бесшумные шаги сестер-монахинь не мешали Хольту. В мир его грез почти не проникали ни страдания раненых, ни мучения умирающих...

Хольт сдержал свое слово — он переслал фотографию отцу Гомилки, но на письмо адвоката, которое вскоре пришло, уже не ответил. Гундель он написал.

В один прекрасный день Хольт услышал стук кованых сапог и грубый голос. Он вздрогнул в испуге, вырванный из мира сновидений, и сразу вернулся к действительности. Приехал Вольцов и принес с собой мороз, грязь, запах пота и кожи. Жизнь ворвалась в тихую палату и напомнила Хольту, что еще не все миновало.

Стояла середина марта. Хольт уже неделю как поднялся с постели. Хромая, добрался он до окна и принялся глядеть в сад. Снег таял, и в окно струился теплый воздух, но на Хольта вдруг пахнуло ледяным холодом. С запада примчались тучи, пошел снег, снежная буря завыла над домом. На другой день над ними простерлось морозное небо. Зима снова восторжествовала над весной.

И тут приехал Вольцов! Он придвинул стул, расстегнул шинель и показал унтер-офицерские погоны...

— Вернер! Старый вояка!

Вольцов был совсем такой, как обычно. Нет, он все же изменился, стал старше... Глаза его запали, твердый подбородок заострился, скулы раздались и словно одеревенели. И Фетер тоже пришел. Он стал еще более худым, даже тощим. Увидя Вернера, он крикнул:

— Ну как, выкарабкался? Поторапливайся!

Оба приехали из казармы. Вольцов сразу же начал рассказывать. Бреслау давно окружен, он теперь далеко за линией фронта. Когда они отошли за Одер, их в составе сводного отряда заставили совершенно бессмысленно атаковать русские позиции на плацдарме. Многочисленные атаки успеха не принесли. А потом с плацдарма на них вдруг двинулись русские танки... Сводный отряд, понеся большие потери в бою с танковым десантом, отошел. Через несколько дней Вольцова и Фетера отправили в тыл.

— Ну и капитан же нам попался! — рассказывал Фетер.— Заявил, что в военном отношении мы подготовлены плохо. Нет, подумай только!

Вольцов сказал:

— Да уж ладно. Натерпелись страха. Все время в боях.

«Неужели Вольцов сказал — страха?»

— Так что в конце концов мы вернулись к Вейнерту.

В казарме они застали все без изменений: рычание Ревецкого, муштра Вейнерта.

— Одним прекрасным утром,— рассказывал Вольцов,— входит к нам Ревецкий: «Поздравляю вас, унтер-офицер Вольцов!» Итак, моя офицерская карьера в порядке. Не окончившие военную школу очень редко так быстро получают повышение. Вейнерт сказал, что самое лучшее, если я сразу подам рапорт с просьбой послать меня на фронт. Я и подал.

— И я, разумеется, тоже,— добавил Фетер.

— Так что теперь мы на пути к продвижению,— сказал Вольцов, раскачиваясь на стуле.— А ты когда сможешь вернуться? Лучше всего отправляйся с нами. Ведь русские мчатся на всех парах.

И тотчас же со всех коек посыпались вопросы — робкие, отчаянные. Вольцов был просто нашпигован новостями.

— Amis стоят вдоль по всему Рейну, Кобленц падет с часу на час...

— Но ведь нога еще плохо слушается, Гильберт...

— А ты поторапливайся! — говорил Вольцов.

Прошла неделя, и Вольцов появился снова. Он прибежал после страшной ночи, когда раненые не могли сомкнуть глаз. Далекая канонада все приближалась и приближалась, и наконец сквозь ее глухой гул явственно послышались звонкие выстрелы танковых пушек... Как только рассвело, Вольцов, невзирая на крики дежурных сестер, ворвался в палату. Он был с ног до головы покрыт грязью и, только уже подойдя к койке Хольта, сорвал с головы каску.

— Русские!

Тяжелораненый, которого накануне оперировали, застонал в жару. Остальные лежали неподвижно, парализованные страхом.

— Прорвались танки! — крикнул Вольцов.— Бургкерт забирает из канцелярии твои документы. Идем, Вернер!

Хольт стал одеваться. Он *должен* был идти.

■

Возле госпиталя остановился тягач с 75-миллиметровым противотанковым орудием. Обер-фельдфебель был уже совершенно пьян.

— Опять началось? — крикнул он.

Они уселись на тягач, на нем было восемь солдат, и двинулись вперед.

Хольт повсюду видел признаки полного разложения. Штабы удирали на запад. Остатки разбитых частей, отступавших с фронта, увлекали в водоворот отступления те части, которые шли на фронт.

Не прошло и нескольких минут, как воздух задрожал от гула приближающихся танков. Артиллеристы установили противотанковое орудие на холме у шоссе, вдоль которого двигались танки с десантом, и открыли огонь. Танки свернули с дороги и раздавили орудие. Расчет разбежался. Изуродованное противотанковое орудие одиноко стояло на холме. Танки вернулись на шоссе. Шесть человек — один из них был ранен — дрожа всем телом от ужаса, мчались на север на тягаче.

В сером небе появился самолет. Они соскочили с машины и бросились в лес. Тягач взлетел на воздух. Они шли сквозь леса, мимо опустевших деревень, пока наконец не набрели на остатки разбитых эсэсовских частей и полевой жандармерии.

— Русские под Гёрлицем! — услышали они.

Бургкерт отдал им документы. Сам он решил остаться здесь. Из Сагана в Котбус шел поезд, битком набитый беженцами и ранеными. В Котбусе их хотели опять отправить на фронт со сводной ротой. Но Хольт предъявил документы из госпиталя, и ему удалось получить в комендатуре разрешение отбыть в свою часть.

В казарме оставшаяся кучка людей сидела на чемоданах. Две роты были уже переброшены в глубь Германии. Говорили, что учебный взвод штабной роты под командованием Вейнерта находится где-то на Нейсе. Они отправились на поиски. Взвод расположился западнее Бауцена, в маленьком лесу. Он охранял противотанковое заграждение на шоссе.

Хольт уже почти не помнил Вейнерта. Лейтенант нисколько не утратил былой своей элегантности, подтянутости и выутюженности. Разве только стал немного нервнее и часто поправлял то портупею, то фуражку... Вольцов подошел к нему, щелкнул каблуками и отдал честь.

Проход в противотанковом заграждении еще не был закрыт. Между ближним лесом и дальним гребнем холмов была оборудована система траншей, ходов сообщения, блиндажей. В лесу стоял барак. Взвод разместился в блиндажах и окопах. Днем и ночью заграждение охранялось часовыми. По шоссе, с востока на запад, лился бесконечный поток беженцев: старики, женщины, дети, удирающие штабы, спасающие свою шкуру фашисты. Часовые проверяли документы. В двух километрах отсюда находилась комендатура полевой жандармерии.

Ревецкого отправили на фронт с командой выздоравливающих. Первым отделением командовал Боек. Он уже не кричал, не ругался и разыгрывал из себя доброго малого. Вторым командовал Вольцов. Началась оттепель. Пришла весна. Рвы наполнились водой и грязью. Продукты кончились. Все голодали.

■

Однажды вечером, когда в карауле было отделение Вольцова, Гильберта вызвали на пост. Возле заграждения он увидел большой открытый «мерседес» с зажженными фарами. В этом резком свете стоял, широко расставив ноги, Фетер и держал автомат наготове. Сзади маячил второй часовой. Откинувшись на сиденье, водитель спокойно курил. Три офицера — подполковник и два майора — кричали на каком-то картавом жаргоне, перебивая друг друга. Один из майоров, похожий на коршуна, худой, в очках, стоял, наклонившись над ветровым стеклом, возле водителя. Вольцов подошел и отдал честь.

— Слушаю вас, господин майор.

— У них нет документов,— грубо закричал Фетер.— Они хотят удрать.

Тут заорал и подполковник. В эту секунду появился Вейнерт.

— Лейтенант, наконец-то!

Майор отворил дверцу. Лейтенант Вейнерт остановился и отдал честь... Майор стал что-то ему говорить. Вольцов с недоверием наблюдал за этой сценой. Подполковник тоже говорил, жестикулируя. Потом, довольный, уселся в машину.

— Пропустить! — приказал Вейнерт.

Вольцов помедлил секунду и сделал шаг в сторону. Фетер отошел к обочине. Мотор взвыл, и машина умчалась. Вейнерт молча направился к бараку. Немного позднее он заметил в примирительном тоне:

— Вольцов, в подобном случае полагается...

Но Вольцов грубо перебил своего начальника:

— Эти-то господа? Да я пари держу, что они дезертировали.

Вейнерт сделал вид, что не слышит вызывающего тона Вольцова.

— Бывают ситуации, когда в интересах дела офицер, как наиболее ценный кадр, должен сохранить себя...

— Ситуации! — вскричал Вольцов и засопел.— Интересы дела требуют борьбы до последнего человека.

— Извольте взять себя в руки! — сказал Вейнерт.

— Взять? А знаете, что я возьму, господин лейтенант? Веревку я возьму, вот что! И если я еще раз увижу дезертира, мне будет жаль для него пули. Я просто вздерну мерзавца на фонарь! — Прокричав эти слова, Вольцов направился к двери. Но на пороге остановился.— Я выполняю приказ фюрера! — крикнул он снова.— Борьба до последней капли крови! Я только не мог доказать, что они дезертиры, не то бы я дал знак Фетеру. Он бы и не задумался, господин лейтенант... Нам ничего не стоит отправить этаких типов на позорную смерть.

Он вышел, хлопнув дверью.

■

Хольт спустился в окоп. Лед трещал у него под ногами. Грязь тоже замерзла. В окопе Хольт застал Петера Визе. Тот сидел, завернувшись в мокрое одеяло, натянув на себя еще плащ-палатку. Хольт молча уселся рядом с Петером.

— Сейчас я съем свой неприкосновенный запас.

— Лейтенант запретил,— сказал Визе.

— Но ты тоже должен поесть, ты похож на мертвеца,— сказал Хольт.

Не успел он выговорить эти слова, как уже раскаялся в них.

Визе грустно улыбнулся.

— Я много думаю сейчас об одной книге Гюго. Там сказано: «...Человеком правит тиран,— это говорит бывший член Конвента,— и этот тиран — невежество».

— Так ты для этого столь прилежно учился в школе? — спросил Хольт.

Визе подвинулся к нему и плотнее завернулся в плащ-палатку.

— Понимаешь, меня так много вещей смущало... И я надеялся... что, может быть... «Человеком будет управлять только наука!» — «И совесть»,— возражают ему. А член Конвента говорит: «Это одно и то же». Ты только подумай, он считает, что наука и совесть — одно и то же.

— Значит, мы совсем бессовестные люди,— сказал Хольт, чувствуя какое-то стеснение.— А помнишь Кнака! — воскликнул он.— Кнак всегда говорил нам, что не надо переоценивать науку. Он называл это иностранщиной. Характеру нордического человека, твердил он, более соответствует устремление в бесконечность.

— Да, но куда приводит утрата масштаба, это я знаю, по крайней мере, из музыки. Там это ведет к Вагнеру. Почти в никуда. Или именно в никуда.

— Поэтому у германцев всегда все и кончается гибелью,— сказал Хольт.— Уже в «Нибелунгах» поется, что радость всегда кончается горем...— Он сам не верил ни одному своему слову. «Все фальшь, все ложь!.. Если бы только можно было,— думал он,— выжить в этой войне, тогда нужно было бы все начать сначала, переучиваться, искать, спрашивать...» — Ладно, перестань копаться в себе, Петер! Мы должны быть тверды.

Он завернулся в одеяло и попытался уснуть.

■

На другое утро Вейнерт и Боек отправились в тыл, чтоб добыть наконец продуктов. Уезжая, Вейнерт оставил за себя Вольцова. Движение на шоссе становилось все более оживленным.

— Пойду-ка погляжу, что там делается,— сказал Вольцов.

Хольт и Фетер остались у противотанкового заграждения. Хольт сидел, курил и тупо смотрел на шоссе. На востоке еще висел утренний туман.

— Посмотри-ка, что это там вдали? — спросил Фетер.

Действительно, по шоссе полз какой-то гигантский серый червь. Время от времени до слуха Хольта доносилось глухое щелканье.

— Словно кто-то щелкает кнутом! — сказал Фетер.

— Словно стреляет кто-то! — сказал Хольт.

Хольт и Фетер стояли неподвижно.

— Колонна пехоты, но какая-то странная. И как медленно движется.

Подкатила машина. В ней сидел толстяк в штатском и какие-то три женщины. Хольт проверил документы: директор завода.

— Скажите,— начал он,— вы вот обогнали колонну...

— Мы ничего не видели, решительно ничего! — вскричала одна из женщин.

Шофер дал газ.

Разбившись на несколько групп, серая колонна приближалась к заграждению. Через неравные промежутки времени, то через две минуты, то через три, раздавались резкие пистолетные выстрелы. У заграждения сменились часовые. Среди сменившихся был Петер Визе. Его все время клонило ко сну. Казалось, каска вот-вот задушит его. Карабин, который всегда был слишком тяжел для Петера, теперь косо висел у него на плече.

— Выспался? — спросил Хольт.

Но Визе вообще никогда не жаловался.

Хольт снова стал смотреть на восток. Серая колонна медленно приближалась, наконец она поравнялась с заграждением...

В голове колонны шли эсэсовцы с автоматами, обвешанные ручными гранатами, а по обе стороны колонны — тоже эсэсовцы-юнцы с неподвижными, настороженными лицами. Сдвинув фуражки на затылок, они шагали, держа руку на кобуре.

Длинная серая колонна медленно тащилась вперед. Это были живые скелеты в полосатых одеяниях. На тощих шеях болтались обтянутые кожей черепа. Из деревянных башмаков торчали босые, посиневшие от холода ноги. Призраки — и все-таки действительность. Они жили, эти призраки, и они тащились — согбенные, смертельно усталые — вдоль дороги и волокли за собой тяжелые повозки. Они падали и поддерживали один другого. И над этой колонной стоял стон, дыхание смерти и тления...

— Это... это концлагерь! — прошептал вне себя от ужаса Хольт.— Государственные преступники, коммунисты...

Один из живых скелетов покачнулся и упал. Человек в полосатой одежде лежал в грязи, уткнувшись лицом в липкую жижу. Хольт разглядел на ветхой куртке красный треугольник. Остальные побрели дальше. Один из эсэсовцев остановился и ткнул ногой человеческий комок. Он сделал это даже не грубо, а словно пробуя. Упавший насилу приподнял голову, подтянул одну ногу и остался недвижим. На лице эсэсовца не выразилось ничего.

Он наклонился, без малейшего усилия оттащил упавшего к обочине и сбросил его в канаву. Потом вынул пистолет, раздался выстрел...

И тут послышался тонкий, пронзительный крик. Петер Визе швырнул свой карабин и, неловко подняв кулаки, бросился на эсэсовца. Тот ударил его кулаком. Но Визе удержался на ногах и снова бросился на эсэсовца. Фуражка с руническими знаками и изображением черепа упала в грязь. Визе изо всех сил вцепился в эсэсовца. Эсэсовец ударил его рукояткой пистолета по лицу, отшвырнул прочь и выстрелил.

Петер Визе остался лежать посреди дороги. Полосатые фигуры робко крались мимо. Хольт наклонился, перевернул Петера на спину и посмотрел в его изуродованное лицо. Пуля пробила Петеру горло.

— Петер! — проговорил Хольт.— Визе! Старина!

Группа эсэсовцев вернулась обратно.

— Вот, обер-шарфюрер, вот он лежит...

Вольцов ругался что было сил.

— Визе всегда был сумасшедшим. Какое ему дело до этих преступников! — говорил он, закуривая сигарету.

— Вот результат его латыни! — воскликнул Фетер.

Солдаты принесли и положили рядом семь мертвых арестантов. Наконец вернулся лейтенант Вейнерт и тотчас вызвал к себе Вольцова. Тот с глазу на глаз рассказал ему все как было. Тем временем солдаты вырыли большую могилу. Никто не проявил ни малейшего сострадания к Визе. Вейнерт приказал:

— Зарыть его вместе с преступниками.

Хольт подошел к яме. «Вот я смотрю, как они зарывают Петера. Почему я сам не лежу в этой могиле да и несколько эсэсовцев в придачу? Вот это и был бы выход. Но для меня вообще уже нет выхода»,— думал Хольт.

— Зарыть! — приказал Вольцов.

— А что же,— спросил Хольт,— сталось с нашими идеалами? Разве мы не собирались бороться за справедливость? Разве ты не искалечил Мейснера за то, что он поступил бесчестно?

— Это было ребячеством,— возразил Вольцов.— Мы были тогда глупыми мальчишками.

— А сейчас? Кто мы сейчас?

— Солдаты!

— Солдаты...— повторил Хольт.

— Ну хватит! — крикнул Вольцов.— Изволь взять себя в руки. Весь горе-Петер не стоит того, чтоб такой парень, как ты, скисал из-за него.

«Такой парень, как я»,— мысленно повторил Хольт.

Ком земли упал на голову Визе. Взмах лопаты, и земля покрыла изуродованное детское лицо. «Прощай! Прости меня!»

Хольт ушел.

«Визе был единственный настоящий герой среди нас,— думал Хольт.— Я не могу больше показаться в городе у реки. Как я смогу показаться на глаза родителям Визе? Как я смогу показаться Гундель? Я ведь знаю, что эти лагерники были такими же, как ее отец. А я и пальцем не пошевелил. Я только смотрел. Нет, у меня уже нет выбора. Надо только найти воображаемую точку, уставиться в нее глазами и вперед — марш!»

12

Подразделение фольксштурма сменило учебный взвод у противотанкового заграждения. Вейнерт усадил свой взвод в поезд и доставил его под Лейпциг, туда, где в нескольких деревушках была расположена штабная рота. Здесь взвод должен был продолжать заниматься боевой подготовкой. Но, прибыв к месту назначения, парни шатались без всякого дела. Вейнерт разыскивал квартиры и ни о чем больше не заботился. Унтер-офицер Боек сидел по целым дням в трактире и раскладывал пасьянс.

Вольцов один выполнял обязанности командира.

— Еще несколько дней праздности, и наш взвод окончательно утратит боеспособность. Эти бандиты уже выписывают себе билеты домой,— сердился он,— только о том и думают, какой дорогой лучше удрать.

Хольт после гибели Визе словно угас.

Он утратил всякий интерес к окружающему да и просто не знал, что делается на свете. Газеты в эту деревню не приходили. Но на пасху Вольцов побывал в роте и, вернувшись, отвел Хольта в сторону.

— Взводу поставлена боевая задача. Давно пора!

Он построил взвод и объявил:

— Через час выступаем!

Боек скорчил такую мину, словно глотнул уксусу.

Вольцов вошел в трактир и уселся рядом с Хольтом.

— Вернулся Бургкерт. Русские вышли на Нейсе и Одер. Американцы наступают по всему фронту. Рурская область окружена. Передовые танковые соединения подходят к Фульде и Везеру. Называли Оснабрюк, Марбург, Гисен. Дольше нам здесь сидеть нельзя.

Хольт молчал.

Два грузовика уже ждали их. Вейнерт застрял в соседнем селе, у командира роты.

— Интересно знать, этот-то почему не едет? — проворчал Вольцов.

Они направились на запад. Ночью остановились у трактира, уединенно стоявшего в лесу. Здесь было полным-полно солдат. Самые чудовищные слухи передавались из уст в уста.

— Говорят, что у нас в боевой готовности множество танков. Тьма-тьмущая,— сообщил Фетер.— Мы начинаем грандиозное контрнаступление.

Вольцов изучал карту.

— Мы находимся сейчас южнее Касселя. Вот это река Фульда! — воскликнул Фетер.

Он огляделся вокруг. И вправду, танки стояли наготове, заправленные, обеспеченные боеприпасами. Старые танки Т-III со слабой 50-миллиметровой пушкой были лишь несколько перевооружены и имели 75-миллиметровую пушку Л-24.

При распределении их разлучили. Вольцов был назначен командиром танка, Хольт радистом. Лейтенант Вейнерт теперь командовал ротой.

Прожектор, установленный на одном из танков, выхватил из темноты однорукого офицера. Капитан Вебер! Однорукий был известен как офицер, безрассудно жертвующий в бою последним солдатом. Сейчас он кричал хриплым надрывным голосом:

— Немецкие танкисты! Фюрер призывает вас сражаться так же, как вы сражались прежде. Где бы ни сражались немецкие танкисты, они побеждают...

В мыслях Хольт был уже опять далеко. «С тех пор как я вышел из госпиталя, я ничего не слышал о Гундель»,— думал он. Мысли его часто

обращались к Гундель и становились все более тревожными. Начало светать.

— Нашему фюреру троекратное ура!

— Ура! Ура! Ура!

— По машинам!!!

Моторы были уже прогреты. Механик-водитель в танке Хольта, пожилой усталый человек, крикнул ему:

— Когда появятся самолеты, скажи мне, чтобы я успел выбраться!

Хольт сидел на корме танка и держал на коленях пулемет в готовности, как было приказано, к отражению воздушного нападения. На дороге стояла непролазная грязь. Они шли на запад, потом свернули на юго-запад. Уже рассвело. Утро было ясное и безоблачное.

Высоко в небе пророкотало звено самолетов, моторы танков взревели, когда самолеты стали на них пикировать. Почти все машины остановились, люди ринулись влево, в ближайший лесок. Два танка свернули вправо, в чистое поле, и пошли, виляя по вспаханной земле. Хольт швырнул пулемет в грязь, бросился в лес и укрылся в кустарнике. На поле и на дороге были уничтожены семь танков. Горящий бензин рекою разлился по дороге.

Хольт глубже забился в лес. В чаще он наткнулся на Вольцова и Фетера. «Мустанг» низко пролетел над полем, подбил еще один танк и, круто набрав высоту, ушел на запад. Шум моторов смолк. В пылающих танках рвались боеприпасы.

— По местам! — послышался слабый крик.

На шоссе стояло еще около дюжины неповрежденных машин. Танк Хольта был цел. Экипажи заняли свои места. Механик-водитель молил:

— Когда они появятся, скажи мне сразу!

И они появились, когда колонна не успела пройти еще и двух километров. Самолеты оставили танки и стали преследовать разбегающихся людей. Хольт бежал до леса как одержимый.

Затем самолеты начали по одному уничтожать танки и скрылись, только когда загорелся последний.

■

Пятьдесят человек — все, что осталось от танкового батальона,— шли дальше.

— Убитых и раненых немного. Большинство сбежало! — в ярости крикнул Вольцов.

Они шли безостановочно до полудня. Тучи все больше и больше заволакивали небо. Наконец-то деревня! На всех домах вывешены белые флаги. Капитан Вебер пришел в бешенство.

— Сорвать это тряпье!

Вольцов, Хольт и Фетер пошли по дворам.

— Есть воинские части поблизости?

Какой-то крестьянин показал большим пальцем через плечо.

— Зенитная батарея. Самолеты все разбомбили.

Они завели разговор с владельцем бензоколонки. Этот толстый краснолицый человек сказал, понизив голос:

— Кончайте, ребята! Каждую минуту могут появиться танки.

Вольцов на него накричал, обследовал ремонтную мастерскую и остановился у запертых ворот гаража.

— Открыть! — В гараже стоял небольшой грузовичок.— Машина конфискована! — Вольцов привел своих людей.

Толстяк в отчаянии кричал:

— Вы... вы отнимаете у меня последнюю возможность существовать!

Вольцов приказал:

— Выпиши ему квитанцию, Фетер, надо соблюдать порядок!

Фетер присел на цоколь бензоколонки и написал твердым школярским почерком: «Подтверждаю. Грузовая машина конфискована для нужд войны. Фетер, танкист, 5 апреля 1945 года». Толстяк бросил ему эту бумажку под ноги. Машина покатила к деревенскому трактиру, где находились остальные. Солдаты чуть не передрались из-за места в грузовике. Капитан Вебер приказал:

— Вольцов, оставшихся людей вы поведете по маршруту Хейлигенштадт—Мюльхаузен. Мы поедем вперед.— И укатил.

Вольцов остался с тридцатью солдатами, в большинстве своем уже немолодыми людьми.

— Если мне не удастся сейчас пожрать,— заявил Фетер,— то черта лысого мне в этой войне.

Вольцов отпустил его на час. Фетер ворвался в деревенский трактир. Хозяин стал ругаться и скандалить. Фетер заорал:

— Ты, видно, первый вывесил белый флаг, преступник!

Хольт, усталый, сидел на скамеечке перед трактиром. Все происходящее было ему безразлично. Вольцов построил своих людей. В первой шеренге кто-то сказал:

— Самое лучшее с этим покончить.

Вольцов угрожающе крикнул:

— Кто сбежит — будет объявлен дезертиром, а дезертиров я буду вешать своими руками.

Никто не возражал, никто не высказывал одобрения. Вольцов уселся на скамью и стал смотреть в небо. Солнце, скрытое облаками, приближалось к горизонту. Фетер вышел из трактира, роздал всем по куску копченой колбасы и объявил:

— Я варю макароны в кухне.— Вольцов сидел неподвижно, но вдруг вскочил, как ужаленный.

Шум моторов, лязг танковых гусениц... Танки стремительно приближались. Вольцов вывел свою группу из деревни.

■

Последние дома остались позади. Шум моторов слышался уже так близко, что люди в панике бросились бежать. Несколько кустов поодаль от шоссе и еще чуть дальше прозрачная березовая рощица манили, как убежище и укрытие. К ним и устремились все в беспорядке, не дожидаясь приказа.

— Не туда! — заорал Вольцов. Он оглядел местность и мгновенно сориентировался.— Пра-а-авей держать! — Никто его не слушал. Только бежавшие последними Фетер и четверо солдат в черной форме танкистов повернули и бросились обратно на шоссе. Вольцов, ругаясь на чем свет стоит, дернул Хольта вправо и рукой показал на восток.— К зенитной батарее!

Танки тем временем уже вырвались из деревни и пошли по шоссе. Тут они остановились, повернули башни на запад и стали стрелять по бегущим.

Вольцов, Хольт, Фетер и четверо солдат бежали по мокрой земле на восток. Обернувшись, Хольт увидел на шоссе на фоне пламенеющего горизонта длинный ряд танков — черных и грозных. Он побежал дальше, и вскоре перед ним вырисовались темные очертания орудийных окопов и блиндажей...

— Батарея! — крикнул Вольцов.

Они дошли до огневой позиции разбитой батареи. Одно из орудий, опрокинутое, валялось на земле, рядом лежал мертвый зенитчик. Скрытая меж двух песчаных откосов, стояла пушка.

— Сюда! — заорал Вольцов. В овраге, рядом с перевернутой трехосной автомашиной были разбросаны ящики со снарядами, вокруг зияли воронки. Вольцов вытащил один снаряд.— Противотанковые, Хольт, заряжай! — Он подтолкнул его к орудию. Солдаты в черной форме стали подтаскивать боеприпасы.— Хольт, ты что, оглох? Заряжай, тебе говорят!

Хольт зарядил.

Только сейчас он заметил, что на шоссе за деревней осталось всего три танка, другие ушли вперед. Силуэты машин четко вырисовывались на западе, там, где пылающее солнце касалось земли. Орудие стояло, скрытое тенью. Фетер припал глазом к оптическому прицелу.

— Есть!

— Огонь! — скомандовал Вольцов.

Прогрохотал выстрел. И словно ожило воспоминание: знакомый грохот орудия, который, как порыв ветра, заставлял содрогаться тело, болью отдавался в ушах, бил в глаза едким дымом.

Танкистам, конечно, плохо было видно скрытое в темноте орудие. В колонне началось движение. Только когда передовой «шерман», весь в дыму, накренился набок, два других танка тяжело повернулись и поползли по полю.

Когда ствол орудия откатился назад и Хольт машинально потянулся за снарядом, он заметил столб дыма, взвившийся к небу, желто-красное пламя прыгнуло, как мяч...

— Огонь! — рявкнул Вольцов.

Хольт выстрелил. Оба танка ползли по полю. Теперь их пушки тоже извергали молнии...

— Огонь! — опять крикнул Вольцов. Взрывная волна разорвавшегося рядом снаряда чуть не сбила Хольта с ног. Он схватился за затвор, нагнулся за новым снарядом и увидел, как тяжелая башня танка взлетела на воздух в столбе ослепительного огня. Последний танк был до ужаса близок.

— Огонь! — Танк с разорванной гусеницей замер на месте метрах в тридцати от Хольта, танковый пулемет дал очередь, но вокруг уже потекли ручьи пылающего бензина...

— Огонь! — Раздался оглушительный взрыв.

Тишина, наступившая теперь, была так страшна, что у Хольта мурашки пробежали по спине. Горизонт на западе поблек, вокруг стало темно, трепещущий отблеск горящего танка играл на орудии. Фетер обеими руками хлопнул себя по бедрам, рассмеялся безумным смехом и вдруг начал пронзительно кричать:

— Мы побеждаем, побеждаем, вот посмотрите, мы победим!

Вольцов поднялся с сиденья наводчика, снял каску и, сверкая глазами, крикнул:

— Я всю роту уложу! Всех перестреляю! — Хольт, пошатываясь, отступил в сторону. Наклонился. На земле рядом со снарядным ящиком лежали двое из танкистов. Осколки снарядов до неузнаваемости изуродовали их.

■

Они бежали по направлению к горам. Позади пылали танки. Дорога сначала круто подымалась вверх, потом стала спускаться в долину. Двое уцелевших танкистов отстали от них. Вольцов заметил это, только когда они вошли в какую-то деревню, где во всех окнах тоже были вывешены белые флаги. Один двор, расположенный возле леса, был пуст и покинут. Они вошли в незапертый дом.

— Тут и останемся.

Вольцов, тяжело ступая, поднялся на второй этаж и как был, одетый, в залепленных грязью сапогах, повалился на кровать. Хольт остался во дворе на посту. Ночь была холодная. Брезжило утро. Где-то вдалеке зарокотал мотор. Хольт взбежал наверх.

— Они уже здесь!

По улице ехала открытая машина, в которой, держа винтовки между колен, сидели солдаты в форме цвета хаки. Через черный ход Хольт снова выбежал во двор. У ворот шла перестрелка. Вольцов и Фетер отстреливались, спрятавшись за стену хлева. Когда Хольт добежал до спасительного леса, за его спиной разорвалась ручная граната. Он оглянулся.

— Это я бросил гранату в солому! — похвалился Фетер.

Они поплелись на северо-восток, далеко обходя все деревни. Потом вышли к реке, петлявшей между гор. Через нее был переброшен белый каменный мост. Они осторожно к нему приблизились. Какой-то военный стоял на мосту и, запрокинув голову, пил из походной фляги. Невозможно было не узнать в нем обер-фельдфебеля Бургкерта. Он был вдребезги пьян и, размахивая флягой, кричал:

— Привет, рекруты! — Он пошел вместе с ними и всю дорогу прикладывался к фляге.— Я в дозоре. В моем распоряжении машина.

— Есть здесь войска? — осведомился Хольт.

— Да. Я.— Фетер прыснул. Бургкерт продолжал: — Я жду, пока подойдут мои ребята, а потом взорву мост.

Бургкерт окопался в какой-то вилле. В густо засаженном садике перед домом были вырыты окопы, оттуда удобно было наблюдать за мостом. Они устроились в комнате первого этажа.

— Люди вконец ошалели,— сказал Бургкерт,— оставили чайник на огне.

■

Хольт шел по улице городка. На тротуарах толпились люди. Куда ни глянь — белые флаги. Хольт с трудом уразумел, что все эти сжатые кулаки, проклятия, брань, взрывы ненависти относятся к нему, к его присутствию здесь, к его намерениям. «Узкие улицы,— думал он,— каркасные дома. Несколько противотанковых гранат, и все здесь сгорит дотла». Мысли его путались. «Моя участь, их участь... Пусть все идет своим чередом!»

В доме тяжелым пьяным сном спал Бургкерт. Хольт лег на ковер.

— Они здесь! — крикнул Вольцов.

Бургкерт вскочил, еще раз отпил из фляги и протянул ее Хольту. Фетер и Вольцов были уже в окопе перед домом. На шоссе у моста остановился «шерман» с открытым башенным люком. Офицер смотрел в полевой бинокль.

— Не решается въехать! — Бургкерт присел у подрывной машинки.

— Внимание! Он закрывает люк! — крикнул Фетер.

Взревели моторы. Первый танк грохоча въехал на мост. За ним второй, третий... Бургкерт повернул ручку подрывной машинки. Взрывом, словно ураганом, сорвало крышу виллы... Один из танков остановился перед домом. Фетер с панцерфаустом укрылся в кустах.

— В город! — крикнул Бургкерт.

Они бежали по улицам. Вольцов и Бургкерт впереди, Хольт отстал метров на пятьдесят. Вдруг он оказался позади какого-то танка. Он видел белую звезду на голубом поле, в глаза ему ударил горячий газ из выхлопной трубы... Хольт бросился наземь. Грохот взрыва оглушил его Придя в себя, он увидел, как горящий бензин течет из танка на мостовую, и отполз, стараясь укрыться у стен дома.

Стрельба вокруг прекратилась. Вольцова и Бургкерта Хольт нашел в каком-то парадном. Они стояли и смотрели на то, что происходит у моста.

— На, выпей,— Бургкерт протянул Хольту флягу. Они побежали дальше, мимо пылающего танка. Фетер дожидался их на окраине города у небольшой открытой машины. Бургкерт сел за руль и на бешеной скорости повел машину вперед. Город за ними был объят пламенем.

Алкоголь ввергХольта в полную апатию. Он сидел на заднем сиденье, заваленном бутылками. Вот так и будет всегда: подстерегать танки, стрелять по танкам, бежать от танков, опять подстерегать их, и так без конца.

— Мы уже невдалеке от Лейпцига,— сказал Вольцов. Машина мчалась среди полей. Перед ними простирался лес.

— Воздух! — вскрикнул Фетер, завидев самолеты.

Бургкерт резко затормозил. Они побежали по полю к большой скирде соломы. Но Бургкерт, ругаясь на чем свет стоит, вдруг повернул обратно. Из своего соломенного укрытия Хольт видел, как обер-фельдфебель стал вытаскивать из машины бутылки, и видел еще, как он исчез в туче дыма и комьев земли, в то время как самолет круто набирал высоту.

Они стояли у горящей машины. Бургкерт мертвый лежал на дороге.

13

В какой-то деревне они наткнулись на отряд полевой жандармерии. Вместе с сотней других отбившихся от своих частей солдат их посадили на машины и отвезли в ближайшую казарму. Все казарменные строения были ярко освещены, словно здесь никто и не слышал о воздушной войне. И тут им повстречался лейтенант Вейнерт. Он обрадовался.

— Ну просто как по заказу! Я командую сводной ротой, вы будете у меня командиром взвода, Вольцов!

Взвод разместился в трех комнатах. Здесь были совсем зеленые юнцы, набранные откуда попало — из танковых школ, из учебных батальонов. Были среди них и рабочие, одетые в защитную форму.

У склада оружия сидел пьяный унтер-офицер. И здесь, и на вещевом складе каждый брал, что ему вздумается. Хольт сменил свою ватную куртку на маскхостюм из парусины. Остаток ночи и весь следующий день они провели, валяясь на соломенных тюфяках. Вольцов раздобыл где-то газету и читал вслух.

«Победить или погибнуть!..» Единственный лозунг всенародной войны!» В сводке верховного командования сообщалось о «боях местного значения на Восточном фронте». Затем говорилось об оборонительном сражении в Рурской области, при этом упоминались Эрфурт и Швейнфурт.

— Тут сам черт ногу сломит,— сказал Вольцов.— Фронта больше нет, повсюду только танковые клинья...

Хольт вышел из комнаты и остановился у окна в коридоре. К нему подошел Вольцов.

— Просто беда! — сказал он.— Все бегут, все дезертируют! После того как amis перешли Рейн, организовать сопротивление уже невозможно. Я ничего не понимаю.— Он хлопнул Хольта по плечу.— Пойдем в казино, там кончают последние запасы водки!

Они отыскали столик. Вольцов принес пива, коньяку и уронил голову на руки.

— Очень интересно, что сейчас делает мой дядюшка! — Он стал пить. Хольт молча и неподвижно сидел среди пьяного угара.

■

Ночью их подняли по тревоге. Рота Вейнерта выходила из казармы. Лейтенанта с ними не было.

— Он едет с командиром батальона и его адъютантом,— пояснил Вольцов.

— У них полна машина жратвы! — в отчаянии крикнул Фетер.

Они шли до позднего вечера. Навстречу им попадались отступающие части.

— Одни идут вперед, другие назад. Хотел бы я знать, во что здесь играют,— сказал Вольцов.

На ночь они разместились в какой-то деревне.

В трактире сидели эсэсовцы. Вольцов до поздней ночи дулся с ними в скат. Утром он заявил:

— Отличные парни и почти все родом из наших мест. Третьего дня они ночевали в женском лагере, то-то была потеха! Они до тех пор убеждали девчонок, что негры и монголы съедят их, покуда те не перестали артачиться.— Вольцов засмеялся.— Они ждут тут своих начальников, чтобы организовать военно-полевой суд.— И добавил с удовлетворением: — Уж тогда дезертирам солоно придется.

Рота все шла и шла. В полдень они попали под бомбежку. Рельеф местности им благоприятствовал, и жертв почти не было. Наконец они дошли до деревни Грейфенслебен. На окраине стояли два полевых орудия. Связисты тянули телефонный кабель. В зале деревенского трактира Вольцов организовал нечто вроде командного пункта. Он единственный еще проявлял инициативу. Унтер-офицеры Боек и Винклер в полной апатии сидели у печки. Поздно вечером подошла вторая рота, изрядно потрепанная бомбежкой. Ее командир, обер-фельдфебель, был тяжело ранен. Раненых разместили в соседней деревне, где был организован перевязочный пункт. Как только восстановили телефонную связь с батальоном, Вольцов не отказал себе в удовольствии еще раз разъяснить боевую задачу.

Батальону, узнал он, поручена оборона трех населенных пунктов: Грейфенслебена, Бухека и Герштедта, городка с пятью тысячами жителей, который теперь почти сплошь лежит в развалинах. Проезжая дорога шла с юга на север по холмистой, скупо поросшей лесом местности через Грейфенслебен в Герштедт, где находится штаб батальона.

— Наша дивизия входит в состав вновь созданной армии, мы прикрываем ее южный фланг.

Хольт выслушал это сообщение устало и безучастно.

Вечером в Грейфенслебен прибыли 75-миллиметровые самоходные орудия. Около часу ночи на юге послышался грохот канонады, впрочем быстро умолкший. Под утро роте было приказано прибыть в Герштедт для обороны командного пункта батальона.

— А кто останется здесь? — спросил Вольцов.

Вторая рота не имела командира и состояла из плохо подготовленных новобранцев и учащихся специальных военных школ.

— Их нельзя оставлять без опытного командира! Боек, ты останешься здесь! — Вольцов поговорил по телефону с начальником штаба батальона и сказал Хольту: — Мне кажется, что их все это вообще не интересует.

На улице рота уже построилась и была готова к маршу. Боек, безучастный и подавленный, даже не вышел из трактира.

Через полтора часа, когда уже рассвело, они увидели чуть пониже светлую ленту широкого шоссе, проходившего в двух километрах севернее Герштедта. Из городка на шоссе выехали две легковые машины и помчались на север.

Лицо Вольцова окаменело. Вместе с Винклером, Фетером и Хольтом он шагал во главе колонны. Внезапно он крикнул одному из ефрейторов:

— Останетесь за меня! — И побежал по полю, таща за собой Хольта. Фетер и Винклер стремглав мчались за ними. В какой-то низине путь им преградила речушка шириною в несколько метров. Наконец — мост. Задыхаясь, они бежали по дворам и полисадникам. На востоке горизонт был светел. Стрелка дорожного указателя показывала направление на Герштедт, где располагался командный пункт батальона.

■

Колонна машин стояла у какого-то дома. Сюда сходилось множество телефонных проводов. За машинами громоздились ящики с боеприпасами, стояли орудия, пулеметы — целый арсенал беспорядочно разбросанного оружия. Под откинувшимся брезентом Хольт заметил ящики с продуктами, коньяком, ведра с мармеладом, полные канистры масла. Рядом с кабиной одной из машин стоял шофер. Из калитки палисадника вышел лейтенант Вейнерт с чемоданом в руке. Увидев Вольцова, он споткнулся, пошел дальше и поставил чемодан в кабину.

Вольцов подошел к Вейнерту, левой рукой взялся за автомат, висевший у него на шее, а правую поднял для приветствия.

— Вторая рота...

Хольт слишком устал, чтобы слушать внимательно, но тем не менее понял, что сказал Вейнерт.

— Отходите на подготовленные позиции...

— Где командир? — спросил Вольцов.

— Командир решил сменить место командного пункта,— небрежно отвечал Вейнерт,— а я...

— А вы пойдете со мной на командный пункт! — В голосе Вольцова Хольту почудилась угроза.

Вейнерт побелел. Его голубые глаза впились в Вольцова. Он приоткрыл дверь кабины, поставил одну ногу на подножку и крикнул жестким, повелительным голосом:

— Вы говорите с офицером! Не позволяйте себе лишнего!

— Фетер,— крикнул Вольцов,— забери ключи у шофера!

Фетер, послушный как овчарка, отпихнул лейтенанта и полез в кабину. Хольт слышал, как он ругался. Шофер вышел, в ответ на взгляд Вейнерта пожал плечами и встал в сторонке.

Вейнерт вскипел:

— Вы что, рехнулись! Я вам приказываю...

Вольцов дрожал от ярости.

— Командир убежал, а теперь и ты хочешь улизнуть, грязная скотина! Да еще прихватить с собою ротное добро! Я из тебя вышибу желание дезертировать, мерзавец! Вешать каждого, кто вздумает дезертировать!

Вейнерт расстегнул кобуру, но Фетер, по знаку Вольцова, дернул его сзади за портупею и вырвал пистолет. Вейнерт беспомощно смотрел на унтер-офицера Винклера. Винклер был бледен как полотно и стоял неподвижно.

— Вы отстранены от исполнения обязанностей и арестованы! — воскликнул Вольцов.— Фетер, сорви с него погоны!

Фетер выполнил приказ так энергично, что Вейнерт пошатнулся. Они отвели его в дом. Командный пункт помещался в подвальном этаже, в просторной прачечной. Большой стол, наспех сколоченный из досок, был завален картами. На скамье стояли телефоны и радиостанция, под окном — железная походная койка. Одна дверь вела в сад, другая — через коридор в угольный погреб.

Вейнерт, очень бледный, еще раз собрался с силами для протеста:

— Вы за это ответите! Винклер, вы соучастник мятежа, если...— Вольцов подскочил к нему и кулаком ударил его по лицу.

Перед глазами Хольта возникла сцена, похожая на эту: Воронья скала, где Вольцов ударом кулака свалил с ног Мейснера...

— Я тебе покажу, негодяй! — Вольцов снова ударил Вейнерта так, что голова лейтенанта стукнулась о стену.

Хольту казалось, что бьют его самого.

Окна в подвале не были зарешечены. Вольцов сказал:

— Хорошо, если бы ты его прикончил, Фетер, а еще лучше, разыщика где-нибудь веревку!

— Есть разыскать веревку! — крикнул в ответ Фетер.

Вейнерт в смертельном страхе завопил:

— Я требую судебного разбирательства! Я офицер! Вы не имеете права! Винклер, да помогите же мне!.. Это же немыслимо! Ради бога! — И распухшими губами стал кричать: — Не смейте меня вешать!

Фетер принес бельевую веревку.

Вейнерт дрожал мелкой дрожью.

— «Кто страшится почетной смерти, умрет смертью позорной»,— процитировал Вольцов.— Сейчас мы его повесим. Твое мнение, Винклер?

Унтер-офицер Винклер молчал. Страх исказил его лицо. Потом он покачал головой.

Хольт сказал:

— Нет!

— А ты, Фетер? — спросил Вольцов.

— Повесить! — решил Фетер.— Повесить, и точка. Как вспомню его муштру, повесить, да поскорей! В саду, на груше!

— В таком случае, решение приму я,— сказал Вольцов. Он взглянул на Вейнерта и помедлил. Вейнерт утратил последние остатки самообладания.

— Вольцов!.. Смилуйтесь надо мною! — У него не попадал зуб на зуб.

Вольцов долго раздумывал.

— Что нам сделать, чтобы он не сбежал? При первой возможности я доставлю его в полк, пусть они его вешают.

Вейнерт вздохнул с облегчением. Но Вольцов все еще раздумывал. Фетер подошел к нему и что-то шепнул, лицо Вольцова исказилось.

— Ладно.

Фетер побежал через палисадник к машине, а Вольцов сказал:

— Мы наркотизируем Вейнерта, чтобы он не убежал.

Фетер влил в рот обессилевшего лейтенанта целую бутылку коньяка. Глаза Вейнерта остекленели. Фетер повалил его на походную койку, и они заставили его пить, покуда он не впал в бессознательное состояние.

— Все! — сказал Вольцов.

Хольт отер пот со лба.

— Что же теперь будет с батальоном? — спросил унтер-офицер Винклер.

Вольцов посмотрел прямо в глаза Хольту, Фетеру и Винклеру.

— При всех обстоятельствах батальон выполнит свою задачу. Батальоном командовать буду я.

Винклер с изумлением взглянул на Вольцова.

— Но ведь здесь уже не воюют! — сказал он.

— Где я командую, там воюют! А кто думает иначе...— Он хлопнул рукой по кобуре. Фетер стоял рядом с веревкой в руках.

Вольцов подошел к столу и склонился над картой. В приемнике послышался голос диктора:

— «Из ставки фюрера... генеральное наступление на Востоке началось... танковые клинья продвинулись далеко вперед... ожесточенное сопротивление... а также западнее Эрфурта... Форсировали Заале между Галле и Йеной. Слушайте воззвание фюрера... — Обрывки фраз вторгались в тупое безразличие Хольта: — Берлин остается немецким... Вена вновь станет немецкой...»

Вне себя от гнева Вольцов выключил радио.

— У нас есть боевая задача. Все остальное нас не касается.— Он опять склонился над картой.— Хольт, свяжись с полком!

Хольт машинально пробовал телефоны. В Грейфенслебене трубку взял Боек.

— Пусть пришлют самоходки! — крикнул Вольцов.

По второму аппарату ответил из Бухека какой-то военный врач, который говорил о безумии и необходимости положить этому конец. Его взволнованный голос слышался на всю комнату.

— Повесь трубку и вызови полк! — распорядился Вольцов.

Но в полку никто не отзывался. «Сбежали»,— подумал Хольт.

Вейнерт стонал на походной койке.

■

Вместе с Хольтом, Фетером и Винклером Вольцов шагал по городу. Главная улица, квадратная рыночная площадь, два-три узких переулка — все сплошь в развалинах, разбомбленные, выжженные. Дальше на северо-запад — промышленные предприятия, рабочие поселки. Там везде развеваются белые флаги. В городе им не встретился ни один человек в штатском. Виллы на окраине, утопающие в садах, были пусты. С севера на юг через весь город протянулся окоп, занятый сводной ротой — двести хорошо вооруженных юнцов под командой всего лишь двух ефрейторов. Вольцов насчитал у них девять пулеметов. Среди солдат ходили самые нелепые слухи:

— Господин унтер-офицер, правда, что к нам идет подкрепление?

— Да.— отвечал Вольцов,— и с тяжелыми орудиями!

— Господин унтер-офицер! Говорят, сегодня ночью будет применено новое оружие... русские отступают по всему фронту...

— Как только придет официальное сообщение, я извещу вас, — отвечал Вольцов.

В восточной части города главная улица от рыночной площади шла вниз к шоссе. Фетер записывал распоряжения Вольцова.

— Здесь, слева и справа, установить два противотанковых орудия. Третье подальше, в саду одной из вилл.

Они побежали обратно в город. Винклер остался в окопе.

— В трех подвалах с выходом во двор установить пулеметы... Создать группу истребителей танков! Один взвод в качестве резерва отвести в город,— командовал Вольцов.

Переулок, начинавшийся у рыночной площади, вел к южной окраине, где в одном из домов расположился командный пункт.

На командном пункте зазвонил телефон. Хольт снял трубку. Грубый голос сообщил, что самоходные орудия, вышедшие из Грейфенслебена, прибыли в Бухек.

— Все идет отлично,— заметил Вольцов. И снова углубился в карту.

Хольту вдруг вспомнилось, как Вольцов еще на батарее разъяснял им положение, какие игры он устраивал невдалеке от казармы у ящика с песком... Он и тогда вечно стоял, склонившись над картами, он и тогда говорил: «Превосходная тактика... более выгодные позиции... наступление... эффект внезапности...»

«Куда все это заведет нас? — думал Хольт.— И как долго продлится?..»

■

К полудню три самоходных орудия прибыли в Герштедт. Фетер доложил Вольцову, что его распоряжения выполнены. Вольцов опять осмотрел блиндажи, оборудованные среди развалин. Потом они долго сидели на командном пункте, где Вейнерт все еще спал и хрипел во сне.

Раздался пронзительный телефонный звонок. Хольт снял трубку, собственно, уже рефлекторным движением. Унтер-офицер Боек говорил с ним, не скрывая панического страха перед танками. Перед полчищами танков.

— Они остановились на рубеже Грейфенслебена! — крикнул Хольт Вольцову.

— Пройдут мимо,— спокойно отвечал тот и послал Фетера к самоходкам.— Если они все-таки объявятся здесь, то первые танки надо пропустить в город.

Хольт думал: «Танки! Полчища танков». В ушах его еще звучал дрожащий голос Боека, но Вольцов стоял над картами в пустом подвале и читал очередную лекцию.

— Не думаю, чтобы они сосредоточили здесь сколько-нибудь значительные силы...

Уже долгое время Хольт находился в состоянии такой апатии, что мозг его лишь поверхностно воспринимал впечатления внешнего мира. Но теперь он стал медленно приходить в себя.

А Вольцов говорил, говорил...

— ...Разобьют американцев... Согласно всем канонам военного искусства.

— Вольцов! — крикнул Хольт и весь задрожал от волнения.— Танки каждую минуту могут...

— Танки? Ну нет, время еще терпит. Итак, мне понятна тактика американцев... И я их разобью!

В помещение ворвался связной и, бросив изумленный взгляд на спящего лейтенанта, крикнул:

— Танки! Полчища танков!

Вольцов схватил автомат и тронул Хольта за плечо:

— Идем! — Он почти вытолкал его из подвала.

■

Хольт лежал в окопе рядом с Вольцовом. В долине на шоссе грохотали танки. Вольцов взглянул на него.

— Ну, что я говорил? Они проходят мимо! — Он стал считать, сосчитал до восьмидесяти и бросил. Мимо них прошло еще вдвое больше танков.

Шум моторов постепенно смолк. Связной прополз через кусты и спрыгнул в окоп с запиской от Фетера: «В Грейфенслебене моторизованная пехота. Боек перерезал провода и сдался в плен». Вольцов читал и бормотал что-то невнятное. Через четверть часа мимо снова прогрохотали танки. Десяток «шерманов» взобрались на высоту и завернули на шоссе. Там они долго стояли. Меж тем по шоссе в северном направлении

прошла длинная колонна. Моторизованная пехота, тягачи с орудиями и снова моторизованная пехота. Последние десять-двенадцать машин остановились возле танков на окраине города.

Вольцов заорал:

— Танки!.. Пропустить!

Танки быстро покатились по шоссе и прошли совсем близко от Хольта и Вольцова. Оба противотанковых орудия, замаскированных в кустах, открыли огонь.

— В город! Живо! — крикнул Вольцов. Хольт нырнул в ближайшие кусты, пробежал мимо изрыгавшей огонь самоходки. Из города беспрерывно доносились разрывы панцерфаустов. Застрочили пулеметы, снаряды рвались в садах, фруктовые деревья трещали и валились, цветущие кусты сирени проплывали в воздухе, какой-то гараж разлетелся на куски, всюду был огонь и дым. Хольт мчался по трясущейся земле, добежал наконец до главной улицы, пробрался через развалины и вбежал в подвал. Там все было в дыму, за окном светило красно-желтое пламя, несколько солдат метались в облаках дыма. Кто-то сунул ему в руку панцерфауст. Он выбежал из подвала и наткнулся на горящий танк. Два или три танка вели огонь по развалинам. Он побежал обратно, к главной улице. Возле рыночной площади на его глазах взлетел в воздух «шерман»... Пылающие обломки, а рядом еще один танк, стреляющий по городу...

Кто-то бросился рядом с ним на мостовую. Вольцов!

— Подбей его! Это последний!

Хольт лежал не шевелясь. Сердце его билось в смертельном страхе. Но вдруг страх прошел, тело, казалось, сделалось невесомым. Внутри его какой-то голос крикнул: «Подбей! Это лучшее решение!»

Он встал. Найти воображаемую точку, все время иметь ее перед собой и идти вперед, марш! Он побежал прямо на танк и выстрелил из панцерфауста. Взрыв бросил Хольта наземь.

Вокруг была тишина, только огонь ревел. В нескольких шагах от него дом был объят пламенем. Хольт вытер глаза, слезившиеся от пыли и порохового дыма.

— Пехота высаживается! — крикнул он. И еще: — Четыре танка вернулись на шоссе!

■

У въезда в город, между кустов, догорали две самоходки. Унтерофицер Винклер прохрипел:

— Третья цела... оба расчета здесь...

— Плевал я на расчеты, мне орудие нужно! — орал Вольцов.— Третье орудие вернуть в город! — Вольцов столкнул Хольта в окоп. Фетер подполз к ним с пулеметом. Хольт увидел на обочине шоссе минометы. Четыре «шермана» навели свои пушки и приготовились открыть огонь по домам. В городе уже все рушилось...

— Пусть атакуют,— сказал Вольцов.— Против дюжины-то пулеметов, да еще в открытом поле! Фетер! Ты со взводом будешь контратаковать из города...

Фетер пополз назад. Вольцов набросился на Хольта:

— Что с тобой делается? Возьми же пулемет!

Ракета блеснула и взмыла к небу... Что это еще? Вольцов посмотрел в сторону, вверх, вне себя от страха соскользнул с бруствера в окоп и скрючился на его песчаном дне. Хольт ничего не понимал. Казалось, разразилась гроза. Самолеты заскользили в небе и ринулись вниз.

Земля на окраине города забила фонтанами, потом единой гигантской массой взметнулась к небу и рухнула, смешавшись со сталью. Все

содрогнулось, как при вулканическом извержении... Черная ночь, несущийся по ветру дым, земля, взмывшая к небу и погасившая день, тьма, пронзенная красным и бурым от копоти пламенем, желтыми молниями, взрывами, ракетами, бомбами, глухим стуком авиапушек, тысячами звуков, слившихся в единый вой, который перекрывало только завывание моторов пикирующих самолетов... Хольт, не шевелясь, лежал на земле лицом кверху, как бы созерцая молниеносно сменявшиеся картины: безумные искаженные лица, бешено мчащиеся в небе истребители, воющие бомбы, обвалившийся окоп, неподвижимые фигуры и огонь, насколько глаз хватает — огонь... Ужас все глубже и глубже просачивался в сознание Хольта, тушил все иные чувства. На лице его застыла какая-то странная гримаса.

Налет кончился.

Тишина, воцарившаяся кругом, наполнилась стонами раненых. А земля уже дрожала от приближения танков. Четыре «шермана», ведя огонь на ходу, прошли над окопами, разрушая своими гусеницами брустверы и давя людей. Раздалось несколько разрывов панцерфаустов, но танки невредимыми взобрались на шоссе и загрохотали в направлении города, где их встретило огнем последнее противотанковое орудие. Тут наступающие заставили тех, кто остался в живых, выскочить из окопов.

Среди них был и Вернер. Хотя песок забился ему в глаза и рот, он рывком втащил пулемет на бруствер. Но американцы уже прыгали в окопы. Вольцов рычал от ярости. Хольт опрокинул пулемет. Вольцов одну за другой метал ручные гранаты. Там, где на шоссе стояли дома, американцы смели все, что преграждало им путь, все, что искало спасения... Вольцов вылез из окопа с криком:

— Вперед!

Взвод, возглавляемый Фетером, при поддержке самоходного орудия контратаковал растерявшихся американцев. Несколько машин на шоссе было подбито. Вольцов с небольшой группой ринулся на дорогу, где Фетер и его люди завязали рукопашный бой с американцами. Хольт, пыхтя и отдуваясь, волок пулемет. Американцы еще держались, сгруппировавшись вокруг рослого негра. Он упал, и исход боя был решен.

Рота теперь контролировала населенный пункт.

Вольцов, побелев от ярости, гнал перед собой молодого солдата, который во время рукопашной схватки вместе с другими спрятался в леске. Очутившись на обочине дороги, Вольцов пристрелил его. Фетер со своими молодчиками расстрелял несколько парней в хаки, которые успели проникнуть в город и теперь тщетно подымали руки. По приказу Вольцова были пристрелены и раненые. Противотанковое орудие горело. Но Хольт ничего этого не замечал. Сняв каску, он сидел в сторонке на ящике из-под снарядов, уткнувшись лицом в ладони.

Вокруг все стихло. Наконец-то настал вечер.

14

На командном пункте горела керосиновая лампа. Вольцов снял поясной ремень с пистолетом и швырнул на скамью, где стояли телефоны. Фетер тоже положил пистолет на стол и подошел посмотреть на спящего лейтенанта.

— Так или иначе, а рота удержала позицию,— сказал Вольцов.

Унтер-офицер Винклер, стоявший у двери, безнадежно махнул рукой.

— Рота? — Голос его после долгого крика прерывался.— Роты больше не существует. Разве что пятьдесят человек. Да и те чуть живые от усталости.

— Пусть отдохнут и сражаются дальше. Выдай им водки,— сказал Вольцов. Но Винклер и не думал уходить из подвала.

— Американские самолеты,— проговорил он хриплым голосом, и лицо у него при этом было мертвенное, даже страха оно больше не выражало,— самолеты и наши потери... Это безумие!

Вольцов поднял на него глаза. Под его взглядом Винклер умолк. Вольцов нервно барабанил пальцами по карте.

— Раненых отправить обратно в Бухек. Фетер! Дома на окраине подготовить к обороне. Выставить охранение. Будем драться за каждый дом.

Фетер щелкнул каблуками.

— Слушаюсь, господин унтер-офицер! — Он схватил автомат и вышел.

■

Среди ночи Фетер вернулся и доложил о своем прибытии так громко, что Хольт вздрогнул.

— Обсудим обстановку! — крикнул Вольцов.

Фетер повесил автомат на крючок возле двери. Вольцов нахлобучил на голову офицерскую фуражку Вейнерта. Его знобило, и он позволил Фетеру накинуть на себя еще и шинель с серебряными погонами. Керосиновая лампа отбрасывала гигантскую тень на побеленную стену подвала.

— Господа!

Хольт встрепенулся. Опять этот голос, грубый, пронзительный, чужой голос, от него дрожь пробирает, голос, который выкрикивал приказы, голос рока, он проникает в самые глубины усталости, как некогда проникал во все сны, голос, от которого нет спасенья.

— Рота отразила первую атаку и...

Свинцовая усталость была разлита по всему телу Хольта. Слова Вольцова прогнали ее. Хольт прислушался, и наконец наступил момент, когда слова перестали быть просто звуками и ему стал понятен их смысл...

«Пасть геройской смертью...»

Он часто слышал эти слова — «пасть геройской смертью». Но они были только фразой, угрозой, истерическим вскриком. Теперь в устах Вольцова они сделались смертным приговором.

Вольцов протянул ему пачку сигарет, но Хольт отрицательно покачал головой. Вольцов закурил:

— Я всю жизнь ратовал за... Клаузевиц учит, что сосредоточение усилий... Наполеон говорил, что слабейший не вправе...

Хольту почудилось, что он впервые слышит эти речи... «Кто это там стоит у стола?» — подумалось ему.

И вдруг завеса разорвалась. Он пришел в себя. Одним взглядом обнял темный подвал, стол с расстеленной на нем картой, пьяного лейтенанта. Все виделось ему четко и ясно. Механизм его мышления в мгновенье ока перепахал весь опыт, обновил все впечатления, поставил его жизнь с головы на ноги и, оттолкнувшись от прошлого, неудержимо примчал его к тому, что происходило здесь, сейчас.

Как завороженный, смотрел он на Вольцова. Уже два года знал он Гильберта, срок немалый. Два года сражались они бок о бок. Они стояли рядом у орудия на зенитной батарее, они пережили налеты штурмовой авиации, они вышли из боя в Карпатах, они бежали с востока сквозь снежную бурю, они сидели в одном танке. От дурацкой мальчишеской выходки вплоть до рукопашного боя с американцами — они все прошли вместе. Хольт знал Вольцова. Он ничего уже не мог открыть в нем нового, неожиданного.

Но в эту апрельскую ночь 1945 года ему почудилось, что до сих пор он ничего, ровно ничего не знал о Вольцове. Он удивленно смотрел на него, словно это совсем чужой человек, сурово сдвинув брови, стоял там, у стола, с развернутой картой и энергичными движениями рук подчеркивал свои слова. Как раз в эту секунду человек говорил:

— Я бы такую атаку...— Чужой, чужой человек, хотя желтоватый свет лампы освещал знакомое лицо.

«Разбитое, обескровленное подразделение,— продолжал думать Хольт,— в смертельной усталости спит там на земле под деревьями и в разбомбленных подвалах, и нет среди этих людей ни одного человека без окровавленных повязок, без ран и болезней».

В груди Хольта, казалось, разбивается что-то. «Этот Вольцов, там у стола,— думал он,— стоит над картой, а на дворе спят люди, и они не более как простейшая величина в уравнении со многими неизвестными. Они только флажки на карте, шахматные фигуры, крохотные символы в гигантском ящике с песком, вот что они для Вольцова. Ну а что Вольцов для них, для меня? *Судьба.* Да, судьба, предопределение, рок, и ему мы отданы во власть... *Судьба, моя судьба зовется Вольцов.* Где были мои глаза? Мой разум? Этот человек — моя судьба. Человек из плоти и крови, человек с бьющимся сердцем, и он присвоил себе власть над жизнью и смертью, все равно — он или другой, все равно — здесь, в подвале, или во всей стране, все равно — в большом или в малом...» И Хольт понял: «То безымянное, что мы считаем нашей судьбой,— это система, упорядоченная, со знаками различия и мундирами, иерархия силы! Ложью, обманом было все, бог использовался для оглупления, а предопределение было расчетом! И не всемогущая судьба повелевает человеком, не бог управляет жизнью смертных, как говорили нам, а человек возвышается над человеком, сильный над бессильным, и всегда один смертный над другим смертным!»

Хольт смотрел на Вольцова. Никогда еще с такой ясностью не открывался ему человек. Этот унтер-офицер в лейтенантской фуражке, с головой, полной планов, осуществимых и неосуществимых, но всегда разбойничьих, человек, подыскивающий исторический пример для каждой ошибки, для каждого убитого.

«Да, этот человек ничем не отличается от Цише и от отца Цише, от Бёма, Вейнерта и как там еще зовется весь этот сброд. Теперь он уже стал символом — этот преступник, этот человек, узурпировавший власть, чтобы посылать на смерть других. Он убийца — убийца по призванию. И я был его орудием, его приспешником!» Чувство вины захлестнуло Хольта.

«Я примкнул к неправой стороне с самого начала, в Словакии, на востоке, всегда, везде. Я был соучастником. Я молчал и смотрел. Что-то от них было и во мне. И теперь я виновен».

Новое чувство сжимало его сердце: жгучая ненависть. Он понял все. Понял вспышку Гомилки у противотанкового заграждения, понял слова ефрейтора: «Эта сволочь не хочет сдаваться, она хочет убивать дальше. Хуже их на свете нет». И еще понял, чью сторону ему следовало держать: сторону Зеппа, ефрейтора, словачки, людей в полосатой одежде. Он пристально глядел на Вольцова: «Вот каковы они, наши губители. И этот, там у стола, уже замышляет новые убийства, объясняет, почему часть нашей роты будет брошена в бой с северной стороны — часть роты! А всех-то нас — пятьдесят человек!»

Как отчетливо видел он сейчас: кусочек земли, на котором они находятся, треугольник деревень, шоссе, холм и речушка — все это просто ландшафт, построенный в гигантском ящике с песком, и Вольцов играет беспомощными фигурками, вынашивает новые преступления, бессмысленно, с наслаждением потомственного убийцы.

К Хольту поздно пришло познание. Он не слышал, не понимал сигналов. «Я был слепым орудием преступления! Ужасающий итог! Восемнадцать напрасно прожитых лет, восемнадцать лет в тисках обмана, а теперь я виновен, виновен». Ненависть, как пламя, разгорелась в нем.

«Нет, я положу конец мерзостям Вольцова!»

Вольцов сказал:

— Итак, мы немедленно атакуем американцев у машин. Твое мнение, Хольт?

За окном брезжил свет. Хольт надел каску. На секунду в его мозгу пронеслось: «Мать...» Но эта мгновенная мысль не пробудила в нем никакого чувства... «Отец... Отец все это предрекал. Но он швырнул мне правду, как кость собаке, а я был горд и не хотел такой правды, и это тоже моя вина».

— Ну же, говори! — нетерпеливо крикнул Вольцов.

Хольт поднялся и взял автомат.

— Мы должны либо отойти, либо сдаться.

Винклер оторопело взглянул на Хольта. Вольцов уперся ладонями о стол и поднял глаза.

Хольт включил радио. Голос диктора говорил:

— «Ожесточенные бои... Прорыв русских танков между Мускау и Губеном... Прорыв в районе Врицена... Прорыв... прорыв...»

— Выключи сейчас же! — заорал Вольцов.— Мы будем сражаться до последнего!

— Мы больше не будем сражаться,— сказал Хольт.

— Берегись,— прошипел Вольцов,— одного такого я уложил на месте...

Хольт взял пистолет Вольцова и вышвырнул его в темный коридор.

— Всё, Вольцов...

Лицо Вольцова передернулось.

Винклер одним рывком сорвал с крючка автомат Фетера. Фетер отпрянул и, словно взывая о помощи, уставился на Вольцова.

Вольцов бросился на Хольта. Хольт опрокинул стол. Тяжелой доской Вольцова прижало к стене. Хольт наставил на него ствол автомата:

— Больше ты никого не убьешь, Вольцов.

Вольцов бессмысленно смотрел на оружие, на Хольта. Пот выступил у него на лбу, он весь дрожал, не в силах сдвинуться с места.

— Винклер,— проговорил Хольт,— вы примете командование. Не идите обратно в Бухек, там могут быть эсэсовские части, идите южнее или отправляйтесь прямо в плен, как угодно...— голос его внезапно пресекся.

Винклер уже держался за ручку двери.

— Пойдем, Хольт!

— Я догоню вас! — Дверь захлопнулась.

Вольцов прохрипел:

— Это измена! Мы можем сражаться еще добрые сутки!

Хольт обернулся.

— Вчера нас было двести человек, а сколько осталось?.. Ты хочешь...— он спохватился: словами здесь не помочь.— Я не рожден палачом и ухожу. Смотри не перебегай мне дороги, Вольцов! Забейся куда-нибудь в угол, но мне на глаза не попадайся.

Он уже стоял в дверях. Почувствовав себя в безопасности, Вольцов дал волю своей ярости:

— Погоди у меня, изменник! Погоди, я приведу эсэсовцев из Бухека, и мы тебя повесим. С удовольствием погляжу, как ты будешь болтаться на веревке рядом с Вейнертом.

Хольт захлопнул дверь. И садами медленно пошел к городу.

■

В долине стоял туман. Он окутывал машины американцев, окутывал и остатки роты. Окопы на окраине были уже покинуты. Между воронками лежали трупы. Город был пуст.

Хольт остановился у одного из разбитых танков. Последние солдаты уходили, и туман проглатывал их. Наступила полная тишина. Теперь, отрешившись от всего своего прошлого, он чувствовал себя одиноким.

«Что будет со мною?» Мысли его обратились к Гомилке.

Он долго стоял, прислонившись к закопченной броне танка. Уже рассвело. Медленно рассеивался туман. Хольт услышал крики. Должно быть, в городе. Он повернулся и пошел к рыночной площади.

Кованые сапоги загремели по мостовой. Кто-то во весь опор несся по улице. Фетер! Хольт спрятался за угол дома. Но Фетер бежал прямо на него с лицом, обезумевшим от страха. Схватив Хольта за плечи, он пролепетал:

— Вольцов... они его хотят... хотят повесить!.. Эсэсовцы из Бухека... они тебя ищут... У них начальником Мейснер... Мейснер, ты же помнишь его!

Все это было как в кошмарном сне. И вдруг, словно молния прорезала сознание Хольта: Мейснер вешает Вольцова! Он хотел было бежать вниз по шоссе, к американцам, но в нем опять огнем вспыхнула ненависть и, как живые, встали картины прошлого: старик Цише, лесопильня, конвоиры, люди в полосатой одежде... И мысль — в эту последнюю минуту войны повернуть оружие — загасила все сомнения.

Он побежал по узкому переулку к рыночной площади, отыскал подвал, подготовленный к обороне, вскочил в него. Фетер, весь дрожа, стоял у двери, которая вела в сад. Хольт влез на ящик у окна. Оттуда ясно видны были люди на рыночной площади, толпившиеся вокруг сгоревшего танка. До него донесся крик Гильберта. Круг распался. И Хольт увидел Вольцова, с руками, скрученными за спиной светло-желтой офицерской портупеей, простоволосого и с веревкой, уже накинутой на шею. Его волокли к статуе посреди фонтана, похожей на канделябр. Рослый эсэсовец и вправду был Мейснер. Вейнерт, пошатываясь, стоял с ним рядом и вытянутой рукой указывал на Вольцова, который рычал, как зверь.

Все это видел Хольт. На секунду-другую ему почудилось, что перед его глазами опустилась завеса, но она тут же разорвалась. На статую набросили веревку. «Убийцы истребляют друг друга!» — пронеслось в мозгу Хольта.

Он вытащил пулемет. Фетер, совсем обмякший, стоял в полутьме, обеими руками сжимая автомат. Хольт взобрался с пулеметом на подоконник.

«Ну теперь да смилуется над вами бог».

Вольцов висел на статуе. Эсэсовцы были отчетливо видны в прорезь прицела. Хольт нажал на спусковой крючок. Сейчас наконец будет сведен счет за лесопилку, за пленных, за родителей Гундель... Ему казалось, что прошлое, словно тяжкое бремя, свалилось с его плеч.

Первая очередь скосила трех или четырех эсэсовцев. Вторая — Вейнерта, какого-то широкоплечего малого и Мейснера. Остальные что было сил помчались к развалинам. Но Хольта заметили. По нему со всех сторон открыли огонь. «Осторожно! Это опасные враги, у них большой опыт!» А меж тем они уже близко подползли. «Но я тоже опасен, я притворюсь убитым». Пулемет смолк. Пять или шесть солдат выскочили из развалин. Очередь... и они уже распростерты на земле.

Эсэсовцы быстро рассредоточились. Хольт заметил, что они стреля-

ют вправо, видимо и там предполагая противника. Хольт дал еще очередь. Эсэсовцы ответили огнем. Хольт вставил новую ленту.

Вдруг застрочил автомат Фетера, позади Хольта, там, где была дверь, выходящая в сад. Фетер закричал:

— Amis!

— Amis? — Хольт подстрелил эсэсовца, бежавшего через рыночную площадь. «Стреляй! Стреляй по эсэсовцам, стреляй по всему, что еще движется. Пришел конец. А как бы хотелось еще хоть разок повидать Гундель...»

Пулеметная очередь загнала за угол какого-то эсэсовца. Хольт выскочил из подвала. В саду свистели пули. Фетера он больше не видел. Среди кустов шныряли фигуры в хаки. Хольт налетел на какого-то американца, оба упали на землю. Кто-то наступил на руку Хольта и выбил из нее пистолет.

ЭПИЛОГ

Первый лагерь был где-то в Тюрингии — большой квадрат, обнесенный колючей проволокой. Две тысячи пленных — офицеры и солдаты всех родов войск — толклись на этом тесном пространстве. Здесь был и Хольт — уже больше суток без еды и питья.

Он лежал на земле, завернувшись в плащ-палатку. Среди пленных все учащались случаи дизентерии. Небо заволокло. Пошел дождь. Холодный, мелкий дождь.

Второй лагерь вмещал двадцать пять тысяч пленных. Перепаханное поле за колючей проволокой. Дождь шел и шел. Земля размокла. Пленные увязали в ней по колено. Пищи не было никакой. Ручеек, протекавший на территории лагеря, служил и водопроводом и отхожим местом. Дизентерия и рвота не щадили никого. Насчитывалось уже несколько смертных случаев.

Хольт сидел на мокрой рыхлой земле, подбородком упираясь в колени. Надвигалась ночь. Дождь кончился. Жидкую грязь затянуло ледяной корочкой. Тело Хольта застыло. Видно, пришел конец тому, что было некогда Вернером Хольтом, рядовым вспомогательной службы, рабочим в отряде трудовой повинности, танкистом.

С того момента, как он, безоружный, оказался в руках американцев, напряженность всех его чувств не уменьшилась. Перед его закрытыми глазами с ужасающей отчетливостью сменялись картины, одна страшнее другой. Танки, взлетающие на воздух, мертвецы, калеки... светопреставление. Их теснили новые воспоминания: огневая ночь, лесопильня, фигуры в полосатой одежде... И снова пелена заволакивала видения.

■

Серое небо, моросящий дождь. Пленные, спина к спине, в жидкой грязи. Тишь. Часовой по ту сторону проволоки вытер мокрое от дождя лицо. Ствол винтовки стукнулся о каску.

Хольт прислушался. Шум дождя, и только. Прислушался к себе: пустота, пустота, и только. Он лег на спину. Серые облака неслись по небу. Последняя мысль застыла.

Осталось только безразличие. Нелепые слухи возбуждали среди пленных волнение, сменявшееся разочарованием, но Хольта уже ничто не трогало. Достоверное известие о безоговорочной капитуляции почти не интересовало его. Просочившиеся слухи о переселении немцев из восточных районов тоже его не задевали. Это было медленное умирание. Молча и тупо созерцал он агонию погибавших от голода людей.

Названия: Хейдесгейм, Крейцнах, Бюдесгейм... Край виноградников и невозделанных полей, колючая проволока, двадцать восемь лагерей, широкие лагерные улицы, триста тысяч пленных. Они сидели на земле, голыми руками забрасывали воронки, спали как звери, тесно прижавшись друг к другу. А дождь все шел и шел, дождь и мокрый снег, который замерзал, потом таял, потом опять замерзал. Наконец в мае в лагере пообсохло. Но пожилые люди в форме фольксштурмистов к тому времени почти все вымерли.

Хольт был страшно изнурен. Вечный голод постепенно превратил его в живой скелет, хотя ему удалось устоять против тифа, косившего военнопленных.

Он являл собою теперь картину трагическую и жалкую. Нечесаные слипшиеся волосы, беспорядочно растущая борода. Изношенная одежда болталась на изможденном теле. Больной дизентерией, он неделями не имел возможности умыться и только горстями сыпал хлорку на свою одежду. Постоянная вонь хлорки притупила его чувства, кожа реагировала на эту санитарно-гигиеническую меру воспалением и экземой. Хольт часами не поднимался с земли.

Июнь принес с собой ливни, сменившиеся тяжелым зноем. Жара вконец изнурила его, все происходящее уже почти не доходило до сознания. Соседний лагерь опустел. Снова стали распространяться слухи об освобождении, о работе на бельгийских угольных шахтах.

Хольт лежал на горячей, растрескавшейся от жары земле. Над ним простиралось бескрайнее небо. Вокруг была колючая проволока. О том, что по ту сторону ее лежит мир, мир с деревьями, с городами, со свободными людьми, он не знал. Не мог себе представить.

Силы его все убывали, но нежданно-негаданно в памяти вставали образы, туманные, расплывчатые, лишенные контуров... Все новые слухи доходили до заключенных: освобождение, передача французам... Даже Хольт чего-то ждал.

Ничего не произошло.

Полуденное солнце жгло невыносимо.

«Освобождение,— думал Хольт.— А куда я пойду?»

Он встал. Всякий раз, когда он вставал, у него кружилась голова. «Мне надо к Гундель,— эта мысль засела прочно.— Мне надо к Гундель».

Наконец их погнали в другой лагерь. Штук десять больших палаток, и повсюду пленные. Это и был тот самый легендарный лагерь, откуда отпускали на свободу, о котором ходило столько слухов. Хольт улегся на землю. Утром офицер проштемпелевал его документы.

Свобода!

За виноградниками стоял товарный поезд. На открытой платформе были навалены ящики с продовольствием и даже с сигаретами. Хольт стал медленно есть. Потом лежал на площадке последнего вагона и курил. Он снова дрожал от холода и в то же время обливался потом. Мысли его мешались. Где ему искать Гундель?

Поезд прогрохотал по мосту через Рейн и, повернув на восток, шел еще два дня. Наконец станция. Конвойные выгнали бывших пленных из вагона.

Тысяча изголодавшихся людей, как саранча, налетели на фруктовые деревья, росшие по обеим сторонам шоссе. Те, кто был слишком слаб, чтобы залезть на дерево, вырывали из земли кочаны капусты.

Хольта неудержимо влекло на восток, хоть он еще не знал, куда именно. «К отцу? Нет! К Гундель!» Он миновал несколько деревень, но ни в один дом его не впустили. Он шел до позднего вечера и, обессиленный, присел на выгоне, где паслись жеребята.

«Никто меня знать не хочет. Лечь и не вставать больше. Да и зачем, собственно? Но сначала мне надо к Гундель». Эта мысль заставила его подняться.

В городке у реки он тщетно искал Гундель. В доме адвоката Гомилки жили чужие люди. Все люди были чужие. Наконец он узнал, что Гундель уехала из города.

Хольт пошел дальше. Просил милостыню, но ему редко подавали. Он совсем ослабел от голода, а спал в придорожных канавах.

По утрам, в предрассветной прохладе он чувствовал себя лучше, но в полуденный зной последние силы оставляли его. Тогда он забирался в кусты и засыпал. Спал, покуда холодная ночная роса не заставляла его проснуться.

Он очень медленно продвигался вперед и не видел, что творилось вокруг него. Не видел разрушенных бомбардировками городов, сожженных танков на цветущих лугах, взорванных мостов, потоков людей, возвращающихся в родные места, или переселенцев, которыми были забиты все дороги... Он шел, подгоняемый мучительным беспокойством, покуда не сваливался где-нибудь в кустах и тогда спал несколько часов подряд.

Как-то раз в деревенском пруду он увидел свое отражение. Непомерно большой череп, впалые щеки, лихорадочно блестящие глаза, борода клоками...

Так вот что от тебя осталось... Человек ушел из дома, полный сил и задора, чтобы пережить захватывающие приключения, пройти суровые испытания, школу мужества... И вот он возвращается домой — разбитый, уничтоженный. Низко нагнувшись, он смотрелся в водяное зеркало. «Да ведь этот образ мне знаком!»

Воспоминание вдруг ожило в нем: он спешит к трамваю, чтобы ехать на батарею, в руках у него журнал... Специальный номер: «Недочеловеки». Там были лица совсем такие, как у него.

Он добрался до Веймара. Вокруг уже шли разговоры о демаркационной линии. «Не пойдете же вы к русским... говорят, там просто ужасно...» Но Хольта это не тревожило. Он лег спать на скамейке в каком-то парке и заметил двух американцев, прогуливавшихся по дорожке. Проснулся он от грохота повозки по мостовой.

Хольт стоял на тротуаре, мимо проехала автомашина с советскими солдатами. Никто не обратил на него внимания.

Тысячи людей тащились по дорогам. И никто ни разу не взглянул на него, на одну из бесчисленных серых фигур.

Вокзал, готовый к отправлению поезд, площадки и купе, битком набитые народом, люди даже на крышах. Хольт пристроился на буфере. К вечеру поезд остановился.

На следующий день его подобрала какая-то машина, потом он снова оказался в товарном поезде, идущем на восток. Дней Хольт не считал, только смутно чувствовал: скоро он будет у цели.

■

В жаркий июльский день он сидел на краю тротуара. Сон не освежал его. День и ночь его трясла лихорадка. Он жевал щавель и еще какую-то кислую траву. Мимо проехала телега. На ней в загородке стоял телок, белый в коричневых пятнах. Хольт влез на телегу и улегся на солому, а телок лизал ему лицо шершавым теплым языком... Под вечер он опять тащился по шоссе, с трудом переставляя ноги и опустив голову на грудь.

Какой-то грузовик обогнал его и остановился. Шофер железной палкой помешал чурки в газогенераторе. Хольт очутился в кузове, среди чемоданов, узлов, женщин с грудными детьми на руках, старух, обвязан-

ных шалями, мужчин с костылями. Машина въехала в большой разрушенный город.

Хольт снова стоял на улице среди сгоревших, разбомбленных домов, вокруг сновали люди. Мимо прокатил переполненный трамвай. У гигантской груды развалин женщины по цепочке передавали друг другу кирпичи. Он пошел по улицам. Заунывные звуки шарманки, слепой с желтой повязкой на рукаве. Узенький переулок, уцелевший дом. Хольт удивленно смотрел на него... Рождество... Отсюда он бежал... Вечность отделяла его от этого дня.

Он медленно поднялся по лестнице.

— Доктор Хольт? Он здесь больше не живет. Русские назначили его директором завода Шпремберг-АГ в Мёнкенберге.

Хольт пошел туда.

Перед ним было красное кирпичное здание. Над воротами надпись «Шпремберг-АГ». Рядом деревянная дощечка с русскими буквами. У шлагбаума чей-то голос окликнул его. Это был вахтер, однорукий человек, рукав подколот к плечу. Тяжело дыша, Хольт прислонился к стене.

— Я ищу доктора Хольта.

Однорукий поправил его:

— Профессора Хольта. Он здесь.

Вахтер снял телефонную трубку, прижал рукою рычаг и спросил:

— А вы кто будете?

«Нет, нет,— думал Хольт,— только не возвращение блудного сына... только не это!» Его бросило в жар. Казалось, ни одной мысли уже не осталось.

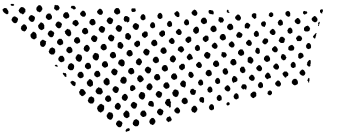
— Я хочу... хочу... узнать... может быть, он... Может быть, у него...— Фраза не хотела строиться.— Может быть, он знает что-нибудь о Гундель Тис. Адрес ее или...

— Гундель? — удивленно переспросил вахтер, положил трубку на рычаг, пододвинул к себе несколько пропусков и стал смотреть в них, потом отбросил их в сторону и пробормотал: — Тогда я лучше...— Он прижал трубку плечом и набрал номер.— Профессор в лаборатории? Господин профессор, здесь один фронтовик спрашивает адрес фрейлейн Тис.

Хольт ничего этого не слышал. Не видел, как вахтер положил трубку и явно растерянный пошел к воротам. Хольт, прислонившись к стене, смотрел на улицу, и мерцающие солнечные пятна на мостовой начали вдруг кружиться перед его глазами, кружиться все быстрей.

Он услышал торопливые шаги, увидел белое расплывающееся пятно — рабочий халат отца, но и белое пятно тотчас же начало кружиться.

Потом он время от времени просыпался в мягкой чистой постели, а когда снова впадал в лихорадочное забытье, лицо Гундель склонялось над ним.



НИКОЛАС ГИЛЬЕН

Четыре стихотворения

Девочка, ставшая взрослой

(Песня на два голоса)

Первый голос:

Революция, ты
голубкою белой
из ночной темноты
дорогой мечты
прилетела.
Мы идем дерзновенно и смело
за голубкою белой
дорогой мечты.

Второй голос:

Я любуюсь тобой, непокорной,
ты булыжной идешь мостовой,
солнце, жарче кузнечного горна,
тебя ранит и жалит упорно
раскаленной железной стрелой.
Янки в ярости вслед за тобой
по булыжной идет мостовой
в жарком свете кузнечного горна.

Оба голоса:

Ай, голубка с заоблачных гор,
ты мужала на вольной равнине,
укрепил твои крылья простор.
Ставши взрослой, девчонка, держись!
Руку ты протяни мне
и возьми мою жизнь.
Раз-два-три-посмотри,
раз-два-три-я-не-жду —
за тобой я иду!
Твоя грудь, словно сталь, тверда —
не пройдет по дорогам беда.

На дорогах — твоя стрела
дальше вражеских стрел легла.

С гор пришла ты к нам, с гор,
с гор спустилась высоких.
Поднимай против янки на бой
неба синь, и земли плодотворные соки,
и гирлянды огня,
и улыбку — алое знамя,
и бойца-петуха,
у которого шпоры как пламя.

Так иди по горам, по равнине,
ставши взрослой, девчонка, держись!
Руку ты протяни мне
и возьми мою жизнь.
Раз-два-три-посмотри,
раз-два-три-я-не-жду —
за тобой я иду!

Цветок и мачете,

Голубка и ветры —

За тобой я иду.

Генерал в своем Пентагоне

Пентагонский генерал,
генерал из Пентагона,
ты солдат своих собрал,
ты собрал бактерий тонны:
тиф, чуму и менингит
в тубах, ампулах, флаконах.
Липкий снится тебе сон:
свежей кровью обагренный,
на шафрановом быке
восседая, как на троне,
ты считаешь мертвецов,
видишь толпы обреченных,
смертоносный чуешь газ,
взрывы бомбы многотонной,
и блестит твой волчий глаз,
кровожадный и зеленый.

Пентагонский генерал,
генерал из Пентагона!
В жизнь другие влюблены,
ты, всем сердцем в смерть влюбленный,
первой бомбы грозный взрыв
ловишь ухом напряженным.
В грязном вихре новых бурь
кружат смрадные вороны,
и над островом моим,
над кораллом, бури стоны.

Но взгляни на облака
утром в небе просветленном,
видишь — мощная рука
протянула с небосклона
вновь рожденную звезду;
словно стрелы, грозным звоном
зазвенели вдруг лучи,
гневным вихрем раскаленным
полетели горячи
над морской водой соленой,
над громадой синих скал,
над тобою, обреченным,
пентагонский генерал,
генерал из Пентагона!

Перевод с испанского
Н. ГОРСКОЙ

Федерико

Посвящается Федерико Гарсиа Лорке.

Постучал я тихо в дверь к испанцу:
— Нет ли здесь поэта Федерико?
Попугай ответил мне:
— Ушел он.

Постучал в стеклянную я дверцу:
— Нет ли здесь поэта Федерико?
Лишь рука ответила мне жестом:
— Утонул он.

Постучал тогда я в дверь к цыгану:
— Нет ли здесь поэта Федерико?
Но никто ни слова не ответил...
Федерико! Федерико!

Дом нежилой, потемневший,
Мох по расселинам вьется,
Сад, полный ящериц скользких,
Пустая бадья у колодца.

Мягкую землю взрыхляют
Улитки, ползущие чинно,
И ветер июльский горячий,
Качаясь, плывет по руинам.

Федерико!
Где же смерть настигла Федерико?
Где его глаза похолодели?
С кем простился он последним криком?

■ ■ ■

Он ушел из дома в воскресенье,
Ночью он ушел и не вернулся.
Он в руке держал лиловый ирис,
А глаза сжигала лихорадка,
Ирис нежный обагрился кровью,
Кровь текла, текла и стала смертью.

■ ■ ■

Виделась ему в ночи гвоздика,
Ландыш и луна в холодной туче,
Ах, Весна, Гранада — Федерико!

Грезил он под ивою плакучей,
В одиночестве ища опору,
Жизни смысл — в гармонии созвучий...

Вот уже по звездному простору
Тянет ночь свой шлейф прозрачно-мглистый,
Одевает им поля и горы.

«Федерико!» — крик пронзил, как
выстрел, —
Видит он: влача свои оковы,
Вдаль бредут его контрабандисты.

Как ужасен зов их жил бескровных!
Как в телах сухих огонь неистов!
Как шаги беззвучны и суровы!

Освещает луч зелено-льдистый
Шествие страданий обнаженных
По дороге пыльной и тернистой.

Федерико встал, луной пронзенный,
Гранада и Весна — Федерико!
И за ними вслед, с мечтою о гвоздике,
Поднялся к вершине озаренной.

■

У гроба Монтеро

Умел зажигать ты зори
Огнем своей буйной гитары,
Соком пьяным, бурлящим в теле,
В твоем теле живом и гибком,
Под луною бледной и мертвой!
И была твоя песня ясной,
Смуглой, точно спелая слива.

Ты, что пил, никогда не пьянея,
И был прозван луженой глоткой,
В море рома без якоря судно,
И наездник искусный в танце, —
Что же будешь ты делать с ночью,
Ведь над ней ты больше не властен,
И откуда вольешь в свои жилы
Крови, той, что тебе не хватает,
Той, что вытекло много из раны,
Нанесенной ударом кинжала?

Ты сегодня убит в таверне,
Друг мой Монтеро!

В твоем доме тебя ожидали,
Но тебя принесли туда мертвым,
Говорят, была пьяная ссора,
Но тебя принесли уже мертвым,
Говорят, что он был твоим другом,
Но тебя принесли уже мертвым.
Сталь кинжала едва блеснула,
Но тебя принесли уже мертвым.

Как ты кончил жизнь, Бальдомеро,
Ты, любивший ее без меры!

У гроба две свечки горят,
Слабым светом мрак разгоняя,
Для кончины твоей бесславной
Даже этих свечей хватает.
Но горит на тебе, пламенея,
Рубашка красного цвета,
Та, что в танце тебя украшала,
Та, что кудри твои освещала,
Жаром песен твоих согрета!

Ты сегодня убит в таверне,
Друг мой Монтеро!

Луна показалась сегодня
Как раз над моим окошком,
Вдруг упала она на землю
И осталась лежать на дороге.
Мальчишки ее подобрали,
Чтоб лицо ей отмыть от пыли,
А я взял ее тихо ночью
И тебе положил в изголовье.

Перевод с испанского
И. ЧЕЖЕГОВОЙ

Рисунок кубинского художника
С. КАБРЕРА МОРЕНО

И. АНИСИМОВ

СРЕДИНА ВЕКА

Чтобы составить более полное представление о характерных особенностях современной литературы в США, лучше всего обратиться к работам тех американских литературоведов, которые пытаются дать некоторые обобщения и рассматривают современное состояние литературы в определенной исторической перспективе. Интересны здесь не только правильные выводы, но и просчеты.

«Средина века» предрасполагает к подведению итогов, и мы встречаем понятие «midcentury» не только в последних работах американских литературоведов, но и в американских романах. «Midcentury» называется недавний роман Дос Пассоса, написанный с претензией на исторические обобщения, но крайне поверхностный и несостоятельный именно как обобщение американской действительности. Роман представляет своеобразную реминисценцию прежних произведений Дос Пассоса, и если видеть в нем итог, то этот итог не утешителен. Писатель уже давно испугался призрака своего собственного радикализма и теперь все еще продолжает оправдываться и доказывать свою политическую благонадежность.

Вышедшая в 1953 году книга Ван Вик Брукса «Писатель в Америке» («The Writer in America») может служить прелюдией к тем оценкам и выводам, которые делаются в США в связи с хронологической чертой «средины века».

Искренность этой книги располагает к ней читателя. Обеспокоенность автора современным состоянием американской литературы подтверждена вполне убедительными аргументами и оставляет глубокое впечатление.

Мы коснемся лишь некоторых моментов этой работы известного американского историка литературы и критика. Автор очень мрачно оценивает возможности современной американской литературы и приводит множество свидетельств, подтверждающих его пессимистический взгляд. Приводит он, между прочим, и несколько жестоких строк из книги Хемингуэя «Зеленые холмы Африки»: «У нас нет великих писателей... Когда наши хорошие писатели достигают определенного возраста, с ними что-то происходит... Мы уничтожаем их различными способами».

Тема «умерщвления американских талантов» (truncation of American talents) проходит сквозь всю книгу Брукса, насыщенную большим количеством ссылок на разнообразные источники. Она достигает своей кульминации в главе «Умолкшее поколение», в которой Брукс показывает, насколько неблагоприятны, по его мнению, американские условия для нормального и плодотворного развития литературных способностей.

Крайний пессимизм Брукса распространяется и на современную эпоху в целом.

Если выписать все те отрицательные суждения о современной эпохе, которые собрал в своей книге Брукс, то получится список тягчайших обвинений. Это «эпоха, внушающая отвращение», «прогнившая, поддель-

ная, пустая», это «мир, сошедший с ума», это «век, страдающий паранойей».

Уже этих примеров достаточно, чтобы можно было представить, в каком освещении воспринимает Ван Вик Брукс XX столетие, охваченное после первой мировой войны неизлечимой болезнью духовного распада. Он ищет подтверждения своей точки зрения повсюду, и ему очень пригодился, например, Бердяев, чьи произведения он обильно цитирует и с выводами которого он полностью соглашается.

Ни бердяевский тезис, что современная эпоха это «мир нового средневековья», ни утверждение, что историческое бесплодие Возрождения и вызванный этим «крах гуманизма и его духовных основ», совершенно очевидны, не вызывают у Брукса отрицательной реакции. Он цитирует все это с полным сочувствием.

Исходя из мрачнейшей оценки эпохи, Брукс и делает свои очень безнадежные выводы относительно возможностей литературы, подчеркивая «апатию, неизобретательность, инертность», свойственные многим современным писателям, утверждая, что в сложившихся условиях творческая индивидуальность «переходит в состояние оцепенения или гибнет».

Книга Ван Вик Брукса, столь односторонняя в оценке современной эпохи, совершенно не учитывающая основной особенности этой эпохи, не только охваченной «безумием» капитализма, переживающего свой последний кризис, но и освещенной светом разума, светом социалистического будущего,— вместе с тем глубоко искреннее, проникнутое справедливой тревогой произведение.

Происходящее в современной американской литературе претит нашему критику, возмущает его. Однако он не доводит свои обвинения до конца, укрываясь в тень довольно наивных иллюзий, которые приносят ему некоторое успокоение. Та самая тревога, которую он сам так остро чувствует и с такой непосредственностью передает своему читателю через содержащие так много грозной правды наблюдения и обобщения, о которых мы говорили, становится как бы не столь уж грозной.

Разобраться в этих спасительных иллюзиях необходимо, ибо это и дает ключ ко всей концепции исследования «Писатель в Америке».

Ван Вик Брукс видит причину всех ужасающих его особенностей «мрачнейшей эпохи» в том, что «либерально-демократическое» начало в современной Америке переживает состояние глубокого кризиса. И хотя он достаточно убедительно, в частности ссылаясь на Гарри Левина, показал, что современная американская мысль отличается крайней ретроградностью, что в ней господствуют охранительные тенденции, он все же возлагает свои надежды на то, чтобы оживить и усилить это затоптанное и давно дискредитированное «либерально-демократическое» начало.

Много внимания уделено в книге работам Льюиса Мамфорда, исходная позиция которого — «мы живем в мире, сошедшем с ума», «наша цивилизация стоит перед опасностью гибели»,— как мы уже видели, является позицией самого Брукса. Но особенно его привлекает в Мамфорде «вера в социальное и личное обновление», и в этом смысле Мамфорд является для Брукса «подлинным пророком наших дней».

Большие мамфордовские иллюзии, на которые он так часто ссылается и которые он полностью разделяет, Брукс пытается подкрепить самыми различными способами. Так, например, констатируя «катастрофический упадок человека в наше время», обесценение гуманистических ценностей, выражающееся в том, что литература наводняется «героями, у которых нет чести», распространение в современной литературе подлинного культа отчаяния, свидетельствуя о том, что произведения многих американских писателей можно определить формулой: «их творчество разрушается циническим отрицанием»,— Брукс пытается все же внушить читателю надежду на какую-то возможность выхода американской литературы из того кризиса, который он показал с такой наглядностью.

В последней главе «Писатель и будущее» он постоянно смешивает американские проблемы с общими рассуждениями об ожидаемом многими «конце света» и неизбежном крушении всей цивилизации. Сам он не принадлежит к поклонникам современного апокалипсиса, но его гуманистическая уверенность в том, что «рост человека» будет продолжаться и что это и есть «линия» будущего, кажется не очень-то уж твердой.

Характерно, что, в поисках возможности противопоставить современным американским авторам, исступленно предающимся

унижению человека, образец подлинного гуманизма, Ван Вик Брукс обращается к произведениям «старых русских писателей», являющихся выражением высокой веры в человека. И не только о Тургеневе и Чехове он говорит, но и о Горьком, что можно признать очень смелым шагом, хотя речь идет всего лишь о пьесе «На дне».

«У какого русского писателя можно обнаружить ту абсолютную ночь, в которой существует американский писатель, безжалостно предавший проклятию столько человеческих существ?»,— спрашивает Ван Вик Брукс, стремясь подчеркнуть этим сопоставлением столь распространенную в современной американской литературе тенденцию чернить человека. Проницательный наблюдатель совершающихся на его глазах изменений, наблюдатель, отдающий себе отчет в том, что происходит неотвратимый распад всех подлинных ценностей литературы, Ван Вик Брукс ищет спасения от нависшей над ней смертельной угрозы.

«Следовало бы очеловечить то, что обесчеловечено в жизни и в искусстве»,— пишет он.

Прекрасные слова, с которыми согласится каждый, желающий литературе успеха и процветания. Но, к сожалению, именно эта часть книги Брукса является неаргументированной и вся состоит из сетований.

Автор сам понимает, что это несбыточная утопия в том мире, который он достаточно убедительно и беспощадно описал в своей книге, как «мир безумия». Так, ему ясно, например, что «сделать первый шаг к регуманизации литературы (мы оставляем этот термин без перевода, чтобы подчеркнуть, что он противостоит широко распространенному термину — дегуманизация) это значит лучше думать о человеке, прославлять величие человечества», но он прекрасно знает, что именно вера в величие человека и утрачена, безнадежно утрачена столь многими современными американскими авторами.

Брукс не хочет мириться с этим, он заявляет, что до конца «будет настаивать на защите культуры от возвращения к варварству». Он осудил в своей книге широко распространенные формы современного варварства, но защититься от этого торжествующего врага он не имеет возможности.

Сторонник «либерально-демократического мира», не имеющего под собою твердой почвы, приверженец иллюзий, которые давно уже пора сдать в архив, Ван Вик Брукс не указывает никаких реальных путей к изменению создавшейся обстановки, и это делает его работу, сильную в ее критической части, очень слабой в программных заявлениях. Дальше красивых слов дело здесь не идет. Но, во всяком случае, книга «Писатель в Америке» прозвучала в самом начале пятидесятых годов как серьезное предостережение. Это правдивое, откровенное и тревожное слово о том, к чему пришла американская литература к середине века.

■

Книга Уилларда Торпа «Американская литература в двадцатом столетии» («American Writing in the Twentieth Century», 1960) представляет попытку дать широкую картину, охватывающую основные явления американской литературы в истекшей половине нашего века.

Книга претендует на полную научную объективность и выдержанное спокойствие изложения, удовлетворенность автора ходом литературного развития и его результатами делает книгу Торпа совершенно непохожей на очень страстную книгу Ван Вик Брукса.

Опасаясь заглядывать в глубины, Торп движется по поверхности. Он не имеет никаких претензий к эпохе. Он воспринимает ее такой, какой она кажется среднему американцу, плывущему по течению, и, видимо, вполне удовлетворен ею.

Однако в ходе изложения выясняется, что сложная эпоха вмещается в академически уравновешенное изображение Уилларда Торпа лишь в препарированном виде, и чем больше мы вчитываемся в это исследование, тем более ясной становится полная условность торповской «объективности».

Можно показать это на двух примерах. Четвертая глава носит название «Каста и класс в романе. 1920—1950». Здесь Торп касается многих явлений американской литературы, в которых выразились социальное недовольство и протест. Поскольку автор исходит из очень распространенного в современной Америке убеждения, что острота социальных противоречий решительно смягчилась в наше время, это позволяет ему довольно свободно говорить о социально-критических моментах в литературе прошлого, объявляя их абсолютно неактуальными для современности.

При всем этом Торп очень осторожен в оценке, скажем, социальных романов Синк-

лера Льюиса двадцатых годов. Но особенно нетерпим он к явлениям обличительного реализма, которые господствовали в литературе тридцатых годов. Он пользуется названиями, которые ему кажутся выходящими за пределы литературы: «роман депрессии» или «пролетарский роман», и очень пристрастно оценивает те произведения, о которых он берется говорить.

Нашего автора выводит из себя общеизвестный исторический факт, что в тридцатых годах в США существовало внушительное прогрессивное литературное движение, вовлекшее в свои ряды все наиболее значительное в американской литературе. Рассказывая на двух страничках об истории американских писательских съездов тридцатых годов, он не может скрыть своего злорадства по поводу того, что он называет «концом литературного единого фронта». Грубая тенденциозность книги выступает здесь в обнаженном виде.

Если автору приходится иметь дело с таким грандиозным произведением, как «Гроздья гнева» Стейнбека, и он лишен возможности отнести такую книгу к числу второстепенных явлений, он пытается всячески ослабить силу заложенного в ней социального негодования.

Особенно тщательно разработана у Торпа тема отступничества многих американских писателей, покинувших прогрессивный лагерь. Так, он с подлинным восхищением повествует о ренегатстве Дос Пассоса, совершенно не считаясь с тем, что это ренегатство повлекло за собой полное разложение его писательского таланта.

Подводя итог всему, что говорит Уиллард Торп о литературе тридцатых годов, можно сделать только один вывод: это была какая-то очень неприятная, на его взгляд, полоса американской литературы. Какое-то досадное недоразумение. Момент, когда литература стала говорить языком обездоленных, когда в ней с огромной силой проявились настроения социального недовольства, когда революционные мотивы преобладали во всех видах литературного творчества,— представляет огромный и особый интерес для подлинного историка американской литературы. И такой историк найдется. Что же касается Уилларда Торпа, то он пытается свести счеты с оставившим свой глубокий след литературным движением.

Торп больше всего хочет убедить, что никогда уже подобный взрыв не повторится, хотя ему, историку литературы, конечно, прекрасно известно, что многие жанры, сложившиеся в тридцатых годах и поддерживаемые современной действительностью, например, «роман стачек», живут, развиваются и не собираются умирать, что такие книги, как роман Альвы Бесси «Антиамериканцы» («The Unamericans», 1957), замалчиваемый, как и многие другие очень красноречивые книги прогрессивных писателей США, являются великолепным свидетельством того, что традиции тридцатых годов обличающе актуальны сегодня, что именно в них заложены возможности будущего.

Уиллард Торп не хочет видеть того, что не умещается в его схему.

Он не может скрыть внутренней тревоги. Академическая скорлупа его исследования рассыпается при соприкосновении с данными действительности, и внешняя объективность книги оборачивается ожесточеннейшей тенденциозностью.

Второй пример, который можно привести, касается главы под названием «Упрямство натурализма в романе».

Ведя историю американского натурализма от Фрэнка Норриса и на ранних этапах «приемля» то, что встречается ему на пути, Торп теряет равновесие, приближаясь к современности. С нескрываемым раздражением он вынужден констатировать, что до настоящего времени «литературный натурализм отказывается умереть» и что в Америке, в силу неведомых причин, он непрестанно возрождается.

В этой главе встречаются выражения, показывающие, что академический автор не может сохранить академического спокойствия. Он негодует, что в США натурализм слишком глубоко укоренился, что он здесь обладает какой-то особенной цепкостью.

В поисках причин этой исключительной долговечности американского натурализма Уиллард Торп предлагает свои объяснения. Некоторые из них просто наивны. Так, он явно преувеличивает размеры и глубину влияния Золя на американскую литературу. Влияние, конечно, было, но решающей роли оно не играло.

Он имеет достаточно оснований, чтобы связать литературные явления с воздействием очень распространенных в начале XX века философских взглядов Спенсера. Однако разобраться в этом вопросе Торпу мешает ограниченность его убеждений и бо-

язнь посмотреть исторической правде в лицо.

Излагая, например, историю творчества Джека Лондона, он не случайно обходится без упоминания «Железной пяты», что выдает стремление исследователя порвать связи между литературой и социальными движениями эпохи.

Еще более грубо в этом отношении он поступает с Драйзером, полностью игнорируя наиболее революционные его произведения.

Все эти натяжки, эта странная игра в прятки с исторической действительностью в конце концов запутывают довольно ясный вопрос.

А ведь можно было бы просто ответить на этот вопрос, так и остающийся без ответа в книге Торпа. Необыкновенное «упрямство натурализма» в американской литературе объясняется тем, что под понятие натурализма Торп полностью подводит всю историю американского реализма в XX веке.

С реализмом действительно связано в этот период литературного развития все самое значительное и самое яркое. Связь реализма с передовыми идеями времени и передовыми общественными деятелями проявляется на каждом шагу. И сколько бы ни старался Уиллард Торп убрать за пределы своего исследования даже самое понятие «реализм», он ничего не может изменить в истории американской литературы — и реализм останется в ней огромным, самым плодотворным и самым значительным явлением XX столетия.

Постаравшись не заметить этого, Уиллард Торп поставил себя в ложное положение, и даже в комическое. Он не заметил самого главного.

Два приведенных примера показывают искусственность того успокоительного, кажущегося равновесия, которое пытался установить недостаточно считающийся с фактами исследователь американской литературы. Действительность литературного развития в США гораздо богаче и сложнее, чем можно заключить из схематической работы Торпа, стремившегося отстраниться от прогрессивных литературных явлений.

Трудно поверить, что перспективы будущего американской литературы, непосредственно связанные с тем, что она собой представляет в середине века, похожи на те спокойно-скучные и серые выводы, которые приглашает сделать эта книга.

Автор не говорит о будущем, вероятно понимая, что это могло бы поколебать столь старательно сбалансированную схему. Но читатель вправе продолжить исследование Торпа и поставить вопрос о том, что́ же ожидает литературу США во второй половине века. И здесь уж никак нельзя исключить возможность обострения социальных противоречий, возможность потрясений, которые неизбежно получат свое отражение в литературе. Прогрессивное направление в литературе первой половины XX века, которое стремился всячески скомпрометировать Уиллард Торп, может в определенный момент приобрести новую силу.

Революционные традиции XX века, против которых направлена книга Торпа, являются живыми традициями; они не могут не быть продолженными, и вне связи с ними дальнейшее развитие прогрессивных явлений в литературе США невозможно представить.

■

Последняя книга известного исследователя американского романа Максуэла Гейсмара носит название «American Moderns. From Rebellion To Conformity» — «Американские современники. От бунта к примирению». (Подзаголовок: «Обзор современной литературы за полвека».) Это — сборник статей, относящихся в большинстве своем к пятидесятым годам.

Гейсмар несколько иначе, чем Торп, подходит к процессу развития американской литературы в XX столетии, но этих авторов роднит одинаковая неспособность правильно оценить ход событий и сделать правильные прогнозы на будущее. Как и Торп, Гейсмар считает, что в прошлом американская литература имела достаточно оснований быть насыщенной социальным недовольством и даже возмущением. В настоящее время подобных предпосылок ни тот, ни другой автор не находит, чем объясняется, по их мнению, отсутствие социально-критических произведений в современной литературе. Торп этим просто очень доволен, Гейсмар вынужден признать, что упадок социальной активности наносит вред творчеству американских писателей.

Первая книга Максуэла Гейсмара, принесшая ему известность, называлась «Писатели в состоянии кризиса» («Writers in Crisis», 1942); можно было бы дать такое же название его последней книге, вышедшей шестнадцать лет спустя. Впрочем, надо принять во внимание, что Гейсмар не

ожидает в будущем какого-либо нарастания социальной активности, и современный кризис кажется ему хроническим. Гейсмар настолько освоился с состоянием безвыходности, что не тяготится этим незавидным состоянием, и облик его во многих отношениях интересной книги определяется своеобразной «аккомодацией» к обстоятельствам.

Уже в самом начале Гейсмар заявляет о своих очень мрачных оценках современного состояния литературы: «Мы находимся теперь в стадии увядания после расцвета, спада после подъема».

«И теперь, в эту новую эпоху индивидуальной свободы художественного выражения, мы пришли к состоянию социальной и политической покорности, трусости, страха и подозрительности. Наше время — это время колеблющихся социальных основ, когда свобода не только социальных и политических разногласий, но и свобода критики взята под сомнение... Это новый и серьезный способ духовного угнетения... Это является угрозой для жизненной атмосферы американской мысли и американского искусства».

Неоднократно Гейсмар делает фантастический прыжок от американской действительности, враждебной развитию литературных талантов, чего он не может скрыть, к «русской революции», которую он обвиняет не только в том, что она развивается не так, как ему хотелось бы, но и в том, что она оказала «парализующее влияние на американскую мысль». Эта часть доводов Гейсмара настолько нелепа, что мы не будем ее касаться.

Под видом защиты американского реализма, о котором он не стесняется говорить (для сверхосторожного Торпа это была запретная зона), Гейсмар стремится уменьшить масштаб и размах всего того, что в американском реализме сближается с социальной борьбой. Так, в Драйзере, которого он как будто высоко ставит, он видит прежде всего автора «Сестры Керри» и все положительные суждения связывает лишь с ранними произведениями. Ограничиваясь одной скептической фразой об «Американской трагедии», он совершенно игнорирует революционный путь, по которому шло дальнейшее развитие творчества Драйзера.

В том, что Гейсмар пишет о Хемингуэе, много справедливого. В частности, справедлива оценка романа «За рекой в тени деревьев» как романа, в котором не остается прежней хемингуэевской силы. Но когда Гейсмар начинает поносить такое глубоко значительное произведение, как «Иметь и не иметь», упрекая его в «отсутствии жизненности», считая его доказательством «исчерпанности таланта», когда он высокомерно третирует пьесу Хемингуэя «Пятая колонна» за ее революционное направление, то сразу становится очевидным, что Гейсмар противник прогрессивных явлений в американской литературе и свои сложные и нередко запутанные расчеты строит исключительно на том, чтобы опорочить все передовое в современной американской литературе.

В этом отношении интересен раздел, посвященный Дос Пассосу. Об этом авторе Гейсмар пишет с особой благосклонностью.

Последовательно выраженное ренегатство, цинизм, с которым этот писатель надругался над тем, что сам в своих произведениях показывал как святое, импонирует Гейсмару. Впрочем, ложность положения, в котором оказался далеко не наивный критик, скоро дает себя почувствовать. Распространяясь о том, что Дос Пассос дошел до крайних пределов отступничества «из страха перед коммунистической тиранией», развивая дальше эту тему, «тему страха», занимающую так много места в романах Дос Пассоса, Гейсмар должен констатировать, что творчество этого автора как бы мелеет у него на глазах и в конце концов утрачивает всякое художественное значение. Гейсмар не может не признать, что Дос Пассос как писатель давным-давно покончил с собою.

Много говорится в книге «Американские современники» о Фолкнере. Писатель, значительность которого Гейсмар не может не признавать, представлен на страницах книги также в качестве неуклонно деградирующего американского таланта.

Не лишенный дара проницательности, критик оказался мало проницательным в своих суждениях о Фолкнере. Особенно это проявляется в оценках первых двух романов последней трилогии Фолкнера. Это произведение отличается одной крайне характерной особенностью, выделяющей его среди других произведений автора, идущего трудным путем. Кажется, нельзя не заметить, не почувствовать, что в этих романах происходит стремительное накопление со-

циального недовольства, а Гейсмар со свойственной ему предвзятостью на это и внимания не обратил.

Не поняв главного, он сочинил специальную литературоведческую абстракцию, не соответствующую тому, что содержится в последних романах Фолкнера. Он пишет: «Начиная с Шекспира, позднее творчество многих великих художников отмечено переходом от трагического мировосприятия к музе комизма». Считая, что подобная «возможность» обычно бывает связана с тем, что художник чувствует «невозможность» сохранять ранее установившееся отношение к жизни, и подчеркивая, что «тональность позднего фолкнеровского юмора совсем иная», он все же продолжает развивать свой довольно искусственный довод о том, что последняя трилогия Фолкнера представляет сдвиг из области трагического в область смешного.

И пусть это «грубо-садистический, презрительно-третирующий юмор», пусть в нем «обнаруживается отвращение художника к господствующим социальным отношениям Юга»,— несмотря на все это, как пытается убедить нас критик, самым существенным в новом произведении Фолкнера является изменение жанра.

Соответственно этому, всю историю возвышения Сноупсов, описанную и в «Поселке» и в «Городе», Гейсмар трактует как своеобразную комедию. По самому своему характеру подобное произведение якобы не свойственно таланту Фолкнера, что, на его взгляд, естественно приводит к снижению художественного уровня по сравнению с лучшими, подлинно трагическими произведениями Фолкнера, предшествовавшими «Городу».

Гейсмар еще не знал последней части обширного замысла, но уже говорил о «комической трилогии» и о том, что «юмор хроники Сноупсов не представляет подлинной социальной сатиры, это — скороговорка».

Мы будем еще иметь возможность показать, насколько неверно все это.

Чем дальше читаешь книгу Гейсмара, тем больше находишь в ней поверхностных и тенденциозных обобщений, при помощи которых автор и пытается доказать свой тезис, объявленный в заглавии книги: «От бунта к примирению».

Он, например, стремится преуменьшить социально-критический диапазон творчества Синклера Льюиса, причем связывает свои выводы как раз с такими материалами, которые говорят о противоположном. Каждый непредубежденный читатель найдет в посмертно опубликованных томах избранных статей, выступлений и писем Синклера Льюиса «От Главной улицы до Стокгольма» («From Main Street to Stockholm») и «Человек с Главной улицы» («The Man from Main Street») много интереснейших документов, показывающих, что несмотря на крайнюю противоречивость этого художника все наиболее значительное в его творчестве связано отнюдь не с линией примирения, а с линией социального недовольства, которым насыщены лучшие произведения этого писателя и в том числе роман «Кингсблад, потомок королей», который Гейсмару не приходится по душе.

Все эти очень важные страницы истории американского реализма произвольно и тенденциозно истолкованы в книге Гейсмара.

Вполне характерен раздел, посвященный Джону Стейнбеку.

Со многим из того, что говорит здесь Гейсмар, надо согласиться: это — высокая оценка романа «Гроздья гнева», последовательная критика тех произведений Стейнбека, которые явились отступлением от насыщенного «возмущением» романа, беспощадность в оценке «последних произведений Стейнбека», оставлявших лишь «самую тусклую и жалкую надежду» на то, что положение когда-нибудь изменится.

И все же, когда сегодня читаешь эти страницы, ясно, что они продиктованы каким-то злорадством по отношению к писателю, который в лучшее свое время держался революционного курса, продиктованы той насквозь пропитывающей книгу Гейсмара иллюзией, что с социальным возмущением навсегда покончено. Как мы помним, это есть и главная иллюзия Торпа — в этом столь разные по своему облику исследователи неотличимы друг от друга.

Здесь надо задать вопрос, без ответа на который нельзя установить, каков научный уровень любой литературной критики: насколько соответствуют литературные концепции Гейсмара американской действительности? Можно предположить, что Гейсмар нередко предпочитает этой действительности свои иллюзии. Вот почему он сделал столько неверных прогнозов в своей очень интересной и во многих отношениях ценной книге. Вот почему он ошибся и относительно Стейнбека, и относительно Фолкнера.

■

Можно подтвердить сказанное о критике несколькими ссылками на новейшие произведения американских романистов.

Прежде всего следует сопоставить с прогнозом Торпа и Гейсмара заключительную часть трилогии Фолкнера «Особняк». Этот роман опубликован в 1959 году — почти двадцать лет спустя после первой части трилогии — «Поселок» (1940). Вторая часть трилогии — «Город» относится к 1957 году.

Таким образом, весь последний период творчества Фолкнера находится под знаком этого произведения, определяется его масштабами, и критика должна особенно внимательно разобраться в этом факте.

Действие трилогии развертывается в очень замкнутом пространстве. Это — округ Йокнапатофа, который нельзя найти на карте Америки, но который воссоздан Фолкнером как доподлинная действительность американского Юга. Городок Джефферсон, штат Миссисипи, также вымышлен автором. То, что происходит в этом фантастическом и вместе с тем сугубо реальном мирке, представляет серую обыденщину действительности.

Мы не намерены излагать развитие действия романа или освещать всю его сложную проблематику. Мы хотим только констатировать, что трилогия, которую Гейсмар упрекнул в отступлении от шекспировской трагедийности в область «грубо-садистического» комизма, является весьма значительным произведением, в котором сконцентрированы все мотивы социальной трагики Фолкнера. Эти мотивы развиваются с чисто фолкнеровской целеустремленностью, и, несмотря на всю усложненность повествовательной манеры, свойственной автору, они ясны во всех перипетиях своего развития.

Заключительная часть трилогии особенно интересна в этом отношении. Очень важна данная здесь концентрация социального недовольства. Ненависть, слепая, темная и ни перед чем не останавливающаяся ненависть Минка Сноупса, обесчещенного, изуродованного, прожившего всю свою жизнь в каменном мешке американской высокоорганизованной тюрьмы, к Флему Сноупсу, который путем обычных для восходящего капиталистического хищника преступлений сделался крупнейшим воротилой Джефферсона,— эта ненависть вырастает в грозную силу.

Новый роман и вся трилогия Фолкнера останется в истории американской литературы примером социального возмущения, которое не могут подавить ни сила полицейской власти, ни обман развращающей печати, ничто.

Однако это неуемное возмущение враждебной действительностью, ее ложью, ее грязью, отвратительной бесчеловечностью не выливается в какие-либо осмысленные поступки. Оно совершенно стихийно, и расправа Минка Сноупса с Флемом Сноупсом, которая является кульминацией трагедии, очень убедительно свидетельствует о том, что ненависть, накапливавшаяся десятилетиями, осталась совершенно слепой.

Но эта ненависть, это возмущение, как бы глубоко они ни были загнаны, какими бы хитросплетениями лжи они ни были скрыты, существуют в современной американской действительности. Они являются выражением непримиримых социальных противоречий, разрывающих оболочку официального обмана. В современной американской литературе трудно разобраться, не принимая во внимание этот фактор исключительного значения. В этом смысле последний этап творческой эволюции Фолкнера необычайно интересен. И он показывает, насколько далеки от истины Торп, Гейсмар и множество других американских критиков и литературоведов, изо дня в день твердящих о том, что для социального возмущения в процветающей Америке сегодняшнего дня нет никакой почвы. Все это читатель фолкнеровских романов не может не воспринять как нечто далекое от правды.

Необычайно интересно, что в «Особняке» мы встречаем целый ряд мотивов, вторгающихся из той самой действительности, от которой еще недавно творчество Фолкнера было отгорожено непроницаемой оболочкой.

Приемная дочь Флема Сноупса, Линда Коль,— коммунистка. В романе обсуждаются события гражданской войны в Испании, участниками которой были многие и многие американцы, * обсуждаются проблемы ком-

* Не сравнивая и не сопоставляя эти страницы Фолкнера с «Антиамериканцами» Альвы Бесси, нельзя не вспомнить это произведение, в котором американская современность также своеобразно синхронизируется с историей антифашистской борьбы на испанских фронтах, где лилась и американская кровь и где раскрывалась и американская героика.

мунизма, называются имена американских революционеров — Юджина Дебса и других.

В этом романе проявлен пытливый интерес к тому, что давно стало в американской литературе запретным, и образ Линды, коммунистическая непреклонность этой женщины, вызов, брошенный ею капиталистической Америке, где можно «пустить в ход любое мошенничество, уговор, угрозу или насилие»,— все это представляет нечто совершенно новое и неожиданное для Фолкнера.

Он понимает одиночество Линды, и о том, что всего двое малозаметных обитателей городка разделяют ее убеждения, он рассказывает с интонацией, которую можно назвать участливой или доброй.

«И это было все, что Линда нашла у нас, в нашей чужой капиталистической пустыне, вдалеке от всего ей родного, если только она и вправду была коммунисткой и если коммунизм и вправду не просто политическая идеология, но вера, которая без дел мертва...»

В новом романе Фолкнера не только изображена со всей беспощадностью «капиталистическая пустыня», но и звучит музыка другого, где-то рядом существующего мира, где все строится не по волчьим законам, которым подчиняется мир Сноупсов.

Не строя никаких далеко идущих предположений, мы с большим удовлетворением можем констатировать повышение уровня социальной критики в трилогии Фолкнера и заметно возросшую близость этого произведения к американской действительности, к тем ее реальным и крайне обостренным противоречиям, которые так часто пытаются затушевать.

■

Интересно сопоставить с прогнозом Торпа и Гейсмара новый роман Джона Стейнбека «Зима нашего недовольства» (Мы даем буквальный перевод английского заголовка — "The Winter of our Discontent").

Хотя Стейнбек нисколько не похож на Фолкнера и глубочайшее различие этих двух реалистов очевидно, последний роман Стейнбека нельзя не сблизить с «Особняком» Фолкнера. И если отверженный мира Сноупсов почти сорок лет сидит в тюрьме, накапливая свою ненависть к владыкам стяжательского царства, и весь роман пронизан токами его нарастающей ненависти, то в романе Стейнбека, действие которого совершается в мире Бейкеров, господствующих в своем городе так же, как Флем Сноупс господствует в своем Джефферсоне, Итен Хоули тоже отверженный, и у него есть свои претензии к миру богатых. Но это личность со стершимися чертами. Он только жертва, не помышляющая о том, что возможно возмездие.

Этот скромный приказчик в бакалейной лавке, которого захватила обычная американская мечта обогащения, ищет способа подняться хоть на одну ступеньку повыше. Но пути к богатству не могут быть честными; в мире, где властвует мистер Бейкер, хорошо замаскированное преступление может принести желаемое повышение в социальном ранге; поняв это, высоко добродетельный Итен Хоули вынашивает план ограбления банка: случайные обстоятельства, а отнюдь не какие-либо сомнения, закравшиеся в душу охотника за деньгами, мешают этому плану осуществиться.

В романе воссоздана атмосфера социального лицемерия: с виду все хорошо — и лавка, где торгует Итен Хоули, и дом, где он живет, и он сам, производящий благоприятное впечатление человек. Но все это — лишь слагаемые человеческой драмы, прикрытой покровом социальной лжи. Пока Итен Хоули остается порядочным человеком, он не сдвинется с места. Понимая это, он живет с не покидающим его ощущением внутреннего краха. Он жалок и способен только на «недовольство», в область которого нас и вводит роман.

У Итена Хоули есть свои защитные зоны, в которые он укрывается, когда ему становится не по себе. В своей бакалейной лавке он ведет задушевные беседы с консервными банками, отдаваясь во власть жалких иллюзий; кроме того, у него есть уединенный грот на побережье, где самой природой ему гарантировано полное одиночество и где он любит предаваться своим поистине ничтожным мечтаниям.

Внутреннюю жизнь этого человека определяет то состояние «недовольства», которое во всем и на каждом шагу пробуждает в нем действительность. Его существование уродливо. Над ним тяготеет сознание безвыходности того положения, в котором он находится. Он постоянно «поддается чувству страха». «Ему страшно» — это лейтмотив романа.

Внешняя сторона существования Итена Хоули, повторяем, благопристойна: у него

хорошая квартира и хорошая семья. Но Стейнбек вводит нас в этот мир вовсе не для того, чтобы рассказать нам еще одну бесцветную сентиментальную историю о скромном американце, который хочет стать богатым американцем. Мы становимся свидетелями того, как условия среды делают порядочного человека способным на подлость и преступление.

И если Итену Хоули не удается ограбить банк — готовясь к этому, он тщательно изучает детективные романы,— то ему удается нанести предательский удар Марулло, владельцу бакалейной лавки, где он служит приказчиком,— пользуясь полным доверием хозяина. Это уже волчья хватка Сноупсов.

Следует еще ряд эпизодов, показывающих, что внешняя порядочность семьи Хоули на каждом шагу оборачивается отвратительной гадостью.

Несомненно, что роман Стейнбека гораздо более беспощаден к американской действительности, чем другие его произведения последних лет.

Настойчиво подчеркивая, что в романе, показывающем, как уродлив, бесчеловечен и лжив мир Бейкеров, запечатлен сегодняшний день; вводя в роман целый ряд деталей, подтверждающих это, Стейнбек делает свое произведение вызывающе актуальным.

«Зима нашего недовольства» — это, конечно, не «Гроздья гнева», но это очень правдивое и смелое произведение современного американского реализма, которое никак не умещается в рамки, отведенные для американской литературы наших дней Торпом, Гейсмаром и многими другими исследователями.

Это разрушение искусственных границ, которыми пытаются отгородить литературу от жизни, это разрушение мифа социального благоденствия современной Америки осуществлено Стейнбеком по-своему, но так же последовательно, как сделано в романе Уильяма Фолкнера, который по аналогии можно было бы назвать «Время нашего возмущения».

Можно сделать один вывод из приведенных нами фактов: между многими обобщениями, которые делаются в современной американской критике, и реальным ходом развития современной американской литературы нет согласия. Создается впечатление, что представители американской литературной критики слишком верят тем иллюзиям, которые внушают официальные идеологи современного капитализма в США.

И если в журнале «Америка», специально издающемся для распространения в Советском Союзе, мы недавно прочли поистине удивительную статью Чарлза Э. Сильбермана, названную «Корпорации в жизни Америки», в которой эти корпорации восславлялись как основа и гарантия социальной гармонии, * то мы могли посмеяться над уловками пропаганды, рассчитанной на простачков. Но когда серьезные исследователи литературы кладут нечто подобное в основу своих обобщений исторического развития американской литературы в первой половине XX столетия, то улыбаться уже не приходится — приходится удивляться тому, что на основе подобных иллюзий создаются целые концепции истории современной литературы.

То, что эти концепции распадаются при первом соприкосновении с литературной действительностью,— неизбежно.

Но надо сделать еще один вывод. И в романе Фолкнера и в романе Стейнбека, столь близких один другому и столь непохожих один на другой, находит свое отражение то крайне своеобразное положение, в которое поставлены современные американские писатели, не отворачивающиеся от

* «Соединенные Штаты — общество революционное, а гигантские корпорации (акционерные компании) — один из главных революционных элементов этого общества. Такое утверждение может показаться чрезвычайно странным, ибо, если говорить о внешних признаках революции, то в Соединенных Штатах большинство подобных признаков отсутствует. За последние сто лет здесь не было ни бурных гражданских распрей, ни заметных изменений в основной политической структуре, ни перебоев в мирно протекающих выборах. Однако если революции измеряются размахом перемен, происходящих в жизни народа, то ни одно общество в мире не испытало таких всеобъемлющих перемен, какие произошли в Соединенных Штатах за последние тридцать лет. И если успех революции определяется тем, насколько перемены улучшают жизнь людей, то в исключительном успехе этой мирной революции сомневаться не приходится».

Как известно, распространителями подобных мифов «всеобщего благоденствия» являются сами монополии, не жалеющие денег на пропаганду, которая воспевает их могущество. Шум этой пропаганды, образчиком которой является статья Чарльза Э. Сильбермана, разглагольствующего даже о какой-то «мирной революции», должен отвлечь внимание от трагедии миллионов американцев, обездоленных безработицей, от террора реакции, подавляющей свободу мысли, от всех преступлений «олигархии Уолл-стрита», как когда-то говорил, называя вещи своими именами, честный и смелый Драйзер.

действительности. В условиях, когда в США реакционные силы получили возможность неограниченного господства, происходит неуклонное накопление «недовольства», как гласит название романа Стейнбека, или «возмущения», что больше соответствует тональности романа Фолкнера, но происходит в крайне своеобразной форме. Возможности открытого проявления этого недовольства и возмущения до крайности стеснены в настоящее время. Реакция принимает все меры к тому, чтобы загнать вглубь, под почву социальный протест.

В такой атмосфере постоянно возникают вспышки того самого «натурализма», столь пугающего Торпа, сделавшего это понятие псевдонимом социальной критики. Американский реализм обретает снова и снова свое бессмертие.

И раньше в истории американской литературы бывало, что даже у сравнительно спокойных писателей вдруг появлялись вспышки крайнего социального беспокойства. В современных условиях это становится закономерностью.

Это накладывает свой отпечаток на произведения, которые являются результатом и выражением социального недовольства и возмущения. Здесь господствует стихийность, и до сознательного, открытого осуждения капиталистического строя еще далеко. Слепота ненависти у Фолкнера, безысходность, в состоянии которой оставляет читателя роман Стейнбека, столь остро ставящий вопрос о накапливающемся недовольстве,— все это делает насыщенные социальной энергией произведения как бы не полностью, не во всю ширь развернувшимися. Они несут на себе след той спертой общественной атмосферы, в которой они рождались. Но все это не мешает им быть самыми яркими, значительными и обещающими произведениями американской литературы последнего времени.

СТЭНЛИ КОППЕЛ *(США)*. Сталевар.

ДЖОН ГОЛСУОРСИ

СОЗДАНИЕ ХАРАКТЕРА В ЛИТЕРАТУРЕ

Создание характеров — таинственный процесс, причем, возможно, более таинственный для того, кто создает характеры, чем для его покорных или упирающихся объектов. На этот процесс не заведено досье, он не подтвержден документами и не поддается точному определению. Всякое творчество, будь то в литературе или в жизни, одинаково непостижимо и одинаково располагает к тому, чтобы говорить о нем как бог на душу положит.

Но меня привлекла именно эта тема потому, что наряду с многими другими людьми старой школы я полагаю, что жизненность характеров — это ключ к долговечности всякой биографии, пьесы или романа.

Однако, прежде чем говорить о самом процессе творчества, следует коснуться того, что представляет собою творческая индивидуальность. Я не философ, то есть не такой человек, которому Оксфорд с его пристрастием к греческим корням учил нас приписывать любовь к мудрости *, но в котором жизнь заставила нас увидеть скорее любителя интеллектуальной гимнастики и мастера обобщать там, где никакие обобщения невозможны. Философские системы, если охватить их взглядом за достаточно долгое время, напоминают дамские моды, которые кажутся абсолютными до тех пор, пока новый скачок парижского интеллекта не обнаружит их относительности.

* Философия по-гречески значит «любовь к мудрости».

Итак, не будучи философом, я предлагаю вам не столько обобщения, сколько подозрения. Я подозреваю, что субстрат человеческого существа — энергия (или как бы она там ни называлась в соответствии с последней модой), тождественная той энергии, из которой создано все живое, так что человек в самой основе своей соприкасается со всем, что живет, и испытывает на себе его воздействие. Из этих воздействий слагается опыт, составляющий подсознание человека. Воздействий этих так бесконечно много, что каждый человек представляется нам полным до краев сосудом подсознательного опыта, тайным складом воздействий, зрительных, звуковых, обонятельных и вкусовых впечатлений, воспринятых как непосредственно, так и из вторых рук. Вообразите римские катакомбы или старые погреба под Адельфи *, доверху набитые фотографическими пленками,— это даст вам некоторое представление о том, что являет собой подсознание человека. Каждую минуту, да что там — каждую секунду нашей жизни что-то новое прибавляется к нашему опыту, уже лежащему на складе и готовому к употреблению.

Далее, я подозреваю, что наше так называемое направляющее сознание обычно может использовать сокровища из этих наших подвалов очень ограниченно и выборочно, а то, что мы применительно к литературе, да и ко всякому искусству, называем творческим даром,— это сверхобычная способность некоторых людей забираться на склад и извлекать оттуда разрозненные кусочки опыта в сочетании с особым умением группировать или сплавлять воедино эти кусочки после того, как они извлечены со склада.

* Квартал в Лондоне между улицей Стрэнд и Темзой, созданный в конце XVIII века архитекторами братьями Адам. Под всем кварталом проходят подземные галереи со сводами. Долгое время там укрывались преступники. Позднее подземелья использовались как винные погреба.

Если взять более текучее сравнение, можно представить себе подсознание как некую лаву опыта; сознание образовалось над нею, подобно корке, более или менее тонкой, с бóльшим или меньшим количеством отверстий, через которые пробивается лава. А то, что мы произвольно называем творческим талантом, можно представить себе как сильно превышающее норму количество таких отверстий в сочетании с редкой способностью придавать проступающей сквозь них лаве форму литературных персонажей, картин или музыкальных произведений. Вот и все, что будет здесь сказано — в очень туманных и избитых словах — о творческой индивидуальности.

К самому процессу создания характеров целесообразно подойти с наименее таинственной его стороны — от воссоздания, от биографии. Однажды в Оксфордском клубе — этом почтенном и громогласном учреждении, где каждого ставят на свое место,— некий блестящий биограф открыл диспут на тему «Поток ненужных биографий». Поскольку можно быть уверенным, что речь шла не просто о биографиях, написанных не им самим, следует предположить, что он имел в виду те биографии, в которых мертвые не встают из гроба. Возможно, что ему удалось убедить аудиторию, и с тех пор для биографов было введено ограничение рождаемости; возможно, что и нет, ибо литературная братия неисправима. Но предположим вместе с ним, что биография имеет ценность лишь в том случае, если она создает или, вернее, воссоздает характер. Вспомним, что задача биографа — облечь в плоть и кровь уже существующий скелет: значит, поскольку скелет существует, половина дела, с точки зрения творчества, уже сделана. С долговечными и неподатливыми костями можно себе позволить лишь очень мелкие вольности, дабы не навлечь на себя казни египетской. Биограф может наделить своего героя кривой ногой, лишить его нескольких зубов или слегка согнуть его позвоночник и все же уйти от возмездия; однако основную конфигурацию он обязан сохранить, иначе не избежать ему насильственной смерти. В своей работе он опирается на какой-то костяк из фактов, и работа эта близка, пожалуй, к созданию характеров не столько в художественной литературе, сколько в портретной живописи. Итак, биограф вытащил скелет на свет божий, смахнул с него пыль, поставил в мастерской с окном на север; теперь он облекает его в мышцы, ткани и кожу, а затем и в одежду, руководствуясь своим эстетическим чувством или чувством приличия, что не всегда одно и то же. Свои портновские заключения он выводит из бесчисленных документов или из отсутствия таковых; и нетрудно понять, что в его работе сознание играет неизмеримо бóльшую роль, чем подсознание. В этом и состоит второе существенное различие между биографом и романистом. Биограф с начала до конца контролирует свою работу сознанием; романист сознательно отдается на волю капризным вспышкам своего подсознания. В нашу эпоху — эпоху экспериментов — некоторым предприимчивым литераторам пришла идея слить воедино биографию и беллетристику и создать произведения, которые можно назвать биографическими пьесами и биографическими романами. Для этого берут какую-нибудь личность, в прошлом наделавшую шума, и, почтительно обходя определенные факты, наряжают ее в маскарадный костюм. Результат нередко оказывается приятным для читателя и лестным для гордости и предрассудков автора, но тут мы ступаем на зыбкую почву. Ибо, если допустить, что история, как утверждают некоторые люди, имеет какую-то ценность, принаряживать таким образом мертвецов и заставлять их плясать под дудку фантазии — занятие весьма рискованное. Исторический роман тоже достаточно опасен, это хорошо знают те, кто, начитавшись Дюма, уже не приемлют затем более пресных вариантов истории Франции того периода; однако биографический роман еще опаснее. Исторический роман с самого своего рождения воспринимался как веселый гуляка; биографический же роман или пьеса — это расчетливый, коварный соблазнитель в плаще пуританина. И так как я, например, всегда предпочитал дичь, поданную в собственном соку, всяким замысловатым соусам и приправам, то я и вынужден отметить мимоходом крайнюю ненадежность этого способа создания характеров.

В биографе нас превыше всего восхищает прилежание, с каким он выкапывает из курганов истории столь много значащие мелочи, а также острый, но трезвый глаз, позволяющий ему отобрать из этих мелочей те, что, будучи нацеплены на скелет, создают образ, убеждающий нас в том, что биограф по мере своих сил стремился быть верным оригиналу. Воссозданный образ героя всегда в той или иной мере окрашен индиви-

дуальностью биографа. Но чем меньше индивидуальность биографа искажает натуральные цвета героя, тем выше достигнутый результат. В известном смысле искусство биографа — столько же творчество, сколько и критика, а подлинная критика отмечена некоей божественной отрешенностью, верностью истине не в угоду, а наперекор личности критика. Вот почему и хорошие критики, и хорошие биографы — существа почти такие же редкие, как единорог. Хороший биограф, как и хороший портретист, должен быть создан из губки и стали. Он должен все впитать, все просеять, а затем проявить и активное сочувствие и высшей закалки сопротивление. Он должен сопротивляться самому себе, подавлять в себе и чувство смешного и эмоциональные порывы, но притом оставаться горячим и красочным. Он должен сопротивляться публике и прошедших времен и своего времени — ее предрассудкам и пристрастиям. Как правило, он должен сопротивляться даже своему издателю и требованиям собственного кармана. Правда, биографу в отличие от портретиста не приходится сопротивляться магнетическому току, исходящему от живого оригинала, который не желает, чтобы его изображали неавантажно или, скажем, правдиво; зато сплошь и рядом ему приходится выдерживать борьбу с культом предков. В самом деле, когда подумаешь, сколько львов подстерегает биографа на его пути, уже не удивляешься тому, что ему случается угодить к зверю в пасть, а еще чаще — заплутаться в джунглях. Глядя на портреты кисти старых мастеров — на гольбейновского сэра Томаса Мора или рафаэлевского Ингирами,— где ничего не упущено вплоть до косящего глаза и нет ни малейших уступок желанию поразить чем-то необычным или новым, чувствуешь, что живописца вдохновляла врожденная страстная приверженность правде. Характер, который он вызвал к жизни в результате длительного и жадного созерцания оригинала, пробуждает у нас своего рода благоговение. Мы часто слышим мнение — более того, я и сам его высказывал, ибо последовательность встречается в нашем мире так же редко, как соловьи к западу от Эксетера,— что вовсе не важно, является ли портрет портретом: тот, кто позировал для него, умрет, а картина останется, и никто не будет знать, хорошо ли было уловлено сходство, будут судить лишь о том, хороша ли картина. Все это совершенно верно. Но, с другой стороны, если портрет не есть попытка воссоздать натуру, к чему называть его портретом и обозначать определенным именем? Конечно же, портретистом руководит то же разумное стремление, что и лучшими из биографов: воссоздавая, придерживаться правды; и на этом пути его подстерегает отнюдь не меньше соблазнов. Ван Дейк, у которого многие портреты отмечены, в ущерб индивидуальности, неким приятным спокойствием, возможно, связанным с пышными манжетами,— Ван Дейк восхищает нас, когда, встряхнувшись, воссоздает глубины характера и настроения, как в петвортском портрете графа Нортумберленда. Этот портрет — хороший пример той борьбы между богом и мамоной, которая непрестанно идет в душе портретиста и биографа. Ван Дейк писал его, когда Нортумберленд томился в Тауэре. Бородатое лицо повернуто в профиль, подперто рукой, и художник придал ему как индивидуальные черты, так и многострадальное выражение, свойственное всякому узнику. Но, словно понимая, что такое изображение знатного лица будет встречено не слишком благосклонно, художник даже в этом столь правдивом портрете успокоил зрителей, поместив понурившуюся фигуру на фоне алой бархатной занавески — не совсем обычного аксессуара тюрьмы. Глядя на хорошие портреты людей, которых сам близко знал, не устаешь удивляться тому, как правдиво художник, умеющий чувствовать, видеть и верно передавать свои впечатления, воскрешает для нас и внешний облик и внутреннюю сущность человека. Столь же правдивое отражение достигнуто в таких биографических трудах, как «Отец и сын» Эдмунда Госса, как книги Джорджа Тревельяна о Гарибальди, как «Жизнь Парнелла» О'Брайена. Секрет лучших биографий, как и лучших портретов, заключается в магическом сочетании сочувствия и критического подхода. Когда Гейнсборо написал своих маленьких дочек, чтобы они так и жили в веках — взявшись за руки, ловили бабочек в летний день,— он дал нам непревзойденный образец того, какой трогательной красотой может дышать искусство воссоздания; когда Босуэлл написал свою «Жизнь Джонсона», он открыл нам,

каким поразительно интимным может быть это искусство.

Но достаточно о той области создания характеров, которая лежит вне моего личного опыта. Перейдем к тому, что хотя бы знакомо мне из первых рук,— к созданию характеров в романах и пьесах.

Несколько лет назад один усердный труженик на ниве статистики разослал ряду известных драматургов опросный лист. Ему хотелось во избежание каких-либо неясностей в этом вопросе в точности узнать, как драматурги пишут свои пьесы. Ответы, полученные им, исходили, по всей вероятности, от тех, кто, сочиняя пьесу, подгоняет характеры к сюжету. А если говорить о создании характеров, то именно в этом и заключается для драматурга главная опасность. Как могут персонажи пьесы быть живыми, если подчинить их поворотам заданного сюжета? Разумеется, прежде чем садиться писать пьесу, драматург должен знать общее ее направление и конец; но в этих пределах пусть он дает своим персонажам полную возможность самим диктовать ему пьесу. Даже при этом условии он не имеет такой свободы, как прозаик: если бы провести опрос, охватывающий все когда-либо написанные романы и пьесы, выяснилось бы, что в романах намного больше запоминающихся характеров, чем в пьесах. Можно даже сказать, что пьесы запоминаются как пьесы, а романы — по изображенным в них характерам. Есть, конечно, выдающиеся исключения из этого правила, и как раз те пьесы, которые заслужили настоящую славу, обычно славятся прежде всего характерами героев. Пример Шекспира напрашивается сам собой. Но у Шекспира были задатки великого романиста в эпоху, когда роман еще не родился. Малори и авторов ранних стихотворных «романов» можно скорее отнести к баснописцам; Сервантес, правда, был современником Шекспира, но в Англии в ту пору средствами литературного выражения были в первую очередь поэзия и драма. Так не будем больше тревожить Шекспира, приклеивая к его хамелеоньей коже ярлык романиста: не то какой-нибудь бойкий литератор, чего доброго, возьмется доказать, что его драмы написал Сервантес, в часы досуга изучая таким образом английский язык. Самое великое, что есть в Шекспире,— это, безусловно, его непревзойденное владение словом. Он был прежде всего поэт; в создании же характеров он шел путем извилистым и прихотливым, непрестанно черпая из глубин подсознания, что гораздо более свойственно прозаику, нежели драматургу. То же положение подтверждает и необычайно свободная композиция шекспировских драм. Очень возможно, что если бы Шекспир не был актером или хотя бы не был так тесно связан с театром, он ввел бы в Англии роман характеров и занял бы принадлежащее Сервантесу место первого в мире автора бытового романа. Шекспир — это козырь в руках тех, кто утверждает, что без основательного, практического знания сцены нельзя написать настоящую пьесу. Это одна из тех полуправд, в которых людям хочется видеть всю правду. Существует и противоположное мнение, что все, что есть в драматургии ценного, привносится в театр извне. Оба эти положения можно удовлетворительно доказать, оговорив соответствующие исключения. Для настоящей лекции это вопрос несущественный, но от него удобно перейти ко второму серьезному препятствию для создания характеров в драме — к тому искусственному ограничению творческой свободы драматурга, каким является сцена. Разумеется, драматург может сосредоточить все свое внимание на характерах, а остальное отдать на волю случая; на этом, собственно, и зиждется теория «привнесения извне». Но хотя такое пренебрежение требованиями сцены может способствовать жизненности персонажей, режиссера оно приведет в неистовство. И драматург почти неизбежно считается с этим ограничением. Это называется «соблюдать законы жанра», и на этом строится теория, что создать настоящую пьесу невозможно без основательного знания сцены. Шекспир безусловно знал законы своего жанра и столь же безусловно пренебрегал ими больше, чем любой драматург любой эпохи. Ссылками на Шекспира ничего не докажешь. Но, поставив себя на место драматурга, пытающегося создать в своем воображении новое существо со свойствами и качествами живого, полнокровного человека, мы увидим, как сковывает и раздражает его необходимость все время помнить о том, что его герой или героиня могут действовать только в рамках определенного пространства и времени, которые он бессилен раздвинуть. В этом, кстати сказать, одно из преимуществ кинематографа перед театром, но это преимущество не возмещает потери, происходящей оттого, что зритель видит лишь тени, а не актеров из плоти и крови. И здесь уместно остановиться на

третьем серьезном препятствии к созданию характеров в драматургии. Драматург не может не сознавать, что отдает своих героев на милость исполнителей. Ему, кроме как, может быть, в первой пьесе, трудно отделаться от мысли, что, как бы он ни напрягал свое воображение, на сцене его создание окажется не таким, каким он его вообразил. Идеального актера для той или иной роли не бывает, можно говорить лишь о более или менее верной трактовке роли. И, зная это, драматург склонен допускать некоторую нечеткость замысла и выполнения, чтобы одежды персонажа оказались к лицу большему количеству исполнителей. Иные драматурги так остро чувствуют это ограничение, что просто пишут роли для определенных актеров. Но это уже значит пересоблюсти законы жанра, и, назвав такой процесс созданием характеров, мы оказали бы ему слишком много чести.

Сцена побуждает писателя создавать не столько индивидуальности, сколько типы. Вероятно, самое выдающееся исключение из этого правила — Фальстаф. Этот великолепный старый грешник для нас — только отдельный человек, мы не связываем его ни с какой гранью человеческой природы, как связываем Лира с неистовством, Отелло — с ревностью, леди Макбет — с сильной волей и неразборчивостью в средствах и Гамлета, может быть ошибочно,— с мечтательной нерешительностью. Создавая Фальстафа — образ, кстати сказать, во многом тяготеющий к роману,— Шекспир дал себе волю и наслаждался от души, а его наслаждение передалось в претворенном виде и нам. Здесь он почти полностью подчинился подсознанию, направляющая мысль отсутствует или, вернее, скрыта от нас. Можно бы, правда, наклеить на Фальстафа ярлык «воплощенная аморальность», но это уже литературное соображение post factum. Сперва мы заглатываем Фальстафа, сколь ни велик этот кус, как глотаем самую жизнь, бесформенную и сочную, и просим добавки.

Типичность Гамлета вызывает сомнения. Литературная традиция считает его антитезой Дон-Кихота: один — мечтатель, другой — странствующий рыцарь, один — человек мысли, другой — человек действия. Но подтверждает ли текст драмы это удобное противопоставление? Гамлет — это, скорее, еще один пример того, как драматург, подобно романисту, блаженно отдается на волю интроспективного метода, почти всецело покоряется подсознанию, работающему на то настроение, которое в данную минуту владеет автором. Образ Гамлета так тонок, так многогранен и гибок, что ни один актер, кажется, не сумел провалить этой роли. Правда, великий Гамлет — явление редкое, зато хороший Гамлет — это нечто само собой разумеющееся.

Пусть Гамлет послужит нам переходом к самой широкой и самой важной грани нашей темы — к созданию характеров в романе.

Здесь, несомненно, процесс создания характеров менее всего скован и более всего определяется подсознанием. Романисту, чтобы создать образ, который может прожить один сезон, а может и пережить века, не требуется ничего, кроме тихого уголка, чернил, бумаги да сосредоточенного углубления в себя. Столь полная независимость делает его работу самой привлекательной, но в то же время самой трудной и таинственной. Ничто не помогает ему извне — ни покорный скелет, ни строптивая натура. На воображение его не влияют ни заданные мизансцены, ни исполнители, в которых он не уверен. Рассматривая метод, которым работает прозаик, задаешься вопросом: с чего он начинает? Сознательно или подсознательно он черпает из жизни? Каждый романист ответит на этот вопрос по-своему, и ни один из ответов никого не удовлетворит. И сам я, хотя уже более трех десятилетий пытаюсь писать романы характеров, тоже едва ли внесу ясность в этот вопрос. До сего дня я так и не могу сказать, с чего и как я начинаю и как продолжаю; я убежден лишь в одном: единого правила нет, процесс создания характеров бывает различен не только у разных писателей, но и у меня самого — в разное время. Наибольшее приближение к одной общей формуле можно выразить примерно так. В какой-то момент писатель особенно остро воспринимает какое-то реальное происшествие или человека; воспринятое явление и настроенность наблюдателя, так сказать, смыкаются, подобно двум клеткам, которые, соединившись, образуют зачаточную точку творчества. К этой зачаточной точке притягиваются подходящие впечатления или воздействия, хранившиеся в подсознании; так продолжается, пока зародыш не вырастет до таких

размеров, что уже настойчиво требует выражения, и тогда писатель начинает освобождать себя с помощью написанных слов. Первые фразы, описывающие героя, обычно бывают подсказаны наблюдением над действительной жизнью. Если наблюдение было сознательным, то это описание вскоре, вероятно, будет изменено. Но и без того персонаж начинает так быстро отклоняться от первоначальной натуры, что если автор хочет сохранить верность своему первоначальному прототипу, ему приходится все время прибегать к «инбридингу», снова и снова вводя в свое описание первоначальные черты героя. Страсть к выведению чистокровных лошадей, заложенная в груди каждого англичанина, поможет нам понять, как романист, создавая характеры, отбирает те или иные выдающиеся черты и неустанно их подкрепляет, так же как коннозаводчик отбирает животных тех или иных кровей и неустанно их скрещивает до тех пор, пока не возникнет опасность слишком близкого родства. Но, как бы ни старался автор, раз уж герой зажил своей жизнью, то все равно каждый его поступок, слово или мысль уводят его все дальше от первоначальной натуры. И, в сущности, этого-то романисту и нужно, ибо персонажи, прилежно списанные с жизни, по вполне понятным причинам нежелательны. Тургенев, один из самых сознательных и в то же время самых изысканных прозаиков, рассказал нам, как он создавал образ Базарова. Однажды он разговорился в поезде с молодым врачом, который поразил его как совершенно новый тип. Затем он сошел с поезда и больше не встречал этого молодого человека. Но тот произвел на него столь сильное впечатление, что он решил представить себе его жизнь и мысли в форме дневника. Он вел этот дневник несколько месяцев так, как в его представлении вел бы его молодой врач, и наконец почувствовал, что знает, как этот молодой человек стал бы думать и поступать при всех возможных обстоятельствах. Тогда он начал писать роман «Отцы и дети», сделав главным героем этого молодого врача под именем Базарова. Базаров называет себя «нигилистом», и это слово было тотчас принято повсеместно как кличка нарождавшегося тогда в России нового типа. Это пример сугубо сознательного создания образа, сугубо обдуманной последовательности, но только великий взыскательный мастер мог добиться успеха, придерживаясь столь строгого метода. Как правило, свобода и жизненность образа идут от подсознания, которое инстинктивно снабжает сознание нужным материалом. Да простится мне, если я попытаюсь разъяснить это положение, сославшись на собственный опыт. Утро. Я сажусь в кресло, на коленях у меня бювар, перед глазами — записанные последние слова или поступок моего персонажа, в руке — перо, в зубах — трубка, а в голове — пустота. Я сижу. Я не строю плана, не жду, даже не надеюсь. Я перечитываю последние страницы. Постепенно я как бы покидаю свое кресло и переношусь туда, где действует или говорит мой герой,— вот он уже занес ногу, сейчас подойдет ближе, и губы уже раскрыты, он хочет что-то сказать. Вдруг мое перо набрасывает какой-то жест или сказанную фразу, потом еще и еще и с передышками продолжает эту работу час или два. Перечитав записанное, с удивлением убеждаешься, что оно как будто вытекает из предыдущего и подготовляет возможное продолжение. Эти страницы, добавившие образу немного живой плоти, появились из кладовой подсознания в ответ на призыв сознания или направляющей мысли и в конечном счете служат вашей теме, если употребить это слово в самом широком его значении. Таким образом, создание характера, хоть и есть процесс бессознательный и ничем не скованный, всегда подчинено той целеустремленности, которую, пожалуй, лучше всего назвать «инстинктом почтового голубя».

О книгах часто говорят, что «образ такого-то вышел из повиновения», «зажил самостоятельной жизнью». Это правильно, хотя и не содержит всей правды. Ибо ни один образ не может преступить границ природы своего «создателя» или увести его за пределы его тайного чувства формы. Даже если это чувство формы всего лишь прославление бесформенности, все же оно есть, и за пределы его образ не может выйти.

Приведенный выше пример Базарова показывает также неразрывную связь между характером и сюжетом. В романе, так сказать, продиктованном совестью, сюжет — это характер, освещенный ярко и со многих точек. Тема Тургенева в «Отцах и детях» — сопоставление, вернее, противопоставление старшего и младшего поколений. Когда в молодом враче, встреченном в поезде, Тургенев усмотрел новый тип, это не только вызвало у него желание создать образ Базарова, но и дало ему тему, то есть под-

ходящую среду, в которую поместить своего героя. Контраст между Дон Кихотом и Санчо Пансой дал Сервантесу тему для его шедевра. Тема тургеневского «Дыма» заключена в образе обольстительной Ирины. Тема лучшего из романов Бальзака — в образе полупомешанного отца Горио. Мы не можем вообразить бесконечные перипетии «Трех мушкетеров» Дюма и их продолжений без центральной фигуры храброго искателя приключений Д'Артаньяна; или «Записки Пикквикского клуба» без благожелательного главенства мистера Пикквика; или «Похищенного» и «Катриону» Стивенсона без противопоставления равнинной Шотландии и горной Шотландии, представленных в образах Давида Бальфура и Алена Брека. Но бывает и другое положение, чему хорошим примером служит великий роман Толстого «Война и мир». В нем развернута такая широкая панорама жизни, что даже главные герои занимают словно бы подчиненное место. Да и читая второй шедевр Толстого, «Анну Каренину», чувствуешь, что тема выражена, может быть, больше в Левине, чем в Анне.

В начале этой лекции было мельком упомянуто, что долговечность романа, пьесы, биографии зависит от жизненности характеров, в них изображенных. Сузим теперь этот вопрос до пределов романа. Очень немногие романы переживают свое поколение, а те, что живут дольше,— это по большей части произведения, в свое время по достоинству оцененные и популярные, но помнят их всего лишь по именам на обложке, а раскрывают только ученый или студент да еще человек, застрявший в захолустной гостинице. Редкие романы прежних времен, которые мы до сих пор перечитываем с наслаждением,— это почти всегда те, в которых по меньшей мере один характер пережил свою эпоху. Многие ли знали бы сегодня Теккерея, если бы не Бекки Шарп, майор Пенденнис, полковник Ньюком, Гарри Фокер, Эсмонд, Беатриса и Барри Линдон? Многие ли знали бы Троллопа, если бы не миссис Прауди? С Диккенсом для нас теперь, в сущности, не связывается ничего, кроме целой галереи удивительно живучих персонажей. Джордж Элиот еще держится, хотя и непрочно, благодаря своим детям Сайласу Марнеру, Адаму Биду и Хэтти. Характеры, созданные Джейн Остин, не дают нам забыть ее, несмотря на безнадежную ограниченность ее мирка. Из Флобера читатель, не занимающийся специально вопросами стиля, помнит только госпожу Бовари и старую служанку из повести «Простая душа». Фильдинг был бы забыт, если бы не Том Джонс, Джозеф Эндрюс и София. Правда, мы едва ли скажем, что «Сентиментальное путешествие» *, «Крэнфорд» **, «Алиса в стране чудес», «Остров сокровищ» или «Гекльберри Финн» живут благодаря характерам. Они живут и будут жить всегда, главным образом потому, что проникнуты особенно светлым мироощущением. Но такие исключения подтверждают правило, важное для будущего, потому что за последние годы наметилась тенденция отказаться в романе от индивидуализации в пользу своего рода коллективизма, оставить драму индивидуальных характеров, показанных в ярком свете и под высоким давлением, ради чуть ли не научной демонстрации человека вообще. Авторы с превеликим прилежанием и искусством выставляют и всячески поворачивают для нашего обозрения мысли, чувства, стремления, слабости и достоинства этого homo более или менее sapiens, но даже не пытаются вдохнуть в него индивидуальную жизнь. Объектом любви или ненависти писателя стал вид в целом, а не отдельные особи этого вида. Это очень интересный эксперимент — особенно для тех, кто его ставит. Он пользуется известным успехом. Однако есть веские причины, почему забота об интересной манере письма, словесная игра, воспроизведение «трепета» жизни или даже такое вот тонкое изображение обобщенной человеческой души никогда полностью не заменят создания индивидуальных характеров как главной задачи и главной движущей силы романиста. Одна из этих причин состоит в том, что у большинства из нас время от времени возникает потребность переключить свой интерес с себя на других. И потребность эту гораздо чаще и полнее удовлетворяют не живые люди, будь то даже наши друзья и родственники, а именно герои книг. Далее, многим из нас хочется увидеть в литературных героях самих себя и судить себя по этим героям. Анализ обобщенного человека может быть поучительным, но не даст нам образа достаточно яркого для сравнения с нами са-

* Лоренса Стерна (1768).
** Элизабет Гаскелл (1853).

мими. Обычно мы и не сознаем, насколько литературные персонажи усиливают и обогащают непрестанный процесс этической оценки, не отделимый от всей человеческой жизни. Конечно, писателю не следует руководствоваться этим соображением — это было бы пагубно для его созданий. Но когда работа его закончена, ему приятно думать, что, создав тот или иной характер, он способствовал органическому росту нравственных критериев. В самом деле, если у писателя есть миссия на земле, кроме как доставлять развлечение, так она в том и состоит, чтобы, создавая характеры, заставлять людей думать и чувствовать.

Я подошел к финишу без малейшей надежды разорвать ленточку, ибо необъяснимое так и осталось необъясненным. Почему литературный персонаж живет? Или, скажем, наоборот — почему столь многие из них умирают? В конце каждого издательского сезона их набираются целые кучи — как полумертвых осенних мух. И вскоре горничная Время является с метелкой, сметает их со стены, открывает окно и высыпает их в куст зимнего жасмина. Многие из них умирают оттого, что были «интересные» или «странно волнующие»,— ах, эти удобные, но роковые слова! Иные, раздувшись от важности, лопнули, как мыльные пузыри. Некоторые, в наше время немногие, погибли от избытка сахара. Еще другие до того возлюбили своих создателей, что впали в религиозный экстаз и совершили самоубийство. А остальные, проведя свои дни в попытках состояться, просто отказались от этих попыток.

В тех немногих литературных характерах, которые не поддаются времени, есть одно качество простое, но немаловажное: они живут потому, что все время, хоть и незаметно, раскрывают себя. Если бы нужно было отдать пальму первенства какому-нибудь одному фактору в создании характера, я назвал бы сухой, лукавый юмор. Тот юмор, что породил Дон Кихота и Санчо, Фальстафа, майора Пенденниса, Бекки Шарп, Сэма Уэллера, Микобера, Бетси Тротвуд, Степана Аркадьевича и миссис Прауди. Но это — скорее инструмент, чем движущая пружина в создании долговечных характеров. Самая же пружина остается тайной. Если хотите, назовите ее животворной искрой, «дыханием жизни». Несомненно одно: все долговечные характеры в литературе выбрались из пеленок и освободились от своих создателей. Им нет никакого дела до виновников их существования. Они вырастают, уходят и зовут вас за собой на улицы, в поля, к пустыням и рекам их самостоятельных странствий, чтобы вы могли увидеть их звезды и разделить их заботы, смеяться вместе с ними и любить вместе с ними, вместе с ними бросать вызов судьбе, бороться с ними плечом к плечу и, когда для них настанет ночь, вместе с ними раствориться в небытии.

1931 г.

Перевод М. Лорие

О Голсуорси-критике

(Вместо послесловия)

Джон Голсуорси, внесший своим творчеством большой вклад в развитие критического реализма в английской литературе XX века, и теоретическими статьями боролся за реалистическую эстетику. В одной из ранних статей — «Почему нам не нравятся вещи как они есть» (1905—1912) Голсуорси выступил с протестом против установившихся в английской литературе пуританских, фарисейских традиций замалчивания неприглядной правды. Как в этой, так и в других, более поздних статьях, например, «Кредо писателя» (1926), он утверждал, что долг художника изображать «вещи как они есть». Основные идеи ранних статей («После спектакля», 1903, «Несколько трюизмов по поводу драматургии», 1909, «О цензуре», 1909 и др.) перекликались с острыми мыслями о роли искусства в его первом значительном романе «Остров фарисеев» (1904).

В формировании эстетических взглядов Голсуорси как и его творчества наряду с классическим наследием английского реализма сыграла большую роль великая русская литература. «Великие русские писатели, которые доставляют мне наслаждение,— писал он в статье «Русский и англичанин» (1916),— обладают прежде всего даром открытия правды». «...Ваша литература,— писал он далее, обращаясь к русским читателям,— за последние двадцать лет внесла глубокие изменения в нашу литературу. Русский роман, созданный вашими мастерами, явился великой живительной струей в море современной литературы».

В трудных поисках решения проблемы назначения искусства Джон Голсуорси порой становился на неверный путь, заблуждался, провозглашая искусство единственной формой человеческой деятельности, способной преобразовать общество, видя в нем средство установления гармонии в отношениях между людьми, уничтожения социальных противоречий вне классовой борьбы (статья «Туманные мысли об искусстве», 1911). Такие настроения писателя усиливаются в двадцатые годы. Голсуорси страшится острых социальных конфликтов, выдвигает идею незыблемости самих основ общества, которое он подвергал критике. В то же время он сознавал ответственность, которую налагала на писателя его эпоха, был верен своему убеждению в высоком назначении литературы, призванной бороться против несправедливости, в защиту достоинства человека. С этих позиций он выступал против возобладавшей в атмосфере духовного кризиса послевоенных лет литературы модернистов.

Протест против антигуманистической линии этой литературы ощутим в статье «Силуэты шести писателей» (1924). Диккенс, Тургенев, Толстой, Мопассан, Франс, Конрад дороги Голсуорси потому, что они гуманисты; чуждые, по его словам, литературному фатовству, они обращаются к подлинной жизни, освещая ее светом своего искусства, способствуя развитию человеческого общества и влияя на этические нормы времени. Восхищаясь Толстым, который, всецело отдаваясь своей теме, как ни один другой автор, умел передавать читателю чувство подлинной жизни, Голсуорси противопоставлял его претенциозным романам модернистов. В статье «Литература и жизнь» (1930) Голсуорси выражал мнение, что на долгую жизнь может претендовать лишь эксперимент, который с необходимостью вытекает из самой темы; произведения же тех писателей, которые экспериментируют только во имя новизны и эффекта, умрут очень скоро.

Интересны соображения Голсуорси о повествовании, сюжете, характере. Писатели-модернисты считают характер «мертвым и похороненным», писал Голсуорси в статье «Еще четыре силуэта писателей» (1928). В результате появляются романы «протоплазмические, бесхребетные», в которых все растекается; романы эти, по его убеждению, через тридцать лет не будут помнить даже по названию. Имея в виду фрейдистские произведения, Голсуорси подчеркивал, что это не романы характеров, но психоаналитические трактаты («Литература и жизнь»). По его мысли, романист должен вносить свой вклад в социальные и этические ценности эпохи путем обрисовки характеров («Кредо писателя»).

За два года до смерти, в 1931 году, Голсуорси посвящает этой проблеме специальную статью — «Создание характера в литературе» *. Статья эта содержит интересные суждения Голсуорси о роли литературы и искусства в жизни общества.

Голсуорси прав, подчеркивая, что творческий процесс чрезвычайно сложен, «таинствен» — в том смысле, что это процесс глубинный», «не подтвержденный документами», по его ироническому выражению. Он прав также в том, что писателя отличает необычный дар извлекать из «кладовой» памяти и претворять в своей творческой лаборатории «разрозненные кусочки опыта», образовавшегося в результате воздействий жизни на внутренний мир художника. Но думается, что Голсуорси склонен придавать самодовлеющее значение этой «кладовой», тому, что он называет «подсознанием», и вряд ли правомерны некоторые выводы, которые он делает при этом, например, вывод, что Шекспир, создавая образ Фальстафа, «почти полностью подчинился подсознанию» и «направляющая мысль» у него при этом отсутствовала. Основываясь на творческом опыте Голсуорси, можно сказать, что отбор «разрозненных кусочков опыта» писателя обусловлен его взглядами на жизнь и современное ему общество, центральной идеей, которая (говоря словами Голсуорси) ложится в основу его романа, продиктованного его совестью.

Д. Жантиева

---

* Как и ряд других статей Голсуорси двадцатых и начала тридцатых годов, эта статья представляет собой запись прочитанной им публичной лекции.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

О САМОМ ЖИВОТРЕПЕЩУЩЕМ

«Почему от справедливого решения германского вопроса зависит мир на земле?» — спрашивает **Вилли Бредель** в своем выступлении на заседании президиума Союза немецких писателей, опубликованном на страницах **«Нейе дейче литератур».** И тут же дает этому исчерпывающее объяснение.

Бредель ссылается на обращение двадцати двух западногерманских писателей — Генриха Бёля, Кристиана Гейслера, Ганса Вернера Рихтера, Пауля Шаллюка, Ганса Магнуса Энценсбергера и других в Организацию Объединенных Наций. Хотя в настоящее время существуют два немецких государства с двумя противоположными политическими и социальными системами, говорится в обращении, германская проблема должна быть во что бы то ни стало разрешена мирным путем.

> «Мне бы хотелось подчеркнуть,— замечает Бредель,— что составители этого документа не воспользовались термином, обычно употребляемым нами: они говорят не о «различных», не об «отличающихся друг от друга», а о «противоположных» системах в ГДР и в ФРГ».

Этот термин, по мнению Бределя, можно принять, однако лишь в том смысле, что на одном полюсе — подлинная демократия в ГДР, на другом — возрождение фашизма в ФРГ.

В Федеративной республике, продолжает Бредель, хозяева монополий — те люди, которые при Гитлере были крупными воротилами, наживавшимися на войне; многие из них осуждены как военные преступники. Командные посты в вермахте принадлежат бывшим гитлеровским генералам, бывшие эсэсовцы занимают уютные местечки в государственном аппарате. Многие судьи при Аденауэре те же, что были и при Гитлере.

> «Все они,— говорит Бредель, имея в виду представителей правящей верхушки,— не скрывают, что атомное вооружение бундесвера потребуется им для того, чтобы решение — война или мир — оказалось в их руках».

Вот почему от решения германского вопроса зависит мир на земле. Вот почему необходимо его справедливое разрешение. В данном случае, отмечает докладчик, «предложение, внесенное западногерманскими писателями, полностью совпадает с предложениями, годами вносимыми правительством ГДР».

Бредель подчеркивает, что противоположность социально-политических систем, существующих в двух германских государствах, приводит и к противоположности целей, к которым они стремятся. Это сказывается во всем, в том числе и в культуре, и в литературе, в искусстве.

> В ФРГ «поэты, в гитлеровские времена воспевавшие войну, давно уже вылезли из щелей, в которые они залезли в 1945 году; теперь они служат новым хозяевам, каковые, впрочем, были и их старыми хозяевами... Эти «литераторы» потому не преодолели запятнанное грязью и кровью фашистское прошлое, что они хотят в духе этого прошлого построить будущее Германии».

Но в ФРГ есть и другие, продолжает Бредель, те, кто борются против войны. Им нелегко отстаивать свои взгляды. Недавно брошен в тюрьму Рихард Шерингер, автор книги «Великий жребий». Его держат в заключении, хотя он тяжко болен. И никто, даже издательство Ровольт, выпустившее его книгу, не осмеливается протестовать против подобного произвола. Хотя все знают, что Шерингер осужден только лишь за свои благородные убеждения.

«Мы с гордостью заявляем,— говорит Бредель,— в ГДР писатели моего поколения, пережившие две мировые войны, боролись, как социалисты и коммунисты, оружием художественного слова против германского милитаризма и затеваемых им войн, а во времена гитлеровской диктатуры на родине или в изгнании постоянно клеймили позором постыдный фашистский режим. Среди них не нашлось ни одного, кто позволил бы себе поддержать раздуваемую фашистами национальную и расовую ненависть. Никто из них не написал ни строчки в оправдание захватнических империалистических войн. А наши молодые коллеги, ставшие писателями после второй мировой войны, стали ими большей частью потому, что им пришлось пережить эту войну, вызвавшую в них отвращение к войнам и ненависть к фашизму».

Германский вопрос и то, что с ним связано,— лишь одна из тем, затронутых Вилли Бределем в его содержательном выступлении. Но эта тема, пожалуй, самая животрепещущая. Ибо в Бонне, как он подчеркивает, «готовы к последнему риску — к войне».

Западногерманские писатели, подписавшие обращение в ООН, сочли своим долгом выразить протест против аденауэровской политики, представляющей собой угрозу миру. В какой мере они выражают этот протест в своих художественных произведениях? В чем сила и в чем слабость литературы, называемой ими нонконформистской? На эти вопросы отвечает **Кристиан Гейслер** в мюнхенской газете **«Культур»**, в статье, где явно преобладает самокритическая тенденция.

Поводом для выступления послужила книга Эриха Куби «Победа! Победа!», выпущенная издательством Ровольт в 1962 году. Эрих Куби как писатель старше Гейслера, но оба они принадлежат к той категории западногерманских писателей, которые, отвергая фашизм и не признавая коммунизм, ищут несуществующий «третий путь».

Читая книгу Куби, Кристиан Гейслер, по его словам, делал на полях заметки вроде следующей: «Слишком большое удовольствие от собственного бессилия!»

Хотя в этом романе описывается зима 1939—1940 года, он, по мнению Гейслера, актуален и теперь, ибо в нем показано

«одинокое бессилие тех, кто от случая к случаю умеет решать проблемы теоретически, но даже при благоприятных обстоятельствах не умеет разрешать проблемы практически».

В образе героя книги Стефана Вольцогена содержится, по словам Гейслера, правда,

«убийственная для всего нашего писательского ферейна, для нашей нонконформистской гильдии, для всех нас, у которых на носу написано бессилие доброй воли...»

Гейслер считает, что книга Куби — это зеркало, в котором отразился не только ее автор, но и все литературное направление, к которому он принадлежит.

«В этом зеркале мы увидели... самих себя,— пишет Гейслер,— нежных, опустошенных, растерянных, возмущающихся с очаровательной беспомощностью... способных видеть многое яснее других, не способных хоть самую малость измениться к лучшему для других...»

Гейслер полагает, что Куби оказался самокритичным помимо своей воли. Вообще он считает его последнюю книгу неудачной. Прежде всего потому, что ее герой, а вместе с ним и ее автор «слишком любят собственное бессилие».

Сам Гейслер не хочет ни любоваться героем книги, ни оплакивать его.

«Черт побери, ведь этот самый Вольцоген — наш тип. Поэтому мы должны остерегаться, чтобы не полюбить его. Нет, мы не прольем над Вольцогеном ни одной слезинки. Это были бы ядовитые слезы, такие, которые заставляют сдаваться, отнимают единственный шанс, который у нас есть: нас самих».

Что же скрывается за этими словами? Мысль Гейслера совершенно ясна: западногерманские писатели, такие, как он, не претворяют идей в действия потому, что не знают, как действовать.

«Неужели же наше дело — быть наблюдателями, фиксировать, бледной печальной рукой фиксировать, что печальное существует, делать только это и ничего больше?..— спрашивает Гейслер.— Плакать, плакать, плакать — дни напролет, ночи напролет. Боже мой, этот самый Вольцоген — один из нас. И он актуален. Разве мы не актуальны? Мы, в наших убежищах из печатной бумаги, зимой 1961—1962 года; мы, с нашим бесполезным, давно уже ни на что не пригодным реализмом доброй воли. Мы восседаем на нашей доброй воле, как на ящике с ржавым оружием... Друзья, что это за зрелище!»

Гейслер понимает, что нужно искать какое-то новое оружие, иначе нечего рассчитывать на победу в борьбе со злом.

«Почему бы нам не удалиться со слезой? — спрашивает он с горькой иронией.— Ведь похоже на то, что мы в состоянии только лишь блевать оттого, что враги побеждают?..»

Однако все это отнюдь не ламентации пессимиста. Гейслер не теряет — и советует друзьям не терять — надежды на собственную победу, на победу добра над злом, правды над ложью.

«Победа глупости — под Парижем в 1940 году, в Бонне в 1961 году — дает

победителям право на торжество, дает это право, говорю я, но лишь до тех пор, пока Вольцоген, пока мы, умные и унылые, только лишь оплакиваем это зловещее торжество и не предпринимаем ничего разумного».

Итак, рецензия на книгу, написанную собратом по перу, стала для Гейслера исповедью. Ценность этой исповеди велика. Она дает возможность надеяться: ведь тому, кто понимает, в чем его слабость, легче стать сильным.

Западная Германия остро нуждается в писателях, которые были бы сильны и в отрицании старого и в утверждении нового.

МОЛОДАЯ АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Литература шестидесятых годов еще только начинается. Английский буржуазный критик **Уолтер Аллен** судит о ней по ее началу. Для того, чтобы его суждение не было голословным, он ссылается на факты, наиболее ему известные: на романы и пьесы, созданные его молодыми соотечественниками за последние годы. Он сравнивает литературу шестидесятых годов с литературой тридцатых годов, и это сравнение оказывается не в пользу молодых. В чем же тут дело?

Уолтер Аллен считает, что писатели, которые были молоды в тридцатые годы, имели перед молодыми писателями настоящего времени несомненное преимущество— ясность цели.

«Когда экономика была совершенно разрушена, а бедствия, к которым приводила безработица, обступали писателя со всех сторон, когда фашизм, истерический, мерзкий, душил либеральную демократию на половине европейской территории, когда война была отсрочена, но не предотвращена — писатели были уверены, что им ясно, как поступать, и они делали то, что находили нужным,— пишет Уолтер Аллен в **«Нью-Йорк таймс бук ревью»**.— В результате возникла «завербованная литература, своей страстностью и благородством в какой-то степени напоминавшая творчество романтиков».

В литературе тридцатых годов Аллена привлекает, таким образом, ее гражданский пафос. Именно этого — именно «завербованности», то есть глубокого убеждения в необходимости и возможности служить общественным целям,— недостает, по мнению Аллена, молодым писателям его родины. С этим нельзя не согласиться, хотя многое зависит от того, какими именно представляет себе Аллен цели и задачи «завербованной» литературы. Не уточняя этого в своей статье, Аллен ограничивается, однако, лишь общим утверждением, согласно которому английской литературе шестидесятых годов недостает идейной целеустремленности.

«Разумеется, сами молодые английские писатели не считают, что им нечего сказать,— добавляет Уолтер Аллен,— но большинству из них явно не хватает какой-либо системы высоких идей, которые придавали бы силу их творчеству...»

Итак, молодая английская литература скорее слаба, чем сильна, ибо ей недостает «высоких идей». Но ведь и на это, в свою очередь, должны быть причины? Аллен думает, что они не столько субъективные, сколько объективные. Ему кажется, будто угроза атомной войны, нависшая над человечеством, неминуемо обрекает молодую современную литературу на идейную неполноценность.

Писатели тридцатых годов верили, что «усилия каждого имеют смысл», что «человек может управлять событиями». Теперь же, по мнению Аллена, ни у кого не только в Англии, но и во всей Европе не осталось такой веры.

Аллен не видит смысла не только в избрании того или иного кандидата в английский парламент, но и в движении сторонников мира, в частности в борьбе за запрещение атомного оружия. Ему кажется, будто эта борьба в той форме, в которой она ведется, ничего не дает. Трудно сказать, заблуждение это или сознательная попытка теоретически обосновать правомерность акций властей против сторонников мира в Англии. Как бы то ни было, именно Аллену несомненно свойственен тот скепсис, который он напрасно приписывает всем англичанам и всем европейцам.

Спору нет, зловещая тень «атомного гриба», опасность атомной войны означает, что перед человечеством стоит вопрос: быть или не быть? Однако пессимистический вывод, к которому Аллен приходит на этом основании, представляется более чем спорным.

«По-моему,— пишет он,— пока мы не решили, или история не решила за нас, эту проблему, никаких высоких идей, расширяющих творческий диапазон молодых писателей, вообще не может быть».

Разумеется, это не так. Во-первых, история сама по себе не делается, ее делают люди. Во-вторых, все, что есть лучшего в современной английской литературе, опровергает безапелляционное утверждение Аллена Об этом, в частности, пишет критик **Дэвид Крег** в статье, напечатанной в **«Дейли уоркер»**, к которой мы еще обратимся.

В дальнейших рассуждениях Аллена есть доля истины. Он улавливает определенную тенденцию. действительно существующую в современной английской литературе. Но и в данном случае он напрасно видит в этой тенденции что-то исторически неизбежное.

«При существующих условиях,— пишет Аллен,— создается, как и следовало ожидать, ограниченная, приглушенно звучащая литература, отражающая то, что происходит, по-видимому, во всем западном мире: уход молодого поколения в частное, личное, домашнее, в те сферы, в которых человек все еще может хоть в какой-то мере управлять своей судьбой».

Однако неожиданно Аллен делает оговорку. Он, в сущности, опровергает собственное утверждение о том, будто в эпоху «атомного гриба» молодая литература силою обстоятельств обречена на безыдейность.

«Написав эту фразу, я вынужден остановиться,— объясняет Аллен.— Все это верно, но не следует думать, будто молодежь пассивна, будто она покорна и даже спокойна; такой вывод был бы совершенно неправильным. О молодежи можно сказать все что угодно, кроме того, что она пассивна, кроме того, что она покорна,— именно в этом отношении наше время все больше и больше начинает напоминать тридцатые годы».

«Нельзя сомневаться в страстной взволнованности нынешних молодых людей,— продолжает Аллен.— Сила этой страсти еще не нашла своего выражения в литературе, да и не легко представить себе, как бы она могла его найти. Но за последние месяцы она нашла свое выражение в общественной деятельности: в демонстрациях, сопротивлении полиции, а также в том, как молодежь принимает тюремное заключение или штраф за участие в пикетах. И хотя лидером молодежи может оказаться восьмидесятилетний старик, большинство его последователей отличается молодостью. Это настоящие «сердитые молодые люди», мужчины и женщины. Нам остается только ждать того, что они дадут литературе».

Отмечая, что они уже кое-что дали литературе, Уолгер Аллен в первую очередь называет имена молодых писателей Алана Силлитоу, автора романов «В субботу вечером, в воскресенье утром» и «Ключ от двери», и Арнольда Уэскера, создателя драматической трилогии «Ячменный суп с курицей», «Корни», «Я говорю о Иерусалиме».

То новое, что Силлитоу и Уэскер сегодня вносят в литературу, критик связывает с поисками утраченных ценностей «исконной культуры английского рабочего класса». Об этом можно сказать и по-иному. Силлитоу и Уэскер вводят в литературу такого героя, какого в ней давно уже не было английского рабочего. А он, как известно, ищет не только потерянные культурные ценности. Прежде всего он ищет путей к лучшему будущему.

Аллен подчеркивает, что Арнольд Уэскер считает приобщение к культуре и искусству важнейшим средством изменения жизни к лучшему. Причисляя молодого писателя к последователям Джона Рескина, он называет его «социалистом старомодного английского толка». И добавляет, что «именно это делает его значительным для современников».

Дэвид Крег, автор статьи о современной английской литературе, о которой мы выше упоминали, придерживается на этот счет противоположного мнения.

Во-первых, он убежден, что молодая литература может и должна творчески перевоплощать передовые идеи своего времени.

Во-вторых, считает, что социализм старомодного английского толка отнюдь не принадлежит к числу передовых идей нашей эпохи. Более того, Крег понимает, что те, кто придерживается этого варианта утопического социализма, неминуемо оказываются в тупике.

«Путь, на котором Уэскер ищет, но не находит выхода для своих героев, является доказательством... трудного положения тех левых групп, которые отказываются принять марксистское учение о социализме»,— пишет он.

Тем не менее Дэвид Крег высоко оценивает творческую деятельность Уэскера, признавая его едва ли не самой яркой фигурой среди молодых представителей левого крыла английской литературы.

«Почти все хорошие молодые писатели (а вместе с ними и многие актеры, режиссеры и пр.) так или иначе связаны с левыми течениями или с движением сторонников мира»,—устанавливает Крег.

Это в полной мере относится и к Арнольду Уэскеру, чья «неизменная заинтересованность в проблемах политических и в профсоюзном движении» приветствуется Крегом.

Крег, в отличие от Аллена, не преувеличивает значение «культуртрегерской» деятельности Уэскера, но он дает ей положительную оценку.

Сравнивая Уэскера с Джоном Осборном, автор статьи в «Дейли уоркер» отмечает, что родоначальник «сердитых молодых людей» менее связан с общественной жизнью и с политической борьбой, хотя и он участвовал в демонстрациях на Трафальгар-сквер, выступал с протестом против запрещения американской компартии.

К тому же, пишет Крег, бунтарство «героев Джона Осборна более поверхностно», об этом свидетельствует и его нашумевшая пьеса «Оглянись во гневе». Крег подчеркивает, что пресловутый гнев героев этой драмы, в сущности, не так уж опасен для господствующего класса. Так, например, Джимми Портер без конца нападает на свою респектабельную супругу именно потому, что «стыдится собственной принадлежности к буржуазии»; весь свой гнев он растрачивает в подобных нападках, которые ни к чему не приводят.

Обобщая свои наблюдения над героями Джона Осборна, Кингсли Эмиса, Дорис

Лессинг, Кристофера Лога и других, автор статьи в «Дейли уоркер» устанавливает, что «их гнев слишком часто ограничивается дикими чудачествами, направленными против того поколения, которое они жаждут сменить». Он упоминает Джимми Диксона, героя Кингсли Эмиса, который «приходит в такое бешенство, что запирается один и строит страшные рожи». А это, полагает Крег, не так уж страшно для существующего порядка.

> «Их истерия легко может сойти за подлинный бунт,— пишет Крег о подавляющем большинстве изображенных в литературе сердитых молодых людей,— но сейчас уже недостаточно делать отрицательные явления современной действительности мишенью для личного недовольства — так сказать, в порядке самоутверждения».

Вообще же Дэвид Крег оптимистически смотрит на перспективы английской литературы. Он убежден, что после периода застоя наступил период движения вперед. Это движение он считает

> «результатом того бунта против консерватизма и империализма, который в 1945 году привел к власти лейбористское правительство, а теперь, после десяти лет владычества консерваторов и компромиссной тактики лейбористов, начался снова».

ПРАВДА И ЛОЖЬ ОБ АЛЖИРЕ

«Операция Лартеги» — так называется статья **Пьера Дэкса,** напечатанная во французском еженедельнике **«Леттр франсез».**

Жан Лартеги — французский писатель, творчество которого находится на уровне иллюстрированных журналов, популярных в мещанской среде. Затевая свою «операцию», он, по-видимому, и рассчитывал на успех в этой среде. Следует признать, что его расчет оправдался: успех оказался шумным, даже сенсационным.

Что же такое «операция Лартеги»? Автор статьи в «Леттр франсез» дает обстоятельный ответ на этот вопрос. Лартеги, связанный с армейскими кругами, воспользовался получаемой им информацией для того, чтобы состряпать несколько романов об Алжире. Последний из них, посвященный французским парашютистам в Алжире, называется «Преторианцы». Его романы, по словам Дэкса, «одновременно удовлетворяют вкус к драке и вкус к экзотике». Они дразнят воображение сытых обывателей. К тому же они, по мнению Дэкса, выполняют и еще одну, наиболее существенную, функцию: удовлетворяют потребности колонизаторов, привыкших оплачивать свой комфорт потом и кровью порабощаемых народов, кровью французских солдат, посылаемых на «грязную войну» в чужие страны. Эти же круги поощряют издание книг Лартеги миллионными тиражами и содействуют их распространению.

Дэкс решительно разоблачает попытку Лартеги изобразить преступления парашютистов в Алжире в виде подвига. Ссылаясь на целый ряд книг, в том числе на роман Андре Стиля «Обвал», он с их помощью неопровержимо доказывает всю лживость стряпни Лартеги. Дэкса поддерживает и **Филипп Делашом,** на страницах «Леттр франсез» противопоставляющий «Преторианцам» Лартеги правдивую историю преступлений в Алжире — книгу Ж. Перро «Парашютисты». Добавим, что основную идею своей книги Перро сформулировал в интервью, данном буржуазной **«Фигаро литтерер».** «Парашютисты — это наши эсэсовцы»,— сказал он.

Успех романов Лартеги вызвал возмущение и в левобуржуазной французской печати. В одном из номеров **«Экспресс» Мишель Курно** с негодованием писал о популярности Лартеги у обывателей. Однако в своих попытках объяснить причины этого успеха Курно исходил из ошибочных позиций, что вызвало несколько полемических реплик в его адрес, в том числе со стороны Дэкса и **Жюля Боста,** выступившего в **«Тан модерн».**

С точки зрения Курно, в популярности Лартеги виноваты... Арагон и Сартр. Пытаясь обосновать эту нелепую точку зрения, Курно в своей статье фактически скидывает со счетов многочисленные выступления Арагона и Сартра в печати против войны в Алжире, их антиколониальные статьи и памфлеты. Он утверждает, что якобы все зло в отсутствии художественных произведений на эту тему, написанных Арагоном и Сартром на месте действия. Иронизируя над этим смехотворным логическим построением, Жюль Бост пишет:

> «Неужели Мишель Курно и в самом деле представляет себе, как Сартр и Арагон, обивая пороги у Бижара и Массю... требуют и получают визу для поездки в Алжир?»

И далее он объясняет недогадливому Курно, в чем истинные причины популярности Лартеги. Читательский успех, пишет Бост, во многом зависит от издательской политики. Разумеется, не случайно разоблачительные книги Рея, Лёльетта, Лорьена об Алжире изданы тиражом всего лишь в три тысячи экземпляров, а книги Лартеги — миллионным тиражом. Миллион — и три тысячи! Цифры говорят сами за себя. Кстати сказать, добавляет Бост, эти книги, выпущенные издательством Масперо, были конфискованы потому, что в них говорилась правда об Алжире, неугодная правительству де Голля.

Развивая ту же мысль, Пьер Дэкс пишет:

> «Как только любой очевидец событий упоминает о том, что не нравится каким-либо властям, книга исчезает. Что и произошло с книгой парашютиста Лёльетта И рикошетом повлекло за собой конфискацию еженедельника «Экспресс», повинного в «неуместных цитатах».

Дэкс напоминает Курно, что конфискации подвергся тот самый «Экспресс», на страницах которого он мечет громы и молнии не против истинных, а против мнимых виновников пресловутого успеха Жана Лартеги.

Перечисляя множество случаев подобных конфискаций, Дэкс делает вывод: «Вот это и создает пустоту, в которой Лартеги может свободно расправить крылья».

Дэкс добавляет, что метод конфискаций имеет — с точки зрения правящих кругов — и еще одно несомненное преимущество. Он отбивает у издателей охоту публиковать честные книги о войне в Алжире: ведь они терпят на этом убытки. У романистов и у очевидцев этой «грязной войны» тоже может пропасть охота писать о ней правду.

Политика конфискаций в сочетании с тиражной политикой, таким образом, делает свое дело. Дэкс сообщает, что такие книги, как «Обвал» Андре Стиля, «Место казни» Владимира Познера, «Война в Алжире» Жюля Руа вышли маленькими тиражами.

> «Таковы факты,— пишет Дэкс.— Вкусы публики, которая покупает книги, формируются в соответствии с интересами того класса, который распоряжается средствами их распространения».

Отсюда, объясняет Дэкс, успех «Операции Лартеги».

Дэкс не оставляет сомнения, о каком именно классе идет речь. В числе фактов, раскрывающих связи Лартеги, есть и такой: побывав в тюрьме, где томилась Джамила Бухиред, Лартеги беседовал с нею в присутствии полковника—командира отряда парашютистов, а также фотографов. Вскоре после этого Лартеги опубликовал в «Парипресс» свою версию дела Джамилы Бухиред. Эта версия наверняка пришлась по душе упомянутому полковнику: она была явно сочинена по его указке. Таким образом, Жан Лартеги и тогда еще сыграл на руку палачам алжирского народа. Эту грязную игру он продолжает и поныне.

НА ВЕРНОМ ПУТИ

На страницах еженедельников **«Вяца ромыняскэ»**, **«Газета литерарэ»** **«Контемпоранул»** и других уже давно ведется дискуссия о современном состоянии румынской прозы.

В редакции «Вяца ромыняскэ» за «круглым столом» недавно встретились писатели и критики Состоялся оживленный и откровенный обмен мнениями на эту тему.

По мнению литературоведа **Иона Витнера,** современный период в истории румынской прозы «богат талантами первой величины». «Главное теперь,— отмечает Витнер,— дальнейшее расширение горизонта...»

Витнер подчеркивает, что, с его точки зрения. горизонт и сейчас уже не узок. Румынская проза создается в творческом содружестве трех поколений, каждое из которых вносит что-то новое в познание и отображение современности. Прозаики старшего поколения — он называет их пионерами— первыми проложили путь социалистическому реализму, продолжив и обновив национальные традиции критического реализма. К среднему поколению относятся писатели, чье творческое мировосприятие сформировалось сразу после освобождения страны от фашистского гнета. Молодое поколение прозаиков входит в литературу в наши дни, вчера и сегодня.

Румынским писателям трех поколений, подчеркивает Витнер, совершенно чужд пресловутый конфликт отцов и детей. Для подобного конфликта нет никакого повода, ибо все писатели, и старые и молодые, совместно делают общее дело. Разумеется, молодые учатся у старых. Так, например, М. Преда и Т. Попович, писатели своеобразного творческого дара, продолжают то, что начал М Садовяну.

> «Совершенно очевидно, что румынская проза станет более значительной, если смелее возьмется за современные темы, за отображение нового, которому принадлежит будущее»,— заявляет Витнер.

Он добавляет, что румынская литература уже сделала первые шаги в этом направлении. Присоединяясь к Витнеру, литературовед **Н. Тертулян** подчеркивает, что румынская литература должна быть верна жизненной правде. Ее задача — ничего не приукрашивая, показать то, что происходит на самом деле. победу нового в борьбе со старым. Н. Тертулян предостерегает молодых прозаиков от опасности, которая угрожает им в том случае, если они, пытаясь облегчить трудную задачу, подгоняют сложную реальность под простую схему. Поступая так, они заранее обрекают себя на провал.

Как отмечает Тертулян, современным писателям нет никакой необходимости сочинять «малокровные лжеконфликты»; подлинных конфликтов, самых острых, самых напряженных в действительности хоть отбавляй.

> «В процессе борьбы нового со старым,— поясняет Тертулян,— происходят схватки между представителями различных идеологических или моральных направлений, ничуть не менее ожесточенные. чем те.

которые происходили в пору классовой борьбы пролетариата против буржуазии...»

Итак, писатель должен черпать из неиссякаемого источника жизни. Литературное произведение, автор которого оторван от жизни, неминуемо оказывается мертворожденным.

«Произведения румынской литературы должны всесторонне показать абсолютное превосходство социализма над старыми формами бытия и сознания,— говорит Тертулян, завершая свое выступление,— при этом писатели должны избегать абстрактного и плоского оптимизма, не скрывая конкретной сложности диалектического развития от старого к новому, не сглаживая остроты конфликтов».

Поддерживая эту точку зрения, критик **О. Крохмэлничану** утверждает, что румынские прозаики в большинстве своем хорошо знают современную действительность. И если они показывают новое, то его атрибуты для них «не просто декорации». Ведь это новое в них самих и вокруг них — «на заводах и на полях сельскохозяйственных кооперативов, в школах и лабораториях, всюду, где жизнь бьет ключом».

В своем выступлении Крохмэлничану поднимает вопрос о том, что такое актуальность литературы. Он так же, как Витнер и Тертулян, придает особое значение современной, точнее сказать, сегодняшней тематике. Вместе с тем Крохмэлничану считает, что актуальность литературы — это такое понятие, которое далеко не всегда определяется хронологией изображаемых событий. Актуальность произведения прежде всего и больше всего определяется его идейно-художественной ценностью. Если эта ценность велика, если книга способствует победе нового над старым, значит, она актуальна.

Критик **М. Гафица** освещает еще один аспект широкого понятия «актуальность». Он доказывает, что книги, героем которых является коммунист-подпольщик, в полной мере сохраняют свою актуальность и в наши дни. Такие книги пишутся снова и снова; если раньше в них нередко преобладал захватывающий сюжет, создававший впечатление сенсационности, то теперь они прежде всего и больше всего отличаются глубиной проникновения в человеческие характеры.

Вместе с тем, говорит Гафица, за последнее время героем романа все чаще и чаще становится «коммунист — активный участник социалистической стройки».

Гафица подчеркивает, что и прошлое и настоящее отображается в румынской прозе с партийной точки зрения.

Правда, утверждаемая писателем, не отделима от правды, утверждаемой обществом. Писатель, если он подлинный художник, понимает и чувствует, что нужно его родине, его соотечественникам.

Бывает и так, что какой-нибудь автор, изображая в своем произведении что-то случайное, пытается придать ему обобщающий смысл. Такого литератора ждет неудача, ибо то, что он пишет, противоречит правде, нужной людям.

«Революционное искусство ненавидит ложь. Оно никому не говорит, что положен конец болезням, смерти, расставаниям. старости, грусти...— говорит писатель,— оно не закрывает глаза на то, что еще существуют страдания. Революционное искусство придает ясный смысл человеческому существованию; оно помогает человеку достойно перенести все испытания, жить честно и радостно, бороться и победить».

К Всемирному конгрессу за всеобщее разоружение и мир

ДЖЕССИКА СМИТ

АМЕРИКАНЦЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО

ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЭТИМ!

Пока в Женеве заседает Комитет восемнадцати стран, а в Москве собирается Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, давайте задумаемся над тем, что означает разоружение с позиций гуманизма — единственных позиций, из которых следует исходить.

Разоружение является жизненной необходимостью, ибо человек — самый ценный капитал на свете и со времени начала цивилизации все развитие рода людского было направлено к единственной цели: сделать жизнь обитателей нашей планеты лучше, богаче, безопаснее и продолжительней.

В поисках путей к достижению мирной и счастливой жизни в течение веков приходилось бороться с множеством препятствий — голодом, нуждой, болезнями, страданиями, неравенством, невозможностью в полной мере применять и использовать творческие способности человека.

Вот почему, прежде всего, нужно было создать социальные и экономические условия, устраняющие все эти препятствия, установить на земле такой общественный строй, который гарантирует благосостояние всем, исключает эксплуатацию человека человеком, народа народом, страны страной. С установлением социалистического строя для одной трети населения земли человечество далеко продвинулось вперед по пути к достижению этой цели. В условиях мира, в условиях мирного сосуществования между государствами с различными социальными и экономическими системами борьба с препятствиями на пути к счастью и благосостоянию может теперь развиваться успешнее.

Но ныне в образе термоядерной войны перед нами встает самая страшная преграда на пути к прогрессу и счастью, которая когда-либо вставала перед человечеством, так как она включает в себя все другие преграды, увеличенные во сто крат,—голод, нужду, болезни, страдания, смерть. Ведь термоядерное чудовище способно сметать с лица земли сотни миллионов людей, опустошать и превращать в безжизненную пустыню огромные территории, обжитые человеческим трудом и любовью в течение многих веков.

Избавиться от атомного оружия полностью и навсегда, а вместе с ним и от всех других орудий смерти и разрушения, всех армий и вооружений — таков единственный

выход. Ведь до тех пор пока государства вооружены, их усилия будут направлены на то, чтобы создать еще более страшные виды оружия массового уничтожения.

Стойте, стойте, остановитесь! — взывают люди земного шара. И выход представляется таким простым, решение таким бесспорным. Что за сумасшествие охватило тех, кто требует, чтобы мы продолжали это роковое сползание ко всеобщему уничтожению?

Конечно, все мы когда-нибудь умрем, но с каким рвением мы стараемся отсрочить смерть, цепляемся за красоту жизни до самого последнего вздоха! Сама неизбежность смерти делает жизнь еще драгоценней.

Подумайте о муках матери, потерявшей дитя, которому она дала жизнь. Подумайте о горе, которое обрушивается на каждого из нас, когда смерть уносит мать, отца, мужа, жену, сестру, брата, любимого друга.

Есть ли сердца у тех людей, что хотят умножить в сотни миллионов раз это горе, с которым все мы неизбежно сталкиваемся?

Ведь разразись термоядерная война, погибли бы крупные города земного шара с миллионами населяющих их людей.

А что стало бы с культурным наследием человечества? Чудесные творения Шекспира, его бессмертная поэзия, которая вошла в жизнь каждого народа,— что осталось бы от нее, если бы библиотеки крупных городов и жилища людей были бы превращены в пепел? Что осталось бы от творений Шелли и Байрона, Бальзака и Гюго, Данте и Шиллера, Пушкина и Толстого, Уитмена и Эмилии Дикинсон?

Что осталось бы от музыки Бетховена, Баха и Брамса, Чайковского и Прокофьева, от чарующего воспроизведения их творений Рихтером, музыкантами всех стран, что осталось бы от инструментов и концертных залов, в которых постоянно звучит их музыка, как волшебный дар человечеству?

Что осталось бы от картин Леонардо и Рембрандта, Микеланжело и Ван-Гога, Репина и Риверы?

Термоядерная война стерла бы историю человечества. Она убила бы его настоящее и его будущее, она отняла бы у тех, кто останется жить, и у их потомков законное наследие истории, завещанное прошлыми и нынешними поколениями.

Зловещим предвестником атомной войны была Хиросима, на которую Соединенные Штаты, к нашему вечному стыду, сбросили первую атомную бомбу, убив и жутко изуродовав сотни тысяч мужчин и женщин, старых и молодых, детей и младенцев, без какой бы то ни было военной необходимости.

Народы Советского Союза, которые потеряли в войне миллионы людей, понимают как и жители Хиросимы и Нагасаки, что означала бы всеобщая термоядерная война.

Народ Америки не знает, что такое война на родной земле. Я не желаю, чтобы он испытал это. Но мне хочется, чтобы у него было более ясное представление о том, что означало гитлеровское нашествие для Советского Союза. Когда я была в СССР, спустя три недели после окончания войны, мне не встретился ни один человек, который не потерял бы кого-нибудь из близких.

Мне хочется, чтобы у нас знали об этом и чтобы каждый день и каждый час перед глазами моих соотечественников стояли образы жертв Хиросимы и Нагасаки, их висящая клочьями кожа, их выжженные глаза и обгоревшие лица, их истерзанные, изувеченные тела и чтобы каждый день и каждый час в ушах американцев звучали стоны смертников и мучеников.

Американские матери, которым дорога жизнь их детей, наша молодежь, которая хочет иметь будущее, много простых и честных людей начинают понимать, какая угроза нависла над человечеством, и все более активно выступают против продолжения испытаний атомного оружия, за всеобщее разоружение.

Но я не знаю, к какой породе принадлежат те, кто заседает в Пентагоне, в других правительственных учреждениях США и в административных советах крупных монополий, для меня непостижимы эти люди, которые хладнокровно планируют ядерную войну. Их ненависть к социализму так велика, что они готовы сокрушить весь окружающий их мир ради уничтожения социализма. Им, видно, недорога даже судьба собственных детей.

ВМЕСТО БОМБ И РАКЕТ

Как много еще нужно работать, чтобы сделать лучше жизнь на земле!

Если даже оставить в стороне смертельную опасность ядерной войны, то сама гонка вооружений, поглощающая огромные материальные и человеческие ресурсы, обрекает две трети человечества на нищенское существование, на голод, бедность, безграмотность и болезни. Сколько зла на земле можно было бы устранить, сколько миллионов жизней спасти, сколько миллионов людей сделать счастливыми, если бы все средства, затрачиваемые ныне на армии и вооружения, обратить на то, чтобы сделать жизнь краше!

Теперь это уже показано группой экспертов, которые помогли Секретариату ООН подготовить исследование об экономических и социальных последствиях разоружения для стран, имеющих различные экономические системы и находящихся на различных ступенях развития. Десять ведущих экономистов из десяти стран, включая СССР и США, участвовали в подготовке этого исследования.

В этом обстоятельном, документированном исследовании говорится, что сейчас на земном шаре ежегодно расходуется на военные цели 120 000 000 000 долларов и что 50 000 000 человек тратят годы своей жизни на службу в вооруженных силах или на работу по производству материалов и выполнение услуг, связанных с военной деятельностью.

Авторы доклада показывают огромные преимущества, которые даст разоружение, если обратить эти колоссальные суммы на удовлетворение мирных потребностей и повышение жизненного уровня народов.

Новая атмосфера, которая возникла бы в мире без оружия, послужила бы огромным стимулом для развития международной торговли и обеспечения более рационального и равномерного распределения мирных ресурсов, что также способствовало бы значительному повышению жизненного уровня народов.

Разоружение и устранение угрозы войны повлекло бы за собой ослабление психологического напряжения и избавление от страха, который отравляет жизнь людей. В этой связи в упомянутом мною докладе говорится: «Человеческая жизнь приобрела бы новый смысл... Вся перспектива жизни стала бы более светлой, в особенности для молодежи, готовящейся избрать профессию или создать семью».

Наконец, разоружение привело бы к уменьшению напряженности в отношениях между странами.

У нас в Америке есть два крупных препятствия разоружению: ненависть нашего господствующего класса к социализму, страх перед ним и желание уничтожить его, а также пожинаемые крупными монополиями и финансовыми объединениями фантастические прибыли, которые полностью или частично получаются за счет огромных расходов на содержание нашей военной машины.

Необычным в американской жизни является то, что правительственную политику «холодной войны» и гонки вооружений поддерживает верхушка АФТ-КПП *, а иногда и сами рабочие, которым внушили, что сохранение работы и средств к существованию зависит от военных отраслей промышленности.

Такова главная причина слабости американского движения в защиту мира. Тем не менее в последние месяцы наблюдался необычный и вселяющий надежду подъем этого движения, в особенности среди женщин и молодежи. Десятки тысяч женщин участвовали в маршах, демонстрациях и пикетах, требуя положить конец испытаниям ядерного оружия ради сохранения здоровья и жизни их детей, требуя разоружения и мира. В среде молодежи, в студенческих городах активизируется деятельность сторонников мира. Вслед за демонстрацией с участием нескольких тысяч женщин перед Белым домом прошли студенты со всех концов страны, требовавшие сохранения мира. Это была одна из крупнейших демонстраций, которую Вашингтону когда-либо приходилось видеть.

Однако широкие трудящиеся массы все еще стоят в стороне от борьбы за мир, ибо они считают, что их работа зависит от военной и связанных с ней отраслей промыш-

---

* Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов.

ленности. Между тем развитие мощного национального движения за мир предполагает прежде всего активное участие в нем рабочего класса.

К счастью, в течение последних нескольких лет все больше трезво мыслящих экономистов, а также некоторые деятели рабочего движения признают в публичных выступлениях, что экономическое благополучие нашей страны не зависит от военных приготовлений и что мирная экономика может обеспечить столько же, если не больше, работы. По этому вопросу проведен ряд важных конференций.

Недавно группа экспертов, состоящая из представителей правительства США, промышленности, профсоюзов и общественности, представила американскому Агентству по разоружению и по контролю за вооружениями доклад об экономических последствиях разоружения. Эксперты приходят к выводу, что разоружение можно было бы провести так, чтобы оно не вызвало серьезной депрессии. Хотя отдельные отрасли промышленности временно испытали бы известные трудности, общий объем национальных ресурсов, высвобожденных в результате разоружения, с лихвой компенсировал бы эти частные затруднения.

Однако внушающей тревогу стороной доклада является предположение авторов, что разоружение начнется лишь в 1965 году (хотя расходы США на оборону уже достигают почти 60 миллиардов долларов), будет осуществляться медленными темпами и растянется на двенадцать лет.

Но, во всяком случае, все же лучше, когда в высших сферах задумываются над тем, какие блага наша страна и наш народ могут получить от разоружения, чем когда над этим вообще не задумываются.

ИХ ГЕРОИ — УБИЙЦЫ

Чтобы показать развращающее народ влияние военных приготовлений и накопления вооружений в нашей стране и, напротив, гуманное воздействие, которое оказало бы на американцев разоружение, потребовалась бы еще одна статья. Сейчас нашу страну подготавливают к восприятию идеи неизбежности ядерной войны. Соответствующая психологическая «обработка» осуществляется с использованием всех средств массового воздействия — газет, журналов, книг, телевидения, кино, лекций.

Начинают с детей. Одна из новейших игрушек, рекламу которой я видела, была миниатюрной моделью атомной бомбы, названной «Литтл Арчи». Нажми на кнопку, и небольшое грибовидное облако появится прямо в твоей комнате.

Большая часть телевизионных программ, которые смотрят дети, большинство комиксов, которые они читают, начинены насилиями, кровопролитиями, убийствами. Их герои — убийцы. Случается так, что, становясь подростками, многие дети начинают подражать этим героям, создают враждующие банды, носят ножи и пистолеты и нередко пускают их в ход.

Необычно возросла преступность среди молодежи. Сообщения о грабежах, изнасилованиях и убийствах заполняют нашу печать. Министерство юстиции и ФБР не могут справиться с бандитизмом — они слишком увлечены охотой за «красными». Сейчас эти органы заняты тем, как применить позорный фашистский закон Маккарэна, чтобы поставить коммунистическую партию вне закона, отнять у коммунистов и подозреваемых в сочувствии им заграничные паспорта, лишить их возможности устроиться на работу на многие предприятия и учреждения, загнать их в концентрационные лагеря. Отказ зарегистрироваться в качестве «соучастницы преступного международного заговора, направляемого Советским Союзом», как известно, налагает на коммунистическую партию штраф в 10 000 долларов за каждый день отказа от регистрации, а члены партии в дополнение к штрафу подлежат заключению в тюрьму на пятилетний срок за каждый день просрочки регистрации. Закон распространяется также на целый ряд так называемых организаций «коммунистического фронта» и организаций, в которые «проникли коммунистические элементы». Верховный суд вынес определение о том, что требование регистрации является конституционным, однако он не стал рассматривать остальные положения закона. Всей партии и двум из ее руководителей предъявлено обвинение в отказе зарегистрироваться, и эти обвинения будут оспариваться в суде на основе соответствую-

щих статей конституции. Многие влиятельные американцы выступают против этого зверского закона, однако массовое движение за его отмену еще не развернулось.

В обстановке репрессий, вызванных возрождением маккартизма, развитию которого способствует закон Маккарэна, в обстановке растущей милитаризации по всей стране возникают гнусные ультраправые, фашистские организации. В их распоряжении находятся миллионы долларов, предоставленные крупными военными, нефтяными и другими монополиями. Их отвратительные листки и брошюры выходят миллионными тиражами. Их ядовитые идеи распространяются по телевидению и радио. Они пользуются поддержкой многих высокопоставленных лиц, включая наиболее реакционных сенаторов, конгрессменов и генералов.

К счастью, это не полная картина. Оголтелые вопли фашистских банд вызывают растущее противодействие со стороны всех благоразумных и здравомыслящих американцев. Распространяя яд, фашисты способствуют рождению противоядия. Прогрессивные организации, которые борются за гражданские права, демократию и мир, пользуются в среде молодежи значительно большим влиянием, чем фашиствующие молодчики и их банды.

Даже президент Кеннеди и его брат министр юстиции Роберт Кеннеди выступают против ультраправых организаций, хотя им и нельзя за это отпустить грехи, ибо одновременно они создают условия для разгула фашистских молодчиков. Этому способствуют прежде всего проводимая правительством США антикоммунистическая внешняя политика, репрессивное законодательство и гонка вооружений.

ЖРЕЦЫ ДЖАГГЕРНАУТА *

Наша военная экономика породила такое явление, которое в статье Фреда Дж. Кука, опубликованной в либеральном еженедельнике «Нейшн» в октябре 1961 года, было названо «Джаггернаут, государство всеобщей войны». Некоторое представление о влиянии наших военных учреждений можно составить на основе фактов, приводимых в этой статье. Несколько лет назад собственность министерства обороны США оценивалась в 160 миллиардов долларов (сегодня ее стоимость гораздо больше); Пентагону принадлежит более чем 32 миллиона акров земли в Соединенных Штатах и еще 2,6 миллиона акров в иностранных государствах; общая численность вольнонаемного персонала в одном только министерстве обороны достигает 3,5 миллиона человек, а их годовой фонд заработной платы составляет 11 миллиардов долларов.

Целая свора военных экспертов и ученых, которые продают свой ум на службу смерти и разрушению, считают, что эта колоссальная военная машина необходима для спасения нас от войны и что даже если термоядерная война разразится, то в этом нет ничего ужасного.

Появляется новый жаргон, грязный милитаристский язык, предназначенный для маскировки смерти, которая обрушится на миллионы людей, если разразится термоядерная война.

«Минимальное или ограниченное сдерживание», «противосила как страховка», «предатаковая мобилизационная база», «мегасмерть», «стирание городов», «максимально сдерживающее положение», «способность нанесения первого противоудара» — все эти выражения на простом английском языке означают подготовку к ядерной агрессии.

«Сверхубийство» стало обычным словом, даже с комическим оттенком.

«Перерастание» — еще одно модное словечко. Как далеко можно заходить в «малых войнах», в «войнах огневой прочистки» (какова, например, грязная «малая» война Америки в Южном Вьетнаме), прежде чем они «перерастут» во всеобщую ядерную войну? — размышляют американские стратеги.

Одно из самых дьявольских понятий скрывается за выражением «приемлемый ущерб». В Пентагоне задаются вопросом: сколько миллионов мертвецов являются «приемлемыми»? На этой основе мы должны строить свой ядерный арсенал. Считается,

* Джаггернаут — одно из воплощений бога Вишну. По распространенной легенде, во время религиозных празднеств, когда по улицам возят гигантскую статую Джаггернаута, множество верующих погибают, раздавленные его колесницей.

что 180 000 000 мертвых американцев или даже 100 000 000 было бы слишком много. А, скажем, 50 или 60 тысяч? В этом случае все обошлось бы наилучшим образом. Всего лишь 50 или 60 тысяч трупов были бы вполне «приемлемыми». (Разумеется, нас не тревожит судьба десятков миллионов мертвецов в других странах, которых убили бы нашими бомбами. Это их забота, а не наша.)

Главой этих пророков смерти и разрушения является Герман Кан, проработавший 12 лет у «Рэнд корпорейшн», которая проводит исследования по таким вопросам для военно-воздушных сил США и других правительственных учреждений. По их поручению Кан составил из своих лекций леденящую кровь книжку под названием «О термоядерной войне».

Мистер Кан считает неизбежной термоядерную войну и категорически отвергает всякую возможность разоружения.

С одной стороны, он рассматривает вопрос о том, каким термоядерным арсеналом мы должны располагать для обеспечения своей безопасности, а с другой стороны, проповедует создание широкой системы подземных бомбоубежищ как средства сведения числа убитых американцев к «приемлемому» уровню. Он анализирует возможности экономического восстановления в условиях уничтожения 50 крупных городов. Он заверяет нас, что несмотря на трагедию, с которой столкнутся люди по выходе из бомбоубежищ, они все же могут надеяться на «нормальную и счастливую жизнь». Ущерб наследственности? Да, конечно, родятся десятки миллионов мертвых младенцев и чудовищных уродов. Но, утверждает автор, это будет происходить на протяжении жизни 20—30 или 40 поколений, станет обычным явлением и вряд ли даже будет привлекать внимание.

Джеймс Р. Ньюман, редактор журнала «Уорлд оф мэтимэтикс», автор ряда книг по математике и различным научным вопросам, написал рецензию на эту книгу в журнал «Сайентифик американ». Он спрашивает: «Существует ли в действительности такой человек, как Герман Кан?.. Так писать никто бы не смог, никто бы не смог так думать». Мистер Ньюман пишет, что книга Кана пронизана «кровожадной безнравственностью». Он называет ее «библией проповедников массового уничтожения... трактатом о том, как его спланировать, как осуществить и как оправдать».

А вот еще один проповедник гонки вооружения — Генри А. Киссингер. Он предлагает, чтобы в «ограничениых» или «малых» войнах использовалось как обычное, так и ядерное оружие.

Противником разоружения является и небезызвестный доктор Эдуард Теллер, который с гордостью носит титул «отца водородной бомбы». Он требует крайних мер для подготовки ядерной войны и проведения непрерывных испытаний ядерного оружия, уверяет, что жизнь можно спасти, зарываясь все глубже и глубже в землю, создавая настоящую подземную цивилизацию.

Наше правительство тоже вносит свой вклад в психоз строительства бомбоубежищ, пытаясь приучить американский иарод к идее ядерной войны и возможности спасения от нее в бомбоубежищах. В январе текущего года Пентагон выпустил 25 000 000 экземпляров брошюры, озаглавленной «Защита от ядерной радиации: что нужно знать и делать при ядерном нападении», которую каждый может получить в любом почтовом отделении.

Эту брошюру, в которой рекомендуется строительство убежищ для защиты от выпадения радиоактивных осадков, издатель «Сайентифик американ» мистер Жерар Пайл и многие другие назвали обманом.

Прежде всего брошюра исходит из последствий взрыва 5-мегатонной бомбы на поверхности земли, хотя известно. что существуют уже бомбы в 10 и 20 раз большей мощности. Эти бомбы будут взрываться на большой высоте, что означает отсутствие местного выпадения радиоактивных осадков — единственной опасности, которая учитывается в брошюре.

Разлагающее влияние программы строительства бомбоубежищ на многих людей проявилось, в частности, в прошлом году, когда жителям Бомонта, города, расположенного неподалеку от Лос-Анжелеса (штат Калифорния), местный руководитель гражданской обороны дал совет вооружаться винтовками, чтобы «отражать натиск сотен тысяч беженцев, которые кинутся в нашу сторону, если Лос-Анжелес подвергнется бомбарди-

ровке». После этого жители штата Невада решили с помощью вооруженной милиции обезопасить себя от беженцев из Калифорнии, которые вторгнутся в их штат. Вопрос об оснащении оружием частных бомбоубежищ для защиты от соседей стал предметом широкой дискуссии. Католический священник Л. С. Макхью заявил, что религиозное учение позволяет «использовать револьвер для защиты себя и своей семьи».

Многие фирмы занялись строительством бомбоубежищ и производством необходимого оборудования (включая и погребальные саваны). Естественно, что все это сопровождалось массированной пропагандистской кампанией, имеющей целью затушевать ужасы термоядерной войны и показать, сколь приятной будет жизнь в бомбоубежищах. Появились умилительные снимки: семьи, развлекающиеся под землей. Журнал «Лайф» поместил фотографию девушки, беспечно болтающей по телефону со своим другом, находящимся, судя по всему, в другом бомбоубежище. Модель бомбоубежища, выставленная для обозрения в Нью-Йорке в Грэнд сентрал стейшн, рекламировалась ее создателями как «место для великолепного отдыха». В штате Флорида сфотографировали улыбающихся невесту и жениха, которые спускаются в бомбоубежище, чтобы провести там медовый месяц. Антрополог Маргарет Мид ратовала за то, чтобы отобрать здоровые, с проверенной наследственностью пары, которые следовало бы сохранять в особо надежных убежищах, чтобы обеспечить будущее воспроизводство человеческого рода.

Я коснулась здесь лишь некоторых наиболее крайних проявлений разлагающего влияния, которое оказывают на американский народ наша громадная военная машина, запасы термоядерного оружия и подготовка к войне. К счастью, это лишь одна сторона американской жизни, хотя и наиболее опасная.

ГОЛОС РАЗУМА И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

На каждого ученого, проповедующего использование науки для целей разрушения, приходятся сотни людей, которые выступают против такой политики, требуя, чтобы наука служила спасению и продлению человеческой жизни. В среде наших ученых громко звучат голоса сторонников мира и разоружения — таких людей, как доктор Лайнус Полинг, доктор Лео Сциллард, профессор Филип Моррисон, профессор Сеймур Мелман и многие, многие другие. Некоторые из них встречались на различных конференциях с учеными Советского Союза и других стран для разработки путей подхода к разоружению.

На каждого военного эксперта и ученого, которые проповедуют строительство бомбоубежищ как средство защиты от ядерного уничтожения, приходятся сотни других ученых и общественных деятелей, публично заявляющих, что в убежищах нет спасения, что единственной защитой от ядерной войны является борьба за мир и разоружение. Тысячи ученых, работающих в научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях, поставили свои подписи под заявлениями, в которых они отстаивают этот курс, и опубликовали их как платные объявления в печати.

На каждого американца, ратующего за строительство индивидуальных или общественных бомбоубежищ, приходятся многие тысячи людей, которые выступают против этой программы и борются за мир. Американский народ в целом не принимает идею строительства бомбоубежищ. Некоторые компании, рассчитывавшие на большие прибыли от строительства бомбоубежищ, потерпели банкротство.

Программа строительства бомбоубежищ обернулась бумерангом. В самом деле, она стала одним из главных факторов, вызвавших крупную женскую «забастовку за мир» и массовое движение в защиту мира среди молодежи.

Я убеждена, что в конечном итоге силы мира в Америке одержат верх над силами войны. У нас есть немало организаций, которые уже много лет неустанно борются за мир. Среди них особое место принадлежит квакерам и их «Обществам друзей», упорно работающим на благо разоружения и мирных взаимоотношений между странами. Международная женская лига борьбы за мир и свободу неустанно призывает к миру и разоружению. Национальный комитет за разумную ядерную политику, объединяющий многих выдающихся общественных деятелей, сосредоточивает свои усилия на мобилизации общественного мнения в пользу прекращения испытаний ядерного оружия как

первого важного шага на пути к его полному уничтожению. В США существуют многочисленные организации пацифистов, которые вносят существенный вклад в пропаганду идей мира среди американского народа, несмотря на то, что не все их взгляды являются для нас приемлемыми. За последний год произошли важные изменения в развивающемся под лозунгом «Лицом к миру» движении, которое координирует деятельность значительного числа организаций сторонников мира и в котором участвуют руководители отдельных профсоюзов. Это движение возглавляет социалист Норман Томас.

Не так давно появились сообщения о том, что 50 американок отправились самолетом в Женеву, чтобы передать требования участниц женской «забастовки за мир» делегатам конференции по разоружению. Они представляют сотни тысяч американских женщин. В делегацию вошли г-жа Дагмар Уилсон из Вашингтона (округ Колумбия), инициатор «забастовки за мир» Рут Гейдж Колби, руководительница этого движения г-жа Сайрус Итон, так много сделавшая вместе со своим мужем для улучшения американо-советских отношений и упрочения мира, и г-жа Мартин Лютер Кинг, муж которой является руководителем движения за прекращение сегрегации и других проявлений расовой дискриминации.

Делегация американских женщин повезла с собой резолюцию, подписанную многими тысячами американок, выступающих за мир и разоружение. Они заявляют, что гонка вооружений не может привести к миру и что «наша единственная надежда на спасение — заключение международного соглашения о всеобщем и полном разоружении под контролем Организации Объединенных Наций». Они требуют заключения договора о запрещении испытаний ядерного оружия и немедленного осуществления подлинного разоружения. Они просят участников переговоров по разоружению сказать «ДА» — жизни и «НЕТ» — ядерной войне.

В последнее время появился ряд ценных трудов, в которых обстоятельно разоблачаются упоминавшиеся мною книги. Одним из таких трудов является книга Джозефа П. Моррея «От Ялты к разоружению». Его анализ хода переговоров о разоружении имеет тем более важное значение, что он был офицером военно-морского флота во время второй мировой войны и служил в качестве морского атташе в различных посольствах США за границей.

«Тщательное изучение хода переговоров за последние шестнадцать лет может привести лишь к единственному выводу,— пишет Моррей,— Советский Союз хочет разоружения нашей разделенной на блоки планеты; правительства НАТО не хотят этого».

И далее автор продолжает:

«Тем не менее дело разоружения является делом всего человечества. Народы Советского Союза и народы западного мира равно заинтересованы в том, чтобы не допустить применения ядерных бомб и устранить самую возможность их использования».

Другой труд — монументальное двухтомное исследование почетного профессора Вандербильдского университета Д. Ф. Флеминга «Холодная война и ее происхождение», в которой подробно и документально, год за годом, месяц за месяцем, анализируются последние события нашего времени. Это глубоко обоснованное обвинение американской политики в отношении Советского Союза, завершающееся страстным призывом изменить эту политику, пока не началось роковое термоядерное столкновение.

Можно было бы рассказать и о многих других интересных работах того же рода, а также о многочисленных статьях в наших журналах либерального направления, где высказываются примерно такие же взгляды.

Нельзя также не упомянуть и о том, что начинают появляться статьи и книги, которые предупреждают американский народ об опасности возрождения нацизма и милитаризма в Западной Германии и в особенности о перспективах получения ею ядерного оружия. Книга Уильяма Ширера «Взлет и падение германского рейха» уже в течение многих месяцев стоит в списке бестселлеров. В брошюре Эрнста Генри «Стратегия реванша», основанной на материалах, опубликованных в Советском Союзе, показывается, что гитлеровские генералы сохранили свое влияние в бундесвере и НАТО. Она раскрывает американцам глаза на серьезную опасность перевооружения реваншистского правительства, в котором задают тон наследники Гитлера. Замечательный кинофильм

«Нюрнбергский процесс», увиденный десятками тысяч американцев во многих городах, помогает понять, что сулит возрождение нацизма и восстановление экономической и военной мощи Западной Германии.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ, ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Во внешней политике правительства США и особенно в некоторых недавних событиях в американо-советских отношениях есть кое-какие признаки, позволяющие надеяться на ослабление международной напряженности. Но есть также признаки иного характера, которые вызывают тревогу. Это политика США в Южном Вьетнаме, Лаосе, Конго и других странах, это травля Кубы, это позиция США в германском вопросе, это безудержная гонка вооружений.

Следует, однако, иметь в виду, что внутри самого правительства существуют противоречия. Наряду со стремлением Пентагона и заправил крупных монополий проводить политику на грани войны среди более трезвых элементов растет сознание того, что в ядерный век война является недопустимой.

Задача миролюбивых людей нашей страны состоит в том, чтобы всячески усилить давление на правительство, и если к этому добавится давление народов всего мира, то, возможно, президент Кеннеди предпримет реальные меры для ослабления международной напряженности, для достижения соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия и о разоружении, проявит больше гибкости в германском вопросе.

Советский Союз предложил подробную программу разоружения, открывающую путь к миру без оружия, к такому миру, в котором народам всех стран будет обеспечена более счастливая и полноценная жизнь, чем когда бы то ни было.

Соединенные Штаты еще не вносили предложений, которые свидетельствовали бы о подлинном стремлении к разоружению. Лишь непрекращающееся давление со стороны американского народа и народов всего мира может изменить это положение.

Мы с нетерпением ожидаем участия глав правительств в женевских переговорах как наилучшего способа обеспечить их успех.

Мы знаем, что за премьером Хрущевым стоит весь советский народ, полный могучей воли к миру. Я чувствовала это повсюду, где мне приходилось бывать во время моего последнего путешествия по Советскому Союзу летом прошлого года,— в Москве и Киеве, в Целинограде и Алма-Ате, в Ташкенте и Иркутске. Я видела чудеса строительства новых жилищ, заводов и гидроэлектростанций, новых театров и дворцов культуры. Я видела, как дорог советским людям каждый камень их новостроек, какой они преисполнены решимостью защищать свою землю и свой народ от гибели и опустошения.

Мне не нужно рассказывать советским читателям о том, какое колоссальное значение будет иметь разоружение для осуществления их величественной двадцатилетней программы перехода к коммунизму — программы счастья и мира, которая является блестящим примером для народов всех стран.

Женевские переговоры и Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир не должны прекращаться (имеются в виду, конечно, не только заседания) до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении испытаний ядерного оружия — самого страшного врага человечества — и о начале разоружения. Борьба за разоружение должна продолжаться до тех пор, пока все армии не будут распущены, пока все ядерное оружие, все вооружения не будут потоплены в самом глубоком месте самого глубокого моря, пока человечество не сможет сосредоточить все свои силы на решении проблем жизни, а не смерти.

Только в мире без войн, который возникнет в результате разоружения, люди получат свободу для развития безграничных творческих способностей, заложенных в каждом человеческом существе, и смогут превратить нашу землю в планету мира и изобилия.

Разоружение откроет перед всем человечеством зарю нового дня. Каким блаженством будет для всех нас увидеть эту зарю!

г. НЬЮ-ЙОРК.

ГЕОРГИЙ МАНИАТИС

ЗАПИСКИ ЛЕГИОНЕРА

Мой отец мелкий служащий, мать занимается домашним хозяйством. Детей в семье девять человек, я самый старший.

Заработка моего отца едва хватало на полуголодное существование. Все мы выпутывались из положения, как могли. Мать наловчилась экономить на питании и одежде, отец шел на всевозможные ухищрения, чтобы оплатить квартиру и счета лавочника, мы же, ребятишки, всячески урезывали свои развлечения и даже мечты.

Моей заветной мечтой было стать учителем. Я надеялся окончить лицей и поступить в университет. Я верил, что добьюсь своего. Мать тоже верила в меня. А отец твердил мне с самого детства: «Чего бы это ни стоило, я помогу тебе получить образование».

Эта уверенность родителей окрыляла меня, и мне все больше и больше хотелось учиться. Желая почаще слышать отцовское обещание, я каждый день устраивал семейные вечера. К концу дня все мы сходились в кухне, и я демонстрировал свои способности и успехи в учебе... В детстве я любил декламировать стихи. Взобравшись на стул, я с пафосом читал наизусть любое стихотворение, которое попадало мне в руки за день. Для всей семьи эти представления были отдыхом: мы ведь не имели возможности ходить в кино или в театр, а в нашей кухне, даже нетопленной, было тепло благодаря звучавшим там стихам.

Я устраивал эти представления долгие годы. Учась в лицее, я читал вслух древнегреческие или латинские тексты из учебников. Родители и братья, не понимая ни слова, смотрели на меня разинув рот, словно на волшебника. По окончании чтения они награждали меня аплодисментами, а я навострял уши, стараясь не упустить отцовской похвалы.

«Чего бы это ни стоило, он будет учиться»,— повторял отец, упрямо хлопая ладонью по столу.

Дети росли. Их тела и желудки увеличивались в объеме. И еды и одежды требовалось теперь гораздо больше. По мере того как старое платье становилось нам тесно, окружающий мир и наш дом тоже казались теснее. Кухня стала совсем маленькой.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, наши семейные вечера были уже позади. Отец, возвращаясь с работы, в изнеможении валился на кровать. Мать до поздней ночи торопливо латала, перешивала, штопала... Братья и сестры, лежа рядом, шепотом что-то рассказывали друг другу. Я же до рассвета бродил по соседним переулкам и говорил себе, что все кончено и учиться мне не придется. Теперь мне уже не поступить в университет, я вряд ли даже окончу лицей и получу степень бакалавра.

Я должен был зарабатывать себе на жизнь. Всячески стараясь поддержать во мне стремление учиться, отец взялся сам пристроить меня. Ценой нескончаемых хлопот и просьб ему удалось поместить меня в одну из государственных школ. Такие школы, как правило, окружены высокой стеной с железными воротами, и ученикам разрешается выходить оттуда только раз в неделю. В этой школе мы бегали, прыгали, приучались выполнять приказания и отдавать их.

Занятий же было очень мало. И вот однажды вечером я перелез через стену и убежал.

Мне понадобилась минута, чтобы принять это решение, день на разработку плана и несколько минут на его осуществление. А ведь скольких хлопот, тревог и унижений

Записки Георгия Маниатиса — подлинный документ, впервые опубликованный во французском журнале «Нувель критик». Как сообщает редакция журнала, комментарии к запискам Маниатиса принадлежат его соотечественнику. Эти комментарии напечатаны курсивом.

стоило моим родителям поместить меня в эту школу! Нечего и говорить о том, с каким изумлением и отчаянием встретили они мое возвращение домой. Я решил ни минуты не сидеть сложа руки.

— Вот увидите,— сказал я,— найду что-нибудь получше.

Мне пришлось долго искать, долго обивать пороги. Я работал то тут, то там подручным, зарабатывая всего 12—15 драхм в день. Но вот однажды я узнал, что многие едут на заработки за границу. И я начал наводить справки.

Как-то раз один приятель посоветовал мне:

— Поезжай в Бельгию. Бельгия — это сердце Европы. Уровень жизни там самый высокий в мире. Ты встретишь в Бельгии немало земляков, которые великолепно устроились.

Я не стал долго раздумывать. Сбережения матери помогли мне сколотить нужную сумму на проезд. Мне было в ту пору 18 лет.

Друг Георгия, посоветовавший ему уехать, не ошибался. Города в Бельгии процветают, а от жителей веет сытостью и довольством. Он только забыл одну подробность: тот, кто беден, не получит там права гражданства.

Кроме этой подробности, Георгий скоро обнаружил и другую. Действительно, в Бельгии иностранцам дают работу... Однако лишь такую, от которой отказываются бельгийцы,— тяжелую и опасную. Бельгийцы вежливо уступают ее иностранцам. Это работа в шахтах. Таким образом, Георгий оказался на копях Уолтер Скей близ Лимбурга. Из самолюбия он написал домой, что прекрасно устроился, и в доказательство стал ежемесячно отсылать родным почти весь свой заработок. Однажды он получил письмо от брата Никоса. Брат писал, что, поскольку жизнь в Бельгии так хороша, он тоже собирается приехать. Георгий был смущен — как поступить? Написать родным правду вместо россказней о своих успехах за границей или допустить, чтобы младший брат приехал?

Вечером в баре он обратился за советом к товарищам. Все как один, захмелевшие и совершенно трезвые, молодые и старые, приехавшие из Греции и из других стран, стали уговаривать Георгия открыть юноше всю правду. И тут же при всех он написал домой письмо.

Как только оно было закончено, Георгий прочитал его вслух. Один из греков на ходу переводил его на французский язык, а кто-то из французов — на итальянский. Письмо было встречено единодушным одобрением. Шахтеры наполнили стаканы и чокнулись, но прежде чем выпить, они вручили письмо бармену с просьбой отправить его поскорее. Так Никос, брат Георгия, не поехал в Бельгию.

Зато он сохранил письмо. Вот оно:

«Дорогой брат,

Я забыл, какое сегодня число.

Хорошенько протри глаза и внимательно прочти то, что я пишу тебе. Это истинная правда. А потом порви или спрячь это письмо, чтобы оно не попало на глаза матери.

В твоем последнем письме ты сообщаешь о своем намерении приехать сюда и добиться того, чего добился я. Хочу предупредить тебя, что мы заняты здесь вовсе не сбором ромашки на лугах и не ходим в белоснежных халатах. Подумай над этим. Мы работаем. Работаем, как вьючные животные. Нет, хуже: как шахтеры! А как мы живем? Как животные? Нет, нет, гораздо хуже: как эмигранты!

Мы работаем под землей, в забоях, высота которых зачастую не превышает сорока сантиметров. Лежа на животе, мы работаем, как машины, по восемь часов в день. В полдень — часовой перерыв, и нас снова поглощает подземный мрак. Мы дышим угольной пылью, и во рту у нас вместо слюны — черная слизь.

Встаем мы в четыре часа утра. А поскольку многие рабочие допоздна торчат в пивных и долго шумят, возвратившись в бараки, никогда не удается выспаться как следует, и это, пожалуй, всего мучительнее.

Холод здесь нестерпимый. Снег идет каждый день. Жизнь очень дорога. Перенося все это и еще многое другое, я получаю только четыре доллара в день».

Георгий перечисляет все, что ему приходится переносить, досадные мелочи повседневной жизни: отношение к шахтерам мастеров-бельгийцев, безвкусная пища, моральное разложение среди эмигрантов.

Глухие рыдания в ночной тишине. Встреча со стариком итальянцем, который со слезами на глазах каждый вечер ходит по пивным в надежде хоть там увидеть своих сыновей. Сообщение о том, что один из эмигрантов — наш земляк — ограбил старуху...

Но самое страшное в Уолтер Скей — это бараки, в которых вынуждены жить эмигранты. Немцы построили их во время второй мировой войны и поселили там рабов, вывезенных из побежденных стран, для работы в шахтах.

Тесные ряды бараков походили издали на железнодорожные составы, занесенные снегом. Строения имели три метра в ширину и двенадцать в длину, высота их достигала четырех метров. Высокими их делали для того, чтобы поместить друг над другом как можно больше нар. Спали мы на голых досках. Матрацев не было, нам выдавали только по два одеяла. Потолка тоже не было. Стекла в окнах заменяла проволочная сетка. В бараках постоянно стоял смешанный запах пота, дезинфекционных средств и дегтя. Мы жили в страшной тесноте и даже по узким проходам между нар пробирались с трудом из-за чемоданов, узлов, развешанного для просушки белья. По вечерам, лежа на дощатых настилах,

мы делились мыслями и неизменно приходили к одному и тому же выводу: голод, свирепствующий в наших странах, сродни гитлеровскому гестапо, которое вынуждало людей покидать родину и влачить жалкое существование на чужбине.

В бараках Уолтер Скей люди спят крепко, без сновидений, без кошмаров. (В этих условиях организм не может позволить себе такую роскошь.) Вечером валишься без сил на нары, мечтая никогда больше не вставать. Но пробуждение неотвратимо.

Каждое утро в четыре часа пронзительный вой сирен вонзался в мозг, как жало гадюки. Несколько мгновений я сидел ничего не понимая и безуспешно пытаясь стряхнуть с себя сон, пока наконец до меня не доходило, что надо вставать, что отдых уже позади. Мой взгляд скользил мимо полуодетых людей, с проклятиями и стонами прыгающих на месте, чтобы согреться, мимо развешанного белья и устремлялся к небольшому забранному решеткой окошку. Там, за этим окошком, за темными силуэтами шахтеров, при тусклом свете двух фонарей я старался разглядеть маленький клочок неба, воплощавшего для меня надежду.

И надежда не заставила себя долго ждать. Она явилась в роскошной машине под видом дородного господина в теплом дорогом пальто.

Словно невзначай, он остановился перед одним из бараков и наткнулся на нашего земляка Сократа Папулидиса. Сократ имел степень бакалавра и надеялся стать выдающимся художником. Но пока что нужда превратила его в весьма посредственного шахтера. Помню, с каким восторгом он, придя в шахту, сообщил нам новость:

— Тут проезжал один человек, вполне порядочный. Он был поражен нашей нищетой. Он остановил машину у нашего барака, вышел из нее и спросил:

— Скажите, пожалуйста, что это за строения?

— Это шахтерский поселок Уолтер Скей,— ответил Сократ.

— Ах, вот оно что! Неужели вы здесь живете? В этих грущобах, в этой грязи?

— Ничего не поделаешь... В других местах работы не найти,— сказал Сократ.

Господин тяжко вздохнул. Он вытащил платок, поднес его к носу и проговорил:

— Бедняги... Как бы мне хотелось вам помочь!..

Он снова вынул платок. Сократ был уверен, что он утирает слезы. Но он просто утирал нос. И вот, пока он сморкался, его точно осенила какая-то мысль. Схватив Сократа за руку, он воскликнул:

— Я знаю, как спасти вас! Молчи! Никому ни слова, и я кое-что найду для тебя и твоих товарищей.— И, посмотрев вокруг, не подслушивает ли кто-либо, он вполголоса спросил Сократа:— Почему бы вам не вступить в Легион?

— В Легион? — переспросил с удивлением Сократ...

Приезжий стал его расспрашивать:

— Тебе известно, что такое Иностранный легион? Ты когда-нибудь слыхал о нем?

Сократ ответил, что как будто слыхал, но толком ничего не знает.

Тогда тот заговорил, да так быстро, что вскоре начал задыхаться, как шахтер в забое. Он говорил о финиковых пальмах, о теплом климате, о роскошной природе, об экзотических женщинах, о деньгах...

— По правде сказать, попасть туда не так уж легко. Видишь ли, Иностранный легион имеет... воспитательную миссию, и первого встречного туда не принимают. Но у меня лично есть кое-какие возможности. Не очень большие, правда, но тебя и твоих друзей мне, может быть, удастся устроить. Ты подбери несколько хороших парней, а я через неделю заеду снова.

Четыре человека узнали эту тайну, все четверо были греки: Стамат Заганидис, Петрос Зервос, Георгий Маниатис и, разумеется, сам Сократ. Они долго обсуждали предложение, сделанное приезжим господином. Сведения о Легионе они черпали из французских кинофильмов и дешевых романов.

Как видите, до той поры мы совсем не разбирались в политике. Во-первых, мы были слишком молоды, а во-вторых, дома нам говорили, что для юноши из бедной семьи политика — это пустая и не безопасная трата времени.

Мы или вовсе не читали газет или читали такие, где печатались главным образом происшествия, а не политическая информация. Лишь после того, как я испытал на себе долю раба на невольничьем рынке в Уолтер Скей и наемного солдата колониалистов, после того, как я стал свидетелем страшных преступлений, дезертировал и 17 суток скитался по пустыне, у меня открылись глаза, и я понял, что для парня из бедной семьи «заниматься политикой» необходимо и что только на этом пути он может стать настоящим человеком. Но довольно об этом...

Обстоятельства сложились благополучно для дородного господина и пагубно для Георгия и трех его товарищей. Прежде всего они лишились работы. Их уволили в результате несчастного случая с Зервосом. Ему на голову свалился ком земли. Испугавшись, он поскользнулся и сломал себе руку.

Зервос и мы трое приехали в Бельгию и поступили на шахту без всякого контракта. Поэтому мы не имели права на страхование от несчастных случаев. Когда Зервос явился к врачу, тот его не принял. Он обратился в местный пункт неотложной помощи; там ему наложили повязку и выпроводили вон. Страдая от нестерпимой боли, Зервос метался и стонал на своих дощатых нарах. Возмущенные бездушным отношением к земляку, мы выразили протест врачу и мастерам. Нас выслушали внимательно, с вежливой улыбкой. Назавтра мы узнали о последствиях нашего вмешательства. Нас уволили без всяких объяснений. Хуже все-

го было то, что нам приказали в трехдневный срок очистить барак. К счастью, дородный господин появился раньше, чем этот срок истек...

Отныне события стали разворачиваться с поразительной быстротой. Дородный господин доставил четырех приятелей-греков на машине в Лимбург и передал другому господину, который отвез их во Францию и лично проводил до Лилля.

В Лилле мы попали в военный лагерь регулярной армии, один из секторов которого был отведен Иностранному легиону. Командовавший этим сектором офицер-грек был очень доволен нашим появлением и даже угостил нас бутылкой пива.

— Считайте, что вы уже померли и идете прямо в рай,— твердил он и ласково трепал нас по плечу.

В Лилле приятели пробыли всего один день. Отсюда их перевели в Париж, в Венсенскую крепость, где были собраны новобранцы из разных стран. Они прошли медицинский осмотр. Им выдали военную форму и отобрали все документы. В последнюю минуту Папулидис и Зервос отказались отдать свои паспорта и другие бумаги. Они раздумали вступать в Легион и уехали. Остались только Георгий и Заганидис. Несколько дней спустя их вместе с другими новобранцами — преимущественно немцами — отправили в Марсель. Теперь они считались кандидатами в легионеры и носили военную форму Легиона. Оставалось только поставить свою подпись под контрактом.

Перед подписанием контракта нас повели во 2-е бюро для краткого допроса. Цель его состояла в том, чтобы выяснить, обладает ли кандидат необходимыми для легионера качествами. В ту пору я еще не знал, какие именно качества интересовали офицеров из 2-го бюро. Позднее, когда я обладал уже некоторым опытом службы в Легионе — а мне пришлось довольно долго выполнять обязанности переводчика во 2-м бюро в Сиди-бель-Аббесе, где было много греков,— я понял, какие качества требуются легионеру. Больше всего офицеры из 2-го бюро ценили немцев и обычно задавали им меньше вопросов, чем прочим. Если новобранец участвовал во второй мировой войне и, в особенности, если он служил в войсках СС, его принимали немедленно. С неменьшей охотой брали любого молодого немца, чей отец или брат погиб во время второй мировой войны на Восточном фронте. Из этих двух категорий отбирались кандидаты для унтер-офицерских школ. Уголовные преступники также могли рассчитывать на радушный прием. Им предлагали переменить имя, избавляя их таким образом от преследований со стороны международной полиции. Немногочисленные французы, а также итальянцы, греки и испанцы обычно подвергались строгому допросу. Скандинавы среди офицеров из 2-го бюро считались «лихими парнями», поэтому их зачисляли почти без допроса. Все, кто происходил из семей, где придерживались левых взглядов, и мог быть заподозрен в склонности к либерализму, безоговорочно отвергались. Дошла очередь и до меня. Унтер-офицер дал мне знак войти в кабинет. Я оказался перед лейтенантом и двумя солдатами-писарями.

— Грек? — спросил офицер.

— Грек,— ответил я.

Он взял книгу, на которой большими буквами было написано «Греция», и, перелистав ее, написал на чистой странице две даты — 1943 и 1948.

Передав книгу одному из секретарей, он спросил, глядя на меня в упор:

— В каком городе ты жил в Греции в 1943 году, и сколько тебе было тогда лет?

— Я жил в Афинах, и мне было пять лет.

— Ты помнишь, где в это время находился твой отец?

— Нет, не помню.

— Ты не помнишь, был ли он арестован немцами?

— Не думаю.

— А в 1948 году где ты жил и сколько тебе было лет?

— Жил в Афинах, мне было десять лет.

— А что делал тогда твой отец?

— Работал.

— Он никогда не подвергался аресту?

— Никогда в жизни.

Вопросы лейтенанта меня раздражали; он, по-видимому, заметил это и проговорил с таинственным видом:

— Все эти сведения очень важны!— Затем он спросил меня:— Каких политических взглядов придерживается твой отец?

— Он монархист.

— Даже если он республиканец, это дела не меняет,— сказал лейтенант.— Мы тоже республиканцы, когда нам не приходится воевать.

Заганидис подвергся такому же допросу. После этого нас отвели в другой кабинет. Там нам прочитали несколько машинописных листков, и мы их подписали. Это был контракт, связывавший нас с Легионом на пять лет.

С подписанием контракта кончается рассказ Георгия Маниатиса.

Вступив в Легион, он стал более или менее регулярно вести дневник. Ниже мы печатаем отрывки из этого дневника.

7 января 1957 г. Вчера вечером мы прибыли в Оран. Наконец-то мы ступили на африканскую землю. Нас посадили в военные машины и повезли через весь город.

Оран — красивый город европейского типа. Погода была холодная, шел дождь. На каждом перекрестке стояли два или три полицейских с дубинками. Большинство прохожих — солдаты и жандармы, остальные — грязно одетые арабы. Многие из них выглядят истощенными и куда-то спешат с угрюмым видом. Среди луж и грязи играют босоногие дети. Когда мы останавливаемся, ребята окружают нас и наперe-

бой уговаривают купить арахисовые орехи. Но унтер-офицеры предупредили нас: легионер не должен общаться с этими грязными животными.

Полуголые, худые мальчишки — чистильщики сапог торчат на углах, постукивая щетками. С каких пор я не видел их? С того дня, как покинул Грецию.

Нам не по себе. Первое знакомство с Алжиром разочаровало нас. То же разочарование можно прочесть на лицах итальянцев и испанцев. Одни только немцы, как видно, всем довольны. Они беспрестанно смотрятся в карманные зеркальца и любуются своей формой. Они даже затянули походную песню; через некоторое время, слегка изменив слова, они включат ее в официальный песенник Легиона под названием «Марш легионеров». Вот отрывок из нее: «Мы не только вооружены, сам дьявол шагает вместе с нами». Прежде эта песня называлась «Маршем СС».

Две недели Георгий провел в Сиди-бель-Аббесе. За это время новобранцы подверглись новым медицинским осмотрам и новым допросам. Наконец им выдали удостоверения личности и направили в различные лагеря для военной подготовки. Георгий попал в лагерь Сайруда.

Сто восемьдесят дней общей военной подготовки прошли в непрерывной муштре, грубых окриках и нелепых поучениях.

Раздавалось «Коли!», и мы с винтовками наперевес бросались на мешки с сеном, на старые матрацы, на деревья. За короткое время мы превратились в настоящих головорезов. Нас научили, как протыкать врага, чтобы не убить его сразу, а дать ему помучиться. Нам объяснили, что один легионер может за десять минут поджечь целое селение, а три легионера создать «выжженную территорию».

«Выжженная территория» — это то, что оставляли после себя немцы в Канданосе, на Крите, в Дистомоне и других местах. Уничтожить всех жителей, сжечь жилища, а затем сравнять с землей руины так, чтобы ничто не напоминало о селении с домами, деревьями и людьми, стоявшем некогда на этом месте,— вот что значит создать «выжженную территорию».

Георгию пришлось познакомиться не только с цуканьем офицеров, приемами штыкового боя и поучениями относительно «выжженной территории». Новобранцев группировали по национальности: итальянцев объединяли с итальянцами, немцев с немцами и так далее. Между этими группами была смертельная вражда. Георгий в ту пору был единственным греком в своей части. Он примкнул к группе испанцев.

Я не мог поступить иначе. Немцы избивали бы меня до полусмерти. В одиночку немец-легионер — это нуль, трус и ничтожество. Но несколько немцев-легионеров вместе храбры и поют в лад. Горе тому, кто попадет им в руки.

Я вел дневник все время, пока был в Легионе. Разумеется, я заносил в него только главные события. Часто я писал лишь имена или фразы, понятные мне одному. Я расшифровал свои записи впоследствии, уже в Ливии, где мне пришлось провести два месяца в ожидании парохода, который доставит меня на родину.

Сайруда, 18 февраля 1958 г. Три дня назад я дал пачку сигарет арабу, который работал по колено в грязи, подрезая клумбы в лагере. Я быстро протянул руку, и он так же быстро схватил пачку, но все же один из легионеров заметил нас. Он позвал унтер-офицера и доложил ему о случившемся. Унтер попытался мягко убедить меня, что эти люди — наши враги и с ними нельзя держать себя по-дружески. После этого, продолжая улыбаться, он с силой толкнул старого араба, и тот упал навзничь. Затем унтер-офицер протянул руку, старик достал из-за пазухи сигареты и отдал ему. Мне хотелось сказать что-нибудь несчастному, но он все равно не понял бы меня. Все же я подошел к нему, сказал по-французски: «Простите...» — и вынул другую пачку сигарет. Сначала он отшатнулся, но потом на лице его отразились удивление и волнение. Он мужественно протянул мне руку, но меня тут же схватили и втащили в пустую комнату. Через минуту ко мне ввалилось сразу несколько легионеров из военной полиции. А через четверть часа я уже лежал без сознания. Придя в себя, я увидел, что весь в крови. Меня бросили одного, оставив без капли воды на трое суток. Сегодня меня вывели оттуда и доставили во 2-е бюро.

Я заявил, что хочу немедленно уехать. Два немца, которые меня сопровождали, замахнулись на меня. Но офицер — его звали Томас — приказал им выйти.

— Эти люди, мой мальчик,— сказал он,— настоящие скоты. Они во всех видят евреев!

— Господин капитан,— сказал я,— они избили меня! Вот смотрите,— и я показал ему кровоподтеки на лице.

— Милый мой вояка,— произнес он отеческим тоном,— я заставлю их извиниться. Кроме того, я дам указание, чтобы тебе — тебе лично — позволили угощать этих бедняг сигаретами.

20 февраля 1958 г. Я убегу! Я твердо решил бежать. Вчера я опять дал сигареты старику. Меня легионеры не тронули, зато они набросились на старика и зверски избили его. Я тотчас обратился к капитану Томасу и потребовал отпустить меня.

— Я не пришел жаловаться. Я хочу уехать.

— Об этом надо было думать раньше. Если ты еще раз обратишься с этим ко мне, я передам тебя военному суду.

Со вчерашнего дня я сижу в карцере.

25 февраля 1958 г. Вот уже пять дней как меня держат в карцере. Мне дают только ломоть хлеба и полстакана воды в сутки.

28 февраля 1958 г. Я решил бежать Испанец, который сидит вместе со мной в карцере, сказал: «Лучше помалкивай. Чем больше ты кричишь об этом, тем труднее тебе будет устроить побег».

30 марта 1958 г. Меня навестил один из соотечественников. Я знал его в лицо, но не знал, что он грек. Он отличился под Дьен-Бьен-Фу. В Алжире он славился как сильнейший борец. Он сказал мне: «Если будешь возмущаться, тебя ухлопают, и ты даже не успеешь сообразить что к чему. Пошлют, например, в лес за дровами и выстрелят в спину. Иностранному легиону невыгодно судить своих солдат по всей форме. Ты просто дурак, что хочешь уехать. Погоди немного, скоро начнутся боевые действия, тогда будет чем поживиться в деревнях. Деньги, куры, женщины... Может, и ордена получишь, как я...»

10 апреля 1958 г. Вот уже несколько дней мы находимся в окрестностях города Маскара и поджигаем сосновые леса. Нам предшествуют вертолеты и самолеты, которые исследуют местность. Сегодня около десяти часов утра был дан сигнал к выступлению. Сначала мы форсированным маршем движемся к северу. Слышны взрывы, проклятия, стоны. Я не хотел бы воевать, и большинство наших тоже. Но мы все же будем воевать, у нас не хватит мужества поступить иначе. Некоторые падают на землю, обливаясь потом, ничего не видя от слез. Унтер-офицеры угрожают им пистолетами. Мы подходим все ближе к месту боя. Я держу винтовку на плече. Заметив это, мой начальник, унтер-офицер Райзен, набрасывается на меня, обзывает кретином. «Сам ты кретин!» — кричу я, но все же беру винтовку наперевес.

К двум часам мы подходим к селению — в долине под нами теснятся около ста домишек. Четыре самолета бомбардируют деревню. Кроме того, ее обстреливают из орудий, но я не могу разобрать, откуда ведется огонь. Мы рассыпаемся в цепь и ложимся. Я вижу вокруг возбужденные лица. Не знаю, чем вызвано это возбуждение: шумом боя, запахом пороха? На какой-то миг возбуждение охватывает и меня.

На закате орудия умолкают. Мы тоже перестаем стрелять. Следуя заученным правилам, мы идем к разрушенному селению. Валяются два убитых верблюда, белая лошадь, несколько овец; жалкие глинобитные хижины, крытые пальмовыми ветвями,— в развалинах. Мы рыщем по деревне, разоряя все, что еще уцелело. Вон стоит старуха с окровавленной седой головой. Она кричит, воздев одну руку к небу и придерживая другой кишки, которые вываливаются из ее живота. Она кажется живым проклятием. Лейтенант Ревейон в замешательстве смотрит на старуху, потом приказывает итальянцу Альфредо Черутти из Милана прикончить ее. Черутти бледнеет, глаза его округляются, он готов отказаться. «Ну?» — кричит отвернувшийся было лейтенант. Черутти зажмуривается и дрожащими руками нажимает на спусковой крючок. Мимо. Офицер медленно поворачивается, старуха продолжает посылать проклятия, Альфредо дрожит, а стоящий рядом со мной Мюллер разражается смехом. Сдвинув шлем на затылок и не вынимая изо рта сигареты, он выпускает в старуху автоматную очередь. Ревейон награждает Черутти пинком в живот и обещает ему припомнить этот случай.

12 апреля 1958 г. Никогда я не мог понять, почему мы ополчаемся на эти деревеньки, ни разу не оказавшие нам ни малейшего сопротивления. Сначала мы обстреливаем их, потом их бомбят, а вслед за тем мы врываемся с гиканьем и криками.

Мне что-то худо. Кажется, у меня жар. Я стараюсь не отставать от товарищей. Издали слышу — кто-то окликает меня по-гречески. Ко мне бежит какой-то солдат. Вдруг из полуразрушенной хижины выскакивает женщина и бросается на него. Они борются, катаясь по земле. Кажется, будто женщина целует его в губы. Я подбегаю, с другой стороны подбегает Райзен. Солдат бьется на земле в предсмертных судорогах, из его разорванного горла хлещет кровь. У меня подкашиваются ноги: это Костас, Костас Мавропулос из Пирея, мой старый приятель. Не помня себя, я схватил женщину за волосы и швырнул ее оземь. Она плюнула мне в лицо, и тут я заметил младенца. Грудного младенца, с ручонками, ножками, тельцем, но без головы. Мне стало дурно, и я прислонился к стене. Я рыдал, закрыв лицо руками, как вдруг кто-то спросил меня по-итальянски:

— Он был твоим другом?

Я узнал Антонио Баретта и кивнул головой

— Пойдем со мной, я помогу тебе забыть все это,— сказал он и повел меня в конюшню. У ее дверей ждало несколько человек.— Пустите его без очереди,— сказал Баретта, и, когда Вагнер вышел застегиваясь, он втолкнул меня. На соломе лежала женщина, совсем юная, почти девочка, с раскинутыми ногами, с кляпом во рту. Я подошел — она была почти совсем холодной. Должно быть, уже умерла.

Пробродив всю ночь по округе, мы нашли два охотничьих ружья, двадцать килограммов кофе и ящик с медикаментами.

Саида, 14 апреля 1958 г. Вчера вечером мы вернулись в лагерь. Капитан Пьер выставил нам сорок ящиков пива и пропасть вина. Другие офицеры и унтер-офицеры тоже не поскупились на выпивку. Ревейон собрал итальянцев нашей секции и сообщил им об инциденте с Черутти: «Нельзя допускать, чтобы немцы смеялись над вами». Несколько итальянцев пришли в ярость; они жестоко избили Черутти. Но другие думали иначе. Разгорелся спор, закончившийся дракой. Тем временем Мюллер рассказал об этом инциденте немцам, и они стали насмехаться над итальянцами. Стуча бутылками о стол, они запели «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес» и другие песни — «Марш СС», «На Крит»... Стоя на столе, немецкие унтер-офицеры дирижировали хором. Затем они принялись рассказывать разные случаи из времен последней («неудачной», как они выражались) войны, в

ГЕОРГИЙ МАНИАТИС
ЗАПИСКИ ЛЕГИОНЕРА

которых речь шла о трусости итальянцев. Итальянцы, успевшие уже помириться друг с другом, бросились на немцев. К ним присоединились испанцы и довольно много французов и швейцарцев. Только к рассвету военной полиции удалось восстановить порядок. Утром капитан сделал легионерам строгое внушение. «Наша общая родина — Легион. За ужасную смерть Мавропулоса надо отплатить. Вы не должны забывать о мести, ссылаясь на то, что он был греком, а вы не греки». Целый день мы были заняты учением. В полдень нас заставили ползти три километра. Райзен приказал Черутти бегом подняться на холм с винтовкой на плече в наказание за то, что он якобы не вычистил своих ботинок. Немного погодя мы услышали выстрел.

К вечеру выяснилось, что Франсуа Кельман из Льежа и Эдди Ван Эмельрик из Брюсселя дезертировали. Они оставили нашему лейтенанту записку, в которой было только два слова: «За что?..»

Мы втроем, К. М. из Каваллы, П. М. из Салоник и я, договорились ничего не предпринимать во время военных операций, по мере сил помогать алжирцам и при первой же возможности бежать. Мы решили также склонять к этому и других. Вскоре к нам примкнули Христос Загопулос из образованной, зажиточной афинской семьи, англичанин Оран Брайен из Манчестера и итальянец А. М. из Комо.

Проходят месяцы. Георгию удается устроиться в газету Легиона «Белое кепи» в Сиди-бель-Аббесе. Он работает в литографии. Приближается лето 1958. года. Идет подготовка к плебисциту.

Сиди-бель-Аббес, 23 августа 1958 г. Полковник Халлот пришел взглянуть на плакаты, которые я делаю. Они очень понравились ему, в особенности тот, где написано: «Голосуйте за будущее Алжира», и другой, с лозунгом «Свобода, равенство, братство».

Я вышел прогуляться. Господин де Голль с такой легкостью пишет слово «равенство» как по-французски, так и по-арабски, что я не верю в его искренность...

Арабы простодушны. В дни, предшествующие плебисциту, категорически запрещено плохо обращаться с ними: ведь они должны подтвердить, что считают себя французскими гражданами. Арабам раздают крупу для кускуса и лекарства, им привозят в бочках воду и устраивают коллективные игры для их детей.

И похоже на то, что арабы будут сбиты с толку флагами, плакатами, бесплатными киносеансами.

Сиди-бель-Аббес. 3 ноября 1958 г. Я уже давно не раскрывал своего дневника. О чем писать? О выборах? Но ведь голосовал Легион, а не народ. Мы согнали арабов в здание школы, и капитаны Санчес и Герен сунули каждому в руку избирательный бюллетень со словом ДА. Избиратели опускали его в урну, стоявшую тут же, и только после этого им выдавали второй обязательный бюллетень со словом НЕТ.

А назавтра, пока все газеты мира трубили о победе де Голля, Легион снова принялся за свое дело с прежней жестокостью.

Я написал в редакцию «Катимерини» * о том, чтобы газета обратилась ко всем грекам, имеющим родственников в Бельгии и Германии: пусть они предостерегут их от вступления в Легион, пусть убедят их вернуться в Грецию, если им пришлось туго на чужбине. Ибо за последнее время в Легион каждый месяц прибывали два-три грека.

Однако «Катимерини» ничего не напечатала; судьба легионеров-греков явно не интересует эту газету. Должно быть, по ее понятиям, в Африку едут одни лишь бродяги да авантюристы. Она не понимает, что бедных парней гонит в Легион нужда и стыд перед родными за свои жизненные неудачи.

Сиди-бель-Аббес, 19 декабря 1958 г. Половина легионеров — немцы. Недавно в бистро я болтал со своей землячкой, которая служит здесь официанткой. Вошли два немца из первого полка иностранных парашютистов и тут же надавали пощечин арабу, который пил кофе. В углу сидел французский солдат.

— Мы никогда не поймем этих скотов,— сказал он мне, кивнув на немцев.

— Эти скоты нас тоже никогда не поймут,— ответил я.

20 марта 1959 г. В одном из писем к брату я писал: «Не повезло мне со старшим сержантом. Он француз, но служил в эсэсовских частях. Можешь себе представить, какая это гадина».

Цензура перехватила мое письмо, и я был приговорен к пятнадцати суткам тюрьмы.

Камеры совсем маленькие — полтора метра на два, и в каждой из них трое-четверо заключенных. Надзиратель — огромного роста немец, прозванный Тарзаном. Кормят нас макаронами без масла и нечищенной картошкой, но и этой еды дают очень мало. Хорошо, что хоть воды хватает. Одно крыло здания занято алжирцами. По вечерам их крики и особенно вопли женщин не дают нам спать. Подъем в четыре утра. Мы обязаны мыться во дворе раздетые догола. В этот час на улице нестерпимый холод. Потом нас уводят на работу. Когда мы возвращаемся, снова приходится раздеваться, и нас обыскивают: нет ли у кого сигарет или бог знает чего еще. После этого раздают еду; каждый заключенный должен съесть свою порцию на ходу, бегая вокруг колодца, расположенного посреди двора. Нам разрешается сделать только один круг. Все, что не успеешь съесть за это время, заставляют выбрасывать. Затем мы моем посуду, убираем свои камеры, и нам дают час отдыха. В течение этого часа каждые пятнадцать минут к нам заходят надзиратели. Мы обязаны встать, уткнуться носом в стенку и отвечать на всевозможные вопросы.

---

* Ведущая правая газета в Афинах.

В два часа дня мы снова идем на работу и работаем до шести. Затем та же процедура, что и в полдень.

Заведенный порядок изредка нарушался непредвиденными событиями. Как-то раз тюремная собака собиралась ощениться. Нас выстроили во дворе. Собака никак не могла разродиться. Тогда было приказано, чтобы каждый молился за нее согласно своей вере. Я молился Юпитеру, заявив, что я язычник. Надзиратели со смехом предложили мне помолиться вслух на родном языке. И я начал поносить их жалобным голосом, воздев к небу руки. Я «молился» от всего сердца...

Собака ощенилась только на рассвете, и заключенные простояли во дворе всю ночь.

Сиди-бель-Аббес, 23 декабря 1959 г. Четыре часа назад я сидел в бистро напротив ратуши и разговаривал с Кулой, официанткой. Кто-то проехал на велосипеде и бросил гранату. Один легионер, Мартинес, был убит, а пять человек, в том числе один местный богач, ранены. Через десять минут прибыли машины с патрулем, а за ними военная полиция Легиона. В эту минуту какой-то араб переходил улицу. Его схватили и увезли.

Два часа спустя, вернувшись в казарму, я увидел там полицейских. Их было около дюжины, они стояли у дверей перед музеем и все еще били полумертвого араба. Я притаился в подворотне казармы жандармов, в пятнадцати метрах оттуда. Я видел, как они взяли резиновый шланг и всунули ему в рот. Четыре солдата наступили ему на руки и на ноги и открыли кран. Я отвернулся и убежал.

Несколько дней спустя я спросил об этом арабе одного из его палачей, Карла Брауэра.

— Он заплатил за все,— ответил Брауэр.

— Но разве именно он бросил гранату?

— Ja, natürlich *,— ответил он со смехом.

Сиди-бель-Аббес, 16 января 1960 г. Вчера вечером мы — легионеры, солдаты регулярной армии и полиция, в общем почти целый полк — окружили северную часть города. Говорят, будто где-то там скрываются партизаны.

Мы заходили по пути во все дома и приказывали мужчинам следовать за нами на площадь.

Часа в три послышались выстрелы партизан. Мы уже добрались до центра города, застроенного трехэтажными домами. Партизан было, наверно, около батальона. Их уничтожили на рассвете. У нас оказалось 11 убитых и 17 раненых, в том числе четыре офицера. Мы захватили полмешка сахара, несколько кур и три кольца.

Георгий ждет возможности бежать и не находит ее. Он становится безразличным ко всему, нерадивым и недисциплинированным. Тогда его переводят в особый батальон, расположенный в Сахаре. В него входят главным образом дегенераты, алкоголики и полусумасшедшие. Пиво и спиртное выдается им безотказно. Старые, отвратительные проститутки всюду следуют за батальоном, питаясь объедками.

15 марта 1960 г. Я в Сахаре, в 1-м батальоне Иностранного легиона. Нос и уши у меня в ожогах. Вокруг одни алкоголики и гомосексуалисты. Наш капитан — святоша и истерик, каждые два дня он впадает в транс.

— Тебе не повезло,— говорит мне Рино Маскерпа, итальянец из Ломбардии.— То ли дело было в прошлом году при капитане Прюдоме. Мы мылись в душе все вместе: он, его жена и девки. А потом мы брызгались шампанским и слизывали его друг с друга. А в 1957 году при капитане Гатти! Мы тогда стояли в Иелфе, и один из наших итальянцев зашел в какой-то двор, должно быть искал бабу. Мы нашли его зарезанным Гатти, узнав об этом, отдал приказ о «выжженной территории». В пять минут все было уничтожено. Сорок три покойника. А три дня спустя нас «наказали» — перевели в крепость Платтерс на берегу моря.

Капрал Клинтек, француз из Бретани, рассказал мне:

— Как-то раз один из наших парней взвалил себе на плечи ослика. Репортер местной газеты заснял его на цветную пленку и поместил на первой странице. Газета попала в Англию, и общество друзей животных прислало нам медаль. А к этому времени ослика мы давно уже зарезали и съели. В другой раз к нам явились репортеры из «Пари-Матч». Они хотели сфотографировать партизан, но те не имели никакого желания позировать. Тогда мы взяли чернявых испанцев, одели их арабами и засняли с поднятыми руками около зарослей кустарника. Вот смеху-то было!

Сахара, 20 июля 1960 г. Мой приятель А. З. из Корфу, рядовой 1-го полка парашютистов в Алжире, пишет мне: «Позавчера один из наших итальянцев, Марино Болонья, сумел тайком пробраться на пароход «Алексис». Его обнаружили уже после отплытия. Пароход вернулся в порт, и парня сдали французским властям. Судно было греческое, и экипаж — греки. Сегодня утром Марино расстреляли».

Несколько месяцев спустя Георгия снова посылают на операцию в пустынное предгорье Атласа.

20 ноября 1960 г. Около полудня мы наткнулись на первые следы. Следы были свежие. По радио мы вызвали авиацию и другие части, действующие в этом районе, в том числе 2-ю сахарскую роту, 2-й кавалерийский полк, полк французских коммандо и одну артиллерийскую батарею.

Справа и слева от нас горы. Перед нами двухкилометровая лощина; смыкаясь с другой лощиной, она образует подобие буквы Т. Вся местность засеяна альфой, сухой желтой травой, идущей на изготовление канатов. Дойдя до поперечной лощины, мы

---

* Да, конечно (нем.).

свернули по следам вправо, к югу. Катомен и унтер-офицеры осматривают горы в бинокль. Слышатся приказы, распоряжения, предостережения, брань. На редкость сильный ветер хлещет по лицу. Я думаю о том, удалась ли Сальвадору его затея в Алжире, куда он отправился с увольнительной.

Мы продвинулись еще на километр, медленно, осторожно, часто останавливаясь. Невдалеке виден конец лощины, за ней начинается равнина. Еще дальше расположены оазис и деревушка. Было уже за полдень. Нам хотелось есть, пить, мы валились с ног от усталости, и вот тут-то на нас с тыла напали партизаны. Я бросился на землю. Раздался крик. Неподалеку разорвался снаряд, и меня обдало облаком пыли. Мой автомат дал очередь — сам не знаю, как это получилось. Я чуть не убил капрала Майснера. Лежа передо мной, он трясся, словно в истерике. Несколько минут спустя появились четыре бомбардировщика и начали обстреливать из пулеметов и бомбить окрестные скалы. Пришел приказ пробираться к равнине. Альфа мешала ползти, ветер отбрасывал нас в противоположную сторону. Я увидел, как кто-то упал, но крика не услышал. В пятистах метрах впереди вспыхнул огромный пожар, и огонь стеной двинулся на нас. Среди всеобщей паники раздавались голоса командиров: «Примкнуть штыки, кругом, в атаку!» И с храбростью отчаяния мы, дико крича, ринулись в атаку. Я наткнулся на Майснера, раненного в живот. Он протянул ко мне руки, я нагнулся над ним, потом хотел было бежать, но вернулся, взял его за плечи и потащил к канаве, находившейся на расстоянии нескольких метров.

— Я умираю,— сказал он.— Неужели я действительно умираю?

— Конечно,— ответил я. У него была еще одна рана в правой ноге, и он очень мучился.

— Может быть, я еще выживу,— продолжал он.

— Все может быть,— ответил я.

— Ох, навряд ли.

— Умирать не так уж страшно,— промолвил я,— к тому же ты отправишься на тот свет с наградой и прямиком попадешь в рай.

— Если бы хоть в рай! — произнес он с надеждой. Я хотел приподнять его, но он валился назад, видно, у него был перебит позвоночник. Бомбардировщики улетели. Взрывы бомб теперь слышались вдалеке. Огонь быстро приближался. Я хотел ползти, взвалив Майснера себе на спину, но он был слишком тяжел. Пламя было уже в пятидесяти метрах, жар его обжигал меня, я задыхался от дыма. Я был весь в крови. Мне хотелось бросить Майснера и удрать, но я не мог. Тогда я потащил его волоком по земле. Теперь огонь был всего в тридцати метрах. Силы оставили меня, я бросил Майснера и побежал. Но тут же снова вернулся и протащил его еще несколько метров. Нестерпимо пекло. Я хотел пристрелить его из автомата, но не мог. Я выхватил его опознавательный знак, секунду помедлил и кинулся прочь. Вдогонку мне неслись из огня его вопли. На ходу я бросил свой вещевой мешок и, отбежав на порядочное расстояние, остановился. Только тогда я заметил, что грохота боя уже не слышно. Но временами то тут, то там трещали пулеметные очереди и далеко за завесой пожара слышались разрывы бомб. Я снова пустился бежать и полумертвый от усталости добрался до своей роты. Мои ожоги перевязали, и я вместе с другими отправился шарить по селению. Мы нашли еду, лекарства, боеприпасы и с десяток винтовок. 3-й карательный отряд захватил двух пленных; это были мальчишки, не достигшие и шестнадцати лет. Деревня была почти полностью уничтожена. Не знаю, сколько жителей погибло.

Грузовики ждали нас в двух километрах от деревни. Мы взобрались на них и поехали к югу на ночевку. Дорогой мы встретили стадо овец. Мы прихватили с собой все стадо, даже двух убитых овец, оставив, разумеется, на месте убитого пастушонка лет десяти. Пастухи, к сожалению, не съедобны.

25 ноября 1960 г. Нас выстроили перед воротами лагеря. Капитан пространно говорил о нашей вере во Францию, приравнивая ее к вере в бога. Никто не понимал, куда он клонит. Был полдень, и от жары стучало в висках. Со стороны Лагуата послышался грохот броневика; прошло полчаса, пока он добрался до нас. Из него шатаясь вышел Сальвадор. Он рухнул на землю, потом встал, поднял голову, взглянул на нас и снова упал. Капитан подошел к нему, пинком перевернул на спину и плюнул ему в лицо. Принесли холодной воды и вылили Сальвадору на голову. Он пошевелился, лег ничком и попытался встать, но не смог. После второй попытки он с трудом поднялся на ноги. Все тело его было изранено. На нем были серые гражданские брюки в лохмотьях. Руки были связаны за спиной, на груди красовался большой кусок фанеры с надписью крупными буквами: Я ДЕЗЕРТИР. Он был бос. Я бросил вокруг быстрый взгляд. Некоторые смеялись, но большинство стояло с посеревшими лицами, ежась, словно в ознобе. Сальвадор высоко держал свою бритую голову. Капитан приблизился и ударил его по лицу. В этот миг Сальвадор подставил ему ногу, и капитан рухнул на землю, потеряв очки. «В яму!» — завопил он. Сальвадора заставили копать яму, и, когда он кончил, его столкнули туда. Нам велели разойтись. Одни обсуждали этот случай до самого вечера, другие и рта не раскрывали. От водителя броневика мы узнали, что Сальвадор был схвачен в Оране, куда он отправился без увольнительной, надеясь пробраться на пароход. Вместе с ним удрали четыре испанца из 1-го полка парашютистов, двух из них так и не нашли. Сальвадора пытали, он несколько дней не имел ни крошки во рту, почти всю дорогу от Лагуата его заставили бежать перед машиной. Он проделал этот путь за пятнадцать часов. Позднее капрал К. рассказал мне, что у Сальвадора не хватило сил вырыть глубокую яму и он сидит почти на

поверхности земли. Ему не долго осталось жить. «Я попробую договориться с часовыми — там стоят два автоматчика,— может быть, удастся подойти к нему ночью,— добавил он.— Этот случай произвел тяжелое впечатление на роту. Большинство из тех, кто пошел бы с нами, перетрусили, и теперь с побегом будет гораздо труднее».

Но мы так и не повидали Сальвадора. Он неожиданно выскочил из ямы, ударил часового и бросился к воротам. Тут его и пристрелили. Я думаю, он и сделал это, чтобы не умереть «по уставу».

Хсар-аль-Иран, рождество, 1960 г. Нам грозит опасность. Перехвачено письмо Рифе к матери, в котором он выражает симпатии к алжирцам. Рифе арестован и посажен «в яму». Его часто уводят в подвал около конторы, где до сих пор держали только пленных алжирцев. Его пытают всеми способами, но говорят, он молчит. Распускают слух, будто всему виной его пристрастие к алкоголю. К., я и еще несколько человек не падаем духом. Но большинство...

Вчера вечером капитан с двумя офицерами и их женами явились осмотреть нашу казарму, убранную к рождеству. Гостям очень понравилось, как мы ее разукрасили. По стенам мы развесили рождественские плакаты на разных языках. Между пожеланиями на сербском и итальянском языках я написал по-гречески «Eiste dolophonoi» *. Я показал эту надпись капитану, который с трудом произнес ее. Потом я спел по его просьбе «Дети Пирея». Он был в полном восторге. И он, и его жена пожали мне руку, любезно повторив: «Eiste dolophonoi». Я отвечал им: «Dolophonoi eiste seis!»**—«А что это значит?» — спросили они. «Это значит: «Наилучшие пожелания всем вам»,— объяснил я по-французски...

Сегодня я встретил новичка Марко Дзанчетта из Тревизо, городка в тридцати километрах от Венеции. Это рослый, красивый парень двадцати двух лет, душа нараспашку. Он поссорился с отцом, который не дал ему денег на уплату какого-то штрафа, решил уйти на заработки во Францию и перешел границу без паспорта.

В Ницце ему предложили вступить в Легион: мол, иначе его выщлют обратно в Италию, где он будет приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Ему так все расписали, что он предпочел Легион.

По молодости лет он еще легкомыслен, как большинство юношей, но, по-моему, это справедливый и мужественный человек, и, вероятно, он нам пригодится. Так что мы с ним подружились.

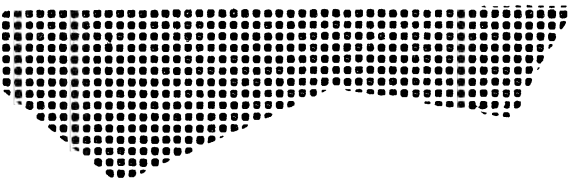
Положение у нас неважное. Необходимо сжечь разные документы и фотографии партизан. Я не смогу больше посылать Никосу ни строки из моих записок. Я должен быть начеку, как, впрочем, и вся наша группа.

Тарата, 27 декабря 1960 г. Двумя самолетами нашу группу перебросили в долину Тараты. Со стороны Ливии, в двух километрах к востоку от разрушенной крепости, в которой мы расположились, лежат розовые и желтые песчаные холмы. Не успели мы прибыть, как начались военные операции. Мы узнали, что мятежники проникли во Французскую Сахару и направляются в район нефтепромыслов. Я пытаюсь уговорить Дзанчетту дезертировать вместе со мной. Я выбрал именно его, потому что он здесь недавно и еще не успел заразиться страхом перед пустыней. Кроме того, он крепкий парень, а главное, ему еще остается прослужить четыре года и два месяца в Легионе.

6 января 1961 г. Сегодня мы вернулись из пятидневного похода. Мы проделали его почти без еды. Я уверяю Дзанчетту, что Ливия всего в двух километрах, что поблизости должен находиться ливийский военный пост и что мы наверняка встретим восставших алжирцев или туарегов. Он согласился. Я никому, кроме него, ничего не сказал и не хочу говорить, чтобы меня не удерживали. Через несколько дней мы с наступлением темноты уйдем из лагеря. Я написал короткую записку матери.

Вечером 7 января Георгию и Дзанчетте удалось незаметно выйти из лагеря, взяв с собой сколько можно было пищи и воды. Они быстро добрались до Ливии. И вот тутто началась их Голгофа: вода кончилась, еда тоже. 23 января, семнадцать дней спустя, беглецов в бессознательном состоянии подобрали туареги, выходили их и отвели на ливийский пограничный пост, где их ждал дружественный прием. Отсюда они были доставлены в столицу Ливии, а там уже греческое и итальянское консульства взяли их под свою защиту. Три дня спустя их заключили в тюрьму впредь до выяснения, действительно ли они дезертировали из Иностранного легиона. Марко провел в тюрьме двадцать дней, ожидая разрешения на въезд в Италию. Георгий Маниатис просидел в заключении три месяца, пока не пришел наконец положительный ответ на запрос.

* «Вы убийцы».
** «Убийцы — это вы!»



СЕДРИК БЕЛФРЕЙДЖ

Джеймс Моррис путешествует

ПАМФЛЕТ

Он — мой соотечественник, и мы, возможно, не раз встречались у пивной стойки в кабачке на Флит-стрит; однако я ничего не знал о Джеймсе Моррисе, пока мой друг, кубинский лингвист, собиратель оригинальных публикаций, которые он коллекционирует, как бабочек, не принес мне в больницу, где я лежал с переломом ребра, пачку номеров «Манчестер гардиан уикли».

Моррис оказался королем разъездных репортеров этого еженедельника и ежедневной газеты «Гардиан»; он — журналист, посвятивший свое перо прославлению и увековечению британских либеральных принципов. Тех самых принципов, следуя которым газета на своих страницах осудила «вторжение» Индии в Гоа, но всячески оправдывала действия войск ООН в Конго; в силу этих же принципов газета не пожелала замечать английское движение против атомного вооружения, хотя и не клеветала на его участников, как это делали откровенные, «не либеральные» враги движения.

Ради блага подписчиков газеты «Гардиан» Моррис, которого либеральная редакция не стесняла в средствах, совершил путешествие по Эфиопии, Пакистану и Таиланду. В мое время на Флит-стрит было в ходу выражение — «выманивать денежки»; но сколько бы ни потратил Моррис, никто не посмеет обвинить его в том, что он нечестным путем вымогал у газеты деньги.

От него требовали, чтобы он осторожно, щадя утонченные чувства своих читателей, оправдывал те режимы, которые либо успешно препятствуют развитию освободительного движения и распространению социалистических идей, либо активно сотрудничают с силами западной реакции. И Моррис не покладая рук трудился, чтобы выполнить этот заказ: из-под его пера так и сыпались обольстительные эссе, в которых смело затрагивались «мрачные стороны» феодализма и колониализма, но между строк настойчиво звучал один и тот же мотив: «Любой политический режим, даже этот, все же лучше, чем коммунизм».

Теперь я уже прекрасно знаком с Моррисом. Я знаю, что он любит «умеренный прогресс», вино шато неф-дю-пап к омарам, монархию (по возможности «конституционную»), диктатуру (по возможности «мягкую»), религию (любую) и экзотических женщин.

Как стилист, он мастер тончайших оттенков и чуть только захочет оправдать кровавую политику тирании (хотя отлично знает, что его доводы никем всерьез не принимаются), так всегда вставляет свое любимое выражение «на самом деле». Эти его «на самом деле» настолько трогательны, что, цитируя статьи, я позволю себе выделять их. Моррис — джентльмен с головы до ног, но прежде всего он — либерал, который путешествует по свету, имея при себе совесть, маленькую, но чистую; его целомудренная душа содрогается при виде жестокости и страданий, переполняющих мир, но он твердо знает, что есть бог на небесах. Я ни минуты не сомневаюсь, что Моррис очень почтительный сын.

Когда я впервые наткнулся на его корреспонденции в газете «Гардиан», он только что вернулся из поездки по некоторым странам Латинской Америки; но свое мнение о диктатуре, господствующей в этих странах, он предпочел хранить про себя. «Опьяненный экзотикой...

оглушенный ритмами Рио, еще шумевшими в ушах» (так он писал), Моррис, в ожидании поездки на Восток, пробавлялся фельетончиками о «ловле пресноводных омаров» и о научно-исследовательском атомном институте в Харуэлле.

Пребывание в Эфиопии дало Моррису материал для элегических очерков об «угасающем блеске патриархальной монархии», которая «пусть и очень медленно», но «неуклонно направляла королевство в сторону демократии».

Он разъясняет, что «нижняя палата парламента на самом деле составляется выборным путем, хотя, конечно, она почти бесправна», и стоило ей недавно «выказать лишь признаки неповиновения», как ее членов «вызвали в королевский дворец и хорошенько отчитали». В стране «довольно много начальных школ», «попадаются даже средние»; но по уровню грамотности Эфиопия «остается на одном из самых последних, если не на последнем месте в мире... народ ее коснеет в невежестве и гибнет от болезней». Там, кажется, есть «что-то вроде» рабства (хотя «я так и не знаю, каковы же признаки рабства», кокетничает Моррис). Поговаривают, сообщает далее Моррис, что у императора «в европейских банках хранится немало миллионов долларов».

Моррис рассказывает, что, когда феодальный правитель проезжает «в сопровождении конвоя американских лимузинов», со всех сторон неожиданно появляются «огромного роста телохранители с автоматами, которые терроризируют зрителей и нагоняют на них ужас». Страна «кишит» агентами тайной полиции, политическая деятельность «запрещена», профсоюзов «не существует»; «спокойствие в государстве поддерживается при помощи... массовых арестов, публичных казней, ссылок на пустынные окраины; говорят, применяются даже пытки. Пресса в стране только официальная и потому — медоточивая; запрещается издавать книги, содержащие критику существующего режима; люди даже между собой боятся говорить о положении в стране».

А что же пишет Моррис о народе? С одной стороны, ему бросились в глаза «блондинки с прическами в виде конских хвостов, с гайками выбегающие из лицея», с другой — он заметил «паралличных нищих, еле ползущих на изъязвленных коленях», и «добрые, тупые, запоминающиеся лица юных проституток, молча сидящих в ожидании клиентов перед тускло освещенными каморками вдоль улицы Черчилля...» (Если вам противно читать эти строки, начните регулярно выписывать газету «Гардиан», и вы просто поразитесь, как легко можно ко всему привыкнуть!)

Моррис вообще считает, что «большинство эфиопов политически совершенно не развито, хотя и упоминает, что было три попытки бунта между декабрем 1960 и августом 1961 года. Как же, однако, характеризовать сложившуюся в стране обстановку? «Ситуация не то чтобы революционная», пишет Моррис, но «в среде молодежи», да и у «многих порядочных людей других возрастов» «ощущается зимняя стужа недовольства». И журналист чувствует себя обязанным предостеречь, что эти продрогшие люди «увлекут страну на путь страшных перемен, превратят ее в клубок разрушенных устоев и неясных намерений». Но эта мысль слишком мрачна для нашего путешественника, любующегося «стройными девушками, удивительной грацией и изяществом их движений... прелестными голыми ребятишками, выглядывающими из мешков, которые висят на сильных, лоснящихся спинах их черных матерей»; он не может оторвать глаз от «босоногих мальчишек и девчонок... счастливых детей природы... благородных дикарей, на которых так радостно смотреть».

Увы, нет сомнения в том, что «идиллия кончилась», и у Морриса теперь одна забота: произойдет ли «общественный катаклизм, который ускорит процесс демократизации, чтобы затем навсегда подавить ее», или все-таки удастся сохранить «истинную конституционную монархию по британскому образцу».

Я думаю, что читатель, не привыкший к такой масляной, витиеватой прозе, безусловно потребует некоторой передышки, прежде чем последовать за Джеймсом Моррисом в Пакистан — страну, которая ему гораздо больше по вкусу: разве не доказала она свою приверженность к «свободному миру», встав под знамена СЕАТО?

Конечно, здесь Моррису придется откровенно признаться, что в стране «господствует диктатура маршала Мохаммеда Аюб Хана». В таком пустяковом вопросе не стоит обманывать читателей газеты «Гардиан». «В стране еще действуют законы военного времени»; за критику существующего режима все еще сажают в тюрьму и облагают большими штрафами. Но, спешит добавить Моррис, и мы чувствуем, что все либералы облегченно вздыхают над своей яичницей с салом, «если уж какая-нибудь диктатура на самом деле заслуживает названия мягкой... то это диктатура в Пакистане». И дальше: «Я просто не представляю, чтобы та пародия на демократию, которая существовала здесь раньше, могла спасти страну от медленного, но позорного и страшного упадка».

По мнению Морриса, попасть из «мерзкой, тесной, убогой» старой демократической столицы Карачи в новую столицу Равалпинди — все равно что

СЕДРИК БЕЛФРЕЙДЖ
ДЖЕЙМС МОРРИС ПУТЕШЕСТВУЕТ

«после теплого, похожего на помои пива глотнуть ананасного соку со льдом». Моррис трепещет при виде очаровательной «девушки с серьгой в носу, которая гонит с Гималайских гор шелковистые стада своих коз», и при звуках военных труб на заре, «немыслимая чистота» которых напоминает ему певца империализма, поэта-лауреата Киплинга.

Правда, «кругом страшная бедность», Пакистан — «почти нищая страна»... которая, очевидно, «никогда не станет богаче»; его промышленность ничтожна, и она целиком зависит от «экспорта пшеницы и джута и иностранной помощи». Политический режим являет собой «откровенное отрицание всего, что составляет сущность свободного мира». Тем не менее «западные дипломаты единодушно восхищаются» этим режимом, и «я, пожалуй, им тоже восхищаюсь»,— соглашается Моррис. Ибо «кто же станет отрицать, что весь стиль и характер этого талантливого правительства можно назвать преимущественно британским. Аюб — офицер и джентльмен, который унаследовал от многих поколений военных и чиновников убеждения, почерпнутые у Арнольда Рагби и из викторианской семейной библии».

Повсюду царит прекрасная дисциплина: «никто не смеет насмехаться над властями... писать своему депутату парламента или острить по поводу законов». Кроме того, «нельзя не согласиться», что под управлением Аюба «Пакистан совершенно переменился... Престиж страны настолько вырос в международном общественном мнении, что Пакистан непременно стоит в списке каждой уважающей себя фирмы, которая вкладывает деньги в малоразвитые страны».

Правда, мысль о стоящих перед страной трудностях, «столь огромных» в свете «слишком отдаленных перспектив прогресса», на миг омрачила радужное настроение Морриса; но звуки вышеупомянутой военной трубы заставили его встрепенуться, и, по его выражению «он, как вновь обращенный, приветствовал режим, который не боится никаких трудностей». Более того, оказывается правительство Пакистана обладает «счастливым талантом внушать доверие», и по сравнению почти «с любой из стран Африки вы ощущаете здесь восхитительное чувство надежды», хотя «рядом с ним (то есть с Пакистаном) Африка может показаться рогом изобилия». (Чтобы переварить это место, совершенно необходимо быть постоянным подписчиком газеты «Гардиан» или на протяжении девяноста дней не иметь под рукой другого чтива.)

Где же выход, если, конечно, придерживаться убеждения, что «любой режим лучше, чем коммунизм»?

В порыве почти неземного вдохновения Моррис пишет:

«Одной из проблем, стоящих перед правителями Пакистана, правда не самой острой, является возрождение мулл, пиров, нашинов, муджавар и мутавалли — то есть всех самозванных толкователей ислама, которые проповедуют уход в возвышающую душу мистику, уход бесплодный, но утешительный, и порой я спрашиваю себя, не есть ли это лучшее решение вопроса?..» А пока «взгляните на дивные горы, на их сверкающие в лучах солнца вершины и окутанные сумраком ущелья — при виде этих чудес у нас на самом деле возникает смутное ощущение, что в стране, где царит такая красота, в конце концов все будет в порядке».

Скажем же прости чудесному Пакистану и поспешим в Сиам, как по старинке называет Таиланд Джеймс Моррис, где мы застанем его размышляющим над «печальной истиной, что демократия, увы, не так-то легко перекочевывает из страны в страну. Пакистан, Персия, Португалия, Испания и Турция — все это бастионы Свободного Мира... Поэтому не следует удивляться... что Сиам — еще один неукротимый противник тоталитаризма — представляет собой образец жестокой и несгибаемой тирании». Живя в Бангкоке, где находится штаб-квартира СЕАТО, путешествующий либерал научится не только ничему не удивляться; под руководством такого гида, как Моррис, он даже поймет, что девиз СЕАТО — «защищать принципы демократии, индивидуальной свободы и законности... гроша ломаного не стоит».

Но столь велико очарование «этого рая, начинающегося за Бирмой... этого сказочного королевства... изобилующего рисом, оловом и каучуком», что свои первые две статьи Моррис пишет, как во сне; и это, по его собственному признанию, помешало ему «хорошенько разглядеть характер королевской власти». Однако он чувствует себя обязанным отметить, что «никакой демократии нет и в помине... в стране царит военный закон. Политическая оппозиция запрещена. Все недовольные, которых удается объявить коммунистами, немедленно высылаются и подвергаются «перевоспитанию». Под пером Морриса «немедленная высылка» в этом райском уголке почти приравнивается к восхитительной прогулке, однако он не скрывает, что «время от времени поступают сообщения о массовых арестах, пресеченных заговорах и страшных преступлениях, раскрытых органами полиции», кстати, полиция «славится жульничеством», а губернаторами провинций часто назначают людей «сомнительной репутации, отличающихся жестокостью».

Диктатор Сарит «коренастый, неприятного вида человек, с грубыми чертами лица и целым иконостасом орденов на груди... еще до его прихода к власти ходили досадные слухи о его зверской жестокости». Он окружил себя «кликой старших офицеров, многие из которых известны своей продажностью». Коррун-

ция считается «вполне простительным грехом и даже повсеместно вошла в обычай», она расцветает таким пышным цветом, что «при тиражах национальной лотереи список выигравших номеров даже не публикуется: всем известно, что основные суммы регулярно оседают в карманах министра. Шантаж и вымогательство по образцу «рэкета» сингапурских и чикагских гангстеров — обычная история... Кровавые преступления гнездятся в глубинах нежно-прекрасной души Сиама. Политика — настоящая кормушка для большого бизнеса в самом отвратительном смысле этого слова». Но это все мелочи, и если не обращать на них внимания, то Сиам — восхитительное государство!

Даже у самого Морриса трудно найти более трогательное описание этого «райского местечка». Но в интересах истины он не может умолчать о заметном среди народа «скептицизме», который, «если в него вдуматься, подозрительно похож на озлобление и является тревожным признаком». К числу «скептиков» в Сиаме, очевидно, следует отнести «нищих-калек. изуродованных детей и сгорбленных, плачущих женщин с большеглазыми младенцами на руках», которые бесцеремонно приставали к нашему манчестерскому другу, когда он проезжал «обширный район сплошной нищеты (на северо-западе и северо-востоке страны), откуда в трущобы Бангкока стекаются его голодные обитатели».

Это тот край, «где вы можете натолкнуться на подводные скалы общественной жизни Сиама. Здесь есть коммунисты... Меня уверяли, что коммунистические агенты на самом деле проникают сюда, переправляясь через реку Меконг... Однако я не должен преувеличивать. Сиам нельзя назвать несчастной страной, и большинство его обитателей, вероятно, вполне довольны своей жизнью», хотя — прибавим мы от себя — омары и шато-неф-дю-пап не подаются здесь за каждым столом.

«Рядового сиамца не назовешь «животным общественным»,— продолжает Моррис,— украдкой, как бы на цыпочках, движется этот народ от десятилетия к десятилетию, всегда изящный и привлекательный, как будто перед зрителем проходит классическая репетиция национального балета... Эта страна менее любой другой нуждается в политических убеждениях, она движется себе и движется, увлекаемая силой собственной инерции: ибо природа создала ее цветущей, она гордится своей историей, а благородная религия поддерживает ее в трудные дни».

Для тех же читателей, которые упорно полагают, что даже жителям Сиама необходимо порой иметь политические убеждения, Моррис указывает, что, несмотря на «досадные слухи о зверской жестокости Сарита», он «очень добр по сравнению с прежними диктаторами». В качестве доказательства сообщается, что «правление на самом деле осуществляется на основе новой, либеральной конституции, выработанной специальной ассамблеей, в которую вошли 59 генералов, 16 адмиралов и 10 маршалов авиации. Популярность молодого короля очень возросла, и дух республиканизма почти исчез... Правительство пользуется почти единодушным уважением западного дипломатического корпуса... И пока жив Сарит, умело поддерживающий равновесие в игре честолюбий, интересов и коррупции, составляющей подспудное течение сиамской жизни, до тех пор, очевидно, удастся сохранить счастливый покой, царящий в королевстве».

Так, заранее разрешив все сомнения, которые могут возникнуть у либерального читателя, Моррис, однако, не очень хочет заканчивать свой политический анализ на столь неприятной ноте. Поэтому в заключительной части статьи он снова начинает писать, как во сне, и говорит: «Лучше всего не задумываться над политическими проблемами Сиама. Куда приятнее увлекаться театром теней и плавать в бассейнах». А чтобы этот мудрый совет не остался втуне, он заканчивает вторую статью длинным монологом, написанным в обычном для него возвышенном поэтическом стиле:

«Да простится тебе, странствующий гедонист, если ты тоскуешь по колокольному звону или мечтаешь в сумерках насладиться тайным свиданием. Ты не найдешь в Сиаме ни жестоких социальных несправедливостей, которые вопиют к твоей пишущей машинке, ни жуткой нищеты, которая растревожит твою чуткую совесть. Вернись же к наслаждениям, которыми дарит тебя Сиам...»

Но, увы, долг уже призывает Морриса, да и деньги на исходе: жестокая судьба отрывает его от тайного свидания в сумерках, под звон колоколов. И весь во власти изысканных душевных переливов наш герой отбывает на самолете домой, к новым подвигам на ниве либеральной журналистики. И в следующем номере еженедельника мы видим его уже в Венеции, где он успел высмотреть для своих читателей «самые удивительные прически .. самые обтягивающие брюки... самое большое количество женщин, похожих на проституток». Он «провел лишь несколько дней в ее объятьях» — имеется в виду Венеция,— но увлекательное приключение прервал приезд жены, которая увезла его домой, к «чашке доброго, старого английского чая».

Мы не сомневаемся, что каждый молодой гражданин «свободного мира», который пожелает преуспеть на стезе либеральной журналистики, обязан изучить писания Морриса — на самом деле выдающегося представителя этой профессии.

г. Лондон

Николас Гильен

БОРИС ПОЛЕВОЙ

ПЕВЕЦ КУБЫ

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА

Это было около десяти лет назад. Что мы тогда знали о Кубе? Что там очень синее небо и очень жестокая военная диктатура. Что в благословенном климате этого острова сахарный тростник приносит баснословные урожаи и что батракам там нечего есть. Что в Гаване крутят лучшие в мире сигары и стреляют в тех, кто поднимает голос протеста против диктатора и его американских покровителей. Куба была где-то очень далеко, рисовалась в воображении неясно, зыбко, как мираж, в котором можно рассмотреть только сверкающую воду, небесную лазурь да перистые пальмы.

И вот однажды мы говорили с Рафаэлем Альберти, одним из лучших поэтов испанского языка, о литературах латиноамериканских стран. Я признался, что не читал новую, только что переведенную на русский язык книгу стихов кубинского поэта Николаса Гильена. Так уж случилось — пять лет знаком с ним, встречались на различных международных конгрессах, читал отдельные стихи, публиковавшиеся то в том, то в другом нашем журнале, а вот сборник прочесть не успел.

— Как, ты не читал Гильена, этого мулата, пишущего великолепные стихи? — воскликнул мой экспансивный собеседник.— Ну, тогда нам не о чем говорить: человек, не прочитавший новых стихов Гильена, переведенных в его стране, не имеет права разговаривать о современных литературах Латинской Америки.

На следующий день после столь энергичной рекомендации сборник был раскрыт. Это была тонкая, всего что-то около ста страниц, книга со скромным названием «Стихи». Она была прочитана сразу, залпом. Читать было легко, как слушать песни. И так же, как хорошие песни, стихи трогали, волновали. Происходило чудо — далекий остров под названием Куба стал приближаться. Перестал быть неясным экзотическим миражем. Я увидел страну прекрасную и несчастную. Я узнал ее народ, трудолюбивый, гордый, веселый, талантливый, народ, изнывающий под двойным гнетом—отечественным и североамериканским. Народ с усталым, израненным, но гордым сердцем.

Николас Гильен — мулат. Как и у Пушкина, у него был белый и был черный предок. И это отразилось в его поэзии. Сама она — чудесное смешение благородной испанской поэтической традиции и негритянских народных песен, смешение не механическое, а оригинальное, давшее нечто новое, неповторимо своеобразное, прекрасный сплав.

Гильен — патриот. Патриот в самом лучшем смысле этого слова. Он любит свой остров. Он любит свой народ действенной любовью. Он горюет и радуется вместе с ним. Он борется среди самых передовых людей своей страны и вместе с ними переживает и радость побед, и горечь неудач. В стихах его звучат и горе, и гнев, и печаль, и надежда. И это — горе, гнев и надежда народа, поэт и народ сливаются воедино

С тех пор я полюбил Николаса Гильена, полюбил Кубу и вместе с поэтом загорелся надеждой, что нож-мачете, которым рубят сахарный тростник, скоро послужит боевым революционным делам и Куба будет свободной

Однажды Николас рассказывал нам о своем деде. Он был столяр, его дед. Сам научился грамоте. Стал книгочеем, писал стихи, был острословом. Его шутки и стихи знало множество людей. Он ненавидел испанских колонизаторов и вместе со своим сыном, отцом Николаса, пошел добровольцем в отряд генерала Гомеса, восставшего против испанских колонизаторов. И вот сейчас, когда я пишу эту заметку к шестидесятилетию своего доброго кубинского друга, меня поражает одна деталь в рассказе о столяре-поэте. Уходя на войну против колонизаторов, этот человек поклялся, что не будет брить бороду, пока колонизаторов не изгонят с острова. Ему так и не пришлось побриться. Он умер бородатым, не дожив до победы, этот человек, искусно делавший красивую мебель и писавший нежнейшие стихи о могучих реках, о голосистых птицах о красивых женщинах...

Когда мир облетела весть о десанте Фиделя Кастро и его боевых друзей на родную землю и о том, что они поклялись не брить бороды до победы, как-то невольно вспомнился дед Николаса Гильена и его клятва. Дед поэта не дожил до вожделенной свободы. На глазах его внука легендарные бородачи освободили остров не только от иностранных оккупантов, но и от эксплуататоров. От латифундистов, помещиков, от компрадорской буржуазии. И внук старого патриота, сражавшегося в войсках генерала Гомеса, стал одним из первых поэтов страны, которая написала на своем знамени: «Социалистическая Куба — первая свободная территория Америки».

Я был у Николаса Гильена на Кубе совсем недавно, в канун его шестидесятилетия. Шестьдесят лет! Разве можно дать столько этому невысокому, плечистому, необыкновенно подвижному, бронзоволицему человеку?! С книжных витрин смотрели переплеты книг его новых стихов. Появились пластинки с записью его песен. Газеты сообщали о его докладе, посвященном Конференции писателей стран Азии и Африки. Мы встречались с ним на огромном митинге в кинотеатре «Чаплин», в редакции газеты «Нотисиас де ой», в студии телевидения, в зале Дома Союза деятелей культуры, председателем которого он является, на приеме, устроенном сторонниками мира. В газетах то и дело мелькали фотографии: Гильен у учителей, Гильен у молодежи, Гильен у крестьян... Казалось, не один, а десять Гильенов живут кипучей жизнью, действуют, борются и при всем том — пишут стихи. Отличные стихи, которые быстро становятся песнями.

В один из жарких вечеров, когда над Гаваной мерцали огромные южные звезды, мы встретились с ним в маленьком кабачке «Бодегита дель медио» — в каменной щели между домами, где за деревянными, грубо сколоченными столами сидели грузчики и поэты, продавцы газет и писатели, юристы и дивы из ночных кабаре. Заговорили об огромной боевой работе, которую поэт ведет сейчас и которая отнимает у него уйму времени

— Ничего... Я никогда не жил так интересно, как теперь,— сказал он,— никогда мне так не писалось.— И, хитро подмигнув, огляделся вокруг.— Здесь женщин нет. Могу тебе сказать по секрету, что мне скоро шестьдесят лет.

ЛИДИЯ СИМОНЯН

СИЛА ТАЛАНТА

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Э. ШТРИТТМАТТЕРА

Перечитывая книги Штриттматтера, думаешь о своеобразии его таланта. И вместе с тем вспоминаешь, по неожиданно возникающим ассоциациям, немецких писателей былых времен, ибо творчество Штриттматтера неразрывно связано с национальными традициями отечественной литературы.

Казалось бы, что общего между Гейне и Штриттматтером? Однако Гейне приходит на память и тогда, когда читаешь первый роман Штриттматтера «Погонщик волов», и тогда, когда читаешь последний роман Штриттматтера «Чудодей». И не только потому, что в обеих книгах авторская речь брызжет иронией. Нет, причину надо искать глубже. Не кто иной, как Гейне, высмеял свойственную немецким обывателям привычку уходить от неприглядной действительности в заоблачный мир несбыточных грез. Эту привычку, которая помогала мириться со всяческим убожеством, Штриттматтер называет непереводимым на русский язык словом «Innerlichkeit». И обрушивается на нее всей силой своего таланта. А особенность его таланта такова, что Штриттматтер редко обходится без юмора; он часто смеется, то добродушно, то язвительно.

У каждого писателя свой собственный путь к социалистическому реализму.

Эрвин Штриттматтер

Штриттматтер пришел к его утверждению через отрицание такого мировосприятия, при котором происходит, как метко определил Энгельс, замена плоского убожества высокопарным.

В одной из своих статей Штриттматтер писал: «Я знаю, что необходимо сделать выбор между разрушителями жизни и преобразователями жизни»*. Он свой выбор сделал. Раз и навсегда.

Эрвин Штриттматтер стал писателем в первые годы существования Германской Демократической Республики. Его статья, которая упоминалась выше, называется «Раньше и теперь». Раньше Эрвин Штриттматтер был батраком и чернорабочим, конюхом, шофером, пекарем. Кто знает, удалось ли бы ему добавить к своим многочисленным профессиям еще одну: писательскую? Раньше ему казалось, что добрых намерений благородного одиночки вполне достаточно. Теперь ему ясно, что мысль должна претворяться в действие, совершаемое не в одиночку, а всеми вместе.

Штриттматтер умеет творчески использовать собственный жизненный опыт. Для того чтобы этот опыт не иссякал, он прочно обосновался в деревне Долгов, где состоит членом сельскохозяйственного кооператива Штриттматтера никак не назовешь детским писателем. Но тот, кто читал повесть о Тинко, раз и навсегда поверил в этого забавного и трогательного деревенского мальчугана, идущего своими собственными, далеко не легкими путями; он выходит из тесного частнособственнического мирка в необъятный мир новых человеческих отношений, где все за одного и один за всех. Слово «трогательный» в применении к Тинко отнюдь не означает, что писатель, в чьем воображении родился этот образ, склонен к сентиментальности. Ничуть не бывало, и автор и его герой сентиментальностей терпеть не могут. Тинко как раз такой ершистый, каким ему и положено быть по возрасту. Тем более трогательна его затаенная нежность к настоящим людям, в которой робко проявляется его внутреннее тяготение к новому. «Тинко» — это повесть о современной деревне, но то новое, что утверждается в ней, имеет общенациональное и общечеловеческое значение.

Разумеется, если б не было Германской Демократической Республики, в которой новое торжествует над старым, не было бы и повести «Тинко», провозглашающей это торжество. Штриттматтер умеет быть глашатаем нового, но при этом он чужд всякой патетики, а уж тем более ложной. Точно так же он чужд какого бы то ни было схематизма; он никогда не пишет по стандарту.

Думается, что «Тинко» — лучшее из прозаических произведений Штриттматтера. В «Чудодее» наряду с блистательно написанными кусками есть и такие, которые оставляют чувство неудовлетворения. В «Тинко» все хорошо, от первой строки до последней. Особенно хорош язык, которым написана повесть, очень своеобразный и очень красочный. Писатель умеет передать словами многое: краски четырех времен года, запахи земли и ее плодов. Он передает и тональность человеческих настроений, мажорных, минорных.

Штриттматтер пишет и стихи, и пьесы. Но его незаурядный творческий дар ярче всего проявляется в прозе, в романах и рассказах. Нельзя не пожалеть, что он слишком мало пишет рассказов. О том, как он умеет несколькими выразительными штрихами создать яркое впечатление, свидетельствует его рассказ «И все это ради пяти бананов?».

...Солнечным днем под грушевым деревом болтают друг с другом двое новоселов. Они вспоминают одну семью, которая в последние дни войны бежала в западную зону. У старика, говорят они, не было особых причин для того, чтоб удирать. Но старуха совсем ошалела от геббельсовской пропаганды. Она потащила за собой мужа, детей и клетку с попугаем, без умолку оравшим: «Хайль Гитлер!».

Позднее старики прислали в подарок соседям пять бананов — ведь надо же похвастаться тем, что они приобрели в ФРГ. Но подарок привезла их дочка, которая вернулась в ГДР потому, что хотела учиться. И вот бананы красуются в вазе на буфете; они уже съежились и почернели. А тот, кто получил их в подарок, вгрызается зубами в спелую грушу, созревшую в его саду. Из груши золотистыми каплями стекает сок... Так двумя-тремя красочны-

* Tägliche Rundschau, 7/X-1954.

ми — хочется даже сказать: сочными — мазками создается зарисовка, смысл которой совершенно очевиден.

Своеобразие штриттматтеровской речи ощущается не только в его художественном творчестве, но и в его публицистике. Даже и газетные статьи Штриттматтер пишет собственным почерком, не похожим ни на чей другой.

Штриттматтер — общественный деятель и Штриттматтер — литературный деятель дополняют друг друга. Это, кстати сказать, в современной действительности ГДР обычное явление.

Эрвин Штриттматтер прожил пятьдесят лет. Из них литературе отдано немногим больше десяти. А сделано настолько много, что имя писателя известно далеко за пределами его родины.

В предисловии к русскому изданию «Чудодея» Эрвин Штриттматтер писал: «Не будь советского народа, мне и теперь пришлось бы жить так же трудно, как живут сегодня еще многие из моих братьев на Западе, а может, и вовсе не пришлось бы жить».

Мы, советские читатели, с нетерпением ждем новых книг нашего друга.

ГАБРИЭЛА МЕЙЕР-ДЕННЕВИЦ (ГДР). Колыбельные песни.

ИГНАЦЫ ВИЦ

Мастер фотомонтажа МЕЧИСЛАВ БЕРМАН

Существуют художники, к которым почти не применимы обычные оценки, возможно потому, что их творческие искания по-своему неповторимы, художественные решения редко, очень редко испытывают влияние «всеобщего тяготения» или поддаются натиску распространенных направлений и тирании моды. Искусство такого рода может быть и обычно бывает весьма спорным, но тем не менее, если в его основы заложено подлинно художественное начало, оно приобретает черты выдающегося явления.

Таково творчество польского художника Мечислава Бермана. Искусству фотомонтажа он посвятил более тридцати лет своей жизни, отдавая ему свое вдохновение, любовь и силы, оно является для него буквально всем, чем может жить художник. Его творчество — это, прежде всего, зримое отражение чувств и мыслей, художественной фантазии и образного видения, тесно связанного с действительностью. А действительность для художника зачастую является своеобразным лабиринтом, пока он не найдет своего мерила, которое будет для него чем-то вроде компаса для морехода, оказавшегося в самом центре стихии. Таким компасом явилась для Мечислава Бермана идейность в понимании и оценке явлений.

Мечислав Берман не первый и, конечно, не последний художник, посвятивший весь свой талант фотомонтажу. И до него, и в наши дни этот вид искусства привлекал и привлекает к себе многих художников. К фотомонтажу прибегали и некоторые футуристы (кубисты) и сюрреалисты. Фотомонтаж использовался раньше и используется теперь для целей рекламы и пропаганды как наиболее выразительное средство воздействия. Фотомонтаж был — это хорошо известно — одним из огромных достижений европейского изобразительного искусства первой половины XX века, стремящегося к овладению новыми, никогда еще не использованными и поэтому не шаблонными средствами художественного языка. Говоря обо всем этом, я не ставлю перед собой задачу дать какой-либо, пусть даже самый скромный, очерк развития искусства фотомонтажа в XX веке, хотя оно занимает в истории современного польского искусства не одну интересную и значительную страницу. Если я вспоминаю об этом, то лишь потому, что мне хотелось более полно показать общий фон, на котором развивалось творчество Бермана.

Несмотря на несомненные, хотя и не столь существенные связи с сюрреализмом, которые можно обнаружить

в творчестве Бермана, надо прямо сказать, что у него был лишь один подлинный учитель, о чем Берман всегда напоминает,— это замечательный немецкий художник Джон Хартфилд, с которым он был связан тесной дружбой. Так же как и Хартфилд, Берман-фотомонтажист пошел по пути, который проще всего было бы определить как публицистическая художественная сатира. Именно этот путь указывал ему Хартфилд, чьи работы произвели на Бермана наиболее глубокое впечатление и позволили ему впоследствии достичь своего художественного самоопределения. Но Берман был не только верным учеником замечательного немецкого художника. Сопоставляя работы обоих, не трудно, помимо общих художественных целей и принципов, увидеть и существенное отличие, являющееся отражением их разных, не похожих друг на друга индивидуальностей. Если мы отбросим во многом общие для обоих художников рамки тематики, которые определяются прежде всего самой историей, то увидим, как индивидуально и по-своему неповторимо строит каждый из них здание своего творчества, начиная от самого замысла и кончая разработкой каждой детали, имеющей в фотомонтаже исключительное значение.

Творчество Мечислава Бермана, если рассматривать его с точки зрения видимых эффектов, течет как бы двумя руслами, сосуществующими и взаимопроникающими, но в то же время находящимися подчас в подлинном конфликте. Говоря об этом, я имею в виду прежде всего постоянное стремление художника к монументальности и простоте выражения, к максимальной экспрессии, достигаемой при помощи минимальных художественных средств. Я думаю здесь о таких его работах, как «Преемник», «Наша вера — оружие», или о таких его плакатах, как «Освенцим — никогда более!». В этих работах Мечислав Берман, по-моему, приближается к принципам Хартфилда, постоянно стремящегося к максимальной простоте изображения.

В то же время Берман использует и другой метод, который, на первый взгляд, противоречит сказанному выше. Но это лишь кажущееся противоречие, так как у Бермана-художника лишь идейное воздействие и экспрессия являются тем регулятором, которому подчинено всё. Этот второй метод базируется именно на развитии фабулы, на усложнении ее, на включении расширенного подтекста в ткань повествования. В этом есть то, что можно было бы определить широко известными словами Гете: «Lust zu fabulieren»*. Пользуясь этим методом, Берман как бы рассуждает по аналогии, строя сложный и безграничный мир, созданный из элементов и частиц объективной действительности, преломленной в десятках кривых зеркал. Особенно наглядно проявляется это в тех работах Бермана, где художник-«сочинитель» показывает своих «героев» в том окружении, в той среде, которая формирует этих «героев» по своему образу и подобию. Обычно — это страшный мещанский мир, мир выцветшей плюшевой мебели, клопиных обоев, отвратительных пивных кружек. Это мир, граничащий с кунсткамерой, весь реквизит которого отнюдь не извлечен из какого-то огромного «marché aux puces» он * еще существует в действительности, как бы являясь кулисами жизни.

Фотомонтаж, несомненно, является детищем двадцатого века. Мне кажется, что этот вид художественного творчества просто не мог бы уместиться в границах художественных возможностей мастеров прошлого. Здесь свое решающее слово сказала психологическая и интеллектуальная организация современного человека, остро воспринимающего всю удивительную сложность сопоставлений и метафор.

Берман относится к числу художников, сравнительно рано поняв как характер, так и требования своей эпохи. Из обрывков, фрагментов, имеющих самые реальные черты, из конкретных и подлинных частиц жизни Берман создает картины, смысл и значение которых видны каждому.

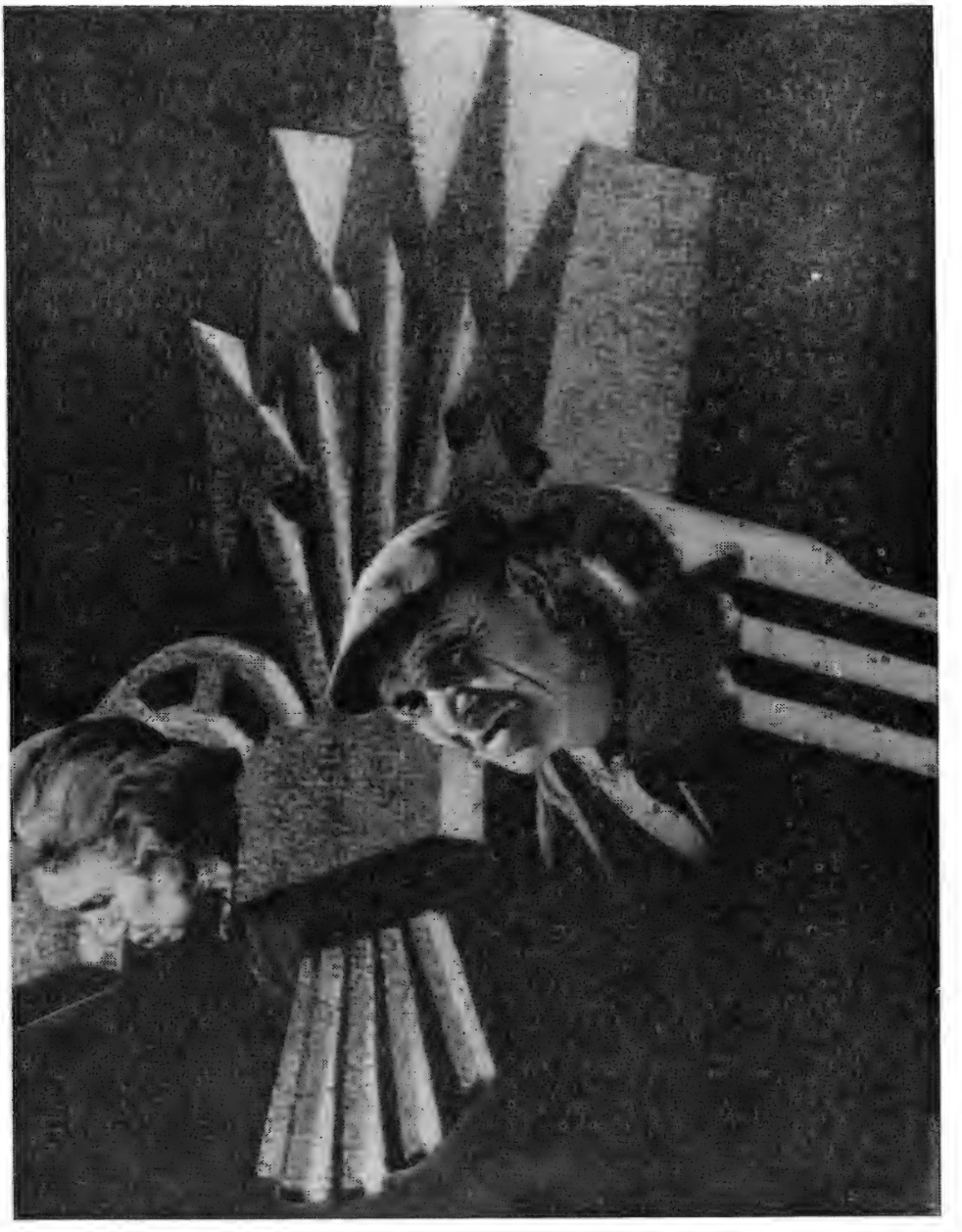
---

* Страсть к сочинительству (*нем.*).

---

* «Блошиный рынок», толкучка (*франц.*).

Освенцим — никогда более!



¡Arriba España! (II)

Искусство фотомонтажа, которому он посвящает себя с такой страстностью, никогда не было для него бегством в страну абстрактных понятий. Напротив, Берман как художник стремится к конкретности, требует от своей работы идейной насыщенности, требует, чтобы в зависимости от обстоятельств его искусство было или обличительным, или пропагандистским, или агитационным в самом благородном значении этих слов. Такое отношение, естественно, не могло не оказать влияния и на другие характерные черты его творчества. Я думаю здесь, прежде всего, о тех эстетических принципах, которых не может быть лишена никакая работа, имеющая художественный характер.

Эстетика Бермана, естественно, не могла не войти в конфликт с эстетическими концепциями XX века, которые строились на традициях европейского искусства, связанных с импрессионизмом, то есть на традициях, особенно распространенных в Польше. Эстетика Бермана является иной, вытекающей из иного опыта, а потому и мерки, с которыми к ней надо подходить, должны быть иными. Ее положения, ее целенаправленность повелевают ему использовать элементы, выходящие из общепринятых эстетических норм и, на первый взгляд, даже противоречащие им.

Понять многолетний и напряженный труд художника просто невозможно без того, чтобы не рассмотреть его в связи с биографией самого художника. Это особенно важно в том случае, когда художник не изолирует себя от окружающей жизни, а является ее активным участником, участником тех событий, которые находят прямое или косвенное отражение в его творчестве.

Мечислав Берман родился в 1903 году в Варшаве. Здесь он окончил городскую школу прикладного искусства, посвятив себя графике и прежде всего плакату. Мировоззрение и политические убеждения художника все время направляли его к поискам точек соприкоснове-

¡Arriba España! (I) («Испания ввысь!» — клич испанских фалангистов).

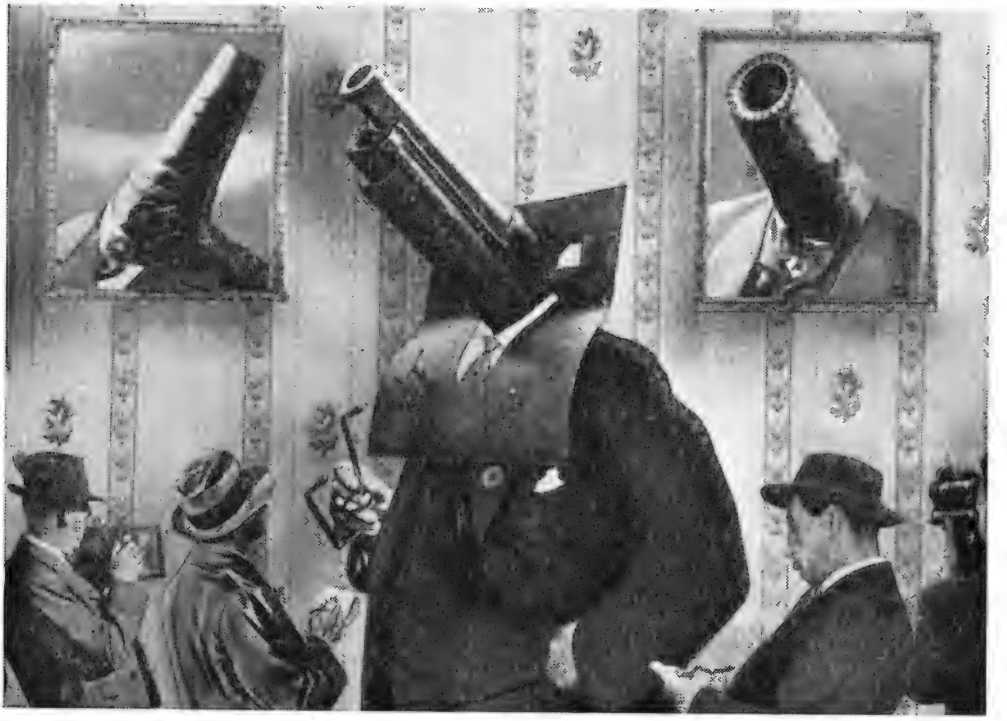
Портрет эсэсовца

«Шагнем назад, в детство, будем снова наивными»
(Гитлер)

Генеалогическое древо

ния искусства и политики. Вот почему он начинает пробовать свои силы как карикатурист на страницах прогрессивных левых газет, подчас нелегальных, ибо, как известно, революционное рабочее движение в Польше подвергалось в то время жестоким преследованиям. В те времена, которые были предвестником грозно нарастающей волны фашизма — по улицам соседней с Польшей Германии маршировали колонны гитлеровских молодчиков, готовящих «ночь длинных ножей», — Мечислав Берман, в предчувствии грозящей миру опасности, начинает настойчиво искать формы, позволяющие ему наиболее ярко выразить чувства протеста. Он ищет форм не обычных и не шаблонных, а способных именно благодаря своей оригинальности более глубоко воздействовать на зрителя.

Покоренный, с одной сто-



Крупп дает интервью

Преемник

роны, динамикой развития молодого советского искусства, от поэзии Маяковского до полных новых сил советского театра и кино (которое такими произведениями, как «Броненосец «Потемкин», оказало могучее влияние на миллионы зрителей), и, с другой стороны, вдохновенным творчеством передовых представителей немецкого искусства, Берман расширяет поиски и определяет формы своего творчества.

Выше уже говорилось о влиянии на творчество Бермана замечательного немецкого художника Хартфилда. Но мне хотелось бы сказать еще и о причинах, обусловивших его влияние. Мне думается, что прежде всего здесь сыграло роль сходство мировоззрения, художественного темперамента и психологических реакций. События, происходящие в мире, в частности в Европе, находили у обоих художников одинаковые оценки и понимание, хотя они выражали это в своем творчестве по-разному и разница эта была четкой и определенной.

Они оба горели публицистическим огнем, и это позволило им найти друг друга в окружавшем их мраке и, преодолев тысячи барьеров, сблизиться и стать друзьями.

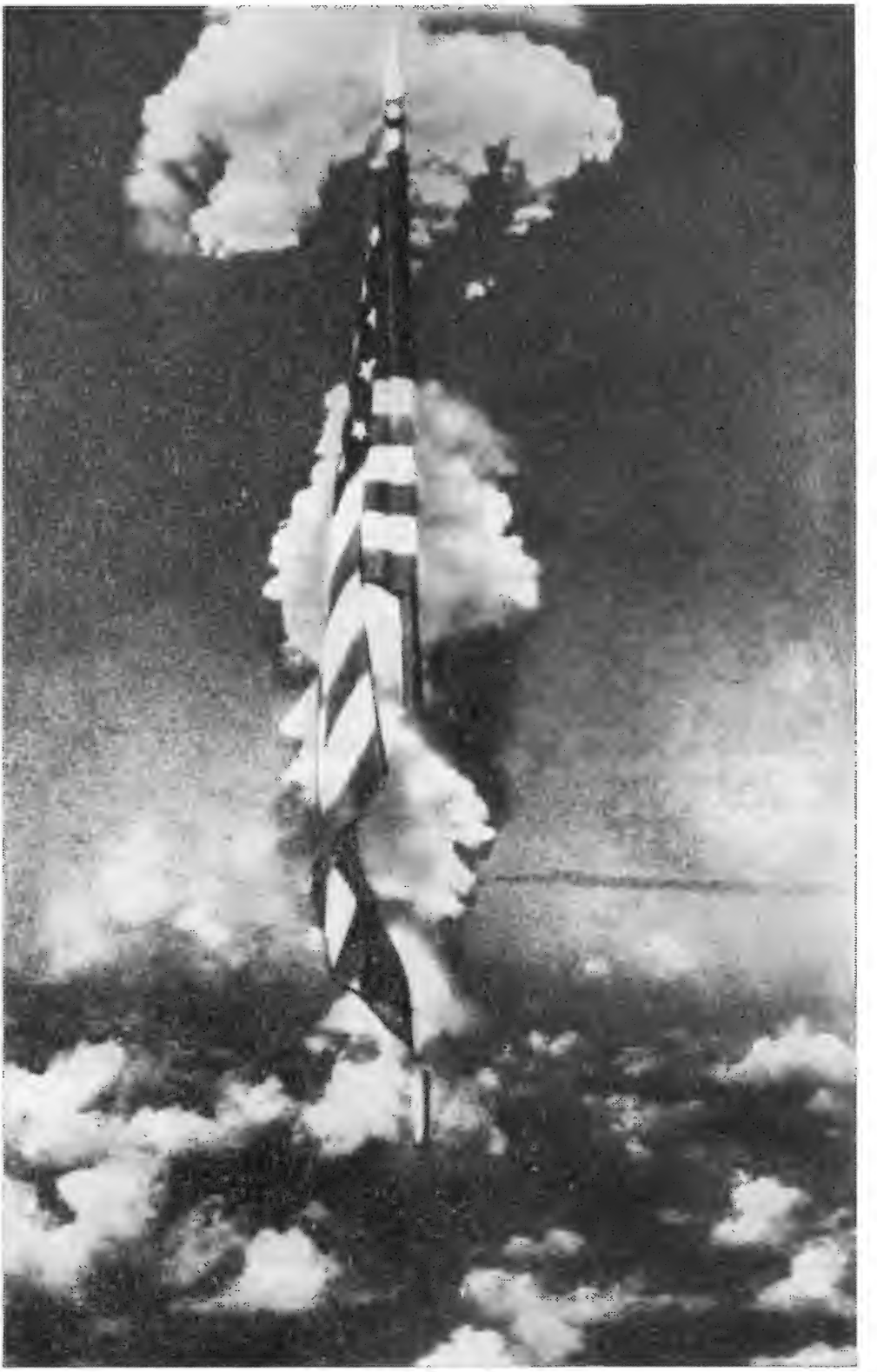
У обоих было живое и сильное чувство гротеска, острый взгляд карикатуристов, сатирический нерв. Их обоих, хотя и различными путями, жизнь и убеждения вели к тому, чтобы связать свое творчество самым

«Вооруженные наукой, мы овладеем всем миром!» — провозглашают с кафедры Колумбийского университета.

тесным и естественным образом с прогрессивными течениями культуры, видящими свою высшую цель в служении пролетариату, духу революции, социализму. И в этом заключается глубокое родство обоих художников, ярких, талантливых и самобытных.

Фашизм и война, которые находят свое отражение как в старых, так и в новых работах Мечислава Бермана, являются грозным предостережением. Это предостережение сильное и впечатляющее, ибо оно выражено при помощи подлинного большого искусства, вытекающего из того русла, которое породило такие творения, как «Капризы» и «Ужасы войны» Гойи, «Улица Транснонен» Домье, из того могучего русла, которому чужды всякое равнодушие и холод чувств.

г. ВАРШАВА.



Апофеоз

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

МЯТЕЖНЫЙ ГОЛОС

Танец при свете костра. Стихи африканских поэтов в переводах Михаила Курганцева. Предисловие Абд аль-Ваххаба аль-Баяти. Москва, Издательство восточной литературы, 1962. 79 стр.

Не следует, очевидно, начинать разговор о сборнике стихов с редакционных примечаний к ним, и все-таки я начну с тех двух страниц, которые завершают эту небольшую книгу. Здесь уже нет стихов.

Сухие и короткие строки — три, четыре, пять — о каждом из поэтов-африканцев, чьи стихи включены в сборник. Об одних сказано лишь, что они участники национально-освободительного движения, но даже год их рождения неизвестен, о других — лишь что они молоды, о третьих — кроме имени, пока никто ничего не знает. Есть среди них камерунец, вынужденный скрыть свое имя под псевдонимом Касе. Многим из поэтов — меньше тридцати. Многие — поэты Алжира, Сенегала, Камеруна и Конго — пишут на французском, ганский поэт Майкл Дей-Ананг — на английском. Надо ли объяснять, почему они не пишут на родном своем языке? Надо ли объяснять, по чьей вине до недавнего времени большинство народов Африки не имело письменности? По чьей вине до сих пор в значительной части африканских стран свыше 80 процентов детей не ходят в школу?

Молчаливая Африка!
Жизнь,
принесенная в жертву
чужеземным богам,
земля,
орошенная
реками крови и пота,
изможденная, горькая
Африка,
кончилось время твое!
. . . . . .
Слышу голос твой,
Африка,
юный, ликующий голос
В нем — призывы вождей,
и рокот народных собраний,
и биение наших сердец,
переполненных яростной
кровью,
и сумасшедшая дробь
неукротимых тамтамов,
говорящих:
— Свобода!
— Свобода!
— Свобода!
— Свобода!

Стихотворение суданца Мухаммеда аль-Фейтури «Голос Африки» — и поэтическая биография бурлящего континента, и биография его поэтов. Здесь досказано то, чего мы не узнали из двух последних страниц сборника. Сбрасывая оковы рабства, Африка рождает певцов и героев. Поэты становятся бойцами. Бойцы становятся поэтами. И человечество знакомится со все новыми и новыми именами. Джеймс Кируа Вамату из Кении, Жан-Мари Китиква из Конго, Нагиб Сурур из ОАР, Ахмад Омар аль-Азхари из Сомали.

Еще ни в одной книге африканских стихов, выходившей на русском языке (а книги эти пока можно перечесть по пальцам), не было представлено столько поэтов Алжира, как в этой, и притом отличных поэтов, очень разных по манере и образному строю их стихов. Напряженное, ритмически усложненное стихотворение М. Хаддада «Я — француз?», простое и четкое, как походная песня бойцов Армии национального освобождения,

«Алжир говорит: «Нет» А. аль-Касима Саадаллы, «Ночи Алжира» Б. Хадж Али, насыщенное неожиданными лаконичными образами.

Не случайно в сборнике центральное место занимает арабский мир — Алжир, Египет, Судан, Тунис, Ливия. В этом, должно быть, проявились не только личные пристрастия переводчика Михаила Курганцева, в течение ряда лет успешно переводящего с арабского, но и то, что поэзия арабов богата и разнообразна.

О поэзии на других африканских языках мы пока еще знаем неизмеримо меньше. В книге представлены стихи, написанные на коренных языках Восточной Африки — суахили и кикуйю.

Словно реку дожди,
меня наполняют мысли
о языке родном —
зеркале чувства и мысли.
Где твой исток и начало,
где прозвучал ты впервые,
о мой родной язык,
о суахили?!

Европейские «поводыри» любят называть африканца неразумным ребенком, которого надо еще научить не только ходить, но даже говорить. И если напевные строки Саиди Нгузо из Танганьики — это гимн суахили, гимн языку, который прекрасен и гибок, то стихи суданца Мухи ад-Дин Фариса звучат как прямой вызов самозванным опекунам. Он так и назвал свое стихотворение: «Африка! Ты не ребенок!»

Но ты сказала просто:
— Слышишь, мир!
Давно
я стала взрослой,
слышишь, мир!
Я не ребенок!
Голос мой мятежный
и громовую поступь
слышишь, мир?

Мир слышит мятежный голос современной африканской поэзии.

А. ПОЛИЩУК

РУССКИЙ РАБЛЕ

Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод с французского Н. Любимова. Москва, Гослитиздат, 1961. 726 стр.

Гослитиздат выпустил новый перевод одного из величайших памятников французской литературы «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле.

Перевел это гигантское, ненасытно-веселое творение наш современник Н. М. Любимов, уже давно известный советскому читателю своими замечательными воссозданиями на русском языке «Дон Кихота» Сервантеса, «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро» Бомарше, «Мещанина во дворянстве» Мольера, «Милого друга» Мопассана, «Госпожи Бовари» Флобера, «Тартарена из Тараскона» Додэ, «Коварства и любви» Шиллера, театра Метерлинка и, наконец, совсем недавно вышедшего «Уленшпигеля» Шарля де Костера. Каждый из этих переводов был значительным литературным событием, ценнейшим вкладом в советскую культуру.

Уже один только перечень трудов Н. М. Любимова (далеко не полный) свидетельствует об огромном диапазоне его дарования. Рабле и Флобер — трудно назвать двух писателей, менее схожих друг с другом! Но Н. М. Любимов с одинаковым мастерством отлил каждого из них в драгоценном материале русской речи, ничем не ущербив их неповторимой своеобычности. Вдохновенный труд, тончайший слух художника-стилиста сделали возможным, казалось бы, невозможное.

Четыреста лет живет и радует долгую чреду людских поколений веселая и умная книга мэтра Рабле. Она переводилась на языки почти всех народов мира, в том числе и на русский, и вот опять предстала в новом обличии перед свежими поколениями читателей — смею думать, уже в окончательном, не подлежащем пересмотру, **классическом** русском своем воплощении — подобно «Одиссее» Жуковского или «Песне о Гайавате» Бунина.

Бесспорно, многое в «Гаргантюа и Пантагрюэле» уже затемнено беспощадным временем, требует прояснения учеными комментаторами, а это всегда расхолаживает читателя. Но жив и попрежнему бушует и сверкает **язык** этой бессмертной книги, и, как смерчи над водными просторами, вздымаются, вырастают из вольной языковой стихии могучие образы героев этого жизнерадостного, жизнеприемлющего великого француза — его хохочущие, грохочущие сквернословы-великаны, задыхающиеся от веселья их собственной плоти и от насыщающих ее питья и дымящейся снеди; а рядом с ними — образы искаженной человечности: монахи, схоласты, лекари без знаний и дипломов, жестокосердные завоеватели и тираны.

Без магически завлекающего языка, неистового, ослепительно яркого, щедрого до излишества, все называющего своими именами,— нет «Гаргантюа», нет Рабле. Только он, этот могучий его язык, воспринимается вполне **непосредственно** и в наши дни, только он и побуждает читателя взять на себя нелегкий труд доискаться до скрытых смысловых деталей великого творения.

Его-то, этот гениальный язык, и надо было заново воссоздать русскому переводчику. Ибо его предшественники, В. Пяст или А. Энгельгардт, здесь ничему не могли его научить. Их бледные оттиски с перенасыщенного светом и цветом оригинала невольно пробуждали в читателе нигилистический вопрос: а так ли уж велик прославленный Рабле? Не вовлекают ли меня ученые колпаки в обидное положение одураченных горожан из сказки о голом

короле? Или по-французски все это звучит по-другому?

Но на этот раз чудо совершилось: Рабле заговорил по-русски — весело, изобретательно, словно его галльская мысль была изначально сопряжена с русской речью, смаковала не французские, а исконно русские языковые богатства, простодушно играя на случайных созвучиях, нанизывая, как самоцветы, один к другому, бесконечный ряд однозначных слов (синонимов), выбрасывая на прилавок сотни друг другу не уступающих по колеру и плотности тканей, равно пригодных обрядить одно и то же понятие, возжелавшее покрасоваться в бесчисленном множестве нарядов, чтобы потрафить всем вкусам и причудам разборчивой и неразборчивой публики.

Где бы мы ни открыли перевод Н. М. Любимова, мы везде встретимся с его отчетливым, зрелым мастерством. Так, 9-я глава третьей книги сплошь построена на подхватывании Пантагрюэлем окончаний реплик Панурга (чего, видимо, просто не заметили прежние переводчики Рабле); но Любимов не поступился этим литературным приемом, и если Панург обрывает свою речь словами «Нет, уж я...», Пантагрюэль тут же в рифму ему отвечает: «В мужья записывайтесь, с богом, в мужья!» и т. д. Или — в предисловии к той же третьей книге, обращаясь к «достославным пьяницам» и «досточтимым подагрикам»: «Притом вы уже не молоды, а это как раз и есть необходимое условие для того, чтобы под хмельком не зря болтать языком, а на сверхфизические философствовать темы, служить Бахусу, все до крошки подъедать и рассуждать о живительности, цвете, букете, прельстительности, восхитительности, целебных, волшебных и великолепных свойствах благословенного и вожделенного хмельного».

Только диву даешься, из каких потайных закромов русского словаря высыпает Н. М. Любимов те обидные эпитеты, тоже зарифмованные, которые обрушивает на голову Панурга брат Жан, утверждая свой тезис, «что рогоношение не опасно» (такими эпитетами заполнены пятьдесят восемь строк!), прежде чем закончить свое поучение такой выразительной тирадой:

«—...Панург, друг мой, коль скоро тебе это предуказано, неужто ты почтешь за нужное обратить вспять планеты, перепутать все небесные сферы, искать ошибку в движущих силах рока, затупить веретена, оболгать катушки, оговорить мотовила, охаять нитки, распустить клубки Парок?.. Послушай, блудодеец, что бы ты предпочел: быть ревнивым без причины или же быть рогатым, сам того не подозревая?

— Я бы не хотел ни того, ни другого,— отвечал Панург.— Но уж если я хоть что-нибудь замечу, то наведу порядок, были бы только палки на свете.

По чести, брат Жан, лучше бы мне не жениться. Сейчас мы ближе к колоколам, так вот, послушай, что они мне говорят:

В брак не вступай, в брак не вступай,
ай, ай, ай, ай.
Если же вступишь, — нет, не вступай,
ай, ай, ай, ай,—
уподобишься рогатому козлу:
**будет то ко злу».

Чем же достигнуто это словесное волшебство? Как всегда и все в большом искусстве—прирожденным талантом и самоотверженным трудом, без которого не овладеть всеми регистрами русской речи; а на то, чтоб воссоздать по-русски Рабле, надо располагать всем, чем богат и славен наш язык. Разгул и размах русской речи не утихают и не скудеют ни на одной из страниц любимовского перевода, а в книге, как указано в выходных данных, 45 листов с гаком!

И нигде, никогда этот разгул и размах не переходят в разухабистую отсебятину. Н. М. Любимов — один из самых строгих и суровых мастеров художественного перевода. Верность оригиналу для него закон и нравственная норма художества. Пуская в оборот все

богатства русского языка, он стремится с возможной полнотой передать не только содержание, но и национально-французскую форму Рабле (как ранее сохранял национально-испанскую форму «Дон Кихота» или национально-немецкую Шиллера). И если форма потребует отвлечься от столь дорогого таланту Любимова народного, даже простонародного речевого строя, он не откажется пустить в ход ученнейшие латинизмы, которые без пояснения комментатора не каждому даже понятны. Я здесь прежде всего имею в виду речь магистра Ианотуса де Брагмардо, в которой он обращается к Гаргантюа с просьбой вернуть похищенные им колокола: «Как бы это было хорошо, если бы вы вернули нам колокола, ибо мы испытываем в них крайнюю необходимость! Кхе, кхе, кха! Много лет назад мы не отдали их за большие деньги кагорским лондонцам, равно как и брийским бордосцам, коих пленили субстанциональные достоинства их элементарной комплекции, укореневающиеся в земнородности их квиддитативной натуры и порождающие способность разгонять лунный гало и предохранять от стихийных бедствий наши виноградники, то есть, собственно говоря, не наши, но окрестные, а ведь если мы лишимся крепких напитков, то мы утратим и все наше имение, и все наше разумение».

Как резко разнится эта схоластическая речь от присущего героям Рабле народного, кряжистого языка! Но ведь и русская литература не раз пародировала ученое «многолатинословие» (если воспользоваться выражением переводчика). Вспомним в этой связи хотя бы профессорские разглагольствования ученого спирита в «Плодах просвещения» Толстого.

Все, что вмещает в себя раблезианский стиль: язык народа и язык схоластики, шутовство и грузную патетику, простодушную веселость и мудрое поучение, иногда высказываемое только намеком, чтобы не навлечь на себя гнев инквизиции,— донес до нас, ничем не поступившись, автор «русского Рабле» Н. Любимов. Благодаря его творческому подвигу (иначе не скажешь!) мы теперь еще с бо́льшим правом почитаем своим великого сына французского народа, художника и мыслителя-гуманиста, которому принадлежит такое памятное, мудрое в своей человечности и глубоко демократическое изречение: «Величайшее безумие мира считать, что звезды существуют лишь для королей, пап и великих господ, а не для бедных и для страждущих». Рабле был одним из ранних борцов с «величайшим безумием мира», с социальным неравенством. Новый русский перевод «Гаргантюа и Пантагрюэля» — достойное выражение благодарности современного прогрессивного человечества старому титану европейского гуманизма.

Книга издана превосходно, украшена знаменитыми иллюстрациями Гюстава Доре, снабжена содержательной, хорошо написанной вступительной статьей С. Артамонова и отлично продуманными примечаниями (С. Артамонова и С. Маркиша). Стихи в переложении Ю. Корнеева читаются легко, удачно вторят великолепной прозе перевода.

Н. ВИЛЬМОНТ

САТИРА ЛУИСА КАРЛОСА ЛОПЕСА

Луис Карлос Лопес. Грибы на кочке. Сатирические стихи. Перевод с испанского, составление и предисловие О. Савича. Москва, Гослитиздат, 1961. 222 стр.

Луис Карлос Лопес был поэтом сложной и своеобразной судьбы. Стихи его популярны не только у него на родине в Колумбии, но и за ее пределами. Однако скудно представленные в ряде зарубежных антологий, они не дают полной картины творчества Лопеса Судить о нем как о поэте можно по трем тонким книжкам, вернее сказать, тетрадкам, заключающим в себе не более 200 его стихотворений. Но эти тетрадки давно стали библиографической редкостью, и стихи Лопеса больше известны в английском, немецком или шведском переводах, чем в оригинале. Надо помнить при этом, что Лопес — почти наш современник: он родился между 1881 и 1885 годами (точная дата его рождения так и не установлена), а умер в 1950 году.

Теперь благодаря труду Овадия Савича — исследователя и поэта — творчество колумбийского поэта-сатирика стало доступно советским читателям.

Лопес превосходно владел инструментом своего стиха, хорошо отточенного, свободного от словесных излишеств. Его мысль ясна, и он находил полноценные поэтические средства для ее выражения. В поисках изобразительных средств Лопес проявлял смелость и, я сказал бы, изобретательность. Как многие поэты стран Латинской Америки, он широко пользовался формой сонета (в рецензируемой книге свыше 60 сонетов), но Лопес вносил в форму сонета много своего, зачастую даже ломая его каноническую форму.

В книге переводов сатирических стихов Лопеса на русский язык есть два сонета («Цирюльник» и «Алькальд»), объединенных общим названием «Грибы на кочке». Это наименование обоснованно дано всей книге переводов стихов Лопеса. они действительно сосредоточивают в себе основные черты сатиры Лопеса.

Цирюльник, веселый, «словно рюмка искристого вина», стрижет, бреет, рассуждает о Вольтере, судит петушиный бой, в курсе всех дежурных сплетен, в дружбе с «почтенными» лицами, вроде алькальда и ветеринара,— и подметает «очески жизни». Он занят с утра до ночи, но жизнь проходит мимо него.

Алькальд — гротескный и в то же время внутренне глубоко правдивый образ. В грязной панаме, в трехцветном, кое-как надетом шарфе, лицом напоминающий бульдога, под башмаком у своей смазливой жены, большой поклонницы романов Поля де Кока,— таков он, мэр, судья, вершитель судеб целой округи. Закономерно развивая образ такого судьи и мэра, Лопес превращает его в «Стихах к луне» в грабителя. Небесное светило не озаряет влюбленные пары, а «молча хохочет» над тем, что происходит на земле. И воспевает луну банда засевших в кабачке «неврастенических бардов с вшивой копной волос»... Картина, как видит читатель, беспощадная.

Предмет сатиры Лопеса многообразен. Немало есть еще среди латиноамерикан-

ской буржуазии людей, гордящихся не традициями великой культуры, а пресловутой «испанской голубой кровью». Для Лопеса «испанская порода» — это шествие сутан под колокольный звон, это самодовольный дурак-политик, это офицер, гуляющий об руку с тореадором. Такой «породой» Лопес не гордится. Он издевается над ней («Моя испанская порода»).

Мы могли бы умножить примеры. Такие стихотворения, как «В обществе», «Тост», «Приветствие», «Погребение», «Сатане» и другие, по-разному разоблачают современное Лопесу буржуазное общество. И порою в стихах его возникает прямой протест:

Не хочу, как на горке стекло,
лишь пылиться и числиться,
А потом умереть...

Даже когда Лопес пишет о любимой и для любимой («Для тебя»), когда он задушевно говорит о своем чувстве («Стихи для тебя»), он воссоздает картину действительности в форме гротеска: тень нищего кривляется, как шимпанзе, мальчишка бьет ногой кота, любимая проходит мимо, не бросив поэту взгляда.

И так загрустил я, как
будто в преддверии ада,
и мне захотелось повеситься
на фонаре.

Эта печаль, вернее взрыв отчаяния, вызваны реальной безотрадностью жизни. Грусть, бесконечная и безоглядная, пронизывает сонет «Шарманщику». О. Савич с большим искусством передал настроение сонета — скорбные, надтреснутые звуки старой шарманки, «как жалоба души, как горькая приманка». Сонет построен весьма своеобразно: одни и те же рифмы проходят не только через четверостишия, но и через финальные трехстишия.

Но Лопес не поддавался таким настроениям: два выразительных сонета под общим заглавием «Старость», вопреки своему названию, звучат жизнеутверждающе:

Еще мой приговор не входит в силу
И не сколочен мой сосновый ящик
Пусть подождут копать мою могилу!

восклицает поэт, напоминая «мудрецам» и «глупцам», что зубы его еще белы.

Мы знаем, мир Латинской Америки находится в бурном движении. Разгорается борьба ее трудовых людей против своих и иноземных эксплуататоров. И в этой борьбе стихи Луиса Карлоса Лопеса находятся на вооружении у народов Латинской Америки.

ЭЗРА ЛЕВОНТИН

БОРЮЩИЙСЯ СТАМБУЛ

Кемаль Тахир. Люди плененного города. Перевод с турецкого И. Мустафаева и Б. Ященко. Предисловие А. Бабаева. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 326 стр.

Кемаль Тахир вошел в турецкую поэзию перед началом второй мировой войны. То было время формирования так называемого «нового» направления — молодой ветви, отпочковавшейся от могучего дерева революционной поэзии Назыма Хикмета. Отправив на кладбище гладкие, как могильные плиты, стихотворные размеры аруза и хэдже, поэты Кемаль Тахир, Орхан Вели, Мелих Джевдет, Октай Рифат вместе с обветшалой формой отказываются в своих стихах и от того, что составляло основное содержание традиционной поэзии,— высокопарных клятв в возвышенных чувствах, туманных жалоб на несовершенство мира, напыщенных деклараций на заданные темы. Они делают достоянием поэзии мысли и чувства, каждодневные факты быта стамбульского ремесленника, рабочего, мелкого чиновника, анатолийского крестьянина.

Стихи Кемаля Тахира были созвучны произведениям поэтов «нового» направления. Каждый из них обладал незаурядным дарованием. Но, может быть, потому, что Кемаль Тахир несколько старше остальных поэтов, он раньше них осознал цели борьбы, и стихи его сразу же завоевали признание прогрессивной критики. А стихотворение «Последняя сводка» (1941) своим открытым антифашистским пафосом обратило на Кемаля Тахира внимание и за пределами страны.

Но «Последняя сводка», кажется, была последней поэтической ласточкой, выпущенной в свет Кемалем Тахиром. Имя его исчезает со страниц газет и журналов. Прошло более пятнадцати лет, прежде чем оно появилось вновь. Почти одновременно на книжные прилавки легло около двадцати его книг.

На сей раз это были романы. В огромном цикле — «Шейх Эсеф-эфенди», «Люди плененного города», «Узник плененного города», «Люди освобожденного города», «Тихий квартал», «Волчий закон» и другие — К. Тахир рисует картину политической и общественной жизни страны от младотурецкой революции 1908 года до начала второй мировой войны. Пять книг— «Деревенский горбун», «Безмолвная долина», «Густой туман», «Пастбище семи чинар» «Дожди размыли дороги» — рассказывают об анатолийской деревне и жизни провинции между двумя войнами. Близок к завершению и цикл романов о современной Турции.

Романы Кемаля Тахира поставили его имя рядом с именами лучших прозаиков Турции.

Большинство этих книг было написано в тюрьме, куда Кемаль Тахир был заключен за свои политические взгляды.

«Роль тюрьмы» в истории современной турецкой литературы в свое время, несомненно, привлечет внимание исследователей. Ведь именно здесь были написаны произведения, составляющие гордость национальной культуры: многотомная эпопея Назыма Хикмета «Человеческая панорама» и его «Легенда о любви», переведенные на многие языки новеллы Сабахаттина Али, рассказы выдающегося турецкого прозаика Орхана Кемаля, завоевавшие международное признание сатиры Азиза Несина. Предвосхищая ученые споры будущих историков о причинах столь парадоксального явления, следовало бы отметить, что вряд ли в Турции середины двадцатого века можно было где-нибудь встретить такое собрание выдающихся, благородных умов, как в тюрьме, где долгие годы жизни проводили лучшие художники, писатели, общественные деятели страны...

Действие романа «Люди плененного города» происходит после первой мировой войны в Стамбуле, оккупированном войсками Антанты. В Анатолии зарождается национально-освободительное движение. По всей стране возникают партизанские отряды крестьян, они сливаются в армии, сражающиеся против интервентов.

Герой романа, разорившийся аристократ Кямильбей, получил образование в Англии, изучал живопись в Италии, годы войны провел в Испании. Он изъездил весь свет, но в своей родной стране никогда не выезжал за пределы Стамбула. Психологически достоверно изображает Кемаль Тахир, как даже такой человек, захваченный общенациональным подъемом, приходит к активной борьбе с оккупантами, в ней обретает оправдание и смысл всей своей жизни. За участие в деятельности подпольной патриотической организации, которая из-под носа у оккупантов вывозит людей, оружие, документы, переправляет людей в сражающуюся Анатолию, Кямиль-бей попадает в тюрьму. Здесь, в тюрьме, завершается его политическое образование.

Отвечая на анкету одного из стамбульских журналов, Кемаль Тахир говорил: «Писатели должны всерьез изучать условия жизни наших крестьян и рабочих... Чем успешней мы будем это делать, тем более национальный характер приобретут наши книги, тем скорей они выйдут на международную арену».

В «Людях плененного города» автор рисует портреты стамбульских наборщиков, лодочников, мастеровых — людей, готовых отдать все, что у них есть, и самую свою жизнь ради победы над врагом. С особой теплотой изображает он женщин Стамбула — и образованных, вроде Недимеханым, соратницы героя, и неграмотных. Национально-освободительная война вывела их из гаремов, приобщила впервые в истории страны к общественной жизни.

О войне за независимость в Турции написано немало произведений. (И это не случайно, потому что сегодня борьба за национальное освобождение — на этот раз от американского засилья — основной вопрос политической жизни страны). Но их авторы обычно изображали ее как борьбу единой турецкой нации против всего остального мира. К. Тахир, верный исторической правде, показывает, что борьба за независимость действительно объединила почти все слои общества. В то же время, вопреки официальной пропаганде, он видит классовую разнородность движения.

Роман обрывается в тот момент, когда освободительная война разгорается с особенной силой. Ее дальнейшие события составляют содержание следующих книг — «Узник плененного города», «Люди освобожденного города». Победа еще впереди. И до поворота, кажется, всем по дороге. Но классовые противоречия в лагере националистов обостряются, их отзвуки докатываются и до Стамбула. В первом романе об этом говорится глухо, намеками, которые мало понятны тому, кто не знаком с перипетиями борьбы за независимость Турции. Поэтому вряд ли целесообразно было выпускать лишь первую книгу о войне за независимость, тем более что последующие вышли в Турции почти одновременно с нею. И уж, во всяком случае, следовало бы хоть в предисловии рассказать то, о чем читателю остается лишь догадываться. Но, к сожалению, в предпосланной книге статье национально-освободительное движение в Турции рассматривается как нечто единое, монолитное. Даже о разгроме националистами партизанской армии крестьян (М. В. Фрунзе, находившийся тогда в Анатолии, назвал это событие «совершенно ясной классовой схваткой») говорится лишь в связи с интригами интервентов, подкупивших одного из партизанских командиров.

Автор предисловия верно замечает, что К. Тахир пишет простым языком. К. Тахир действительно мастер жесткой, точно высеченной по камню, фразы, но, к сожалению, переводчики по большей части глухи к авторскому стилю. Мало того,

из-под их пера выходят такие описания: «Ботинки на высоких каблуках с пуговицами на боку», «Нермин со своим обиженным личиком как будто стала еще красивей», «Разве не глупо забывать положительную сторону недавней истории?» Переводчики, не задумываясь, берут из словаря первое попавшееся значение слова, и вот по страницам романа начинают гулять различные бродяги: «бродяги мужского и женского пола, вертящиеся вокруг газеты», «бродяги» — товарищи по лицею, «бродяги из школы, где учился наш наследный принц».

Все это, без сомнения, омрачает радость первой встречи с интересным турецким писателем. Знакомство необходимо продолжить.

Р. ФИШ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

СУДЬБА МАЛЕНЬКОЙ ВАНДЫ

Wanda Sękulska. Niebieski bucik. Warszawa, Czytelnik, 1961.

Рассказы, вошедшие в сборник молодой польской писательницы Ванды Сенкульской «Голубой башмачок», связаны друг с другом не только общим героем или, точнее, героиней. Их объединяет общая тема — все они повествуют о смертельной схватке людей с фашистским зверем.

...Жестокий водоворот войны подхватил и помчал куда-то маленькую девочку. Он разлучил ее с отцом, бесследно исчезнувшим в одном из бесчисленных гитлеровских лагерей смерти, отнял у нее мать, тоже не избежавшую фашистского застенка. Страшная действительность оккупированной Польши неумолимо врывается в душу ребенка. На глазах у девочки по улицам разъезжают телеги, груженные трупами взрослых и детей (рассказ «Голубой башмачок»), а молодчики из ведомства Гиммлера расстреливают людей прямо под окнами домов («Школа»); в нескольких шагах от квартиры, где живет девочка, партизаны вершат суд над предателем («Изгнание»). Она прячется в яме от фашистских бомб («Убежище»), бредет с обезумевшими от страданий и ужаса беженцами по страшным военным дорогам («Дорога»), переправляется с группой разведчиков через Вислу под яростным огнем врага («Висла») ..

События военных лет Сенкульская рисует сквозь призму детского сознания. Увиденные глазами крохотной девочки, события эти встают перед нами удивительно ярко и рельефно: полная безыскусственность повествования оказывается здесь надежным ключом к художественной правде.

Маленькую героиню «Голубого башмачка» зовут Вандой — так же, как автора книги. Вероятно, это не случайное совпадение: большинство рассказов производят впечатление автобиографических. Это придает особый интерес всему тому, о чем повествует Сенкульская.

Проведя свою героиню по многочисленным кругам гитлеровского ада, писательница выводит ее к свету встающего дня: Ванда попадает в освобожденную советскими войсками часть Польши; сирота становится приемышем русских солдат. Сенкульская с глубоким уважением воссоздает образ воина Советской страны — душевно чистого, благородного, бесстрашного, сумевшего среди невзгод и опасностей войны сберечь нежность, отцовскую ласку, ими он щедро одаривает девочку-сироту, волей случая вошедшую в его солдатскую судьбу.

Правда, иногда, стремясь избежать штампа «абсолютно положительного героя», писательница нет-нет да грешит другим, немало послужившим зарубежной литературе штампом «загадочной русской души». Трудно отделаться от мысли, что не столько жизненными наблю-

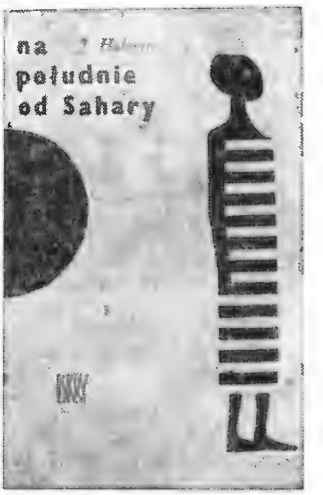
дениями, сколько довольно далекими от наших дней литературными реминисценциями навеяны образы Никиты Козова, Жукова, капитана Жаркова. Посвященные им рассказы своей подчеркнутой «литературностью» выпадают из общего тона сборника.

Конечно, не эти недостатки — их можно объяснить писательской молодостью Сенкульской (рецензируемая книга—ее литературный дебют),— а художественная правда и психологическая достоверность лучших страниц книги определяют лицо сборника. В польскую литературу пришел автор интересный, своеобразный, обещающий.

Г. БОРИН

ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ

Jan Halpern. Na południe od Sahary. Warszawa, Iskry. 1961.
Longin Zaręba. Wedrówki po Gwinei. Warszawa, KIW, 1961.



Все, кто видел прекрасный фильм об Африке, снятый чехословацкими путешественниками Зикмундом и Ганзелкой, помнят, конечно, его финальные кадры: огнедышащий вулкан, выбрасывающий раскаленную магму и огромные камни,— символ пробудившейся, клокочущей Африки.

Свидетелями огромных преобразований и перемен в странах Западной Африки стали недавно польские журналисты Ян Хальперн и Лонгин Заремба, рассказавшие о своих впечатлениях, первый — в книге «К югу от Сахары», второй — в очерках «Поездки по Гвинее».

Пять африканских государств, которые посетил Ян Хальперн — Гана, Нигерия, Того, Либерия и Гвинея,— сравнительно недавно получили независимость. Первое, что бросается в глаза, отмечает Хальперн,— это очевидная необратимость процесса освобождения от колониальной зависимости, несмотря на все ухищрения и уловки заинтересованных стран Запада. Когда под давлением народных масс Франция вынуждена была согласиться на проведение в Гвинее плебисцита, в ходе которого народ этой страны 28 сентября 1958 года единодушно высказался за независимость, злоба колонизаторов не знала предела. Франция блокировала все счета Гвинеи во французских банках, отозвала своих экспертов, специалистов, учителей. Были аннулированы средства на образование и здравоохранение. Оба польских журналиста видели в Гвинее взорванные колонизаторами электростанции и больницы, школы и клубы. Оставляя насиженные места, французы вели себя как варвары...

Такова «кухня» якобы добровольно предоставляемой африканским странам независимости. «Мы рассчитываем прежде всего на собственные силы,— сказал Лонгину Заремба один из его африканских друзей,— и надеемся, что не будем одиноки. Мы верим в поддержку народов, выступающих за мир и свободу».

Африканский друг не ошибся. Помощь пришла прежде всего из стран социалистического лагеря, симпатизирующих справедливой борьбе африканских народов. Социалистические страны направили им строительные материалы, товары, машины, послали высококвалифицированных специалистов. «Значение социалистических стран в глазах африканцев постоянно возрастает,— пишет Ян Хальперн.— Экономическую, техническую и научную помощь Советского Союза и других стран социалистического лагеря в Африке встречают с растущим удовлетворением. Изменения в расстановке общественных и политических сил, возникшие и развивающиеся в результате Октябрьской революции, представляют собой мощный фактор, который еще более ускоряет развитие событий на черном континенте».

Страны Африки располагают огромными природными богатствами. Климатические условия очень благоприятны для создания разностороннего сельского хозяйства. Однако как промышленность, так и сельское хозяйство получили при колонизаторах однобокое развитие. Сельское хозяйство, например, производило лишь то, в чем прежде всего нуждались метрополии: кофе, бананы, ананасы. А коренное население было лишено основных продуктов питания. Как пишет

Лонгин Заремба, после провозглашения независимости выяснилось, что в Гвинее не хватало для питания населения риса, молока, картофеля, хлеба, рыбных консервов. Одним из первых декретов правительство снизило цены на рис.

Перед недавно возникшими африканскими государствами стоит много больших и важных задач: создание всесторонне развитого сельского хозяйства (в ряде мест оно уже ведется кооперативными методами), строительство необходимых промышленных предприятий, налаживание народного образования, здравоохранения, повышение культурного уровня. Основная цель этих мер — существенно улучшить жизнь народа, ликвидировать трагические последствия господства белых колонизаторов.

В книгах Яна Хальперна и Лонгина Зарембы содержится много интересных зарисовок, описаний обычаев и обрядов, быта африканцев. Но самое главное — в репортажах польских журналистов рассказывается о гражданах молодых африканских государств, о простых людях и государственных деятелях. В широкой улыбке расплываются лица жителей этих государств, когда они узнают, что перед ними граждане народной социалистической Польши, которым не нужны ни земля Африки, ни богатства ее недр. «Отправляйся в путь счастливым и спокойным,— сказал на прощание Лонгину Зарембе Фатайа, вождь рода Сангуиана,— и помни, что наши дома всегда открыты для друзей, а над нашим очагом для них варится мясо».

Такова сегодняшняя свободная Африка, описанная в этих репортажах с чувством большой симпатии и уважения к народам, строящим новую жизнь.

А. МЕЛЬНИКОВ

ПОЭЗИЯ ВЕЛИКОЙ БОРЬБЫ

Matej Bor. Previharimo viharje. Cankarjeva založba v Ljubljani, 1961.

В Любляне есть музей нелегальной партизанской печати. Это несколько бревенчатых домиков, в которых со всех концов словенской республики собраны примитивные печатные машины, шапирографы, шрифты и прочий типографский инвентарь. Из этих немногочисленных и убогих «печатен» в годы борьбы с нацизмом на всю страну звучало партизанское слово. В одной из них, в лесу, неподалеку от Любляны, и появилась весной 1942 года небольшая книжка стихов «Одолеем бурю». Печаталась она по распоряжению Главного штаба партизанских отрядов Словении, и роль, которую эти стихи сыграли в растерзанной на куски немецкими и итальянскими фашистами стране, была исключительной. Имя ее автора Матея Бора узнали в самых отдаленных уголках, и наряду с именем национального поэта Отона Жупанчича оно стало символом сопротивления всего народа. Люди гадали, кто скрывается под псевдонимом Матея Бора, и лишь очень немногим было известно, что это критик и публицист Владимир Павшич.

Пролетели годы, на могилах погибших высятся памятники, растут цветы. И снова лежит перед нами тревожная книга стихов Матея Бора «Одолеем бурю». Это издание выпущено к двадцатой годовщине Народной революции в Югославии И несмотря на истекшее двадцатилетие, книга по-прежнему звучит набатом, призывая к мужеству, к подвигу, к вере в победу, воскрешая героические традиции битвы с фашизмом.

«Время великих деяний, совершенных маленькими людьми,— пишет поэт во вступительном слове к сборнику, обращаясь к югославским читателям,— все дальше и дальше уходит от нас... Мы знаем о нем, но больше его не чувствуем. Быть может, переиздание этих стихов будет способствовать тому, что мы вновь ощутим его. Эти стихи — правдивый рассказ о времени, которое их создавало и которое, если верить историкам нашей борьбы и нашего поэтического слова, они тоже по-своему создавали».

Матей Бор был, как говорят в Югославии, «первоборцем». Это значит, что в числе первых, самых стойких, самых сильных духом он вступил в борьбу против фашизма. Сопротивление вспыхнуло во всей Европе, вспыхнуло оно и в маленькой Словении.

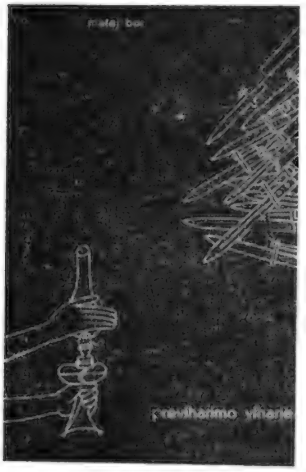
Слышите шаги
из русской степи,
слышите песни из
балканских лесов?
. . . . . .
Шаги, шаги
вспахивают тропинку,
мимо сожженных домов
и могил...

«Пронзенная штыком» родина ждет бойцов, ждет своих сыновей, которые отомстят за нее, ибо тот, «кто драться не идет за дом родной, тому не стоит жить». «Пусть нас немного, но много немногих», много борцов, и ценой жизни, ценой крови они должны мстить за унижение; если «хочешь жить — презирай смерть!»

Обжигающие строки посвящает М. Бор «умирающим, голодным, замерзшим словенским изгнанникам», которых итальянские и немецкие фашисты угоняли на чужбину.

В партизанских отрядах Словении сражались люди разных национальностей Югославии: сербы и македонцы, хорваты и черногорцы. Сражались в них и советские солдаты. Взволнованный силой и мужеством наших бойцов, поэт восклицает:

Россия и Время!
Ничьей
руке
вас не остановить!



Горечью, болью за человека проникнуты стихи о советских военнопленных, «которые от голода и мороза погибают в лагерях Штирии и во всех прочих лагерях гитлеровского рейха».

Чувством подлинного интернационализма наполнено стихотворение «Юнис и Крим», посвященное памяти «арабских товарищей, павших в словенских партизанских отрядах осенью 1942 года». Для Матея Бора борьба с фашизмом — дело всего передового человечества, дело всей Европы, «от Сицилии до Урала, от Исландии до Кавказских гор». Очищая мир от фашистской скверны, ты творишь революцию, ты сам созидатель нового мира, ты солдат «ее величества Революции», и Матей Бор «хотел бы быть ее придворным поэтом».

В этих строчках — отношение поэта к литературе, к поэзии, к художественному творчеству. «Прислушаться к буре столетий» — вот задача поэта, если он патриот и гражданин. Говоря о своих стихах 1941 года, М. Бор пишет в предисловии 1961 года: «Быть может, того или иного поэта, что, словно лунатик, потерялся в надуманном мире своих абстракций и ассоциаций, они разбудят и призовут назад на землю...»

Из лунного света с первым поездом
на баррикады, поэт!

В 1941 году рядом с Матеем Бором шли его ровесники, его друзья. Большинство из них не вернулось с войны. Самые проникновенные стихи поэта обращены к ушедшему товарищу, брату по общему делу.

Лишь сосны молчат при луне.
Товарищи шли в атаку, вперед.
Здесь прошел ты в последний раз, мой брат...
Ты умолк — а твой голос?
Раздается на всех дорогах.

В сборнике «Одолеем бурю» Матей Бор развивает традиции словенской революционной поэзии 20—30-х годов. Во многом стихи его перекликаются и с творчеством русских поэтов — таких разных, как Блок и Маяковский. Стихи М. Бора полны того внутреннего огня, той веры стойкого и убежденного борца, без которых невозможна истинная поэзия.

Матей Бор продолжает работать. Он пишет стихи, драмы, киносценарии, много переводит. В 1959 году за сборник стихов «След наших теней» он получил премию Объединения словенских писателей. Совсем недавно вышли первый его роман и сборник критических статей.

И сейчас для поэта одной из основных тем является тема борьбы человечества против новой войны, борьбы против испытаний ядерного оружия. Ей он отдается с той же убежденностью, с какой боролся против нацизма.

А. РОМАНЕНКО

ПОБЕДА АРТЮРА АДАМОВА

Le printemps 71. Paris, Gallimard, 1961.

Чем честнее, талантливее художник, тем острее и неотвратимее конфликт между ним и собственническим обществом, между логикой его образов и «идеалами свободного мира».

У одних писателей процесс мучительного прозрения длится десятилетия, у других — лишь годы. Во Франции к числу первых можно отнести Артюра Адамова.

Судьба его характерна для буржуазного интеллигента XX века. Незадолго до первой мировой войны семья нефтяного магната Сурена Адамова выехала из России «на воды», да и осталась за границей навсегда, отрезанная от родины войной и революцией. Потянулись годы странствий на чужбине. Германия, Швейцария, французский лицей в Майнце, лицей Мишле в Ванве. Эмигрантская нужда. Ненависть к власти денег и вещей. Одиночество. Ощущение, что порвалась связь времен. Страх перед реальностью, которая «вертит» человеком, словно марионеткой.

Чувство безысходности, едва прикрытое анархистской бравадой, привело Адамова в конце 20-х годов в лоно сюрреализма. «Он отнял у меня,— вспоминал впоследствии писатель,— много лет». Новая война повергла Адамова в смятение. Несколько вольных слов по адресу Виши, и он заключен в фашистский концлагерь. Мир — абсурден, история — слепа, уже обретя свободу, утверждал Адамов в «Ужасном дневнике» (1943) и в повести «Признание» (1946). Вооружившись, как рапирой, постулатами экзистенциализма, принялся он отчаянно сокрушать... вселенскую историю. Асоциальный, вневременной герой — марионетка «авангардного театра», основанного Адамовым совместно с Ионеско и Беккетом в начале 50-х годов, символизировал тотальную абсурдность бытия («Пародия», 1950); извечность

людской отчужденности («Вторжение», 1950); предопределенность краха любого человеческого деяния («Большой и малый маневр», 1953).

В этом поединке с историей потерпел поражение Адамов-философ, но выстоял Адамов-художник. Разорвав путы экзистенциалистской философии, отрицая безысходно пессимистическое отрицание мира, Адамов в самой действительности открыл жизнеутверждающий источник творчества. Он сатирически обнажил материальную подоплеку человеческих чувств в своекорыстном мире («Пинг-понг», 1955), стал судить об индивидууме по его социальной характерности, саркастически бичуя тех, кто утоляет страсти ценой злата, сочувствуя тем, кому приходится расплачиваться жизнью за прихоти других («Паоло Паоли», 1957).

«Я полагаю,— провозгласил он свое новое кредо в 1958 году на диспуте «Может ли театр вторгаться в политику?» (в дискуссии приняли участие Ж.-П. Сартр, Р. Вайян, М. Бютор),— что историческая реальность, любая конкретная, датированная реальность таит в себе неиссякаемую поэзию, в сравнении с которой всякая выдумка кажется просто смехотворной». Так свершился неожиданный для снобов, загипнотизированных «анкетными данными», поворот драматурга от мнимого авангарда — к истинному, к синтезу гуманистического содержания и новаторской формы. Поэтика театра одиночества (théâtre de séparation) отвергнута. Из-под пера драматурга выходит политически злободневный «Общественный театр» — программный сборник памфлетных пьес (1958).

В истории художник отныне видит не роковое наваждение, бич человечества, а равнодействующую противоборствующих человеческих воль, классовых сражений, короче — творчество рук человеческих.

Так закономерно рождается замысел исторической трагедии, посвященной знаменательным урокам героической Коммуны,— «Весна 71 года» (1961). Храня верность фактам прошлого, Адамов воссоздал и романтический порыв «штурмующих небо», и трагическую коллизию между творческой, созидательной активностью пролетариев и идейной разноголосицей, политическими ошибками, которые повлекли за собой гибель Коммуны. Трагедия Адамова «Весна 71 года» политически заострена против тех, кто склонен увидеть в Коммуне только ошибку, насмешку истории над тщетными усилиями масс. Спорит драматург во всеоружии психологической и исторической правды, которой он нашел оригинальное сценическое воплощение.

В трагедии два чередующихся ряда сцен. В первом, ведущем, 26 картин, в которых действуют десятки героев Коммуны. Каждый из них так или иначе оказывает влияние на ход событий. Герои сражаются на баррикадах с врагом и в муниципалитете с голодом; зритель видит их в период буйного ликования после захвата пушек у монмартрского холма, и в минуты траура по случаю похорон прославленного военачальника Домбровского; в моменты усталости, тревоги, отчаяния и духовной стойкости, мужества перед лицом карателей — во время «кровавой недели».

Вожди Коммуны появляются эпизодически. На первом плане — ее рядовые участники: журналист Робер Удэ, портниха Жанна-Мари, ее брат декоратор Пьер Фурнье, член муниципальной комиссии 5-го округа, пекарь Тонтон, рассыльный Геркулес, старый железнодорожный служащий Дюдюль, курьер газеты «Папаша Дюшен». Плечом к плечу с французами на баррикадах — Пьетро Тютино, гарибальдийский ветеран, Софья Николаева, русская студентка, Поля Крижовская, польская интернационалистка. Герои влюбляются, страдают, ревнуют, совершают непоправимые ошибки. Их портреты психологичны, жесты, реакция естественно - непроизвольны. Версальцы, которых драматург рисует с подчеркнутой объективностью, морально ничтожны, человечески бедны. Контраст разительный.

Дело, за которое борются коммунары, порождает у них чувства солидарности, самопожертвования. Выпрямление человека, раскрепощение его духовных потенций в процессе преобразующего реальность действия — таков главный этический урок Коммуны. Под ударами истории в комок сжались все человеческие страсти, эмоции версальцев Страх за собственное добро и ненависть к санкюлотам объединяет и воинствующую невежду булочницу мадам Легро, и рафинированного эстета Анатоля Гурмона, и иезуитствующего аббата Вильдье, и фабриканта Пешто. Не своеволие автора, а собственная приверженность к старому режиму обращает их в озлобленных марионеток.

Используя ошибки и колебания восставших, версальские пигмеи пушками и штыками повалили великодушного великана. Но их торжество — мнимо. Коммунары умирали непобежденными. «Другие будут жить... и они отомстят за нас,— воскликнула перед смертью Жанна-Мари,— они победят... обязательно победят! И больше никогда не будет преступлений на земле».

Воссоздание исторического творчества народных масс обуславливает эпическую масштабность трагедии, а их вера в грядущее торжество коммунистических идей — ее оптимистическую тональность.

События, рождение и развитие которых психологически раскрывается в картинах, становятся предметом политического диспута в девяти комментирующих основное действие аллегорических интермедиях, так называемых гиньолях. Это — второй ряд сцен. Здесь как бы на увеличенном экране

отражается политический итог процессов, происходящих в гуще жизни.

В гиньолях выведены: Бисмарк, с волочащейся по земле саблей; Тьер, будто сошедший с карикатур Домье, «вульгарная провинциалка» — Ассамблея; из огромного несгораемого шкафа то высунется, то спрячется двуликая голова Банкирши; наконец здесь же снует благообразный соглашатель с фальшивой бородой. В стороне от них— грозная Коммуна: женщина в мундире национального гвардейца с ружьем у плеча, у нее вдохновенное лицо, как у Луизы Мишель, фригийский колпак на голове. В гротескном образе Тьера воплотилась вся низость, коварство, жестокость версальцев, их страх перед революцией, их утробная ненависть к народу. Провозгласив 18 марта Коммуну, восставший народ выбил у Тьера почву из-под ног. Он утратил контроль над событиями и оказался в положении злого карлика, которого спасло лишь доброе сердце Гулливера. «Подумать только,— говорил Тьер,— ведь если бы 19 марта... они атаковали Версаль, наши солдаты... опустили бы штыки к земле».

Гиньоль — сатирический контрапункт героической мелодии весны 1871 года.

Скрипучий, зловещий голос Тьера, рупора касты палачей и разрушителей, прерывает и заглушает глас Коммуны, которая, подобно античному хору, в своих деловых декретах, прокламациях, воззваниях торжественно фиксирует поступь истории.

Перед эпилогом Адамов рисует символическую сцену. В Париже бушует белый террор. Недавняя маркитантка на передовой Анриетта из страха и отчаяния хочет забиться в мещанскую нору. Она и жениха себе подходящего подыскала — банковского служащего, готового уберечь ее от всех «этих грязных историй». Анриетта лихорадочно роется в шкафу — забыть прошлое, уничтожить его следы! Слышится песня версальцев... Еще одна дверца шкафа — и вдруг: «Бог мой! Оно осталось здесь!» — красное полотнище, которое она пыталась отбросить, но, сделав неловкое движение, запуталась в нем. Грохот сапог у порога... От истории нельзя спрятаться, нельзя повернуться к ней спиной. Чтобы стать ее творцом, а не жертвой, нужна воля, верность, самоотверженность!

В финале трагедии многие герои переосмысляют свои поступки, осуждая собственные иллюзии и ошибки. Робер Удэ казнит себя за мягкотелость и прекраснодушие. «Колокол зовет к труду, писали мы в «Крике народа»,— говорит он,— а надо было бить в набат» и идти на Версаль. Жанна-Мари, которая еще недавно в толк не могла взять, зачем сюда, в Париж, пришли сражаться чужестранки, теперь осознает правоту Софьи: «Да, если бы мы захватили банк, они никогда, никогда... не осмелились бы занять Париж». История не повторяется. В эпилоге авансцену заполняет огромная карта мира, на которой социалистические страны окрашены в цвет Коммуны.

«Весна 71 года» — завоевание эпического театра Франции. История, «исцелившая» драматурга, становится душой адамовского театра, а люди, ее творящие,— его живой плотью.

В. БАЛАШОВ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Нью-йоркское издательство Кнопф выпустило «Донские рассказы» Михаила Шолохова в переводе на английский язык Г. С. Стивенса. Перевод сделан с текста сборника, изданного в Москве в 1958 году.

В рецензии Айвора Спектора, опубликованной еженедельником «Сэтердей ревью», отмечается: отличительная черта творчества автора «Донских рассказов» — большое мастерство в создании атмосферы напряженного ожидания; каждый его рассказ имеет «свою высшую точку напряжения и трагическую развязку». «Донские рассказы», по мнению рецензента, во многом напоминают «Записки охотника» Тургенева. Рецензент далее пишет: «Не будет преувеличением указать, что эти рассказы наряду с крупными произведениями писателя — «Тихим Доном» и «Поднятой целиной» — сыграли большую роль в привлечении молодого поколения казачества на сторону Советской власти».

«Достоин похвалы тот факт,— заключает рецензент,— что издательство уже представило вниманию читателей не только «Донские рассказы» Шолохова, но и его четырехтомный роман «Тихий Дон».

Главы из романа Александра Фадеева «Последний из Удэге» печатает китайский журнал «Шицзе вэньсюе». В предисловии переводчик Лэй Жань знакомит китайских читателей с историей создания романа, с его содержанием и особенностями творчества Фадеева. «В главах, которые мы публикуем,— пишет Лэй Жань,— сочетается воедино умение Фадеева поэтически отображать жизнь и глубоко проникать в человеческие характеры... От этого произведения веет правдой и теплотой».

Роман Шарафа Рашидова «Сильнее бури» вышел в переводе Росена Тренкова на болгарском языке в Государственном издательстве Болгарии (в городе Варне).

Японское издательство Бунгэй сюндзю выпустило роман Михаила Стельмаха «Кровь людская — не водица». Перевел книгу молодой переводчик Хара Такуя — сын много сделавшего для популяризации русской и советской литературы в Японии Хара Хисаитиро. Откликаясь на выход романа на японском языке, обозреватель журнала «Бунгакукай» отмечает, что «Кровь людская — не водица» — выдающееся произведение современной советской литературы...»

В кубинском издательстве «Импрента насьональ де Куба» вышел в свет на испанском языке роман Федора Панферова «Раздумье». «Острота поставленных вопросов, публицистический характер и актуальность романа Панферова,— пишет критик газеты «Нотисиас де ой»,— являются следствием большого интереса автора к проблемам современности. Со всей страстностью писатель рассказывает о том, что беспокоило не только его лично, но и всех тружеников деревни».

Издательство «Лангевише-Брандт» в Эбенхаузене (под Мюнхеном, ФРГ) выпустило сборник стихотворений Сергея Есенина. Сборник открывают вместо предисловия автобиографические заметки, написанные Есениным в 1925 году. Стихи публикуются параллельно — в оригинале и в немецком переводе. Перевод-

Во время недавней поездки на Кубу писатель Борис Полевой был принят первым секретарем Объединенных революционных организаций премьер-министром революционного правительства Кубы Фиделем Кастро (фото — слева). Журнал кубинской молодежи «Мелья» опубликовал «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого с иллюстрациями молодых художников Роберто Альфонсо и Феликса Герры (первая страница — справа).

Областной театр в городе Нитра (Чехословакия) поставил инсценировку романа Михаила Шолохова «Поднятая целина» под названием «Весенние ливни».

На снимке сцена из спектакля. На переднем плане — актриса Адела Габорова в роли Вари.

(Журнал «Филм а дивадло»)

чик Карл Дедециус сопроводил сборник послесловием, которое охарактеризовано в еженедельнике «Дейче фольксцейтунг» как содержательное и объективное.

Пьесу Константина Симонова «Русский вопрос» поставил театральный коллектив «Кэгей» в городе Киото (Япония). Эта пьеса Симонова, пишет критик газеты «Акахата», «хотя и была написана в 1946 году, однако имеет большое значение и поныне, в наши дни напряженной международной обстановки, когда готовится новая война и когда об этом надо заявить во весь голос».

В планы болгарского Военного издательства включены «Судьба человека» М. Шолохова, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Мертвые сраму не имут» Г. Бакланова, «Земля — небо — земля» И. Виноградова, «Тайник на Эльбе» А. Насибова, «Солдат — сын солдата» Э. Фейгина, «Тайны войны» Ю. Королькова и «По тонкому льду» Г. Брянцева.

Рецензируя роман Георгия Маркова «Соль земли», вышедший в берлинском издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР), критик газеты «Нейес Дейчланд», положительно оценивая роман, пишет: «Образы героев романа взяты непосредственно из действительности. Эта книга в известной степени является продолжением романа Г. Маркова «Строговы». Новое поколение — сыновья и дочери героев романа «Строговы» — действует в новых исторических условиях, решает проблемы, связанные со строительством коммунистического общества».

Государственный издательский институт Польши «ПИВ» выпустил сборник произведений Михаила Светлова под общим названием «Гренада и другие стихи». Обозреватель журнала «Нове ксенжки» в связи с выходом этой книги пишет, что польский читатель и раньше знал «Гренаду» в переводе Юлиана Тувима, а теперь получил возможность более широко ознакомиться с творчеством «комсомольского поэта двадцатых годов» — Михаила Светлова.

В чехословацком издательстве «Свет совьету» вышел роман Леонида Леонова «Вор» (в редакции 1959 года).

В Ополевском театре — впервые в Польше — поставлена пьеса А. Салынского «Барабанщица» (под названием «Последний выстрел»). Театральная критика отмечает большой успех пьесы у зрителей.

Повесть А. Гайдара «Тимур и его команда», как сообщает журнал «Бёрзенблатт фюр ден дейчен бухандель», вышла в издательстве «Киндербух-ферлаг» (ГДР).

„Прекрасный рассказ, проникнутый то легкой печалью, то теплым, сердечным юмором»,— так отзывается рецензент еженедельника «Зонтаг» о вышедшем в издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР) рассказе Павла Нилина «Ближайший родственник».

Кубинское государственное издательство «Импрента насьональ де Куба» выпустило в свет на испанском языке повесть Виталия Закруткина «Плавучая станица». Отметив художественные достоинства повести, рецензент гаванского журнала «Боэмия» Рохелио Луис Бравет обращает особое внимание кубинских читателей на то, что «в этой книге, представляющей собой яркое беллетристическое произведение, можно найти и чрезвычайно интересное и подробное описание лова рыбы. Нет сомнения в том, что повесть Закруткиина будет исключительно радушно встречена тружениками рыболовецких кооперативов, созданных Революцией».

Под названием «Врач в Москве» в западногерманском издательстве «З. Мон» вышел роман А. Коптяевой «Дерзание». По словам рецензента журнала «Бюхерай унд бильдунг», роман заслуживает внимания, поскольку в нем воссоздана широкая панорама жизни советского общества и, в частности, интеллигенции. «Поднимая важные проблемы,— пишет рецензент,— писательница рукой зрелого мастера лепит характеры и образы людей, создает полные настроения картины природы».

Польское издательство «Искры» выпустило книгу И. Ефремова «Туманность Андромеды». В связи с выходом этой книги, обозреватель журнала «Нове ксенжки» пишет: «Ефремов, советский писатель и ученый, автор многих прекрасных научно-фантастических книг, рисует в своей повести общество будущего — коммунистическое будущее, которое уже целиком покорило природу Земли и установило сотрудничество с «братьями из космоса».

Одним из талантливых молодых советских прозаиков называет чешская критика Анатолия Приставкина, книга которого «Трудное детство» вышла недавно в Государственном издательстве политической литературы Чехословакии. Критик еженедельника «Литерарни новины» считает, что по теме эта книга близка к повести Кузнецова «Продолжение легенды» и рассказам Гладилина, Никитина, Рекемчука, к произведениям о молодежи, уехавшей на строительство электростанций Сибири, на целину.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
Хроника

АЛЖИР

КОГДА ДЕТСКИЕ РИСУНКИ ОБВИНЯЮТ...

Восьмилетние дети, как известно, рисуют дома, лес, речку, цветы, солнце, своих близких—одним словом, то, что видят вокруг. Но есть дети этого же возраста, говорится в статье, опубликованной еженедельником «Юманите-диманш», которые рисуют расстрелы, истекающих кровью людей, дома в огне... Это алжирские дети, лишившиеся близких и крова. Французские кинематографисты («их фамилии не публикуются по вполне понятным причинам»,— замечает автор статьи) при содействии Комитета имени Мориса Одэна сняли по рисункам алжирских детей, нашедших убежище в Тунисе, цветной короткометражный фильм «Мне 8 лет».

Комментарии к происходящему на экране — не заранее подготовленный дикторский текст, а записанные на пленку рассказы детей о пережитом. Все сообщенные ими факты после тщательной проверки полностью подтвердились. Вот, например, как один маленький алжирец рассказывал об убийцах, посланных в Алжир французскими колониальными властями: «Они взяли палки и стали бить моего отца. Они убили всех

Рисунки алжирских детей (из фильма «Мне 8 лет»).
(Еженедельник «Юманите-диманш», газета «Либерасьон»)

мужчин, кроме моего деда. А потом в полдень они пошли обедать. Мне страшно, я хочу есть...»

Французская печать сообщала, что этот производящий неизгладимое впечатление фильм, который можно было бы с полным основанием назвать «Я обвиняю», демонстрируется только частным образом — в киноклубах. Он не был представлен комиссии по цензуре, поскольку последняя не пропустила бы ни одного кадра.

АНГЛИЯ

ПОБЕДА ПРОФСОЮЗА АКТЕРОВ

Небольшой английский профсоюз «Экуити», куда входят актеры телевидения, сумел выиграть битву с владельцами частных телевизионных компаний. Пять месяцев длилась забастовка актеров, требовавших улучшения их материального положения. В течение этого времени на экранах телевизоров появились старые, затасканные фильмы, давно заснятые на пленку спектакли. В конце концов владельцам частных телевизионных компаний пришлось капитулировать. Актеры добились некоторого повышения гонорара и разработки прогрессивной шкалы оплаты.

Известная артистка Ренни Листер, оценивая эту победу актеров телевидения, заявила корреспонденту еженедельника «Трибюн»: «Профсоюз сделал для нас великое дело. Отныне я буду более активно участвовать в работе профсоюза. Во время забастовки мы прекрасно поняли, что главное — это держаться всем вместе, и тогда победа будет за нами. Так оно и получилось».

Стойкость и выдержка членов профсоюза «Экуити», как сообщает английская печать, вызвали восхищение рабочего класса Англии.

Этот небольшой профсоюз не имел значительных забастовочных фондов, какими располагают крупные профсоюзы, и на протяжении последних пяти месяцев забастовочный комитет мог оказывать материальную помощь лишь очень немногим участникам. Несмотря на столь тяжелые условия борьбы, члены «Экуити» заставили предпринимателей принять условия бастовавших.

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

«ЧЕРНЫЙ ПРОМЕТЕЙ»

В Абиджане приступили к съемкам первого цветного художественного фильма совместного производства республики Берег Слоновой Кости и Франции. В связи с этим, как сообщает журнал «Африк», было создано «Кинематографическое общество Берега Слоновой Кости». Сценарий написан африканцем — служащим министерства информации и кадров Рюфиньером. К участию в фильме привлечены артисты местной театральной группы, а также многочисленные танцоры и исполнители народных песен из различных провинций страны.

Сюжетом фильма, который будет называться «Черный Прометей», послужила история молодого африканца, получившего высшее медицинское образование в Европе и вернувшегося на родину. О его жизни и работе, о столкновениях с вековыми обычаями и расскажет «Черный Прометей». Натурные съемки проходят в Абиджане, в тропическом лесу на юге страны и в саванне — на севере.

БОЛГАРИЯ

ВТОРОЙ СМОТР НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ

Министерство просвещения и культуры, союзы болгарских писателей и художников и другие организации Болгарии приняли решение о проведении Второго национального смотра современной болгарской драматургии и театра (о Первом смотре см. «Иностранную литературу» № 10, 1959). Смотр, как сообщает еженедельник «Народна култура», намечено провести в 1964 году в честь 20-летия национального освобождения. В нынешнем году будет обсуждена работа театров Пловдива, Варны, Плевена и других городов, идет подготовка к неделе болгарской драмы.

Проблемы современной болгарской молодежи поднимает новый художественный фильм «Двое под небом», поставленный режиссером Б. Шаралиевым по сценарию А. Вагенштейна.

(Журнал «Филмови новины»)

ЖОРЖИ АМАДУ: ВОЛЯ НАРОДОВ К МИРУ ПОБЕДИТ

В беседе с корреспондентом советского агентства печати Новости (АПН) бразильский писатель академик Жоржи Амаду заявил, что созыв Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир — «инициатива, достойная самой высокой похвалы».

«Меня,— говорит Амаду,— очень обрадовало письмо от Эренбурга и Корнейчука, в котором они писали мне об идее проведения такого конгресса и сообщали имена выдающихся деятелей культуры, входящих в инициативную группу. Я думаю, что в момент, когда представители держав собрались в Женеве в поисках путей к соглашению о разоружении, очень важно услышать голос народов, справедливо обеспокоенных гонкой вооружений и особенно испытаниями атомных бомб. В конечном итоге победит воля народов, и поэтому должен прозвучать их голос, чтобы оказать влияние на решения политических деятелей. Отсюда — огромное значение конгресса, который состоится в июле в Москве. Народам предоставляется прекрасная возможность выразить свою волю, свое желание мира и сосуществования, заявить о своей решительной поддержке идеи разоружения».

Далее Жоржи Амаду сказал: «Я верю в возможность соглашения о разоружении. Во всяком случае, в переговорах между главами правительств уже достигнут некоторый прогресс. Но в особенности неоспоримо укрепилась в сознании народов мысль о сохранении мира. Их твердая позиция в вопросе о разоружении оказала воздействие даже на правительства. Например, ясная позиция бразильского народа — за разоружение и мир — внесла некоторые изменения в позицию нашего правительства. Бразильское правительство уже не голосовало в Женеве в пользу западного блока, как это обычно бывало раньше, а выступило как правительство, заинтересованное в мире, ведущее независимую политику. На предложения, выдвинутые министром Сантьягу Дантасом, оказала влияние точка зрения нашего народа. Недавняя нота министерства иностранных дел Бразилии по поводу возобновления Соединенными Штатами атомных испытаний не только отражает позицию бразильского народа — за мир и подписание соглашения о разоружении,— но и является следствием этой позиции.

В заключение мне хочется пожелать предстоящему Конгрессу за всеобщее разоружение и мир самого большого успеха. Желаю, чтобы собравшиеся там делегаты из разных стран смогли искренне обменяться мнениями; чтобы была выражена воля к миру каждого народа; чтобы конгресс оказал решительное воздействие на достижение соглашения о разоружении, которое с каждым часом становится все более необходимым».

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ

Три венгерских писателя в этом году были удостоены правительственной награды — премии Кошута, одиннадцать писателей — литературной премии Аттилы Йожефа.

Венгерская печать широко отметила это знаменательное событие.

«Революционное рабоче-крестьянское правительство,— пишет газета «Непсабадшаг»,— удостоило премии Кошута II степени писателей: Антала Гидаша — за создание произведений, широко отразивших борьбу венгерского рабочего класса, и за популяризацию венгерской литературы в Советском Союзе: Лайоша Мештерхази — за создание художественных произведений, воспроизводящих картину жизни сегодняшней Венгрии, и за деятельность в области публицистики; Иштвана Ваша — за поэтическую и переводческую работу».

Премии Аттилы Йожефа присуждены писателям Эндре Иллешу, Ласло Таби, Денешу Барши, Петеру Фельдешу, Яношу Фюлепу, Золтану Галабарди, Эржебет Галгоци, Матэ Тимару, Михаю Ваци, Лайошу Галамбошу, литературоведу и критику Палу Панди.

ШАНДОР ТАТАИ О СВОИХ НОВЕЛЛАХ

Недавно Шандор Татаи опубликовал новый сборник новелл «Вставай и иди!».

— С тех пор, как я начал свой творческий путь,— рассказывает Шандор Татаи на страницах «Тайекозтато»,— у меня всегда так получалось, что между двумя романами я писал несколько новелл и этим самым как бы готовился для следующей, большей по объему, работы. В своих новеллах я всегда стремился отразить новый дух времени.

В последнее время я пришел к выводу, что серьезные проблемы и интересные явления нашей жизни новелла может отразить гораздо

быстрее, а, главное, своевременно. Так родился мой новый небольшой томик новелл, который вместе с тем открыл мне путь к следующему роману.

ГАИТИ

СВОБОДУ ЖАКУ-СТЕФЕНУ АЛЕКСИСУ!

Печать многих стран мира обошло тревожное сообщение об аресте видного гаитянского писателя Жака-Стефена Алексиса (см. «Иностранную литературу» № 9, 1961). Подтвердилось, что уже второй год автор известных советскому читателю романов «Добрый генерал Солнце» и «Деревья-музыканты» (последний роман опубликован в нашем журнале, №№ 1—3, 1962) находится в тюрьме Порт-о-Пренса.

Гаитянское Общество по распространению культуры провело неделю национальной и международной солидарности с Алексисом, требуя его освобождения из застенка диктатора Дювалье.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ — ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ

Деятели литературы и искусства ГДР вместе со всеми трудящимися республики горячо поддерживают принятый Национальным советом Национального фронта демократической Германии документ: «Историческая задача ГДР и будущее Германии».

В обсуждении этого документа на заседании Национального совета приняли участие президент Немецкой академии искусств художник Отто Нагель, писатели Людвиг Ренн, Вилли Бредель, Стефан Хермлин, которые подчеркнули значение социалистической литературы и изобразительного искусства для дела воспитания сознания трудящихся ГДР, для дела демократизации всей немецкой нации.

Выступая на страницах газеты «Нейес Дейчланд», Анна Зегерс пишет: «Документ Национального совета содержит грандиозный и вместе с тем ясный план. Выполняя этот план, писатели и деятели искусства красками, музыкой и родным словом должны крепить мирную демократическую жизнь страны».

«Когда меня спрашивают, почему я, немецкая писательница, живу в ГДР,— пишет Марианна Брунс,— я отвечаю: читайте документ Национального совета. Вы тогда глубже поймете слова великого Гёте: «Недостаточно знать, нужно и применять знания. Недостаточно хотеть, нужно и действовать».

Арнольд Цвейг заявил в газете «Берлинер цейтунг»: «То обстоятельство, что граждане боннского государства стали жертвой своего собственного империализма, по-моему, является страшной карой за ошибки прошлых правителей Германии... Молодое поколение обеих частей Германии должно хорошо осознать эту трагедию».

Драматическая актриса Гизела Май выражает уверенность в том, что «существующая в ГДР власть рабочих и крестьян никогда

Марианна Брунс.
(Газета «Нейес Дейчланд»)

Арнольд Цвейг.
(Газета «Берлинер цейтунг»)

больше не допустит в Германии такого преступления нацистов против человечества, как расизм».

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ АВТОРОВ

Союз немецких писателей и издательство «Миттельдейчер ферлаг» провели в городе Галле конференцию молодых авторов.

Как сообщает газета «Нейес Дейчланд», выступивший перед ста восемьюдесятью участниками конференции председатель Комиссии по вопросам культуры при Политбюро ЦК СЕПГ профессор Альфред Курелла сказал: «Посевы биттерфельдской конференции (см. «Иностранную литературу № 8, 1959 г.— *Ред.*) хорошо взошли... Нашим молодым писателям удалось уже многого добиться. Теперь мы вправе предъявить нашей литературе еще более высокие требования». Курелла подчеркнул, что молодым писателям очень важно изучать решения XXII съезда КПСС, а также материалы XIV и XV пленумов ЦК СЕПГ. В творчестве молодых авторов, по словам Куреллы, должны подниматься не только важные проблемы жизни ГДР, но и проблемы существования всей немецкой нации. Нужно, например, создать такой роман о жизни сельскохозяйственных кооперативов, который убеждал бы

крестьян и из Западной Германии в том, что путь коллективного ведения сельского хозяйства — единственно верный путь для решения крестьянского вопроса в современной Германии.

Комментируя обсуждение этих вопросов на конференции, обозреватель еженедельника «Зоннтаг» отмечает, что молодые авторы создали немало хороших произведений, хотя в их книгах и встречаются отдельные недостатки. Такие молодые писатели, как Дитер Нолль, Герберт Нахбар, Карл-Гайнц Якобс, Криста Вольф и другие, успешно совершенствуют свое мастерство. В их книгах затрагиваются большие проблемы сегодняшнего дня.

РОМАН ФРИЦА ЗЕЛЬБМАНА

Рецензируя роман «Возвращение Иоахима Отто» молодого писателя Фрица Зельбмана, литературный критик газеты «Юнге вельт» пишет: «Автор романа избрал темой восстановление крупного металлургического завода. Однако в центре романа — человек. Герой показан не только как один из рабочих на стройке завода, но и как человек, способный строить новые общественные отношения. Поэтому роман Фрица Зельбмана — значительный вклад в нашу литературу».

Берлинский театр «Фрейндшафт» поставил первую пьесу Гюнтера Гёрлиха «Честолюбивые». Пьеса рассказывает о жизни и труде членов ученической бригады на одном из заводов Берлина. По оценке критики, драматург-дебютант Гюнтер Гёрлих — автор нескольких книг о молодежи — написал удачную пьесу, привлекшую внимание зрителей.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ТОМАС МАНН И БОННСКИЕ «КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ»

Деятелям боннской культуры уже давно не по вкусу пришелся великий немецкий писатель Томас Манн, не скрывавший своих симпатий к Германской Демократической Республике. Манна называли «красным», «изменником немецкому духу» и т. п.

Ныне боннские «культуртрегеры» организовали в Дармштадте выставку, которая, как сообщается, будет экспонирована также в Нью-Йорке, Токио, Риме и в городах Латинской Америки. И по замыслу ее устроителей, эта выставка должна доказать, что мировоззрение Томаса Манна... совпадало с идеологией Бонна.

«Каждому, кто хотя бы немного знаком с творчеством Томаса Манна, с его политическими воззрениями, с его отношением к вопросу войны и мира, ясно, что этот пропагандистский трюк апостолов боннской культуры потерпит крах»,— таковы комментарии демократической печати ГДР.

ДАНИЯ

ПРЕМИЯ «ГЮЛЬДЕНДАЛЬ» — ФРАНКУ ЙЕГЕРУ

По случаю 220-летия книгоиздательского дела в Дании крупнейшее датское издательство «Гюльдендаль», как сообщает газета «Ланд ог фольк», присудило премию поэту Франку Йегеру.

Выступая на приеме, устроенном в издательстве «Гюльдендаль», директор издательства поэт Оле Вивель сказал, что «дебют Франка Йегера в датской литературе был ошеломляющим, а его последующие работы показали, что он уже занял достойное место в датской лирике».

ИНДИЯ

НОВОЕ В БЕНГАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Роман одного из крупнейших прозаиков — представителей современной бенгальской литературы Бимала Митро «Король, дама, валет» пользуется в Индии широкой популярностью.

Недавно в Калькутте вышло новое издание книги. Литературный критик газеты «Бхарат джоти» указывает, что в этом произведении Бимал Митро на фоне исторических событий прошлого показывает не только быстрый упадок феодального общества, но одновременно и появление нового общественного порядка, борьбы с британским колониализмом, возрождение национальной культуры.

Историко-социальный роман Митро, по словам критика, прокладывает новые пути в бенгальской литературе.

ЗНАЮТ ЛИ АМЕРИКАНЦЫ ТАГОРА?

Очередное заседание членов делийского отделения ПЕН-клуба было посвящено теме «Индийская литература в Америке». Как сообщает журнал «Индиэн ПЕН», с докладом по этому вопросу выступил доктор Прабхакар Мачве, который провел два года в США, где читал лекции по индийской литературе.

«Хотя в Америке есть специалисты в области индологии и санскрита, их знание современных индийских языков,— заявил Прабхакар Мачве,— неудовлетворительно. Еще хуже знают в Америке индийскую литературу».

По словам доктора Прабхакара Мачве, в Америке известны лишь отдельные классики индийской литературы, как Калидаса, и те писатели, которые создают свои произведения на английском языке,— например, Р. К. Нарайян. Творчество же таких крупных современных индийских писателей, как Прем Чанд, Сарат Чандра, здесь мало кому известно.

На экраны Индии вышел фильм режиссера Яаш Чопра «Сын религии», поставленный по одноименному роману старейшего писателя Ачария Чатурсена Шастри. Писатель показал, как в свое время раздираемая религиозными распрями и предрассудками Индия объединилась перед лицом общей опасности — колониализмом, как любовь к родине заставила забыть о религиозной вражде и повела весь народ на борьбу с английскими колониалистами. Основная тема романа и фильма — союз мусульман и индусов. Перед зрителем проходит более чем двадцатилетний период истории Индии: религиозные бунты, междоусобная борьба общин, национально-освободительное движение и наконец трагические последствия раздела страны.

Индийская критика отмечает, что режиссеру и всему постановочному коллективу удалось правдиво воспроизвести в фильме события недавнего прошлого. Актеры создали яркие образы героев — простых людей Индии.

На снимке актриса Мала Синха в роли мусульманской женщины.

(Журнал «Филмфэр»)

Знают ли в Америке Тагора? Отвечая на этот вопрос, докладчик вспоминает, что «накануне празднования столетия со дня рождения Тагора его произведений нельзя было обнаружить на книжных полках: американцы говорили о нем, как о каком-то древнем и обветшалом литературном монументе. Хотя Р. Тагор пять раз посещал Америку, чтобы проведать учившегося там сына, его крайне редко вспоминают в Америке, если не считать старых друзей писателя...»

ИСПАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Двадцать четыре виднейших деятеля испанской культуры поставили свои подписи под письмом, призывающим требовать подлинной свободы профсоюзов и свободы печати. Среди подписавших этот документ — президент Испанской королевской академии Рамон Менендес Пидаль, писатели Рамон Перес де Айяла, Хосе Бергамин, Камило Хосе Села, Дионисио Ридруэхо, Альфонсо Састре, Хуан Антонио Сунсунеги, бывший ректор Мадридского университета Педро Лаин Энтральго.

В письме отмечается, что «забастовочное движение, развернувшееся в различных провинциях страны, замалчивается испанской печатью и радио». Авторы письма настаивают на принятии мер, которые давали бы возможность получения «правдивой информации» о положении в северных районах страны и проведения «свободной, исключающей методы произвола, дискуссии по проблемам труда». В письме выражено возмущение в связи с «принятием чрезвычайных мер на севере страны», высказывается пожелание установления в Испании такого порядка, который обеспечивал бы «свободу, справедливость и согласие».

По сообщению агентства Рейтер, подписавший письмо видный литератор Дионисио Ридруэхо заявил, что этот документ распространяется среди профессоров, артистов и писателей. «Мы вправе,— подчеркнул Ридруэхо,— знать то, что происходит в нашей собственной стране».

Иностранные корреспонденты в Мадриде, по сообщениям зарубежной печати, рассматривают этот документ как прямое обвинение методов диктатуры Франко и как декларацию о позиции, занятой испанской интеллигенцией в связи с происходящими в Испании событиями.

ПОСЛАНИЕ ПАБЛО НЕРУДЫ МАРКОСУ АНЕ

Испанский поэт-антифашист Маркос Ана, недавно освобожденный из фашистской тюрьмы, где он провел свыше двадцати лет (его «Стихи из тюрьмы» опубликованы в «Иностранной литературе» № 2, 1960), получил, как сообщает «Болетин де информасьон», следующее послание чилийского поэта Пабло Неруды: «Хочу послать тебе, Маркос Ана, несколько слов — и как мало они весят, сколь мало силы в них по сравнению с твоим долгим пленением; сколь незначителен, сколь слаб свет их во мгле Испании!.. Никому мы не можем простить забвения, тем более этого не приемлем мы, у кого еще свежи раны.

Сколь ничтожными были бы эти слова, если бы в них не отражалась твоя собственная страсть, твоя борьба, наша общая надежда. Тебя мы ждали, и как будто с тобой возвращаются к жизни и к борьбе те, кто пали.

Мы принимаем тебя в лагерь сражающейся пламенной поэзии, которая продолжает бороться, ибо в словах ее не только слоги, но и кровь. Обнимаем тебя с бесконечной нежностью и искренними братскими чувствами от имени тех, кто всегда тебя ждал».

ИТАЛИЯ

ЛЕОНАРДО ШАША — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ КРОТОНЕ

Литературная общественность горячо обсуждала вопрос, кому из трех южноитальянских писателей — Шаша за его повесть «Сова появляется днем» (опубликована в журнале «Иностранная литература» № 4, 1962), Страти за роман «Пустые руки» или поэту Констабиле за сборник стихов «Роза в бокале» — будет присуждена премия Кротоне за минувший год.

Авторитетное жюри, в которое входят литературовед Дебенедетти, Альберто Моравиа, Бассани, Репачи и другие видные писатели, вместе с мэром города Кротоне вынесли решение вручить премию за лучшее произведение, посвященное проблемам Юга Италии,— повести-памфлету Леонардо Шаша «Сова появляется днем».

Леонардо Шаша.
(Газета «Унита»)

В перестрелке двадцать лет назад был убит Сальваторе Джулиано, главарь бандитов Сицилии. Люди вздохнули с облегчением, но атмосфера тайны не рассеялась. Кто стоял за Джулиано? Кем он убит?..

«Сальваторе Джулиано» — так и назван фильм режиссера Франческо Рози, сразу выдвинувшегося в первые ряды итальянских кинематографистов. Весь фильм основан на подлинных фактах. Кроме нескольких профессиональных артистов, в фильме снимались жители маленького сицилийского городка Монтелепре — живые свидетели, участники, жертвы трагических событий того времени. Фильм вышел на экраны одновременно в ста городах Италии. Итальянская печать полна откликов на этот фильм, состоялось много публичных обсуждений, в которых приняли участие писатели, юристы, деятели культуры. Выдвинуто требование, чтобы, на основании фильма, была создана парламентская комиссия для расследования связей между государственным аппаратом и мафией в Сицилии.

По оценке критики, этот блестяще поставленный фильм, основанный на жизненной правде, вновь говорит о вопросах, ни в какой мере не потерявших актуальность. Режиссер Франческо Рози, авторы сценария — Сусо Чекки Д'Амико, Энцо Провенцале и Франко Солинас отказались от всяких дешевых эффектов и приемов, избрав путь объективного повествования. Режиссеру, сценаристам, продюсерам фильма понадобилось большое мужество, чтобы создать его. Как только стало известно о намерении поставить фильм «Сальваторе Джулиано» на всех этих кинематографистов начали оказывать непрестанное давление. Многие лица, стоявшие у власти, были явно заинтересованы в том, чтобы этот фильм не снимался. Здесь мы воспроизводим кадр из фильма.

(Еженедельник «Вие нуове»)

ПОЛЕМИКА ВОКРУГ РОМАНА «МЕМОРИАЛ»

Острую полемику в печати вызвал роман Паоло Вольпони «Мемориал». Автор его служит в фирме «Оливетти» — одной из крупных монополий, известной своими ультрасовременными, «неокапиталистическими» методами организации труда, а вернее, эксплуатации рабочих. Вольпони ранее был известен как поэт — его стихи удостоены премий.

Тема романа — то губительное воздействие, которое оказывает на рабочего и его психику сверхэксплуатация, новейшая потогонная система, осуществляемая на «передовых» итальянских предприятиях. Герой книги Альбино Салуджа, как и автор, работает на одном из заводов «Оливетти». Врачи фирмы устанавливают, что Салуджа психически ненормален и болен туберкулезом, и поэтому ставят вопрос о его увольнении. Салуджа

живет под страхом потери работы, все это ухудшает его здоровье и психическое состояние. Весь роман как бы представляет собой длинный «мемориал» — памятную записку, в которой несчастный рабочий изливает свою душу.

Затронутая в романе тема привлекает в последние годы пристальное внимание итальянской общественности. Как отмечает итальянская критика, роман Вольпони весьма актуален и полезен, тем более, что автор прекрасно знаком с положением на подобных предприятиях. Однако Вольпони наделяет своего героя всеми возможными «комплексами неполноценности», заставляет этого, в сущности, мало сознательного и больного рабочего заниматься сложнейшим психоанализом.

В общем, как отмечает в своей рецензии в литературном приложении к газете «Паэзе-сера» критик Пьеро Далламано, это нетипичный, во многом искусственный персонаж, жалкий и нелепый. Подняв острый вопрос, автор увлекся психоанализом и сам не знает, в каком направлении ему идти дальше...

«СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЕНТЫ»

В Риме состоялось вручение «Серебряных лент» — важнейших итальянских ежегодных кинопремий, присуждаемых профсоюзом кинокритиков.

Лучшим режиссером года признан Микеланджело Антониони за его фильм «Ночь», лучшим сценарием — сценарий фильма «Развод по-итальянски», поставленного Пьетро Джерми, лучшим актером — участвовавший в этом фильме Марчелло Мастройянни. Премия за операторскую работу присуждена Витторио де Сета за фильм «Бандиты из Оргосоло».

Прогрессивная печать не скрывает удивления, что жюри не отметило фильм Пьера Паоло Пазолини «Нищий», представляющий собой одно из значительных кинопроизведений.

КИТАЙ

ЧЕРТЫ ВРЕМЕНИ

Какие наиболее характерные тенденции наметились в развитии китайской литературы за последнее время? Какие произведения привлекли наибольшее внимание читателей? На эти вопросы отвечает литературный критик Сун Шуан на страницах журнала «Вэньи бао».

Более тридцати романов опубликовано в Китае за последние годы, пишет Сун Шуан. Среди них читателю особенно полюбились «Песня о Красном знамени» Лян Биня, «Начало» Лю Цина, «Переулок трех семей» Оуян Шаня. Два последних еще не закончены, и новые главы из этих произведений продолжают печататься на страницах литературных журналов. «Начало» повествует о первых преобразованиях в китайской деревне, «Переулок трех семей» — о зарождении революционного движения в Китае.

Для творчества романистов, по словам критика, наиболее характерно глубокое осмысление событий эпохи, стремление охватить явления всесторонне, проникнуть в самую их сущность. Сюжеты романов, их форма, стиль стали более разнообразны и оригинальны. Революционные идеи в них получили яркое и образное воплощение.

Обогатили китайскую литературу за последнее время и писатели-новеллисты, пишет далее Сун Шуан. В таких новых рассказах, как «Степь, пестреющая цветами» Мала Синь-фу, «Путь врача» Ба По, «Биография Гэ Ши» Лу Вэнь-фу, и других более жизненными и правдивыми стали образы героев, а сами рассказы по композиции — более динамичными. В рассказах Ван Вэнь-ши «На отмели», Чжао Шу-ли «Честный труженик Пань Юн-фу», Лю Ша-дэ «Весна и осень на море» жизнь китайской деревни предстала во всем ее многообразии.

На новую ступень, по мнению критика, шагнула в своем развитии и китайская поэзия. Об этом свидетельствуют появившиеся за последний год стихи и поэмы, в которых с подлинным вдохновением и поэтической силой рисуется жизнь народа.

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ

Новые работы пекинских скульпторов из мрамора, камня, дерева, глины и гип-

В пекинском Дворце национальностей выступили молодые тибетские актеры — выпускники шанхайского театрального института, которые показали старинную пьесу «Принцесса Вэнь Чэнь». Зрители горячо приветствовали первых в истории Тибета тибетских актеров, девушек и юношей, многие из которых лишь несколько лет назад были рабами феодалов

На снимке сцена из спектакля.

(Газета «Жэньминь жибао»)

Скульптура «Куба победит!» работы Чжана Жунькая, экспонированная на выставке в Пекине.
(Газета «Жэньминь жибао»)

са экспонировались на выставке, недавно устроенной в Пекине.

Критик газеты «Жэньминь жибао» подчеркивает, что при всем разнообразии тематики основное место в представленных работах занимает человек. Портреты как выдающихся революционеров, так и простых тружеников города и деревни привлекают внимание посетителей.

Для работ последних лет, по словам критика, характерно стремление удовлетворить всесторонние запросы народа. Большинство произведений отличается высоким идейным и художественным уровнем. Некоторые скульптуры выполнены в форме традиционного китайского искусства, другие имеют современные формы, однако все они производят прекрасное и свежее впечатление.

КУБА

БЕСЕДУЯ С ЛАУРЕАТАМИ...

Двадцатипятилетняя Даура Гарсиа, которой на III латиноамериканском литературном конкурсе гаванского издательства «Каса де лас Америкас» была присуждена премия за роман «Учительница - доброволец», сама находилась среди тех, кто провел успешную кампанию борьбы с неграмотностью на Кубе. Любопытно, что она принесла рукопись своего первого романа в издательство за пятнадцать минут до истечения срока принятия работ на конкурс.

В беседе с корреспондентом еженедельника «Ой-доминго» Даура Гарсиа сообщила, что еще семи-восьмилетней девочкой она начала писать стихи. Спустя несколько лет она дебютировала в сборнике «Избранные произведения поэтов провинции Камагуэй».

По словам Дауры, на формирование ее мировоззрения решающее влияние оказала работа учительницей-добровольцем в горах Сьерра-Маэстра. Захваченная этой работой, она не думала о том, что в будущем по заметкам в дневнике создаст художественное произведение. «Там на Сьерре я начала по-настоящему жить. стала понимать лучше и нашу революцию,— сказала Даура.— Роман — история молодой учительницы Вильмы. Вильма — это я, естественно... Работа была суровой, напряженной, как раз это и пробудило меня для новой жизни. Теперь я не могу понять писателя, который не писал бы для революции, для народа».

Даура Гарсиа.
(Еженедельник «Ой-доминго»)

Премию по жанру рассказа получил кубинский писатель Рауль Гонсалес де Каскорро за сборник «Люди Плайя-Хирон», посвященный защитникам дела революции в дни агрессии американского империализма, в апреле прошлого года. «Я хотел воздать этим почести нашим бойцам»,— заявил лауреат, сорокалетний преподаватель общественных наук в педагогическом училище и автор нескольких книг, в свое время отмеченных литературными премиями.

ЛИВАН

«ЖЕНИТЬБА» ГОГОЛЯ В БЕЙРУТЕ

В Бейруте, как сообщает газета «Ориан литтерер», открылся первый в Ливане театр. Труппа, руководимая Сесиль Жанис, показала пьесу Н. В. Гоголя «Женитьба». В спектакле приняли участие актеры Жаклин Надаль, Нена Фарах и другие. Зрители тепло встретили спектакль.

Как отмечает ливанская критика, театр создал правдивый, жизненный спектакль. Касаясь выбора пьесы, рецензент «Ориан литтерер» пишет: «Гоголь создал настолько живые типы, что можно подумать, будто они пришли на сцену из разных уголков нашей страны. Персонажи Гоголя понятны каждой эпохе».

МАЛИ

В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ БАМАКО

В столице республики Мали городе Бамако открылся крупный книжный магазин. Одна из основных задач этого магазина — борьба за быстрейшую ликвидацию неграмотности. В результате семидесятилетнего господства французских колонизаторов девяносто восемь процентов жителей не умеют ни читать, ни писать. Книжный

магазин снабжает жителей учебниками, наглядными пособиями.

Выходящая в Бамако газета «Эссор» сообщает, что в этом магазине можно найти литературу различных стран, в том числе Советского Союза, ГДР, Туниса, Алжира, Конго.

Магазин устраивает фотовыставки, посвященные жизни республики, а также международным событиям, политической и экономической жизни Африки.

МЕКСИКА

ШЛАГБАУМ ПЕРЕД КАРЛОСОМ ФУЭНТЕСОМ

Известный мексиканский писатель Карлос Фуэнтес, чьи книги издавались большими тиражами и в США, получил приглашение от американских литературных кругов посетить Соединенные Штаты по случаю выхода из печати английского перевода его романа «Спокойная совесть». Однако госдепартамент США отказал Фуэнтесу во въездной визе, ссылаясь на пресловутый закон Маккарэна.

При подобном подходе, саркастически пишет обозреватель нью-йоркской газеты «Уоркер», США могут оказаться в полнейшей культурной изоляции, так как по закону Маккарэна есть все основания отказать во въездной визе в США таким людям, как Шон О'Кейси, Пикассо, Арагон, лорд Бертран Рассэл, Сартр, Ив Монтан, Джон Осборн, Сальваторе Квазимодо и даже... Брижитт Бардо! Прогрессивная мысль на пушечный выстрел не должна приближаться к берегам Америки, так как госдепартамент смертельно ее боится.

Кстати, выяснилась любопытная деталь, дополнительно разъясняющая, почему присутствие Карлоса Фуэнтеса в США показалось столь нежелательным госдепартаменту. Дело в том, что мексиканский писатель должен был выступить в телевизионном диспуте совместно с Ричардом Гудвином, заместителем государственного секретаря США по межамериканским делам. А тема диспута затрагивала перспективы предложенного президентом Кеннеди «альянса во имя прогресса» между США и латиноамериканскими странами. Есть все основания полагать, пишет обозреватель, что Фуэнтес выступил бы весьма критически по поводу политики Соединенных Штатов в Латинской Америке.

НИГЕРИЯ

КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

Недавно в городе Ибадан (Восточная Нигерия) был открыт клуб писателей и артистов. Инициатива создания клуба, как сообщает еженедельник «Жён Африк», исходила от группы молодых деятелей нигерийской культуры. Организаторы клуба поставили себе цель популяризировать литературу и развивать искусство не только в Нигерии, но и в других странах Африки.

НОВАЯ ГВИНЕЯ

«АНАЛИЗ УБИЙСТВА» ДЛЯ... ДЕТЕЙ

К протесту, раздающемуся во всем мире против низкопробной, аморальной киностряпни Голливуда, воспевающей самые низменные побуждения человека, прибавила свой голос новогвинейская газета «Саут пэсифик пост». В статье «Кино и его влияние на детей» обозреватель газеты Рената Кочрейн особо отмечает вредное влияние подобной кинопродукции на детей в возрасте от 7 до 12 лет:

«Они чувствуют себя скорее не зрителями, а участниками происходящих на экране событий, отождествляя себя с каким-нибудь из героев. Недопустимо давать детям возможность мысленно жить в мире насилия, ненависти и душевных мук».

Рената Кочрейн напоминает о письме одного из читателей, сообщавшего о том, что в районе, где он живет, лишь за последнее время на специальных детских дневных сеансах демонстрировались такие «детские» фильмы, как «Анализ убийства», «Сумасшедший» и т. п.

В качестве положительного примера подлинно серьезного отношения к проблемам детской кинематографии автор статьи приводит Советский Союз, «где создаются фильмы для детей, где не только проводятся специальные детские сеансы, а даже есть специальные детские кинотеатры».

НОРВЕГИЯ

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ ЗАВОЕВЫВАЕТ ДРУЗЕЙ

«Норвежский театр» показал зрителям Осло пьесу Бертольта Брехта «Кавказский меловой круг».

По отзывам печати, в связи с этой постановкой Бертольт Брехт завоевал в Норвегии не только многочисленных друзей, но и при-

Сцена из спектакля «Кавказский меловой круг» в «Норвежском театре» в Осло.
(Газета «Берлинер цейтунг»)

знан норвежской прессой одним из крупнейших драматургов современности.

Влиятельная либеральная газета «Дагбладет» заявила: «Ничего подобного не было на сценах Осло за всю историю «Норвежского театра»... Пьесу должны посмотреть все...» Театральный критик консервативной газеты «Моргенбладет» подчеркивает, что после постановки этой пьесы Бертольт Брехт стал вдохновителем театральной жизни Норвегии. Центральный орган коммунистической партии Норвегии газета «Фрихетен» пишет: «Несомненно, что постановкой «Кавказского мелового круга» Бертольт Брехт занял прочное место в норвежской культурной жизни».

В пяти странах мира — в Польше, во Франции, Италии, ФРГ и Японии — одновременно состоялись премьеры международного художественного фильма «Любовь двадцатилетних» Авторы фильма, состоящего из пяти новелл, ставили своей задачей показать жизнь современной молодежи этих стран.

Польская новелла снималась известным режиссером Анджеем Вайдой по сценарию писателя Ежи Стефана Ставинского В центре — конфликт между тридцатилетним мужчиной, роль которого исполняет Збигнев Цибульский, и группой молодежи, которая не помнит ужасов войны и оккупации, а потому о некоторых вещах судит слишком поверхностно и поспешно. В конце концов конфликт улаживается, представители старшего и молодого поколений приходят к взаимопониманию Здесь мы помещаем кадр из фильма «Любовь двадцатилетних».

(Журнал «Экран»)

ПОЛЬША

«ЧАС НОЛЬ» АНДЖЕЯ ЩИПЕРСКОГО

Анджей Щиперский вошел в польскую литературу как автор книг на современные темы. Ответственность гитлеровцев за их преступления против человечества — одна из главных тем писателя. В своей книге «Прошедшее время», опубликованной более года назад, Щиперский рассказал подлинную историю одной фашистской провокации, жертвой которой стали борцы польского Сопротивления. Эта книга вызвала большой интерес читателей и легла в основу сценария для кинофильма.

Недавно вышла новая книга Анджея Щиперского «Час ноль», в которой он также поднимает вопрос борьбы против фашизма. Действие произведения разворачивается в годы гитлеровской оккупации Польши и в наши дни.

В Федеративную Республику Германии летит в служебную командировку герой повести Щиперского — служащий одного из польских учреждений. Он полон невеселых мыслей — во время войны гитлеровцы убили его отца, а теперь ему предстоит встреча с западногерманскими реваншистами. Каковы сегодняшние западные немцы, чем они живут, помнят ли о миллионах жертв фашизма — все это волнует героя повести. И вот оказывается, что многие из тех, с кем встречается герой Щиперского, забыли о преступлениях гитлеризма или стараются о них не думать. Не получают должного отпора и происки реваншистов. Происходит встреча героя повести с убийцей его отца — ныне миллионером Малером, генеральным директором огромной фабрики.

В остром словесном поединке герой повести одерживает моральную победу над Малером.

Литературный обозреватель газеты «Трибуна люду» Януш Вильгельми пишет по поводу книги «Час ноль», что Щиперский затрагивает в своей книге важные проблемы современности. Автору, по словам Вильгельми, не хватило, однако, некоторой смелости в раскрытии темы, столь необходимой для решительного разоблачения фашистских убийц и сегодняшних реваншистов, процветающих, подобно Малеру, в Западной Германии.

РУМЫНИЯ

ГЕРОИ БУДУЩИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Видные румынские писатели поделились на страницах еженедельника «Контемпоранул» мыслями о своих будущих произведениях.

Драматург Аурел Баранга, автор нескольких комедий, мечтает об образе героя, воплощающего в себе мудрость нашей эпохи.

«Открытые окна в сегодняшний день» — так охарактеризовал рецензент журнала «Арта пластикэ» новый цикл гравюр Василе Добриана, экспонированных на выставке в Бухаресте. Четверть века назад состоялся его необычный дебют. вышел сборник стихов поэта Добриана о жизни рабочих окраин Бухареста, иллюстрированный художником Добрианом. На последней выставке были показаны произведения, отражающие этапы борьбы коммунистической партии Румынии. Здесь мы воспроизводим гравюру Василе Добриана «Листовка».

(Журнал «Арта пластикэ»)

Именно такого героя, подчеркивает Баранга, и рождает социалистическая действительность.

В пьесе «Просто случай», над которой работает драматург, он пытается доказать «отсутствие случайности во всем происходящем вокруг нас». «Человеческая солидарность,— продолжает Баранга,— налагает на нас ответственность не только за нашу судьбу, но и за судьбу всех людей».

В своем интересе к положительному герою Михай Бенюк видит влияние нашей эпохи. Нельзя, заявляет он, не любить строителей социализма, нельзя не восторгаться людьми, подготовившими своей борьбой исторические условия современности,— коммунистами, а также их предшественниками — героями народной борьбы. Руководителем одного из крупнейших восстаний крестьянства несколько веков назад был Хория. Писатель намерен осуществить свою давнишнюю мечту: воссоздать в исторической пьесе светлый образ этого отважного борца.

Главный герой будущей пьесы в стихах поэта М. Бреслашу известен многим поколениям румынских детей. Это Василаке — персонаж, без которого не обходилось ни одно представление ярмарочных кукольников. Внимательное изучение фольклорных материалов позволяет Бреслашу восстановить в своей новой пьесе «Солдат и смерть» истинный образ народного героя, готового померяться силами со смертью, бичующего предрассудки, алчность имущих.

Драматург Хория Ловинеску и прозаик Титус Попович также работают над созданием образов героев современности.

США

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

Еженедельник «Сэтердей ревью» опубликовал статью американской писательницы Леноры Маршалл — участницы встречи американских и советских женщин в колледже Брин Мар (штат Пенсильвания), на которой состоялся обмен мнениями «о проблемах, разделяющих обе страны».

Отмечая атмосферу дружелюбия, в которой проходили дискуссии, Маршалл пишет: «Как женщины, мы ощущали особенное единство... Разнообразие профессий, которые мы представляли, позволило нам обсудить широкий круг тем, таких как право, медицина, экономика, антропология, государственное управление, химия, журналистика, народное образование, литература... Мы почувствовали симпатию друг к другу и даже, я бы сказала, взаимное уважение».

Придавая большое значение подобным встречам, Маршалл указывает, что они помогают «создать ту психологическую атмосферу, которая необходима как первый шаг на пути к безопасности человека».

ДИСКУССИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ ФРОСТА

В дни восьмидесятивосьмилетия поэта Роберта Фроста вышел в свет новый сборник его стихов «На просеке» — первая книга поэта за последние пятнадцать лет.

В статье о творчестве Фроста в «Сэтердей ревью» известный американский писатель Джон Чиарди напоминает, как три года назад критик и профессор Колумбийского университета Триллинг сравнивал Фроста с Софоклом, однако признавал, что лишь недавно он осознал «глубину и силу его поэзии», да и то лишь благодаря чтению стихов английского поэта Д. Г. Лоуренса.

«Вот вам горькая ирония,— пишет Чиарди,— судьба первого, подлинно национального американского поэта свела его с представителем вполне сложившейся американской критической мысли, и последнему потребовалось чуть ли не тридцать лет, чтобы распознать выдающееся литературное явление». Упрекая Триллинга за сравнение Фроста с Лоуренсом, автор статьи отмечает: «Как можно ссылаться на Д. Г. Лоуренса, которого сам Фрост, насколько я понимаю, склонен считать наполовину сумасшедшим, а наполовину шарлатаном?»

Объясняя длительное непризнание Фроста страхом критиков перед «простотой» его стиха, Чиарди пишет: «Лучшие стихи Фроста будут всегда жить, ибо они страшны и вместе с тем великолепны... Страшны тем, что взяты из самих глубин жизни, куда нельзя взглянуть без содроганий».

Чиарди недоумевает по поводу того, что Фрост до сих пор не награжден Нобелевской премией. Он отмечает, что Синклер Льюис и Перл Бак, «являющиеся менее значительными писате-

лями», удостоены этой чести. «Думаю,— пишет Чиарди,— что члены жюри Шведской академии наук, подобно многим нашим новым критикам, проявили неоправданную медлительность, не научившись еще читать стихи Фроста...»

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Что думают писатели о своих коллегах-писателях? Л. Кроненбергер выпустил антологию «Писатели о писателях», положительно встреченную критикой. В этой книге читатель может ознакомиться с высказываниями Д. Лоуренса о Мелвилле и Томасе Харди, с мнением Джозефа Конрада о Тургеневе, прочесть статьи Теккерея о Диккенсе и статьи Диккенса о Теккерее, очерк Рэбекки Уэст о Шарлотте Бронте, Хаксли о Д. Лоуренсе и т. п.

«Бросается в глаза,— пишет рецензент газеты «Сан-Франциско кроникл»,— что писатели значительно глубже и серьезнее разбирают те произведения, о которых пишут, чем профессиональные критики. Вместе с тем чтение писательских критических статей обогащает наше знание о них самих, они сами дополняют и собственный образ мышления, давая оценку другим, высказывая свое мнение по различным вопросам литературы и событий, привлекших их внимание».

По мнению рецензента, вышедшая антология является ценным пособием для интересующегося литературой.

Польскую княжну сжигают на костре... в «Тарасе Бульбе»!.. Речь, однако, идет не о классическом произведении Н. В. Гоголя, где такого эпизода, как всем известно, нет. Польскую княжну сжигают американские кинематографисты в фильме, снятом в Аргентине при участии американских, западногерманских, аргентинских и бразильских исполнителей По утверждению постановщиков, этот фильм представляет собой экранизацию повести Гоголя. Автор сообщения, опубликованного в журнале «Лайф», горделиво заявляет, что «в этой работе Голливуд выходит за рамки своих собственных возможностей», что «в руках Голливуда вещь получила грандиозный западный размах и средневековый центральноевропейский акцент». Но при чем же тут Гоголь?

(Журнал «Лайф»)

ТУНИС

ЖУРНАЛ ФИЛОЛОГОВ

В Тунисе начал выходить новый журнал «Аль-Люгат» («Филология»). В журнале сотрудничают видные представители науки, культуры и литературы Туниса. Издатель журнала — Ахмед Бель Ходжа.

По сообщению обозревателя бейрутского журнала «Аль-Адаб», в первом номере «Аль-Люгат» напечатан ряд статей по вопросам литературы и художественного перевода. Среди них— статья видного тунисского критика доктора Мухаммеда Ферида Гази «Гуманизм в современной тунисской новеллистике».

ФИНЛЯНДИЯ

К ЮБИЛЕЮ ТЕУВО ПАККАЛЫ

Финская общественность широко отметила столетие со дня рождения выдающегося писателя Теуво Паккалы — критического реалиста Финляндии конца XIX — первой половины XX века. Начало литературной деятельности Паккалы совпало с периодом бурного расцвета критического реализма в финской литературе, когда правдивое изображение тягот жизни обездоленных, глубокое проникновение в самую сущность антагонистических общественных отношений, критика существующих порядков стали краеугольным камнем творческой деятельности большинства ведущих писателей этого периода.

Теуво Паккала.
(Газета «Хельсингин саномат»)

«Почему описание Паккалой бедноты не теряет своей актуальности и интереса и по сей день?» — спрашивает на страницах газеты «Кансан уутисет» исследователь финской литературы профессор Вяйне Кауконен. По мнению автора, одна из причин — «художественный талант писателя, его умение создавать живые, глубоко прочувствованные образы своих героев». Лучшие социально-психологические романы и повести Паккалы — его новеллы о детях, маленьких героях бедняцкого квартала (повесть «Воспоминание моего детства» и новеллы «Маленькие люди» переведены на русский язык) — «не потеряли,— по словам Кауконена,— своей свежести на протяжении десятилетий, а наоборот, в его творчестве можно обнаружить в настоящее время такие ценности, на которые раньше не смогли обратить внимания».

Критик газеты «Хельсингин саномат» магистр Сиркка Сассали, характеризуя творчество Паккалы, подчеркивает остроту и важность сатирической линии в творчестве писателя: «Хлыст сатиры Паккалы всегда попадает в цель: в общественную несправедливость, самодовольство и ханжество».

ФРАНЦИЯ

СТОЛЕТИЕ «ОТВЕРЖЕННЫХ»

Последний вариант «Отверженных» Виктор Гюго завершил 21 мая 1861 года. В течение ближайшего года он еще «отшлифовывал» рукопись. 19 мая 1862 года была сделана заключительная редакция последней страницы романа. К этому времени первые части книги — «Фантина» и «Козетта» — уже вышли в свет и за одну неделю были распроданы. Столетие со дня первого издания первых частей «Отверженных» отмечается французским Клубом друзей прогрессивной книги как торжественная памятная дата.

Путь, пройденный Гюго от драмы «Эрнани» до «Отверженных», отражает огромный мыслительный процесс, политические обобщения и выводы, сделанные писателем под впечатлением событий 1830, 1832 и 1848 годов. «Этот путь,— пишет Морис Брюзо в еженедельнике «Юманите-диманш», — сделан убежденным католиком, пэром Франции, знаменитым поэтом и прозаиком, постепенно перешедшим на позиции страстной защиты республики и революции, защиты всех обездоленных и нищих».

Юбилейное издание «Отверженных» Виктора Гюго, выпущенное французским Клубом друзей прогрессивной книги, иллюстрировано работами художников — современников великого писателя. Мы воспроизводим гравюру «Гаврош... и республика», впервые появившуюся в издании 1865 года.

(Еженедельник «Юманите-диманш»)

Роман «Отверженные» Гюго писал фактически почти всю свою жизнь, первый замысел произведения возник еще в 1829 году. Уже тогда он начал вести записи, делать зарисовки тюремного быта, жестоких нравов, чудовищных условий, в которых жили и работали каторжники. С особым вниманием он изучал жизнь заключенных Тулона.

Первым звеном романа была «Рукопись архиепископа». К 1840 году у Гюго созрел такой план: «История святого» (архиепископа), «История мужчины» (Жана Вальжана), «История женщины» (Фантины) и «История куклы» (история Козетты).

Так постепенно зрел роман «Отверженные», ставший, как отмечает «Юманите-диманш», лучшим произведением французской литературы XIX века.

ФРАНСУА МОРИАК ПОД ОХРАНОЙ ПОЛИЦИИ

У подъезда парижского дома № 38 по улице Теофиля Готье день и ночь дежурит полицейский. Он проверяет документы у всех входящих в дом, требует сообщить цель визита. В доме живет известный французский писатель, лауреат Нобелевской премии Франсуа Мориак. Чем вызваны такие меры предосторожности? Имя Франсуа Мориака стоит в списке лиц, приговоренных к смерти фашистскими бандитами из «Секретной вооруженной организации» (ОАС).

«Когда 76-летний Нобелевский лауреат выходит на улицу, рядом с ним идет одетый в штатское сотрудник полиции, а когда он садится в машину, то вместе с шофером садится детектив»,— сообщает парижский корреспондент газеты «Стокгольмс-тиднинген» Бёрье Рюдбек.

Как же относится ко всему этому сам Мориак? Весьма характерно его высказывание, приводимое в корреспонденции Рюдбека: «Остается только надеяться, что полицейские, которым поручено меня охранять, сами не принадлежат к ОАС».

АРАГОН: ИМЯ ПИКАССО СВЯЗАНО СО СЛОВОМ «МИР»

Арагон опубликовал в еженедельнике «Леттр франсез» заявление по поводу присуждения Пабло Пикассо международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В этом заявлении, в частности, говорится:

«Это событие свидетельствует о больших изменениях, происшедших в международной обстановке за последние годы. Безусловно, присуждение Ленинской премии великому художнику — признание его заслуг в борьбе за мир, благодарность гению, чья слава не знает себе равной во всем мире, активно выступающему в рядах тех, кто ненавидит войну. Но этот факт имеет и другое значение... Творчество Пикассо — пример самоотверженной деятельности на благо человечества, на основе которой единственно возможно сосуществование двух различных общественных систем».

ПУТЬ КЛАРИССЫ ДЮВАЛЬ

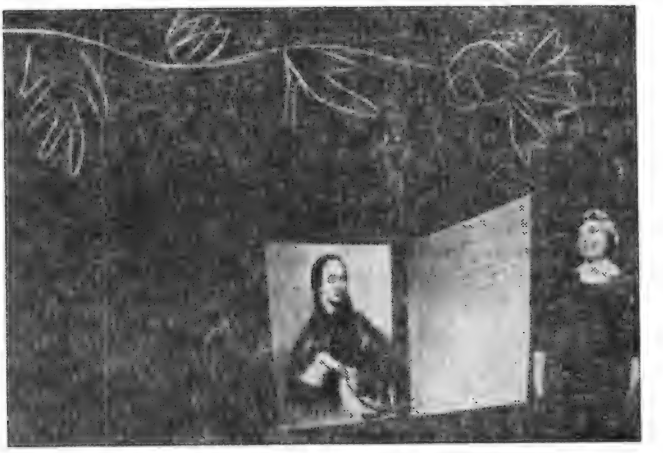
В издательстве Галлимар вышел новый роман Эльзы Триоле «Козни судьбы. (Дневник эгоистки)». Это совершенно самостоятельное произведение, не входящее в начатую писательницей серию «Век нейлона», два романа из которой известны советскому читателю: «Розы в кредит» (опубликован в «Иностранной литературе») и «Луна-парк».

...Не везет тридцатилетней Клариссе Дюваль. Все в ее жизни складывается неудачно. С детства ее считают эгоисткой. А почему? Неудачи преследуют ее... Автомобильная катастрофа заставила ее, эстрадную певицу, бросить сцену. Неожиданно умер ее профессор пения... Потом разрыв с мужем. Гибель любимого человека от рук «пластикёров». А ведь он обещал помочь ей стать настоящей актрисой! Но она все же поедет с труппой в турне, найдет новых друзей, будет жить в коллективе. Кларисса решает вступить в ряды тех, кто борется с ОАС. Счастье, может быть, еще улыбнется ей...

Андре Стиль в рецензии на роман, опубликованной в «Юманите», пишет, что эта книга, вероятно, менее удачна, чем некоторые из предыдущих книг Триоле. Кларисса, находившаяся на краю пропасти, слишком быстро и неожиданно встает на правильный путь. Однако обаяние, присущее произведениям Триоле, ее своеобразная манера сталкивать с действительностью своих героев, витающих в облаках, заставит читателя отнестись с некоторой симпатией к новому роману.

В своих отзывах на этот роман, опубликованных в «Леттр франсез», Жан Кокто и Андре Вюрмсер проводят параллели между последним произведением Эльзы Триоле и романом французской писательницы Колетт «Клодина». Отмечая недостатки романа, Вюрмсер считает, что у Эльзы Триоле человечности и интереса к моральным проблемам больше, чем у Колетт.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ



Первый театр поэзии в Чехословакии возник два года назад в городе Брно. Это был студенческий театр «Х-61» (см. «Иностранную литературу» № 7, 1960 г.), завоевавший большую популярность среди зрителей. Ныне театры поэзии возникают в различных городах, при заводских клубах, при коллективах художественной самодеятельности. Такой театр работает и при заводском клубе в городе Усти-на-Лабе.

Среди наиболее удачных критика отмечает монтаж из произведений кубинской поэзии — «Зеленая ящерица» и монтаж из стихотворений прогрессивных немецких поэтов — «Германия любит». Театр поддерживает тесную связь с чешскими поэтами. В память писательницы Божены Немцовой недавно был поставлен спектакль, фотоснимок сцены из которого здесь публикуется.

(Журнал «Свет в образех»)

РОМАН МОЛОДОГО ПРОЗАИКА

Рудольф Черный, писавший до сих пор лишь рассказы и новеллы, первым из молодого поколения прозаиков выступил с крупным произведением — романом «Тереза», который будет состоять из нескольких томов.

Опубликованный первый том свидетельствует о глубоком знании автором исторического материала. «Мы имеем дело с публицистическим романом такого характера и уровня, какого до сих пор в чешской литературе не было»,— пишет рецензент еженедельника «Литерарни новины». Черному удалось беспощадно разоблачить политическую коррупцию и моральное убожество буржуазных политических деятелей Западной Европы тридцатых годов.

Заканчивается роман картиной демонстрации протеста пражских рабочих в связи с приходом Гитлера к власти в Германии. Дальнейшему историческому этапу — борьбе против фашизма — будут посвящены следующие части романа.

ШВЕЦИЯ

ЯН МЮРДАЛЬ И ЕГО... «РЕДАКТОРЫ»

«Неприятно, когда тебя обкрадывают. Но еще хуже, если твои труды используют, как хотят, искажают, ставят на службу чьим-то грязным интересам. В течение полугода в двух разных странах я подвергался такому обращению... Так как эти случаи представляют не только личный интерес (ведь среди шведских литераторов я далеко не единственная жертва), мне хочется рассказать о том, что произошло»,— пишет в газете «Стокгольмстиднинген» шведский писатель Ян Мюрдаль.

В конце 1960 года Ян Мюрдаль вместе со сво-

ей женой художницей Гюн Кессле совершил поездку по Советской Средней Азии. О своих впечатлениях они рассказали на страницах шведской печати, подчеркивая огром...е успехи советских среднеазиатских республик в области экономики и культуры.

В результате этой поездки появилась документированная книга, которая должна была выйти в США на английском языке. Однако издать ее там оказалось не так просто. «Книга представляла собой деловой, основанный на фактах рассказ исторического, географического, экономического характера,— пишет Ян Мюрдаль.— В таких книгах ощущается большой недостаток. Когда книга уже печаталась, я получил письмо от моего американского издателя. Он, в частности, сообщал: «...Вы, конечно, заметите, что в разных местах текста сделаны антисоветские добавления. Я вставлял их, соблюдая большую осторожность (?! — *Ред.*), стараясь не нарушить Вашего строго беспристрастного изложения...»

Выяснилось еще одно обстоятельство: Ян Мюрдаль не может даже потребовать, чтобы эти вписанные в его текст высказывания, в корне противоречащие его замыслу, были сняты. Издательство сослалось на то, что в договоре есть обычный для англосаксонских стран параграф, согласно которому «издатель может вносить в текст изменения, если того требует политическое положение». Некогда, пишет Мюрдаль, этот параграф был введен для того, чтобы издатель смог вставить в устаревшие рукописи новые, «свежие» данные. Буква закона, оказывается, позволяет толковать этот параграф совсем по-другому.

Ян Мюрдаль (портрет работы художника Лассе Линдквиста).

(Газета «Стокгольмстиднинген»)

Никакие протесты не помогли.

«Я,—пишет Ян Мюрдаль,— оказался бессилен. ...Само собой разумеется, я не мог допустить, чтобы такие «добавления» распространялись под моим именем. То, что я пишу, я пишу по зрелом размышлении, взвесив факты... Но в современной Америке я не смог бы добиться, чтобы этот параграф толковался иначе. Единственно, что я имел возможность сделать,— это потребовать, чтобы было снято мое имя».

В этой же статье Ян Мюрдаль рассказывает о том, как западногерманский журнал «Актуэлль» перепечатал одну из его статей и, «не удовольствовавшись плохим переводом, журнал добавил некоторые весьма странные высказывания из своего собственного арсенала».

«Все это,— заключает Ян Мюрдаль,— явилось для меня уроком. Быть может, это послужит предостережением для других».

ЮГОСЛАВИЯ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ КНИГ ИВО АНДРИЧА

Белградские издательства, как сообщает газета «Борба», приняли решение в честь 70-летия лауреата Нобелевской премии писателя Иво Андрича выпустить юбилейные издания его произведений.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЭЙСАКУ ЁНЭДА

Японский поэт, переживший трагедию Хиросимы, потерявший семью во время бомбежки. Ему принадлежат сборники стихов: «Голубиная ночь» (1937), «Будь прекрасной, река, навеки» (1951), «Песни, поющие о будущем» (1955).

Стихи поэта печатались в № 8 нашего журнала за 1959 год.

Публикуемые стихи взяты из двух последних сборников.

■

УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС
WALTER LOWENFELS

(род. в 1897 г.)

Американский поэт и публицист. Автор сборников стихов: «Американцы за мир» («Americans for Peace», 1954), «Сонеты любви и свободы» («Sonnets of Love and Liberty», 1955), «Возлюбленные» («Lovers», этот сборник написан в тюрьме, куда Лоуэнфелс был заключен по обвинению в подрывной деятельности), «Американские голоса» («American Voices», 1959), «Песни мира» («Songs of Peace», 1959).

Публикуемое произведение прислано в рукописи.

■

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ
ALBERT MALTZ

(род. в 1908 г.)

Американский романист, новеллист, драматург и публицист. Автор романов: «Глубинный источник» («The Underground Stream», 1940, вышел на русском языке в 1949 г.), «Крест и стрела» («The Cross and the Arrow», 1944, издан в СССР на русском языке в 1961 г.), «Путешествие Саймона Маккивера» («The Journey of Simon McKeever», 1949); многочисленных сборников рассказов и пьес, неоднократно публиковавшихся на русском языке, в том числе в нашем журнале. Ему также принадлежит сборник публицистических статей «Писатель-гражданин» («The Citizen-Writer», 1950).

Рассказ «Картины» прислан в журнал в рукописи.

■

БЛАГА ДИМИТРОВА

(род. в 1922 г.)

Болгарская поэтесса. Автор сборников стихов: «Песни о Родопах» («Песни за Родопите», 1954), «На просторе» («На открито», 1956).

Публикуемое стихотворение взято из сборника «До завтра» («До утре», 1960).

■

ДИТЕР НОЛЛЬ
DIETER NOLL

(род. в 1927 г.)

Немецкий писатель (ГДР), автор книг «Госпожа Перлон и другие репортажи» («Die Dame Perlon und andere Reportagen», 1953, за эту книгу он в 1955 г. получил премию Объединения свободных немецких профсоюзов), «Солнце над морями» («Sonne über den Seen», 1954).

Роман «Приключения Вернера Хольта» («Die Abenteuer des Werner Holt») вышел в 1960 году и в 1961 году удостоен премии Генриха Манна.

Публикуется в журнальном, сокращенном варианте.

О романе см. № 6 нашего журнала за 1961 год, где была напечатана статья о современной немецкой литературе.

■

ДЖЕССИКА СМИТ
JESSICA SMITH

(род. в 1895 г.)

Американская публицистка, редактор журнала «Нью уорлд ревью», автор книг: «Женщины в Советском Союзе» («Women in Soviet Russia», 1928), «Прежде всего народ» («People Come First», 1948), «Американский народ хочет мира» («American People Want Peace», 1955) и др.

Статья «Американцы должны сказать свое слово» прислана в рукописи.

СЕДРИК БЕЛФРЕЙДЖ
CEDRIC BELFRAGE

(род. в 1904 г.)

Американский публицист. Автор книг: «Семена разрушения» («Seeds of Destruction», 1954) и «Испуганный гигант» («The Frightened Giant», 1957), романа «Мой хозяин Колумб» («My Master Columbus», 1961).

Неоднократно выступал в советской периодической печати.

Основатель и редактор прогрессивного еженедельника «Нэшнл гардиан», который продолжает редактировать из Англии, куда был депортирован в 1955 году по обвинению в подрывной деятельности.

Памфлет «Мистер Моррис путешествует» («Morris's Travels»), прислан в журнал в рукописи.

ИГНАЦЫ ВИЦ
IGNACY WITZ

(род. в 1920 г.)

Польский художник.

Публикуемая статья написана для журнала «Иностранная литература».

Главный редактор **А. Б. Чаковский**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Художеств. редактор *М М Милославский*

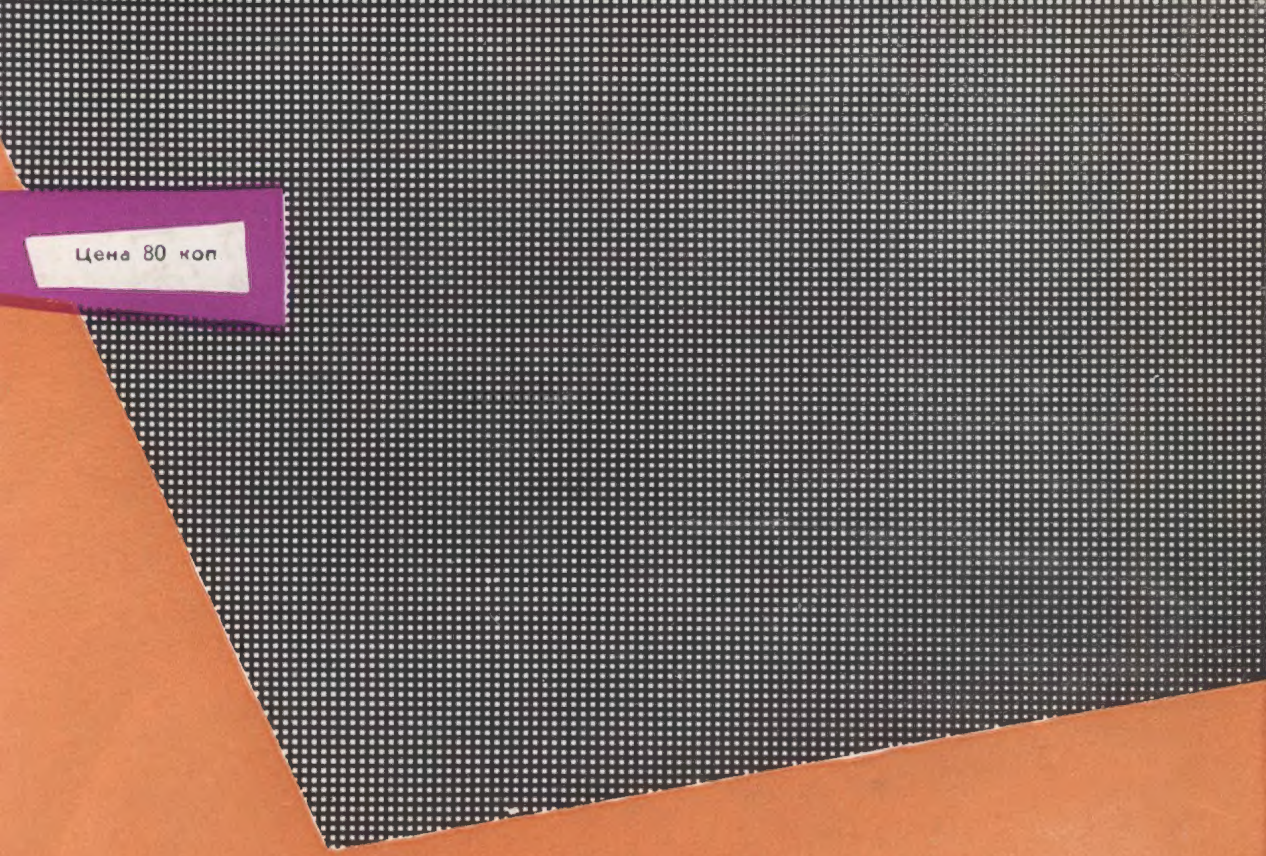
Технический редактор *В. Л. Шачнев*

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.

Телефон· В 3-51-47.

Бумага 70×108¹/₁₆=8,5 бум. л.; печ. л. 23,29.
Сдано в производство 7/V 1962 г.
Подписано в печать 20/VI-62 г.
А 07514 Зак. 866.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 80 коп